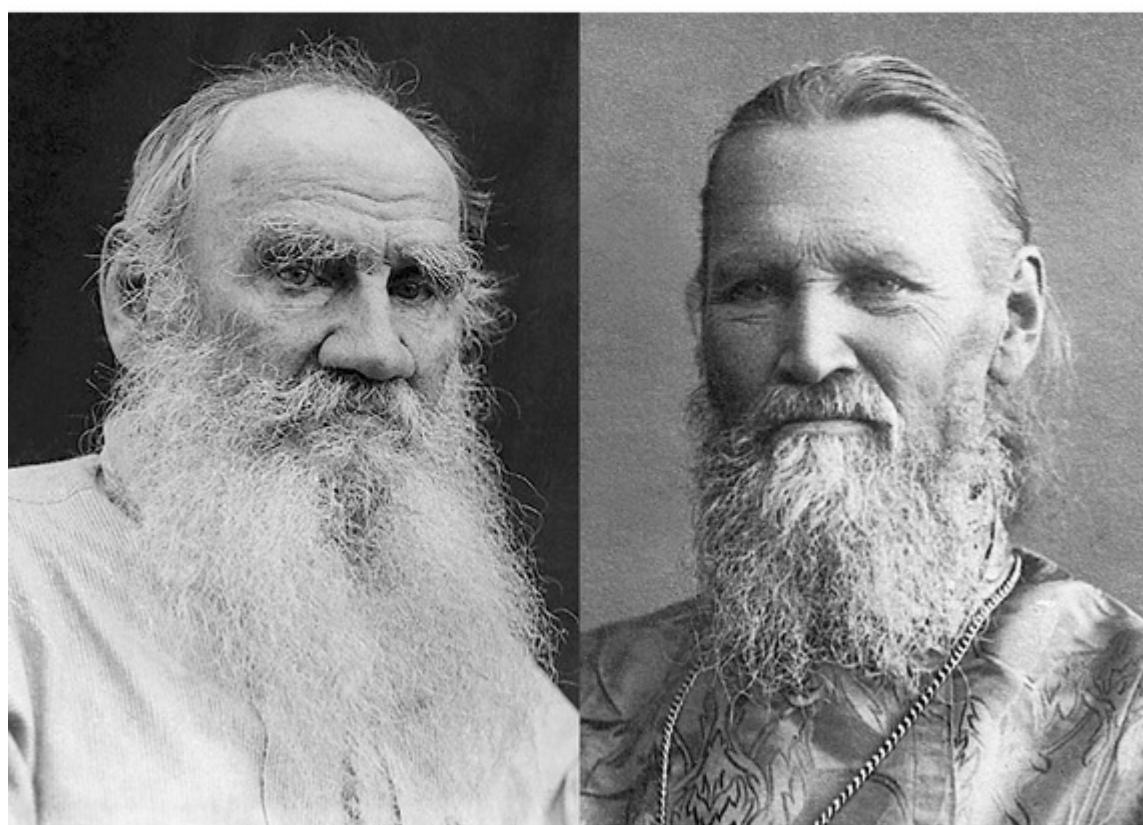


Павел Валерьевич Басинский
Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой:
история одной вражды

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ СВЯТОЙ ПРОТИВ ЛЬВА



Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой:
история одной вражды

Издательский текст

«Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды»:

АСТ; М.; 2013

ISBN 978-5-17-077185-1, 978-5-17-077803-4

Аннотация

На рубеже XIX–XX веков в России было два места массового паломничества – Ясная Поляна и Кронштадт. Почему же толпы людей шли именно к Льву Толстому и отцу Иоанну Кронштадтскому? Известный писатель и журналист Павел Басинский, автор бестселлера «Лев Толстой: бегство из рая» (премия «Большая книга»), в книге «Святой против Льва» прослеживает историю взаимоотношений самого знаменитого писателя и самого любимого в народе священника того времени, ставших заклятыми врагами.

Павел Валерьевич Басинский Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды

Выражаю сердечную благодарность всем, кто советом, делами или добрым участием помогал появлению этой книги:

Ольге Басинской, Евгению Водолазкину, О.В.Гладун, Н.А.Калининой, В.Я.Курбатову, В.С.Логиновой, М.Г.Логиновой, Л.В.Миляковой, Геннадию Опарину, Надежде Переверзевой, Алексею Портнову, Владимиру Толстому, Татьяне Шабаевой, Елене Шубиной, Ядвиге Юферовой.

*Нельзя хромать на оба колена. Нельзя одновременно любить
Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского.*

Н.С. Лесков в разговоре с Л.И. Веселитской

Вместо предисловия ГОСУДАРЬ СМЕЕТСЯ

В воспоминаниях Ивана Захарьина – статского советника, бывшего управляющего отделениями Крестьянского банка в Вильно, Ковно, Оренбурге и Ставрополе, а также прозаика и драматурга, писавшего под псевдонимом Якунин, – рассказывается о беседе императора Александра III с графиней Александрой Андреевной Толстой – двоюродной тетюшкой Льва Толстого, знаменитой Alexandrine, – девицей, камер-фрейлиной, воспитательницей великой княжны Марии Александровны.

Alexandrine славилась при дворе не только безупречной набожностью и склонностью к филантропии, но и незаурядным умом, литературным вкусом и независимым характером – отличительной чертой всей толстовской породы.

В покои фрейлины для царя имелся отдельный проход через стеклянную, висевшую в воздухе галерею, соединявшую Зимний дворец с Эрмитажем, и государь зашел посоветоваться о возможности публикации «Крейцеровой сонаты» Толстого, запрещенной духовной цензурой.

«Я позволила себе высказать свое мнение в утвердительном смысле и представила государю, что вся Россия уже читала и читает ее, следовательно, разрешение только может понизить диапазон публики, которая великая охотница до запрещенного плода».

Женщины в России часто оказывались мудрее мужчин. «Крейцера соната» была разрешена к печати – но только в составе очередного тома собрания сочинений Толстого.

И тогда же они разговорились о необыкновенной популярности Льва Толстого в России. Шел 1891 год.

– Скажите, кого вы находите самыми замечательными и популярными людьми в России? – спросил Александру Андреевну государь. – Зная вашу искренность, я уверен, что вы скажете мне правду... Меня, конечно, и не думайте называть.

– И не назову.

– Кого же именно вы назовете?

– Во-первых – Льва Толстого...

– Это я ожидал. А далее?

– Я назову еще одного человека.

– Но кого же?

– Отца Иоанна Кронштадтского.

Государь рассмеялся и ответил:

– Мне это не вспомнилось. Но я с вами согласен.

Захарьин не присутствовал при этом разговоре. Незадолго до смерти графини он был допущен к разбору ее архива, откуда (а также из личных разговоров с ней) он и взял этот эпизод. Как литератор, он не удержался и несколько раскрасил картинку. В воспоминаниях самой Толстой разговор подан более сухо. Но и графиня отмечает, что императора рассмешил ответ о Кронштадтском.

Толстая даже пишет: «Государь *очень* смеялся...»

Смеялся, но все-таки согласился! «Несмотря на совершенное различие двух этих типов, у которых одно было только общее: и к тому, и к другому люди всех сословий прибегали за советом».

«Немало иностранцев, – вспоминала графиня А.А.Толстая, – приезжали сюда с этой целью, и часто случалось, что они являлись ко мне, воображая себе, по моей фамилии, что найдут во мне покровительницу их доступу к Льву Толстому. Обыкновенно я говорила им, что помощь моя совершенно лишняя, так как Лев Николаевич принимает у себя всех без исключения».

Возможно, всех без исключения принимал бы у себя и Иван Ильич Сергиев, знаменитый протоиерей, настоятель кафедрального Андреевского собора в Кронштадте. Но это было невозможно. Если Льва Толстого в Ясной Поляне ежедневно посещали десятки людей, то отца Иоанна постоянно осаждали тысячные толпы. И неважно, где он находился: в Кронштадте, Самаре, Вологде, Ярославле или других российских городах во время своих многочисленных поездок. Если бы ко Льву Толстому шло столько же людей, сколько их ежедневно притекало (приплывало) в Кронштадт, от его прекрасной Ясной Поляны не осталось бы ни деревца, ни кустика, ни цветочка, ни травиночки – всё было бы вытоптано. Так что по совести, отвечая на вопрос государя, Толстая должна была первым назвать отца Иоанна, а своего племянника – вторым.

Однако трудно себе представить реакцию императора на подобный ответ. Все-таки *своего* Толстого он знал и любил. Еще подростком-цесаревичем он рыдал над его «Севастопольскими рассказами». Он в буквальном смысле плакал уже зрелым мужем во время чтения вслух пьесы «Власть тьмы» (впрочем, из государственных соображений тоже сперва допущенной к представлению только на домашних театрах). Царь не любил, когда его подчиненные доносили ему о крамольных сочинениях графа, что стали появляться за границей и нелегально в России уже с середины восьмидесятых годов. «Нет, – говорил государь, – *мой* Толстой этого не напишет». Не может быть ни малейшего сомнения в том, что при жизни Александра III никакого отлучения Толстого от Церкви состояться не могло.

В воспоминаниях графини приводится другой любопытный эпизод, ярко характеризующий отношение императора к Толстому. В 1892 году в лондонской “Daily Telegraph” в искаженном переводе вышла статья Толстого «О голоде», которую в России не смог напечатать даже специальный журнал «Вопросы философии и психологии». Правая газета «Московские ведомости» опубликовала фрагменты статьи в обратном переводе – с

английского на русский, хотя оригинальный русский текст находился в России. Из этих фрагментов и комментариев к ним следовало, что Толстой не столько переживает за голодающих крестьян, сколько призывает к свержению законной власти. Скандал разразился чудовищный. Даже библиотекарь Румянцевского музея русский философ Н.Ф.Федоров при встрече с Толстым отказался подать ему руку. Что говорить о консервативной части общества! В кабинет министра внутренних дел посыпались доносы. По законам того времени при тщательном расследовании Л.Н.Толстому грозила как минимум ссылка в самые отдаленные края Российской империи. И тогда тетушка, как это уже не раз случалось, бросилась выручать племянника.

«Заехавши раз к графу Дмитрию Андреевичу Толстому, тогдашнему министру внутренних дел¹, застала его в большом раздумьи», – вспоминала она...

– Право, не знаю, на что решиться, – сказал он графине. – Прочтите вот эти доносы на Льва Николаевича Толстого. Первые, присланные мне, я положил под сукно, но не могу же я скрывать от государя всю эту историю?

Реакция императора превзошла ожидания и министра, и фрейлины. «Прошу Льва Толстого не трогать; я нисколько не намерен сделать из него мученика и обратить на себя негодование всей России, – сказал он. – Если он виноват, тем хуже для него».

«Дмитрий Андреевич вернулся из Гатчины вполне счастливым, – вспоминала графиня, – так как в случае каких-нибудь строгостей и на него, конечно, пало бы много нареканий».

Нареканий – со стороны кого? Всей России? Или самого государя? Очевидно одно: доклад министра был императору неприятен. А вот решение, которое государь принял, было отрядным. Это был благородный поступок не столько царя, сколько просвещенного аристократа. И Европа это оценила.

«С какой радостью, – вспоминала графиня Толстая, – я стала писать во все концы Европы и за океан, что граф Лев Толстой преспокойно живет у себя в Ясной Поляне и что великодушный наш царь не обидел его даже упреком».

Однако когда этот великодушный царь умирал в Ливадии в октябре 1894 года, к нему позвали не Толстого, а отца Иоанна Кронштадтского. Не писателя и философа, а исповедника и чудотворца. И не Толстой, а Кронштадтский держал над головой страдающего свои руки, утишая мучительную боль. И приобщал императора перед смертью не автор «Крейцеровой сонаты», но автор «Моей жизни во Христе». И если бы действительно случилось чудо и император тогда выжил, неизвестно еще, кто встал бы в его глазах на первое место «самого замечательного человека в России».

Вернувшись из Крыма вместе с телом покойного царя, отец Иоанн сказал одной из газет: «Я мертвых воскрешал, а Батюшку-Царя не мог у Господа вымолить. Да будет на все Его Святая воля...»

Но пройдет четырнадцать лет, и тот же исповедник и чудотворец, что в Крыму пытался спасти одного болящего от смерти, в своем дневнике пожелает другому – скорейшей гибели: «Господи, не допусти Льву Толстому, еретику, превзошедшему всех еретиков, достигнуть до праздника Рождества Пресвятой Богородицы...»

Это был сентябрь 1908 года, восьмидесятилетний юбилей Толстого, и он был серьезно болен. Отказали ноги, и юбиляра вывозили к гостям в специальном кресле-каталке. Есть кинохроника, где старого, слабого Толстого в кресле вывозят на балкон яснополянского дома. Больной еле заметно улыбается... О болезни Льва Толстого бесконечно писали газеты, и Кронштадтский, конечно, об этом знал. Но Толстой тогда как раз выжил. Зато в конце декабря 1908 года умер сам отец Иоанн.

С величайшими, почти царскими почестями тело покойного было доставлено по льду

¹ Толстая, скорее всего, ошибается. Министром внутренним дел в это время был И.Н.Дурново. Д.А.Толстой покинул этот пост в 1889 году. Либо она вспоминала о своем посещении Д.А.Толстого в связи с другим скандальным случаем, тоже связанным с племянником.

Финского залива из Кронштадта в Петербург и похоронено в Иоанновском женском монастыре, им же основанном, в специальном храме-усыпальнице из белого мрамора с проведенным туда электрическим освещением. Подобной чести не был удостоен ни один священник России за все времена ее существования.

Народ искренне любил Иоанна Кронштадтского. Миллионы людей верили в него как в святого еще при жизни. Чехов говорил, что в каждой сахалинской избе он видел портреты отца Иоанна, которые висели рядом с иконами. Но вот когда вся Россия оплакивала любимого батюшку, искренне любивший русский народ Лев Толстой в Ясной Поляне написал о том, «как человек, называющийся русским императором, выразил желание о том, чтобы умерший, живший в Кронштадте, *добрый старичок* (курсив мой. – П.Б.) был признан святым человеком, и как синод, т. е. собрание людей, которые вполне уверены, что они имеют право и возможность предписывать миллионам народа ту веру, которую они должны исповедовать, решил всенародно праздновать годовщину смерти *этого старичка* (курсив мой. – П.Б.) с тем, чтобы сделать *из трупа этого старичка* (курсив мой. – П.Б.) объект народного поклонения».

Пройдет еще два года. В 1910 году, поздней осенью, Толстой бежит из Ясной Поляны – в монастырь: сперва в Оптину пустынь, затем – в Шамордино. Он и остался бы в Шамордине, если бы не ряд нелепых и отчасти случайных обстоятельств. После бегства из Шамордина он лишится последних сил, сойдет на станции Астапово и умрет. Он переживет своего соперника на два года.

Так завершится один из самых невероятных сюжетов в религиозной и общественной истории России, который будущий биограф отца Иоанна Кронштадтского назовет «битвой гигантов» и который начался с невинного светского разговора императора Александра III и фрейлины Толстой о том, кто же на Руси замечательнее и популярнее всех. Впрочем, началось это гораздо раньше.

Глава первая СВЯТОЙ ЛЕВ, ПАПА РИМСКИЙ

Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе. Да, да, маменька, которую я никогда не называл, еще не умея говорить. Да, она, высшее мое представление о чистой любви, но не холодной Божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня.

1906 год

Запись Л.Н.Толстого на клочке бумаги

МАДОННА В КРЕСЛЕ

Церковный историк русской литературы М.М.Дунаев пишет: «По собственному признанию Толстого, он в пятнадцать лет носил на шее медальон с портретом Руссо вместо креста. И боготворил женеваго мыслителя...»

Но откуда взялось это *собственное* признание, которое довольно часто тиражируют противники Толстого? Ссылка дается на первый том биографии Толстого, написанной П.И.Бирюковым еще при жизни писателя. Бирюков был близким другом семьи Толстых, лично общался с писателем во время работы над биографией, поэтому свидетельство приобретает особый вес. На самом деле Бирюков сообщает нам вот что.

В 1901 году Толстого в Ясной Поляне посетил француз Paul Boyer, затем описавший в женеваской газете “Le Temps” свои впечатления от трех дней, которые он провел вместе с Толстым.

Там он привел *устные* слова Толстого:

«К Руссо были несправедливы, величие его мысли не было признано, на него всячески

клеветали. Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая “Словарь музыки”. Я более чем восхищался им – я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста. Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я их написал сам...»

Но достоверность этого признания вызывает большие сомнения. Во-первых, мы получили его из вторых рук. Во-вторых, если Толстой и говорил это, то сильно преуменьшил свой возраст. Впервые он прочитал Руссо в марте 1847 года, в восемнадцать лет.

С тринадцатилетнего возраста Лев вместе со старшими братьями и сестрой жил в Казани у тетушки Пелагеи Ильиничны Юшковой, родной сестры их рано скончавшегося отца, которая взяла опеку над несовершеннолетними Толстыми. П.И.Юшкова была женщиной хотя и светской, но верующей и богобоязненной. Она старалась дружить с монахами и церковными иерархами. Мог ли подобный поступок племянника остаться незамеченным? Теоретически, конечно, мог. Всё могло быть. Вопрос в том, почему ничем не подтвержденное свидетельство иностранного гостя мы принимаем за несомненную истину? Не потому ли, что этим «фактом» проще всего проиллюстрировать раннее «безбожие» Толстого? Вместо того чтобы внимательно изучить его религиозное воспитание, не легче ли повесить на шею вместо креста портрет Руссо?..

При этом достоверно известно, что из двадцати икон рода Толстых, сохранившихся и по сегодняшний день в Ясной Поляне, пять икон принадлежали Льву Толстому. Все они описаны в прекрасной книге Т.В.Комаровой «Семейные реликвии рода графов Толстых».

Во-первых, это православная икона святого Льва, папы Римского, подаренная бабушкой Пелагеей Николаевной Толстой, урожденной Горчаковой. Мы не знаем точно, почему Толстого при рождении назвали Львом. Но святого ему определили по святцам. Им оказался Лев, папа Римский, память которого празднуется нашей церковью 18 февраля (3 марта нового стиля).

Святитель Лев I Великий (390–461) был папой до раздела церквей, так что ничего специально «католического» в святом Льве Толстом не было. Православный тропарь святителю Льву звучит так: «Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенная светильниче, архиереев Богодухновенное удобрение, Льве премудре, учеными твоими вся просветил еси, цевнице духовная. Моли Христа Бога спастися душам нашим».

Папа Лев I был высокообразованным человеком. С юных лет обучался книжной премудрости, познакомился с философией, но возлюбил духовное житие более мирского. Он служил архидиаконом у папы Сикста III и по смерти Сикста единогласно был избран в первосвятители Римской церкви.

Лев I прославился двумя событиями в своей жизни. Первое из них относится к разряду чудес, а второе является историческим фактом.

Аттила, предводитель гуннов, покорив полмира, пришел в Италию, намереваясь и ее опустошить. Видя, что никто не может сопротивляться завоевателю, папа Лев обратился с молитвой к Богу и, призвав на помощь святых апостолов Петра и Павла, отправился к Аттиле. После беседы с ним грозный Аттила отошел от пределов Италии. На вопрос: «Почему он убоился одного римлянина, пришедшего без оружия?» – Аттила ответил: «Не видели вы того, что я видел, а видел я двух ангелоподобных мужей, стоявших по обеим сторонам папы (это были апостолы Петр и Павел. – П.Б.). В руках они держали обнаженные мечи и грозили мне смертью, если я не послушаюсь Божия архиерея».

Вторым и уже реальным деянием папы Льва была победа над Несторием, патриархом Константинопольским, занимавшим кафедру с 428 по 431 год. Несторий проповедовал еретическое учение о том, что Иисус Христос не Бог, а только человек, удостоенный за свою святость благодати Божией и спасающий людей наставлениями и примером жизни. За это Несторий был отлучен от церкви на III Вселенском соборе, созванном по инициативе папы Льва, и умер в ссылке в 436 году.

Это была именно та ересь, которую спустя почти полторы тысячи лет проповедовал и Лев Толстой.

Вторая икона – святых Николая, Никона, Марии и Марфы – была подарена Толстому тетушкой Пелагеей Ильиничной Юшковой, той самой, что вроде бы проморгала момент, когда ее несовершеннолетний племянник снял с себя нательный крест и повесил туда медальон с портретом Руссо.

Третья икона – Божией Матери Владимирской с надписью на обороте «Графу Льву» – подарок троюродной тетушки Татьяны Александровны Ёргольской. Она же подарила ему образ святого мученика Трифона.

Святой Трифон родился в Малоазийской Фригии в первой половине III столетия. Горячо веруя в Христа, он получил дар исцелять болезни и изгонять бесов, от вылеченных же в ответ требовал уверовать в Христа-Бога, благодатью Которого он исцелял. За свою проповедь святой Трифон был схвачен, император Деций лично приказал его казнить. Но прежде чем палач занес меч, святой Трифон предал душу свою в руки Божии. Это произошло в 250 году...

Существует московское предание, будто святой Трифон помог сокольничему Ивана Грозного князю Трифону Патрикееву найти любимого царского кречета, упущенного во время охоты. Этот проступок мог стоить князю жизни, и он горячо молился о помощи, пока не заснул от изнеможения. Во сне князю явился святой Трифон и указал место, где находится сокол. Князь, пробудившись, немедленно поехал туда и действительно увидел птицу, спокойно сидевшую на ветке дерева. В благодарность за свое чудесное спасение он построил на том месте часовню памяти святого Трифона.

Т.А.Ёргольская любила младшего Льва больше его старших братьев. Может быть, поэтому она была особенно щедра на дарение ему икон, связанных со скорой помощью. Например, икону святого Трифона в Москве простой народ так и называл: «Скорая помощь». Хорошо зная сложный характер своего племянника, тетушка предчувствовала его непростую судьбу и стремилась обезопасить от всех напастей. Поэтому особый интерес представляет пятая из сохранившихся в Ясной Поляне икон Льва Толстого, тоже подаренная Ёргольской, образ Божией Матери «Трех радостей».

История ее дарения не совсем ясна. Со слов жены писателя Софьи Андреевны, она была передана Льву Николаевичу перед его отъездом на Крымскую войну в феврале 1854 года. После официального перевода с Кавказа в Бухарест он действительно приезжал в отпуск в Ясную Поляну в начале февраля 1854 года. Там он встречался с братьями и с любимой тетенькой, с которой во время службы на Кавказе состоял в нежной переписке.

Но именно из этой переписки мы узнаём, что еще в мае 1853 года Т.А.Ёргольская с оказией отправила ему «образок Богородицы», который она «вырвала из рук Колошина». С братьями Колошиными – Сергеем, Дмитрием и Валентином – Толстой общался в 1850 году, находясь в Москве. В их сестру Соню Колошину он был влюблен. Это была его первая любовь, описанная в повести «Детство», где Сонечка Колошина выступает под фамилией Сонечки Валахиной.

Отец Колошиных, декабрист Павел Иванович Колошин, был знакомым отца Льва Толстого, Николая Ильича. Кроме того, Толстые и Колошины состояли в отдаленном родстве.

В пятидесятые годы один из братьев Колошиных, Сергей Павлович, был успешным писателем и журналистом. Толстой завидовал ему, о чем сообщал в письме к Ёргольской: «Он честно зарабатывает свой кусок хлеба, и зарабатывает его больше, чем приносят триста душ крестьян». Но вот другого брата, Валентина Павловича, постигла трагическая судьба.

Вместе со Львом Толстым он воевал в осажденном Севастополе. 4 сентября 1855 года Толстой писал Ёргольской: «Валентин Колошин, которого я здесь очень полюбил, пропал. Я не писал его родителям, потому что я надеюсь еще, что он взят в плен. На запрос, который я послал в неприятельский лагерь, не пришло еще ответа». Посылая этот запрос, Толстой не знал, что прапорщик 11-й артиллерийской бригады Валентин Колошин был убит во время последнего штурма Севастополя.

Итак, 23 мая 1853 года тетенька послала на Кавказ «образок Богородицы», «вырвав из

рук Колошина» (отца? одного из братьев?). «... я поручаю тебя Ее святому покровительству, да будет Она тебе в помощь во всех случаях жизни, пусть Она руководит тобой, поддерживает тебя, охраняет и вернет нам живым и здоровым. Эту горячую молитву я обращаю к Ней денно и ночью за тебя, мое милое дитя, мой обожаемый Лёва». Еще она отправила ему «бальзам от ревматизма и от зубной боли, а также пару шерстяных чулок, которые я сама связала, чтобы ты носил их на охоту».

Могла ли она знать, что не пройдет и месяца, и во время поездки в крепость Грозная ее «обожаемый Лёва» подвергнется нападению чеченцев, чудом не попав в плен?

Уже в старости Толстой расскажет своему врачу Душану Петровичу Маковицкому, как это было:

– Ехали мы в Грозный, шла этот раз оказия, солдаты идут спереди и сзади, и я ехал с моим кунаком Садо – мирным чеченцем.

– И с Полторацким, – добавила Софья Андреевна.

– И перед тем я только что купил кабардинскую лошадь – темно-серую, с широкой грудью, очень красивую, с огромным проездом (знаете, что такое проезд? Что рыси равно; ходак – такую лошадь зовут ходаком), – но слабую для скачек. А сзади ехал Садо на светло-серой лошади, ногойской, степной (там были ногойцы-татары) – была на длинных ногах, с кадыком, большой головой, поджарая, очень некрасивая, но резвая. Поехали втроем. Садо кричит мне: «Попробуй мою лошадь», и мы пересели. И тут очень скоро после того выскочили из лесу, с левой стороны, на нас человек восемь-десять и кричат что-то по-своему. Садо первый увидел и понял. Полторацкий на артиллерийской лошади пустился скакать назад. Его очень скоро догнали и изрубили. У меня была шашка, а у Садо ружье незаряженное. Он им махал, прицеливался и таким способом уехал от них. Пока они переговаривались с Садо, я ускакал на лошади, а он за мной. Меня спас особенный случай – что я пересел на его лошадь.

Посылая своему племяннику образок «Трех радостей» (конечно, это был он), Ёргольская ничего этого знать не могла; это случилось, повторяем, спустя месяц. Но к тому времени она прочитала очерк Толстого «Набег», который он в декабре 1852 года послал Некрасову в Петербург и который вышел в мартовском номере журнала «Современник». «Ах, ежели бы ты знал, какое я переживаю горе, когда я долго без известий, думая, что ты в походе, среди всех ужасов войны, и я содрогаюсь от страха от всего того, что подсказывает мне воображение, особенно с тех пор, как я прочла твое последнее сочинение (Набег, рассказ волонтера), – пишет она в апреле 1853 года. – Ты описываешь всё так верно, так натурально этот набег, в котором ты участвовал волонтером, что я вся дрожала, думая о всех опасностях, которым вы с Николенькой (старший брат Л.Н.Толстого, служивший на Кавказе. – П.Б.) подвергались, и усердно молила Всевышнего, чтобы Он сохранил вас целыми и невредимыми».

И вот она посылает ему на Кавказ образок «Трех радостей». Но почему именно этот?

Крохотный деревянный образок (8,5 × 6,5 см) в серебряном окладе, закрытый с оборота бархатной «сорочкой». Серебряный оклад почти полностью покрывает икону, оставляя в живописном виде только лицо Матери и Ее кисти, лицо младенца Иисуса с голыми ножками и локотком (остальная часть Его руки трогательно спрятана в серебряном одеянии Матери), и кроткое лицо Иоанна Крестителя.

В позе женщины, уютно сидящей в кресле и склонившейся к головке сына естественным движением молодой матери, которое невозможно спутать ни с чем другим; в позе самого младенца, прильнувшего к матери как бы в поисках защиты от кого-то (а видит он перед собой нас, зрителей); и даже в выражении лица Иоанна Крестителя, мальчишки, есть что-то удивительно милое и *домашнее*, чего нет в «Сикстинской Мадонне» Рафаэля, стоящей на облаках, графическое изображение которой висит над рабочим столом в яснополянском кабинете Льва Толстого.

А между тем эта крохотная икона – тоже копия картины кисти Рафаэля, «Мадонны в кресле», оригинал которой находится во Флоренции в палаццо Питти. Причем Мадонна

сидит не просто в кресле, а в папском кресле.

Неизвестный русский художник XIX века, делавший эту копию скорее всего с одной из других многочисленных копий, а не с оригинала, изрядно погрешил против изначального образа. Прежде всего это касается Иисуса. На иконе у Него робкий и опущенный взгляд. У Рафаэля Он смотрит вверх и довольно смело. Ножки младенца плохо прорисованы. И вообще весь рисунок не отличается мастерством. Испорченное временем изображение лица Иоанна Крестителя тоже не вполне соответствует тому, что мы видим у Рафаэля. В лице рафаэлевского Иоанна куда больше вдохновенного восторга, а не умиления, как в «Трех радостях».

Копия Рафаэлевой Мадонны была привезена в Россию в начале XVIII века неким благочестивым живописцем. После его смерти родственник, служивший священником, выставил ее на паперти церкви Троицы на Грязех в Москве на Покровке. Однажды в этом храм пришла знатная женщина, с которой случились сразу три несчастья: сослали мужа, сын попал в плен, а имение отобрали в казну. Ей приснился вещий сон, что она должна отыскать икону Святого семейства и молиться ей, который и привел ее в церковь на Покровке. После молитвы перед этим образом она получила три радостных известия: мужа оправдали, сын был вызволен из плена, а имение вернули семье. С тех пор престол иконы «Трех радостей» являлся центральным в соборе Троицы на Грязех. Икона считалась заступницей невинно оклеветанных, разлученных с близкими и потерявших накопленное своим трудом.

Отзвук этого подарка Ёргольской любимому племяннику мы находим в «Войне и мире» в сцене, где княжна Марья Болконская умоляет брата взять с собой на войну образок, тоже в серебряном окладе (правда, с ликом Спасителя), который еще их дедушка «носил во всех войнах», и просит дать обещание никогда не снимать этот образок. И князь Андрей, будучи в это время полным атеистом, – соглашается. С этим даром символически связано будущее вызволение князя Андрея из французского плена и то, что перед смертью он приходит к вере в Бога.

Толстой не верил в чудеса. Но он знал семейные предания. В частности, предание о чудесном спасении его прадеда по матери, Сергея Федоровича Волконского, генерал-аншефа и участника Семилетней войны с Пруссией. Когда тот находился в походе, его супруге приснился сон, в котором чей-то голос велел ей заказать икону с изображением на одной стороне иконы Живоносного Источника, а на другой – Николая Чудотворца. Она заказала такую икону и послала мужу. Сергей Федорович надел ее на грудь, и неприятельская пуля ударила в икону, генерал был спасен.

Образок «Трех радостей» сопровождал Толстого на всех войнах и вообще везде – до его разочарования в Церкви. Если во время отъездов из Ясной Поляны Толстой забывал взять его с собой, ему напоминала жена. Когда летом 1871 года он поехал лечиться в Башкирию на кумыс, в Москве его догнало письмо от Софьи Андреевны, переданное с ее братом Степаном Берсом, который затем сопровождал Толстого в поездке:

«Посылаю тебе, милый Лёвочка, опомнившегося Стёпу и образок, который всегда, везде был с тобой и потому и теперь пускай будет. Ты хоть и удивишься, что я тебе его посылаю, но мне будет приятно, если ты его возьмешь и сбережешь».

Внимательная переписчица романа «Война и мир», к тому времени уже заверщенного, жена Толстого наверняка видела в этом поступке свою символику. Прототипом княжны Марьи Болконской была мать Толстого – Мария Николаевна Толстая, урожденная княжна Волконская. Передавая мужу забытый им образок «Трех радостей», Софья Андреевна как бы тонко намекала на свою незримую связь и с самым любимым Толстым женским образом его романа, и с самой дорогой для него женщиной в мире – его матерью. В этом жесте она, жена, сливалась с образами сестры и матери...

Софья Андреевна всегда выделяла этот образок и молилась перед ним так же часто, как перед большим образом Спасителя, о чем она сообщает в дневнике. Она пишет, что этот образок возрождал в ней чувство «девичьей чистоты». Но скорее всего ничуть не меньше ее привлекала тема Святого семейства. Мария как Дева наиболее проявлена в «Сикстинской

Мадонне», а в «Мадонне в кресле» более всего выражена материнская составляющая. В русской же копии, принадлежавшей Толстому, эта составляющая подчеркнута еще больше.

После того как Толстой в конце семидесятых – начале восьмидесятых годов разочаровался в церковной вере, он отказался от всех своих икон. Вместе с иконой «Трех радостей» они перешли на домашнюю половину его жены, которая сохранила их даже в революционные годы. Примечательно, что именно в это время (конец семидесятых – начало восьмидесятых) начинается неразрешимый конфликт в семье, не прекращавшийся до самой смерти писателя.

Образок «Трех радостей» был связан в душе Толстого не только с его любимой тетенькой. Такая же икона, но гораздо большего размера (60 × 40 см), висела в склепе на церковном кладбище в селе Кочаки, где в 1830 году была похоронена мать Толстого. Икона была украдена из склепа в 1938 году, но сохранилось ее описание, сделанное кладбищенским сторожем, отец которого служил священником в Никольском храме в Кочаках. Она была «в деревянной раме желтого цвета и изображала копию с Мадонны Рафаэля – Божия Матерь с младенцем на руках и Иоанн Креститель. Наверху надпись: “Икона Божьей Матери трех радостей”».

ТАЙНА МАТЕРИ

Мы много знаем о матери Льва Толстого. Мы знаем, что не было в мире другой женщины, которая оказывала бы такое сильное влияние на его религиозное чувство. Но понять суть этого влияния трудно.

Между тем в этой *тайне матери*, возможно, заключено объяснение того, что мы называем «религией Толстого», неважно – принимаем мы эту религию или сурово отрицаем.

Толстой боготворил свою мать. Он молился на нее. «Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне», – сообщает он.

Одним из самых важных религиозных принципов Толстого был отказ от Бога-Личности, Бога Живого, его убеждение, что Бог есть «неограниченное всё». Возникает искушение предположить, что в образе матери Толстой восполнял для себя эту болезненную утрату – не иметь возможности *ощутительного* соединения с Богом. Об этом однажды написала из Шамординского монастыря его сестра Мария Николаевна Толстая – полная тезка их матери и к тому же внешне похожая на нее: «... я тебя очень, очень люблю, молюсь за тебя, чувствую, какой ты хороший человек, как ты лучше всех твоих Фетов, Страховых и других. Но всё-таки как жаль, что ты не *православный*, что ты не хочешь *ощутительно* соединиться с Христом... Если бы ты захотел только соединиться с Ним... какое бы ты почувствовал *просветление* и мир в душе твоей и как многое, что тебе теперь непонятно, стало бы тебе ясно, как день».

В образе матери Толстой и восполнял это недостающее звено между безличностным Богом, которого просто невозможно любить, и им самим, Львом Толстым, человеком с крайне повышенной чувствительностью или с тем, что он сам называл *беспредельной потребностью любви* ...

Но здесь мы сталкиваемся с поразительным противоречием. Толстой не знал своей матери. Она умерла после родов Маши в 1830 году, когда Льву не было и двух лет. Ее портреты не сохранились, кроме черного силуэта, на котором, как гадают специалисты, она изображена то ли совсем девочкой, то ли взрослой девушкой. О том, что сестра Маша похожа на нее, Лев знал лишь по свидетельству старших братьев и тетушек.

Конечно, Толстой был великим художником, и ему ничего не стоило вообразить свою мать, чтобы *ощутительно* молиться ей. В конце концов, девушки XIX века могли повально влюбляться в Андрея Болконского, как об этом вспоминала писательница Тэффи. Как же гимназисткой негодовала она на автора «Войны и мира» за то, что князь Андрей у него

визжит, чего в ее представлении быть просто не могло!

Однако здесь возникает второе противоречие. Да, Толстой не помнил своей матери. Он не знал ее лица, ее голоса. Но о личности Марии Николаевны Толстой-Волконской он мог составить себе вполне ясное представление из тех бумаг, что остались после нее и хранились именно в Ясной Поляне. Толстой самым внимательным образом читал эти бумаги, что следует из его «Воспоминаний». Он хорошо знал, какими были реальные отношения между матерью и ее мужем (его отцом), между матерью и отцом (его дедом). Собственно, личность Марии Николаевны и была восстановлена будущими биографами Толстого из этих бумаг. Это ее проза, ее письма, ее дневник. И всё это Толстой хорошо *знал*.

Но зачем-то он *придумал* себе мать совсем не такой, какой она была на самом деле. Великий реалист, заставлявший князя Андрея визжать, а Наташу Ростову – тщательно мыть уши перед первым балом, Толстой оказался совершенным идеалистом в создании мифа о матери.

Начало сотворения этого мифа – в «Детстве»; его продолжение – в «Войне и мире»; его завершение – тот загадочный культ матери, который Толстой исповедовал в старости.

Когда в 1908 году Толстому сказали, каким удивительным человеком была Мария Николаевна, он, едва сдерживая слезы, возразил:

– Ну, уж этого я не знаю; я только знаю, что у меня есть *culte* к ней.

В это же время он пишет в дневнике: «Не могу без слез говорить о моей матери». И – чуть раньше: «Нынче утром обхожу сад и, как всегда, вспоминаю о матери, о “маменьке”, которую я совсем не помню, но которая осталась для меня святым идеалом».

«Не знаю»... «знаю»... «вспоминаю»... «не помню»... Каждый раз, говоря о матери, Толстой словно сознательно заставлял себя напрягать свое мощное воображение, свое поэтическое чувство там, где факты подсказывали вполне ясные ответы. С Богом Толстой поступал как раз противоположным образом: он пытался соединиться с Ним мыслью, а не *ощутительно*.

Непостижимого Бога он старался постичь умом, а земной и вполне постижимый образ Марии Николаевны он наделял неземными чертами и делал святым идеалом женщину, о которой сохранилось немало живых свидетельств, говорящих, что Мария Николаевна хотя и была личностью незаурядной для своего времени, но точно не святой.

Ее отец Николай Сергеевич Волконский был умным и гордым человеком, прекрасным военным чиновником и еще более замечательным помещиком. Существует легенда (возможно, что и вполне достоверная), которую очень любил его знаменитый внук, в молодости не просто уважавший своего деда, но и стремившийся ему подражать. Будто бы Волконский отказался жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгардт, сказав: «С чего бы он взял, чтобы я женился на его б...» Отзвук этой легенды мы найдем в повести «Отец Сергей»: князь Касатский узнаёт, что любимая девушка – любовница императора, и это решительно меняет его судьбу. Князь Волконский служил в царствование Екатерины II и Павла I. Он то бывал близок ко двору, то подвергался опале. Завершил службу в качестве военного губернатора Архангельска и уволился в чине генерала от инфантерии. Вероятно, это было связано с тем, что вступивший на престол Павел недоверчиво относился к офицерству, выдвинувшемуся в царствование его матери.

И на то были основания. Н.С.Волконский не был фрондером, но был человеком независимым. Старый князь Волконский в «Войне и мире» списан с него довольно точно. Это, в частности, касается и его религиозных воззрений.

«Николай Сергеевич, – пишет в ставшей библиографической редкостью книге “Мать и дед Л.Н.Толстого” старший сын писателя Сергей Львович Толстой, – не только не был богомолен, но был равнодушен к православию и даже в душе – вольнодумцем (*libre penseur*). Это следует из подбора оставшихся после него книг и из того, что в Ясной Поляне не осталось никаких следов от какого бы то ни было отношения его к православию. Между тем при его богатстве он легко мог построить церковь в Ясной Поляне – на деревне или у себя на усадьбе; он этого не сделал, а строил дома и хозяйственные постройки. Конечно, он

исполнял церковные обряды, считая, что так нужно, но, вероятно, он относился к ним только формально.

Возможно, что Николай Сергеевич был масоном; намеком на это может служить нахождение в его библиотеке старинного масонского песенника 1762 года вместе со статутами масонов».

Был ли Николай Сергеевич масоном, нам неизвестно. Но хорошим хозяином – был. После смерти он оставил дочери образцовое имение Ясная Поляна (Ясные Поляны, Ясное) с красивой усадьбой, разбитой в стиле парадиза XVIII века, с английским парком, системой искусственных прудов, недостроенным трехэтажным барским домом и полностью завершенными хозяйственными постройками, о которых его внук Лев Толстой потом писал: «Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны».

Тот факт, что Николай Сергеевич так и не построил на деревне своего храма, говорит не столько о его равнодушии к религии, сколько о хозяйственных приоритетах. К этому же стоит отнести и то, что барский дом он не достроил, а вот хозяйственные постройки завершил. Его зять, Николай Ильич Толстой, тоже не позаботился о строительстве в Ясной Поляне храма, но вот в купленном им незадолго до смерти имении Пирогово церковь все-таки заложил – слишком далеки были от деревни другие приходы. Свой приход повышал статус нового села, следовательно, и самого имения; кроме того, служил к укреплению нравственности крестьян.

«Дед мой считался очень строгим хозяином, – пишет в своих поздних “Воспоминаниях” Лев Толстой, – но я никогда не слышал рассказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я думаю, что они были, но восторженное уважение к важности и разумности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто расспрашивал про него, что хотя я и слышал осуждения моего отца, я слышал только похвалы уму, хозяйственности и заботе о крестьянах и, в особенности, огромной дворне моего деда. Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы. По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы. Еще более он заботился, как всякий умный помещик того времени, о благосостоянии крестьян, и они благоденствовали, тем более что высокое положение деда, внушая уважение становым, исправникам и заседателям, избавляло их от притеснения начальства».

О деде Толстого можно судить по сохранившейся полулегенде-полуистории: Александр I, проезжая мимо Ясной Поляны, обещал заехать к Волконскому, но проспал станцию; тогда Волконский немедленно запряг лошадей, догнал императора и уже из-под Тулы привез его к себе домой.

Волконский рано овдовел. Его жена Екатерина Дмитриевна (урожденная княжна Трубецкая) умерла в 1792 году, через два года после рождения дочери Марии, которая оказалась единственным ребенком (другая дочь умерла в детстве) и наследницей своего властного отца. Мария Николаевна стала полусиротой (без матери) в том же возрасте, что и ее младший сын Лев. Возможно, что это тоже как-то объединяло Льва Толстого с образом его матери.

В биографии Марии Николаевны Волконской есть один темный период. Непонятно, кто именно воспитывал ее с 1792 по 1799 год, когда отец по долгу службы находился в постоянных разъездах. Интересно, что отец Льва Толстого, Николай Ильич, до своей смерти в 1837 году тоже постоянно и надолго отлучался из Ясной Поляны. Этого требовали заботы о приобретенных им новых имениях. Таким образом, до восьмилетнего возраста Лев Толстой тоже хотя и жил с отцом, но воспитывался не им, а бабушкой, тетюшками и, разумеется, учителями и гувернерами.

Поселившись навсегда в Ясной Поляне, Н.С.Волконский крепко взялся за воспитание единственной дочери и за двадцать два года, до своей смерти в 1821 году, создал из нее хотя и не свое полное подобие, но личность незаурядную.

О том, как отец воспитывал дочь, мы знаем из двух ее сохранившихся тетрадок. Одна

озаглавлена «Некоторые примечания, ведущие к познанию хлебопашества в сельце Ясная Поляна». Сведения тщательно записаны печатными буквами, вероятно, под диктовку Николая Сергеевича. Вторая тетрадь имеет название «Примечания о Математической, Физической и Политической Географиях». На обложке, по-видимому, рукой Николая Сергеевича надписано: «Для княжны Волконской». Направление понятно.

«Математика – великое дело, моя сударыня, – говорит княжне Марье старый князь Болконский в “Войне и мире”. – А чтоб ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу».

Кроме отца у Марии Николаевны были и другие учителя. Она получила прекрасное образование: знала три иностранных языка и, что было редкостью для женщин ее круга, замечательно говорила и писала по-русски, а не только по-французски.

Хозяйственные заботы не мешали Волконскому предаваться эстетическим удовольствиям, которые занимали в его жизни и жизни дочери важное место. «Вероятно, он также очень любил музыку, – писал в «Воспоминаниях» Лев Толстой, – потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный, в три обхвата, вяз, росший в клину липовой аллеи и вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам он гулял по аллее, слушая музыку. Охоты он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения...»

Его дочь Мария Николаевна была натурой одаренной. Ее перу принадлежит не только ярким и живым языком написанный дневник, рассказывающий о путешествии с отцом в Петербург, но и подражательная, в духе Ричардсона, повесть в двух частях «Русская Памела, или Нет правила без исключения».

Наиболее важным документом для понимания ее взглядов, в том числе и на религию, является дневник, озаглавленный «Дневная Запись для собственной памяти». Перед нами предстает личность, совсем не похожая на княжну Марью. В ней нет ни тени религиозной экзальтации, ни малейшего желания уйти из мира и скрыться в монастыре, как о том мечтает любимая героиня Толстого, нет даже просто интереса к религиозным вопросам. Разумеется, нельзя сказать, что Мария Николаевна была атеисткой. Но и глубоко верующим человеком она не была.

В Петербург из Москвы Волконские выехали 18 июня 1810 года. Марии тогда было девятнадцать лет. Из дневника видно, что, несмотря на молодость, у нее был зоркий глаз, прекрасное чутье на людей и несомненный литературный дар. При иных условиях она могла бы стать крупной писательницей. А самое главное – она была натурой *умственной*, критической и совсем не запуганной отцом, как княжна Марья. Это был сильный и самостоятельный характер, под стать ее отцу.

С княжной Марьей ее роднила только непривлекательная наружность. Московский почт-директор А.Я.Булгаков писал своему брату, петербургскому почт-директору К.Я.Булгакову в 1822 году: «Княжна Волконская, дочь покойного Николая Сергеевича, с большими бровями, старая девушка, дурная собой...» Однако в дневнике молодой Марии Николаевны не заметно, чтобы она сильно переживала по поводу своей внешности, а тем более хотела бы уйти из мира в затвор. Наверное, переживания были, но они тщательно скрыты, что говорит об огромном самообладании, несомненно воспитанном в ней родителем.

Юная особа, впервые выехавшая в дальнее для нее путешествие, она смотрит на мир смело и открыто, не боясь выносить суждений и оценивать жизнь критически.

«21-го числа отправились мы опять в путь в седьмом часу. Отъехав около 25 верст, увидели мы колодезь, очень хорошо отделанный, и как мы спросили, то нам сказали, что это есть колодезь святой воды и что тут близко часовня, в которой находится явленный образ Казанской Богородицы. Услышав сие, велели мы подъехать к колодезю, вышли из кареты, выпили несколько воды и пошли пешком до часовни; она очень хорошо построена, и хотя в простом вкусе, но вид ее внушает почтение. Мы вошли, приложились к образу, и батюшка поговорил со сторожем, который подтвердил нам предание о явлении сего образа около

двухсот лет тому назад. Хотя невероятно, чтоб в столь неотдаленном времени творились еще чудеса, но как народ не может постигать умственного обожания Бога, то такие предания производят в нем большое впечатление...»

Взгляд Марии Николаевны на «предания» холоден и ироничен. Это взгляд молодой аристократки, столкнувшейся с чуждым ей народным культом и имеющей всему готовое объяснение. Она знает, что и двести лет назад чудес быть не могло, но главное – что эти чудеса нужны только невежественному народу, но уж никак не ей, постигшей «умственное обожание Бога».

Мария Николаевна Волконская, хоть ей и девятнадцать, была уже развитой девушкой. Для нее Великий Новгород – город, «который был столицей России и часто противился великим князьям». Она высказывает пророческое предположение, что народы Африки когда-нибудь наводнят Европу и «изобретения и труды наших современников послужат добычей диких народов». Она восторженно отзывалась о Екатерине II. В Петербурге отец возит ее не на балы, а в Эрмитаж, в Академию, в Кунсткамеру, на стеклянную, шпалерную и ткацкую фабрики, на прусский корабль, где ее восхищает вежливость иностранных матросов, на французские пьесы «Медея» и «Свадьба Фигаро».

После посещения Гостиного двора и различных лавок они заезжают в Александро-Невский монастырь, где недавно построили новую церковь. «Сия церковь чрезвычайной красоты и великолепия; она построена в простом и благородном вкусе. Все образа, которые в ней находятся, суть мастерские дела лучших живописцев... Мы посмотрели также монументы и отдали долг почтения праху Суворова», – пишет Мария Николаевна в дневнике, ни слова ни говоря о мощах св. Александра Невского.

Были они и в Исаакиевской церкви. «Внутренность ее понравилась мне больше, нежели наружность. Она чрезвычайно великолепна, убрана мрамором, и в ней есть прекрасные барельефы...»

Через несколько дней они с отцом отправились в Исаакиевский собор уже на обедню, но почему-то опоздали. «Как мы тут стояли, прошла мимо нас дама, которая узнала батюшку. Это была Анна Петровна Самарина (фрейлина Екатерины. – П.Б.); она очень обрадовалась, встретивши нас, обласкала меня и принудила нас сесть с нею в карету и ехать к ней». Это вполне светское отношение молодой барышни к таинству богослужения еще более отчетливо проявляется в ее дневниковой записи двумя днями раньше, когда она, находясь в гостях у близких знакомых отца князей Голицыных, с удовольствием слушает, как князья Голицыны после сытного обеда поют «Отче наш» и «Да исправится» «как самые лучшие певчие».

Несомненно, Мария Николаевна Волконская уже в молодые годы была очень умной женщиной. В ее дневнике записаны мысли, которые не мог не оценить ее будущий великий сын:

«В ранней молодости мы ищем всё вне себя. Мы призываем счастье, обращаясь ко всему, что нас окружает; но мало по малу всё нас отсылает внутрь самих себя».

«Иногда не предмет нашей любви делает нам честь, а то, что мы в нем любим».

«Нередко мы могли бы устоять против наших собственных страстей, но нас увлекают страсти других людей».

От кого из своих близких родных Лев Толстой мог перенять аналитический склад ума и независимость суждений, которые поражали его современников и в которых противники Льва Толстого находили пресловутую «гордыню ума»?

Во-первых – от деда Николая Сергеевича Волконского. «Ежели кому нужно, то тот из Москвы 150 верст доедет до Лысых гор, – говорит в «Войне и мире» старый князь, – а мне ничего и никого не нужно».

Во-вторых – от матери, дневник которой он читал.

В-третьих – от старших братьев, Николая и Сергея.

Когда произошло обращение Толстого к вере? Во всяком случае, это точно не было связано с непосредственным влиянием на него матери, а тем более старших братьев, которых

она отчасти успела воспитать. В «Исповеди», в этом поворотном для мировоззрения Льва Толстого произведении, мать не упоминается, за исключением единственного места, к которому мы вернемся. Нигде там не говорится, что старшие братья как-то помогли ему обрести веру в Бога.

Скорее, они влияли на него противоположным образом: «Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть – всё это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны».

Конечно, речь здесь идет не только о старших братьях. Но и о старших братьях тоже. Ведь именно старшие братья были самыми близкими «большими».

«Николеньку я уважал, с Митенькой я был товарищем, но Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, *хотел быть им* ». «Николеньку я любил, а Сережей восхищался...» «С Николенькой мне хотелось быть, говорить, думать; с Сережей мне хотелось только подражать ему».

«Зеленая палочка»... Да, именно Николенька придумал эту игру в «муравейное братство». Именно он «объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. (Вероятно, это были Моравские братья, о которых он слышал или читал, но на нашем языке это были муравейные братья.) И я помню, что слово “муравейные” особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились на стулья, загораживали их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу...»

С тайной «муравейных братьев» была связана и другая детская тайна. Эта тайна, «как он (Николенька. – П.Б.) нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю Старого Заказа...» Известно, что Толстой завещал похоронить себя именно в этом месте, и это завещание было выполнено. Но продолжим цитату из его «Воспоминаний»: «... на краю Старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь закопать мой труп, просил в память Николеньки закопать меня».

По сути Толстой завещает предать земле «в том месте» самое-самое, с его точки зрения, ненужное, бесполезное.

Между тем историю о Моравских братьях, чешских масонах, могла рассказать Николеньке только его мать Мария Николаевна. Она была «большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа», – сообщает Толстой. В свою очередь, об этом мог рассказать ей отец, дед Толстого, который увлекался масонством.

Эта история вместе с воспоминаниями о невинной детской игре в «муравейных братьев», вероятно, подпитывала живыми соками в позднем Толстом его мысли о всеобщей любви и людском братстве. И он мог не обращать внимания на явное противоречие между игрой, где дети *отгораживались* от других людей, а не объединялись с ними, и тем, что проповедовал взрослый Лев Толстой.

«Никакой розни в мирозерцании между отцом и дочерью, как это мы видим в “Войне и мире” (например, в религиозных вопросах), в дневнике Марии Николаевны не заметно», – пишет биограф Толстого Н.Н.Гусев, и с ним придется согласиться.

Мария Николаевна скончалась в том же году, когда Пушкин написал «Мадонну» («Не множеством картин старинных мастеров...»). Толстой любил это стихотворение. Так не видел ли он в личности матери «чистойшей прелести чистейший образец»? Нет, и этого нельзя сказать. Слишком живой и непосредственной была его молитва к «маменьке»! Толстой молился своей реальной матери, воспринимая себя как плоть от плоти и кровь от крови ее.

Толстой знал, что маменька любила его больше всех сыновей, после того как Николенька, став большим мальчиком, отошел от ее прямого влияния. Она называла своего Лёвочку *mon petit Benjamin*². Конечно, Толстой не мог не задумываться над тем, откуда взялось это странное материнское прозвище. Понятно, что к имени Лев оно не имело отношения. Это подтверждается хотя бы повестью «Детство», где Толстой вывел себя под именем старшего брата Николая, но при этом оставил свое домашнее прозвище Benjamin. Вениамин – имя, заимствованное из Библии. Оно происходит из древнееврейского языка и означает «счастливчик, везунчик» (в переводе – «сын правой руки»). По Библии Вениамин был самым младшим сыном Иакова. Его мать Рахиль, которая умерла при родах, назвала его Бенони – «сын боли», но Иаков изменил это имя на Вениамин.

В «Записках сумасшедшего» Толстой вспоминает о первых детских размышлениях: «Я люблю няню; няня любит меня и Митеньку; а я люблю Митеньку; а Митенька любит меня и няню. А няню любит Тарас; а я люблю Тараса, и Митенька любит. А няня любит маму, и меня, и папу. Все любят, и всем хорошо».

Ранняя смерть матери, которой он совсем не знал, не помнил, тем не менее до такой степени потрясала Толстого, что именно эту смерть он сделает ключевой сценой в повести «Детство» и заставит себя самого пережить ее въяве, как если бы он находился тогда в сознательном возрасте. Со смертью матери для Николеньки Иртеньева заканчивается его детство, хотя детство самого Льва Толстого в это время еще только начинается.

В религиозном чувстве Толстого к своей матери есть какая-то глубокая загадка, которую мы не решим рациональным путем. Но можно осторожно предположить, что это религиозное чувство именно в силу своей непостижимости как бы увлажняло слишком сухой рационализм толстовской религии, или толстовства.

Он мог не посещать церковь, мог отказаться от икон. Но совсем отказаться от мистической стороны религии он не мог. Потому что без мистики любая религия не просто теряет очарование, а теряет всякий смысл. На месте отвергнутого Богочеловека обязательно должен возникнуть другой Богочеловек.

Да... Ты, маменька, ты приласкай меня!

Уже один факт, что Толстой верил в чудесные последствия от молитвы *к мертвому человеку*, говорит о многом.

В подтверждение нашего предположения приведем самое сильное место в «Исповеди», где Толстой отказывается от попытки умственного обоснования религии и пишет о ней художественно – как великий писатель:

«Но опять и опять с разных сторон я приходил к тому же признанию того, что не мог же я без всякого повода, причины и смысла явиться на свет, что не могу я быть таким выпавшим из гнезда птенцом, каким я себя чувствовал. Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пишу в высокой траве, но я пишу оттого, что знаю, что меня выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? – Опять Бог».

Глава вторая ИВАН И ИОАНН

Лишь святой может вполне понять святого.
Симеон Новый Богослов

НЕЗАМЕТНЫЙ ВАНЯ

² Мой маленький Веньямин (*франц.*).

Ваня Сергиев, родившийся в селе Суре Пинежского уезда Архангельской губернии в ночь на 19 октября 1829 года, был в общем-то самым обыкновенным ребенком. Хотя в житийной литературе об Иоанне Кронштадтском звучат намеки на некоторые особенности тихого мальчика, выделявшегося среди сверстников повышенным религиозным чувством, для биографов отца Иоанна не только детство, но и отрочество, и даже юность величайшего из представителей белого православного духовенства до обидного скудны интересными фактами и подробностями.

Просто жил да был сын сельского псаломщика Ваня... Он закончил духовное училище и семинарию в Архангельске, за хорошую учебу и примерное поведение был принят на казенный кошт в Петербургскую духовную академию, где тоже отличался прилежанием и примерным поведением. Он не гулял, не своевольничал, но и успехов в учебе особых не показывал, закончив академию одним из последних учеников. В конце учебы Иван совершил расчетливый, но понятный для духовного сословия поступок. На вечеринке в академии (до этого на вечеринках не бывал) познакомился с уже не юной и не отличавшейся красотой дочерью протоиерея из Кронштадта Лизой Несвицкой и тотчас сделал ей предложение. Сам Несвицкий уходил на покой, таким образом место освобождалось для зятя. Это был обычный церковный брак по расчету, скрепленный брачным договором, по которому зять обязался содержать и жену, и самого Несвицкого, и двух других его дочерей до совершеннолетия. За это он немедленно рукополагался из дьякона во священники, что случилось 12 декабря 1855 года в Александро-Невском монастыре при участии епископа Винницкого преосвященного отца Христофора...

С точки зрения светской морали какая же это была неинтересная жизнь! Сравните ее с молодостью Льва Толстого, который был всего на год старше Ивана Сергиева.

В двадцать пять лет успел повоевать на Кавказе и отправлялся в действующую армию сначала в Румынию, а затем в Крым, на оборону Севастополя. До этого похаживал в Ясной Поляне, доставшейся ему при разделе наследства между братьями в 1847 году. Еще раньше начудесил в Казани, выводя из себя профессоров Казанского университета, за что угодил в карцер. К семнадцати годам этот юноша познал не только женщин, но и венерическую болезнь под названием *гоанарей*. К середине 50-х прославился как писатель повестью «Детство». Недалеко впереди были «Севастопольские рассказы». Прочитав первый рассказ, Александр II будто бы срочно отправил фельдъегеря в Крым, чтобы талантливого поручика отвели служить в более безопасное место. Тогда же Толстой начал вести дневник и страстно мечтал о женитьбе. Но конечно, не такой, как у Ивана Сергиева!

В 1888 году Иван Ильич Сергиев, уже знаменитый отец Иоанн Кронштадтский, получил замечательную возможность создать привлекательный образ своего детства, как это сделал Толстой: журнал «Север» попросил дать автобиографию и, конечно, не стеснял в объеме. Отец Иоанн не обладал литературным талантом, впрочем, иногда неожиданно и потому особенно заметно вспыхивавшим в его дневнике. Но что мешало ему нанять для этого дела какого-нибудь молодого, нуждающегося автора?

«Автобиография» (единственная!) отца Иоанна занимает страничку журнального формата и начинается так: «Я сын причетника села Сурского, Пинежского уезда, Архангельской губернии. С самого раннего детства, как только я помню себя, лет четырех или пяти, а может быть, и менее, родители приучили меня к молитве и своим религиозным настроением сделали из меня религиозно настроенного мальчика. Дома, на шестом году, отец купил для меня букварь, и мать стала преподавать мне азбуку; но грамота давалась мне туго, что было причиной немалой моей скорби».

И опять, на светский вкус, при чтении этого текста от тоски повеситься можно! А ведь имя Кронштадтского гремело по стране. В его портовый город стекались паломники. Ему завидовали не только рядовые священники, но и митрополиты. К нему пристально и недоверчиво присматривался один из главных церковных авторитетов того времени Феофан Затворник, а обер-прокурор Константин Победоносцев учинил расследование по делу

странного кронштадтского батюшки и вызывал его на собеседование.

«Долго не давалась мне эта мудрость, – сообщает отец Иоанн о годах своего учения, – но будучи приучен отцом и матерью к молитве, скорбя о неуспехах своего учения, я горячо молился Богу, чтобы Он дал мне разум, – и я помню, как вдруг спала точно пелена с моего ума, и я стал хорошо понимать учение».

Вокруг него кипели нешуточные страсти, а в «Автобиографии» более чем скромно говорится, как его отец, сурский псаломщик, «получал, конечно, самое маленькое жалование, так что жить нам, должно быть, приходилось страшно трудно. Я уже понимал тягостное положение своих родителей, и поэтому моя непонятливость к учению была действительным несчастьем. О значении учения для моего будущего я думал мало и печаловался особенно о том, что отец напрасно тратит на мое содержание свои последние средства».

Тогда на Ваню «напала тоска». «Среди сверстников по классу я не находил, да и не искал себе поддержки или помощи; они все были способнее меня, и я был последним учеником». «Вот тут-то и обратился я за помощью к Вседержителю, – пишет он, – и во мне произошла перемена». Через короткое время Иван стал одним из первых учеников, был переведен в семинарию, затем послан в Петербургскую академию на казенный счет.

О его учебе в академии не сказано почти ничего.

«В академическом правлении тогда занимали места письмоводителей студенты за самую ничтожную плату (около 10 рублей в месяц), и я с радостью согласился на предложение секретаря академического правления занять это место, чтобы отсылать эти средства матери». Мать его тогда особенно нуждалась в деньгах, потому что, «будучи еще в семинарии, я лишился нежно любимого отца»³.

Всего два-три слова сказано и о женитьбе на Несвицкой.

И вот он уже священник. «С первых же дней своего высокого служения церкви я поставил себе за правило: сколь возможно искренне относиться к своему делу, пастырству и священнослужению, строго следить за своей внутренней жизнью. С этой целью прежде всего я принялся за чтение Священного писания Ветхого и Нового Завета, извлекая из него всё назидательное для себя как для человека вообще и священника в особенности. Потом я стал вести дневник, в котором записывал свою борьбу с помыслами и страстями, свои покаянные чувства, свои тайные молитвы к Богу и свои благодарные чувства за избавление от искушений, скорбей и напастей».

Далее короткий отчет о его воскресных и праздничных проповедях и об устройстве в Кронштадте Дома трудолюбия... Текст завершается словами: «Вот и всё».

Во всей «Автобиографии» есть только два момента, на которые стоит обратить самое пристальное внимание. Первый – это тема *одиночества* этого человека, у которого с раннего детства не было ни одного близкого друга. Мы ничего не знаем о его близких товарищах ни в селе Суре, ни в Архангельске, ни в Петербурге...

Журналисты жадно охотились за любыми сведениями о кронштадтской знаменитости. В 1913 году, уже после смерти отца Иоанна, в Петербурге вышли две книги: «Отец Иоанн Кронштадтский в духовной семинарии» и «Отец Иоанн Кронштадтский в духовной академии». Похожие как близнецы, эти книги столь же неразличимы, сколь пусты по части интересных фактов.

Ну ладно архангельские семинаристы, разъехавшиеся по неизвестным приходам или вовсе, как часто бывало, бросившие духовное поприще... Но студенты Петербургской академии! Почему почти никто из них, за исключением отца Н.Г.Георгиевского, не оставил воспоминаний об учебе в одних стенах с будущей ярчайшей звездой, настоящим героем русской церкви, которого В.В.Розанов однажды сравнил с Жанной д'Арк? И это при том, что курс, на котором учился Иван Сергиев, по отзывам преподавателей и историков академии,

³ Ошибка памяти. Его отец скончался в 1851 году, когда Иван Сергиев уже поступил в академию.

был выдающимся и талантливым. В его составе – будущие епископ Минский и Туровский Варлаам (Чернявский), епископ Аккерманский Аркадий (Филонов), епископ Елизаветградский Мемнон (Вишневецкий); церковный историк М.О.Коялович, историк и апологет А.И.Предтеченский; известные протоиереи Иоанн Толмачев и Дмитрий Соколов.

Ответ прост. И в семинарии, и в академии Иван Ильич Сергиев был самым незаметным студентом.

Георгиевский пишет: «Мы с ним сидели рядом и в аудитории, и в занятой комнате. Отец Иоанн, будучи студентом, отличался необыкновенной тихостью и смиренным характером. Отец Иоанн отличался редкой набожностью. После обычной вечерней молитвы все мы, студенты, ложились спать, а он еще долго, стоя на коленях, молился перед иконою у своей кровати».

Так что же мы знаем о его учебе в академии?

Любил греться у печки («камелька»).

Любил гулять в саду один.

Хотел стать миссионером в Сибири или Америке.

Как у письмоводителя, у него была своя комната.

Первый заработок потратил на толкование Евангелия Иоанна Златоуста.

В книге одного из первых биографов отца Иоанна Николая Большакова «Источник живой воды» еще глухо упоминается, что на четвертом курсе академии Иван Сергиев впал в необъяснимую депрессию, от которой излечился благодаря молитвам.

Вот и всё.

О семинарском периоде не осталось вовсе никаких воспоминаний. Впрочем, известно, что в семинарии Иван был назначен старшим над певчими, публикой самой независимой во всякой бурсе, а попросту пьющей и распущенной, о чем писал еще Н.Г.Помяловский. Эта среда оказалась опасна для Вани, «но спасла его огромная любовь к матери и помощь Божия».

Возникает впечатление, что до 1855 года, то есть до рукоположения во священство, биография Ивана Сергиева представляет собой сплошное белое пятно. «Знаем мы о нем, к сожалению, мало», – признается автор одной из лучших книг об Иоанне Кронштадтском И.К.Сурский (Илляшевич). Как будто до священства Иван не был не то чтобы выдающейся, но даже просто личностью. Человек в футляре. Ходячая набожность.

Но тогда почему же, едва он надевает на себя одежды священника, в Кронштадте вдруг вспыхивает духовный маяк такой ослепительной мощи, что в свет этот сначала многие просто не верят? Не может так сильно гореть обыкновенный человек, простой русский священник!

И здесь мы должны снова вернуться к «Автобиографии», чтобы не пропустить в ней второй очень важный момент.

«С первых же дней своего высокого служения церкви я поставил себе за правило: сколь возможно искренне относиться к своему делу, пастырству и священнослужению».

Запомните это слово: «искренне».

ИВАН ПЕРВЫЙ

Глядя на чудо превращения тихого семинариста, а затем не менее скромного студента во Всенародного Батюшку, о котором не шутя говорили, что «вся Россия – это Кронштадт отца Иоанна», невольно возникает искушение заподозрить в этом элемент лицедейства.

Кстати, в этом подозревали и позднего Толстого, который из барина, аристократа превратился в «мужика». Только тут было превращение наоборот. В первом случае – непомерное возвышение социального образа, во втором – слишком наглядное (не на публику ли?) его снижение. В первом случае из сына бедного дьячка из захолустной Суры возникает отец Иоанн, сияющий – в переносном и прямом смысле – дорогими облачениями, орденами с бриллиантами – подарками богатых поклонников и дарами императорской семьи. Во

втором – из родовитого аристократа, впитавшего в себя кровь нескольких знатнейших российских фамилий – Толстых, Волконских, Трубецких и т. д., – возникает «мужичок». Если вспомнить, что эпоха Серебряного века была временем всевозможных масок и личин, то вроде бы всё и становится на свои места.

Игра. Театр.

Но этот путь понимания Иоанна Кронштадтского оставим тем, для кого весь мир – театр и все люди – актеры. Отец Иоанн, как и Лев Толстой, не был актером.

Тихий мальчик? Но почему именно на этого тихого мальчика чуть ли не с первого дня его рождения словно обращен невидимый перст Божий?

Итак, Ваня родился в ночь на 19 октября 1829 года в месте слияния рек Пинеги и Суры в 500 верстах от Белого моря.

Почти все биографы отца Иоанна начинают свои книги с описания величественной красоты русского Севера и бытовой бедности семьи Сергиевых, дьячка местной церкви Ильи Михайловича и его жены Феодоры Власьевны (в девичестве Порохиной). Автор одной из наиболее интересных прижизненных биографий Иоанна Кронштадтского иеромонах Михаил (Семенов) тоже делает акцент на контрасте между поражающей глаз красотой русского Севера и бросающейся в глаза нищетой жизни его обитателей. Именно этот контраст, считает иеромонах, закалил характер будущего великого пастыря.

«Трудно даже на красивом севере выбрать что-нибудь более красивое, так сказать, нетронутое, чем берега Пинеги. Это постоянная смена самых разнообразных пейзажей. Пустые поместья, попеременно то высокие, покрытые лесами, то низкие берега, луга. Ни поселка, ни случайной человеческой души».

Далее Семенов цитирует книгу одной из спутниц отца Иоанна в ежегодных путешествиях на родину А.Ф.Нарцизовой: «Далеко вглубь – ровная луговая полоса. Немного дальше – громадные горы железной руды, совсем красного цвета, потом ослепительно белые громады алебаstra и гипса. Боже мой, что это за горы! То они идут на целую версту неприступными крепостями и вдруг обрываются глубокими ущельями, покрытыми густой зеленью, то возвышаются громадными утесами, которые, того и гляди, готовы рухнуть над вашими головами; то высятся прямо в небо как колоссальные замки самых фантастических форм и очертаний; у подошвы их понаделаны природой причудливые пещеры, а надо всем этим волшебным миром высоко наверху стоит дремучий лес, а еще выше светлое, синее небо. Никакой художник в мире не в силах начертать этой дивной картины, которую Господь создал единым словом Своим».

«Красивый угол... – соглашается Семенов, – но в то же время это и один из самых захудалых уголков всюду темного и бедного Пинежского края... И уж, конечно, далеко не богата была в убогом селе хижина псаломщика Ильи Сергиева... Это неприкрытая, явная нищета, крайняя бедность...»

Подобное начало биографий – искусительный, но неправильный путь. Иоанн Кронштадтский родился на Севере, а Лев Толстой – чуть южнее средней полосы России. Первый появился в бедной семье, второй – в сравнительно обеспеченной. Перед глазами одного мальчика были высокие горы, покрытые дремучими лесами; перед взорами второго – тульская лесостепь, тоже по-своему прекрасная, особенно летом. Второй с первых моментов самосознания знал о своей дворянской родовитости, рассматривая на стенах яснополянского дома потемневшие от времени портреты предков. Первый тоже был непрост: по крайней мере сто пятьдесят лет почти все его предки – причем по обеим родительским линиям – были священниками.

Разумеется, это в какой-то степени определило характеры обоих, их нравственные и эстетические предпочтения. К тому же оба горячо любили свою малую родину и всю жизнь стремились к ней. Толстой не смог бы прожить без своей Ясной Поляны, а Кронштадтский до самой смерти почти ежегодно путешествовал в Суру водным путем, через Финский залив, Ладогу и бассейн северных рек, – путь красивый, но и небезопасный.

В семье Ильи Михайловича Сергиева было шестеро детей, в семье Николая Ильича

Толстого – пятеро. И таких священнических и дворянских семей в России было немало. Из некоторых даже выходили крупные люди. Но не такого масштаба, как Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой!

Гораздо важнее, на наш взгляд, что Ваня Сергиев, будучи первенцем, родился настолько хилым, что родители крестили его в ночь рождения, в полной уверенности, что мальчик вот-вот умрет. Они спешили приготовить Ваню к ангельской жизни, не зная, что ангельский чин тот обретет на земле в ином образе. Мальчика нарекли Иваном в честь святого Иоанна Рыльского, память которого праздновалась на следующий день.

Мальчик выжил. А вот второй сын, Никита, родившийся через год, прожил всего четыре месяца и умер «от хрипоты». И тогда третьего сына, родившегося в 1832 году, родители тоже называют *Иваном*. Этот странный семейный поступок все биографы, как и сам отец Иоанн, объясняют тем, что и через три года родители были уверены, что первый Иван обязательно умрет.

Но умирает не первый Иван, а четвертый сын Василий, скончавшийся в восьмимесячном возрасте «от поноса». В семье остаются два Ивана и младшие девочки Анна и Дарья. Анна и Дарья дожили до преклонного возраста, как и самый старший брат. А вот второй Иван прожил лишь восемнадцать лет. Вернувшись после учебы в семинарии в Суру, он скончался от чахотки в 1850 году, за год до смерти отца, который тоже умер от чахотки. И можно почти не сомневаться в том, что если бы первый Иван не показал каких-то почти чудесных успехов в учебе и не был послан в Петербург, а вернулся бы в Суру, его бы ждала та же гибельная судьба, которая преследовала всю их мужскую линию.

В характере и поведении первого Ивана с самого начала замечалась та самая *тихость*, которая потом отличала его многие годы. Вроде бы, по воспоминаниям односельчан, в Суре как-то выделяли этого мальчика именно за тихий характер. Между тем северный темперамент – не южный, северяне вообще народ сдержанный. Но простые люди, по-видимому, чувствовали в первом Иване какую-то *особенную тихость* и порой просили именно первого сына местного дьячка помолиться за них, грешных, Богу.

Что это было, мы можем только воображать. Какая-то особая незлобивость? Что-то в глазах, в тембре голоса? Во всяком случае, поначалу своим характером Ваня больше походил на отца. Илья Михайлович Сергиев, судя по воспоминаниям родных, был добрым, религиозным и очень больным человеком. Ваня тоже был очень больным мальчиком. В семинарии несколько раз лежал в больнице по случаю хронического катара, простудной горячки, нервной горячки и дважды болел скорбутом, то есть цингой, смертельной тогда на Севере болезнью. От скорбута семинаристов лечили лимонами и усиленным питанием, тем не менее многие из них умирали. Но Ваня и тогда выжил⁴.

В зрелом возрасте отец Иоанн также не отличался крепким здоровьем. Он болел золотухой, страдал от желудочных заболеваний и постоянно терзавшей его душевной слабости, от которой мучился и Толстой, о чем оба не раз писали в своих дневниках. Но если Толстой до старости оставался физически могучим человеком, богатырем, поднимал двухпудовые гири, бегал наперегонки с детьми, катался на коньках и велосипеде, крутился на турнике, то отец Иоанн представлял собой биологическое чудо, не объяснимое с точки зрения физиологии. Он спал по четыре часа в день, питался наспех в гостях во время ежедневных поездок в Петербург или путешествий по России, пренебрежительно относился к своему здоровью, считая, что чрезмерное внимание к телесной стороне жизни есть верный признак безбожия и дьявольского искушения. При этом отец Иоанн дожил до семидесяти девяти лет в непрерывном церковном и общественном служении. И в глубокой старости он выглядел гораздо моложе младшей сестры.

В 1905 году Дарья Ильинична Малкина (в девичестве Сергиева) приехала из Суры к

⁴ Здесь и далее в рассказе о детстве и отрочестве отца Иоанна мы с благодарностью используем разыскания Ю.В.Балакшиной и родственницы Иоанна Кронштадтского, сотрудницы Пушкинского Дома Т.И.Орнатской, опубликованные в церковно-историческом альманахе «Кронштадтский пастырь». Выпуск II. – М., 2010.

отцу Иоанну на празднование 50-летия его пастырства. Она остановилась в Петербурге на квартире своей дочери Анны Семеновны и зятя – священника Ивана Николаевича Орнатского и вскоре тяжело заболела. В Кронштадт была отправлена срочная телеграмма. Отец Иоанн приехал, исповедал сестру, причастил и окропил святой водой помещение.

И тогда, по воспоминаниям духовной дочери отца Иоанна Е.В.Духониной, между братом и сестрой состоялся такой разговор:

– Братик, а сколько тебе лет, ты старше меня или младше?

– Мне семьдесят шесть, а тебе? – отец Иоанн засмеялся.

– А мне восемь шестьдесят (шестьдесят восемь. – П.Б.)⁵. А выгляжу-то я куда старше тебя.

Путешествовавший с отцом Иоанном в Суру художник С.В.Животовский писал: «За всё наше путешествие нам не раз приходилось встречать ровесников отца Иоанна, его однокашников по семинарии. Но какие же это всё дряхлые старики сравнительно с ним: он кажется перед ними бодрый юноша, полный сил и энергии». Это был 1903 год, отцу Иоанну семьдесят четыре...

Конечно, бытовая жизнь простых северян в Суре и прославленного священника в Кронштадте различались по уровню комфорта. К тому времени у отца Иоанна были и своя карета, и даже собственный катер. Но невозможно представить степень физической и психологической нагрузки, которой ежедневно испытывал себя на прочность этот человек. Это была жизнь на износ, какое-то сознательное истребление физического тела!

Оставим пока в стороне его общественную деятельность по устройению в Кронштадте Дома трудолюбия и его невероятно кипучую работу по основанию в России нескольких женских монастырей и подворий, что было абсолютно исключительным фактом для приходского священника. Оставим также в стороне ежедневное посещение им в Кронштадте и Петербурге больных (как правило, смертельно больных) людей, для чего необходимо было каждый божий день пересекать туда и обратно Финский залив, на катере или на саях, при любой погоде. (Однажды в метель зазевавшийся возница на ухабе случайно скинул батюшку с саней и обнаружил это только по приезде в Кронштадт. Вернувшись, он встретил отца Иоанна, который в тяжелой шубе пешком шел по льду Финского залива...) Обратим внимание только на «профессиональные обязанности» отца Иоанна. Вернее, на то, как он эти обязанности понимал.

Пятьдесят три года он ежедневно, в том числе и во время путешествий, служил литургию, исповедовал и причащал невероятное количество людей, тысячи людей. Для этого он ежедневно вставал в четыре часа утра, а спать ложился не раньше двенадцати ночи, иногда позволяя себе и припоздниться, помолиться в одиночестве в саду под открытым небом, что он любил.

Его называли «утренний батюшка», «пасхальный батюшка» за неизменно радостное состояние духа, за удивительную подвижность в службе, что отличает именно пасхальные богослужения. Но более внимательные наблюдатели замечали, что отец Иоанн вообще жил в каком-то запредельно ускоренном темпе, как будто опасаясь не успеть, опоздать куда-то. И это вызывало сложные чувства у людей, которые видели его впервые. Скорость, с какой жил Кронштадтский, порой вызвала раздражение. Невозможно было сконцентрировать внимание на его фигуре, а его многочисленные парадные фотографии, продававшиеся по всей России, по единодушному свидетельству всех, кто знал отца Иоанна, не отражали его личности. Фотографии были постановочные, а внешний облик отца Иоанна всё время изменялся...

Описать внешность отца Иоанна по его словесным портретам почти невозможно. За исключением глаз – ни одной выдающейся черты! Среднего роста, слабого сложения. Редкие волосы, схваченные на затылке косичкой.

⁵ На самом деле родившаяся в 1839 году Дарья Ильинична была младше своего брата на целых десять лет.

Собственно – и всё.

Что касается его серых, «северных» глаз, на которые все обращали внимание, то они разным зрителям представлялись по-разному. Поклонники отца Иоанна видели небесный, лучистый, исполненный неизменного благодушия взгляд, а недоверчивые наблюдатели отмечали, что глаза отца Иоанна были «стальные», «свинцовые». Будущий секретарь Горького Николай Тихонов, в молодости встречавшийся с Кронштадтским, писал, что у него были «проницательные глаза». А сам Горький, тоже в молодости видевший отца Иоанна и даже говоривший с ним, впоследствии утверждал, что «глаза его налиты страхом».

По-видимому, взгляд отца Иоанна во многом зависел от того, на кого он смотрел и кто смотрел на него. Можно даже предположить, что этот взгляд возвращал наблюдателю его собственные представления, надежды и колебания.

И возникает удивительный парадокс. Как тихого мальчика и юношу Ваню Сергиева не смогли запомнить, а затем описать знавшие его в то время люди, так и прославленного священника отца Иоанна определенно не смогли «запортретировать» уже сотни мемуаристов, ибо все они (за редчайшими исключениями) имели дело с постоянно движущейся и непрерывно меняющейся «моделью». Это была уже комета, а не человек!

«Он принадлежит сам себе только тогда, когда окружен со всех сторон водой», – писал художник С.В.Животовский.

Но опять и опять возникает вопрос: как из тихого Вани мог родиться «электрический» отец Иоанн?

Человек воцерковленный воскликнет: что же тут непонятного?! Это случилось в момент рукоположения Ивана Сергиева в отца Иоанна.

Но почему это таинство не производило такого же превращения с большинством священников?

«Большинство священников, – пишет современник отца Иоанна и его биограф Николай Большаков, – ищут работы, занятий, не знают, как убить время от одной службы до другой. Иногда позовут к больному или роженице, а потом опять нечего делать. Некоторые стараются набрать побольше уроков. Но и при этом все-таки свободного времени достаточно даже для карт, приема гостей, знакомых и т. д. Другие стараются убить свободное время во всевозможных комитетах, комиссиях, собраниях. Многие из молодых пастырей становятся настоящими чиновниками, бюрократами.

У о. Иоанна сразу же не стало времени ни пообедать, ни отдохнуть, ни провести час-другой в семье».

Разумеется, среди священников были и другие яркие личности.

Однако каждый, кто сколько-нибудь представляет феномен отца Иоанна, не может не понимать исключительность его фигуры не только для своего времени, но и для всей истории русской православной церкви. В предисловии к биографии отца Иоанна митрополит Вениамин (Федченков) предостерегает от *человеческого, слишком человеческого* взгляда на Иоанна Кронштадтского, напоминая слова преп. Симеона Нового Богослова: «Лишь святой может вполне понять святого и говорить о нем». Тем не менее, пытаясь разобраться в чуде превращения Ивана в Иоанна, он пишет, что «Дух Божий не насилует природы» и в превращении этом, возможно, не было особого чуда. Во всяком случае, не было случайности.

Это было закономерное чудо.

ВОЛЯ И ПРОВИДЕНИЕ

Если одним словом обозначить разницу между условиями детства, отрочества и юности Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского, то этим ключевым словом будет «выбор». Даже в детстве и отрочестве, не говоря уже о юности, Лев Толстой имел возможность выбирать модели своего поведения. Иван Сергиев – нет.

Единственная модель внешнего поведения, которую выбрал этот тихий мальчик и

юноша в своих «школах», – послушание учителям и начальству; благодарность родителям за то, что дали ему возможность учиться; отсутствие всякого своеволия.

Но было ли это заложено в его природе? Мы даже не можем поставить этот вопрос, потому что для выбора модели своего внешнего поведения у Ивана Сергиева не было никакого выбора.

Важный момент для формирования толстовского характера: категорическое неприятие насилия над личностью, всякого стеснения ее самовыражения. Подрастая, Лёвочка Толстой бунтовал против домашних учителей, пытавшихся наказать его за неповиновение.

На подобное «самовыражение» у сына нищего сурского дьячка не было не только права, но и просто возможности и даже физических сил. Зато на всю жизнь запомнил он, что чудом своей младенческой жизни был обязан не одним родителям, но *крещению*.

В дневнике он записывает одно из своих многочисленных определений *причастия*: «Ты младенец: сси (соси. – П.Б.) сосец Божественного Тела и Крови и, насытивши им чудно свою душу, не спрашивай: как сотворен сосец?» То есть не рассуждай! Не бунтуй!

Но к кому обращается он? Внешняя жизнь отца Иоанна, в том числе и семейная, отражена в его записях весьма скудно. Эти редчайшие автобиографические вкрапления приходится выуживать из текста, к тому же смысл их не всегда понятен. Но при этом у дневника есть одна необычная особенность: он часто пишется с обращением на *ты*. Причем с этим вторым лицом отец Иоанн обходится крайне сурово: он непрестанно бичует его и укоряет во всех смертных грехах.

Нередко возникает впечатление, что это разговор со своим вторым «я», от которого отец Иоанн мучительно пытается избавиться, отгоняя своего двойника прочь. Но иногда фокус становится необычайно резким, и не остается сомнений, что это – именно самобичевание.

«Скотина ты, мое сердце! Зверь ты, мое сердце! Змея ты, мое сердце! Сам сатана ты, мое сердце!» (1863 год).

В любом случае даже неподготовленный читатель увидит, что автор дневника был очень страстным человеком. Взрывной, пылающей натурой. Отнюдь не тихим Ваней. И странно было бы предположить, что эта пылающая натура родилась в нем лишь после рукоположения.

Как бы ни был физически слаб этот мальчик, но модель его тихого поведения была обусловлена не только внешними причинами, но и рано осознанной и очень твердой *волей* к своему пути. Да, он не искал этот путь, не перебирал, как Толстой, его варианты. Не делал ошибок, не метался.

Его можно было бы заподозрить в карьеризме, если бы не один факт. Уже став студентом Петербургской духовной академии, что было неслыханным социальным взлетом для сына бедного дьячка, Иван Сергиев, узнав о смерти отца, хотел отказаться от учебы и вернуться в Суру на свой приход, чтобы помочь матери и младшим сестрам. Остался он в академии по настоянию матери.

ТАЙНА ЕГО МАТЕРИ

Митрополит Вениамин (Федченков) пишет: «...я имею полное основание предполагать, что та власть духа, которая была столь свойственна Кронштадтскому чудотворцу, особенно при изгнании бесов, и которая иногда могла проявляться в нем в разности темперамента, – перешла в него по прямой наследственности именно от матери. А кротость, любовь, ласка, вероятно, были, скорее, качествами отца».

Внешности отца Ивана Сергиева мы не знаем, а вот портрет матери сохранился. Даже первого взгляда достаточно, чтобы увидеть в лице этой северной женщины, в платке, завязанном по-деревенски узлом на лбу, сильный и властный характер. Отец Иоанн Кронштадтский совсем не похож на свою мать. Черты его лица, особенно в период славы, отличаются мягкостью. Лицо Феодоры Власьевны Сергиевой было твердым, каменным.

Однако и сколько пришлось всего претерпеть этой женщине!

Она была дочерью сурского дьячка и вышла замуж за сурского дьячка. Девочку не обучали грамоте, и Феодора Власьевна не умела читать. Но почему-то грамоте детей по «Азбуке», купленной мужем, учила именно она. У него не было времени, здоровья?

Феодора Власьевна не знала светской грамоты, но крепко помнила молитвы и жития. Она была не просто набожной женщиной, а сурово набожной. Однажды во время учебы в академии Иван тяжело заболел. Это случилось в начале Великого Поста. Врачи объявили, что если он не будет есть мясной пищи, то непременно умрет. Но больной отказывался даже от рыбы.

– Вы умрете обязательно, если не станете есть мяса.

– Хорошо... Но сначала спрошу позволения матери.

– А где ваша мать?

– В Архангельской губернии.

– Пишите как можно скорее!

Вскоре пришел ответ: «Посылаю свое благословение, но скромной пищи вкушать Великим Постом не разрешаю ни в каком случае».

Несомненно, мать имела огромное влияние на сына. Но влияние это было сложным и не всегда ровным. Феодора Власьевна прожила сравнительно долгую жизнь. Она умерла в Кронштадте от холеры в шестьдесят три года. К сыну она приезжала трижды – в 1860, 1866 и 1871 годах, в последний приезд и заболела холерой.

Отец Иоанн нежно любил своих сурских родственников, до конца дней оказывая им материальную помощь. Но приезды матери в Кронштадт серьезно смущали его и даже вводили в соблазн недоброго чувства к ней.

Мать отца Иоанна и выглядела по-деревенски, и говорила с характерным северным выговором. Жена отца Иоанна, Елизавета Константиновна, была дочерью ключаря кафедрального собора. Она была прекрасно образованна и свободно говорила по-французски. С какого-то времени молодого, но уже входившего в моду священника стали приглашать в богатые и знатные дома. Но взять с собой в гости мать он едва ли посмел бы.

Дневники 60-го, 66-го и 71-го годов пестрят упоминаниями о матери. Он мучительно стыдился ее визитов в Кронштадт, но еще более мучительно стыдился своего стыда.

«Я – ничто пред матерью», – говорит он себе. Однако ее присутствие в доме среди образованных Несвицких смущает, а порой и раздражает его. Поэтому все записи о матери исполнены надрыва, нервного раздвоения личности.

«В незнатности и бедности моей маминьки – честь и слава моя, потому что в этом вижу я, как многомилостив и щедр ко мне Господь, какие великие благодеяния явил Он мне, недостойному, сделав меня и образованным, и сведущим в Тайнах Его, знатным и исполненным всяких даров Его! Слава благодати и щедротам Бога моего! Хвалюсь незнатною, бедною родительницею моею».

«Она – мой царь, мой господин».

Конечно, можно сказать, что святой человек во всем находит духовную пользу. В отношениях с матерью в Кронштадте отец Иоанн закалял свою духовную личность. Да, но по-человечески-то? А по-человечески он прекрасно понимал, что между ним, кронштадтским священником, и вдовой сурского псаломщика лежит социальная пропасть.

Одним из первых искушений отца Иоанна стало то, что он начал стесняться своих родственников. Особенно тех, кто не пошел по линии священства, став обычными крестьянами. Так, в начале 60-х годов он записывает в дневнике: «Благодарю Господа, помиловавшего меня на пути в Гимназию из Гостиного Двора от купца Терентьева – где я купил сукно для племянника Андрея. Пиша адрес, я остановился на слове “крестьянину” и не хотел писать, но потом одолел ложный стыд и написал, что следовало».

Несомненно, молодого Ивана Сергиева, а затем отца Иоанна терзал комплекс социальной неполноценности. Это было сильнейшее искушение, с которым он сражался, но окончательно победить смог лишь тогда, когда оказался в силе и славе. И это тоже по-своему

формировало его характер, одновременно и закаляя, и делая уязвимым в его отношении к сильным мира сего, к «хозяевам жизни», к именитым людям.

Вот чего не могло быть у Льва Толстого! С ранней молодости он чувствовал в себе скорее избыток благородной крови. Он гордился своими предками, но и очень рано поставил перед собой вопрос: а что такое он *сам по себе*? Этот вопрос он задает себе и на Кавказе, в минуты горького душевного похмелья, и перед отправкой в Румынию, куда был командирован по протекции знакомого своего отца, и потом, во время духовного переворота.

Перед Иоанном Кронштадтским стояла более тонкая и щепетильная душевная проблема. Как и Толстой, он был родовит, ибо происходил из рода потомственных жрецов, северных русских священников. Сказать, что Кронштадтский вышел из социальных низов, было бы слишком просто. Все-таки он решительно отделял себя от крестьянства, о чем свидетельствует приведенная выше запись в дневнике. Он, как и Толстой, гордился своим родовым избранничеством. Спустя многие годы, выдавая племянницу Анну Малкину за священника из Череповца Иоанна Орнатского, он писал ее матери, своей сестре Дарье Ильиничне: «Благодари Бога, что хотя дочь твоя будет за духовным лицом, имея мать свою духовного звания, ставшую крестьянкою по мужу...» В глазах отца Иоанна выход Дарьи Ильиничны замуж за крестьянина был очевидным понижением социального статуса.

Это с одной стороны.

С другой – все его предки, хотя и священники, были, как правило, темные, затравленные нуждой и начальством люди.

Его дед по отцовской линии, Михаил Никитич Сергиев, был сыном простого пономаря, обязанного петь на клиросе, звонить в колокол и помогать во время службы. Сам Михаил Никитич стал священником и даже одно время благочинным, но за пьянство был лишен сана и сослан в Веркольский монастырь.

Именно дед Михаил крестил Ваню Сергиева. А восприемником при крещении стал дядя, брат отца, Василий Михайлович Сергиев, служивший в сурском храме заштатным пономарем. Его судьба сложилась куда трагичней. Еще в пору учения в Архангельске он лишился зрения и даже в официальных документах именовался «Василием Темным». Он отличался безупречным поведением, но, видимо, за уклонение в раскол и он был сослан на год в Веркольский монастырь. Вернувшись домой, слепец страдал от одиночества и бытовой беспомощности. Осталось его единственное письмо к племяннику в Кронштадт, которое нельзя читать без волнения.

«Ваше Высокоблагородие О. Иоанн, Любезнейший мой Племянниче с Супругою Елисаветою Константиновною
Здравствуйте!

Первым долгом желаю Вам Любезный Племянниче со Здравием много лет Священствовать Благополучно, и прошу усердно помолиться у Престола Божия о мне Грешном и Убогом. Во вторых Честь имею Вас О. Иоанн Ильич уведомить, что письмо Ваше от 10 Сентября 1867 г. и деньги пять рублей от О. Игумена Феодосия я получил 27 Октября, за каковую Вашу Отческую Милость Чувствительно благодарю и всегда молю Всемогущего Бога о здравии Вашем. Живу я уединенно в своем доме, сам топлю печку, а пекут люди чужие Соседи. Раскол в приходе нашем умножается; Иван Филимонович уже совсем совратился в раскол в прошедшем году, а Михайло Киприянович пока еще Православным. Остаюсь от сего письма Слава Богу жив но здоровьем слаб. Любящий Вас и заочно целующий десницу Вашу Дядя Ваш Грешный Богомолец убогий

Василий Сергиев.

Сурский Погост

6-е ч. Ноября

1867 года».

Таких пронзительных писем из Суры отцу Иоанну в Кронштадт шло великое множество, но сохранилась лишь незначительная их часть, опубликованная в

«Кронштадтском вестнике» Т.И.Орнатской. Лишь читая эти письма, можно до конца прочувствовать колоссальную разницу между «стартовыми условиями» Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского.

Менее чем за год до смерти, в феврале 1908 года, отец Иоанн все еще продолжал получать весточки-напоминания, как могла бы сложиться его судьба, не поступи он в академию и вернись на родину. Например, ему пишет деревенский священник Михаил Афанасьев, который был женат на его племяннице Татьяне.

«Многоуважаемый и Добрейший
Наш Дядюшка Отец Иоанн Ильич
Будьте здоровы на многая лета!

Уведомляем Вас, Дорогой Дядюшка О. Иоанн, что сегодня мы получили от Вас опять деньги (200) рублей. От всей души благодарим Вас, Дорогой Дядюшка, за Ваши милости, за Вашу доброту к нам недостойным! Двести рублей для нас капитал и капитал большой! Я, напр<имер>, получаю Священнического жалованья 107 р. в год; значит за 200 р. нужно служить почти два года; или за законоучительство в Министерском Училище в год получаю 30 (тридцать) рублей, след<овательно> за 200 р. нужно служить почти семь лет! Спаси же Господь и помилуй Вас, Дорогой Дядюшка, за Вашу милость! Дай Вам Бог доброго здоровья!»

Когда Иоанн Кронштадтский готовил неистовые проповеди против *боярина Льва Толстого*, восставшего на Православную Церковь и на ее священников, он, возможно, вспоминал эти письма.

СКВОЗЬ ИГОЛЬНОЕ УШКО

Для Ивана Сергиева не годилась мораль, которую любил повторять Толстой: где родился, там и сгодился. Не окажись Иван в академии, не стал бы он и протоиереем Андреевского собора в Кронштадте, не стал бы *Кронштадтским*.

Не стал бы самим собой.

Вообразите себе мальчика, обученного грамоте неграмотной матерью, которого отец на последние деньги отдает в духовное училище, затем в семинарию. От него ждут успехов в учебе, а он элементарно не может читать. Звуковой ряд и печатные буквы не соединяются в детском сознании – никак!

«Отец купил для меня букварь, – вспоминал он, – но туго давалась мне грамота, и много скорбел я по поводу своей неразвитости и непонятливости. Я не мог никак усвоить тождество между нашей речью и письмом или книгою, между звуком и буквою. Да это в то время и не преподавалось с такою ясностью, как теперь; нас всех учили: “Аз, Буки, Веди”, как будто “А” само по себе, “Аз” само по себе; мудрости этой понять я долго не мог, и когда меня, на десятом году, повезли в Архангельское приходское училище, я с трудом разбирал по складам и то только по печатному».

Вместе с унижением на фоне более успешных сверстников Ваня Сергиев испытывает вину перед родителями, которые лишают себя последнего куса ради него, такого беспомощного – и бездарного. Из этого душевного тупика для личности яркой и неординарной может быть только два выхода. Первый – взбунтоваться против судьбы (Бога). Второй – полностью довериться Богу и просить Его помощи. Иван Сергиев не выбирает для себя этот второй путь – он просто не представляет себе иного.

«...Ночью я любил вставать на молитву. Все спят – тихо. Не страшно молиться, и молился я чаще всего о том, чтобы Бог дал свет разума на утешение родителям. И вот, как сейчас помню, однажды был уже вечер, все улеглись спать. Не спалось только мне, я по-прежнему ничего не мог уразуметь из пройденного, по-прежнему плохо читал, не понимал и не запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на меня напала; я упал на

колени и принялся горячо молиться. Не знаю, долго ли пробыл я в таком положении, но вдруг точно потрясло меня всего... У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове, и мне ясно представился учитель того дня, его урок; я вспомнил даже, о чем и что он говорил. И легко, радостно так стало на душе. Никогда не спал я так покойно, как в ту ночь. Чуть засветлело, я вскочил с постели, схватил книги, и – о счастье! – читаю гораздо легче, понимаю всё, а то, что прочитал, не только всё понял, но хоть сейчас и рассказать могу. В классе мне сиделось уже не так, как раньше: всё понимал, всё оставалось в памяти. Дал учитель задачу по арифметике – решил, и похвалили меня даже. Словом, в короткое время я подвинулся настолько, что перестал уже быть последним учеником. Чем дальше, тем лучше и лучше успевал я в науках и к концу курса одним из первых был переведен в семинарию».

Этот эпизод из воспоминаний отца Иоанна можно трактовать по-разному. Можно как Божье чудо. Но каждый, кто усердствовал в изучении трудного, не дающегося предмета (например, иностранного языка), знает, что подобное «вдруг» («точно завеса спала с глаз») происходит со многими самыми обычными людьми и является простым следствием накопления внутренних усилий. Но для нас важнее другое.

Иван Сергиев в своих «школах» проходил сквозь игольное ушко. Всё было ненадежно и зыбко. Не получая помощи извне (кто будет специально заниматься с мальчишкой из бедной семьи, отец которого непрестанно писал и в училище, и в семинарию просительные письма, чтобы одного из его сыновей, из двух Иванов, взяли на казенный кошт?), Сергиев мог рассчитывать только на собственную волю – и на Промысел Божий.

Именно твердая воля определила модель его тихого поведения, когда он остался одиночкой среди сверстников и по училищу, и по семинарии, и по академии. Да, он лишился друзей. Но избежал и соблазнов, неизбежных в этих случаях. Он собрал себя, а не потратил.

Что же касается Промысла Божьего... Вот один вроде бы случайный факт. Во всех биографиях написано, что в академию он был послан потому, что закончил семинарский курс *первым учеником*. Но биографы не располагали документами, которые открыла в архангельских архивах Ю.В.Балакшина. Она пишет:

«К 1850 году в Высшем отделении семинарии произошел конфликт, прямо не касавшийся Ивана Сергиева, но повлиявший на его дальнейшую судьбу. До апреля 1850 года первым учеником отделения по всем спискам значился Александр Павлов, а Иван Сергиев обычно занимал третье место. Вероятно, именно Павлов был бы направлен для продолжения духовного образования в Петербург. Однако 2 апреля 1850 года он не явился на утреню, о чем была сделана запись в дисциплинарном журнале. В наказание за проступок архимандрит Иларион назначил ему “стоять на коленях в течение одного класса”, но Павлов отказался выполнить приказание инспектора и пошел на прямой конфликт с ним... В результате возмущенный архимандрит вышел из класса и подал докладную записку на имя ректора с предложением наказать Павлова розгами. Но Семинарским правлением было принято иное решение: “Недуг Павлова, состоящий в самомечтании и неповиновении одному из главных своих начальников и наставников, надобно лечить не скоропреходящею мерою, а посему, не наказывая его телесно, лишить ныне же первого разряда...” В следующем 1851 году Александр Павлов был снова причислен к первому разряду, но первым учеником класса он больше не стал, и почетное право учиться в Петербургской духовной академии перешло к Ивану Сергиеву».

Если этот Павлов до выпускного курса числился первым учеником, значит, кроме успехов в учебе этот юноша отличался и примерным поведением, к чему в семинарии относились настолько строго, что немедленно лишали звания первого ученика за первое же неповиновение начальству. Какой же бес «самомечтания» вдруг вселился в этого Павлова? Почему он вдруг поступил вполне по-толстовски? И что с ним было потом? Во всяком случае, именно такие выпускники семинарий и пополняли ряды толстовцев.

Но вернемся к Ивану. Итак, Божий Промысел? Или все-таки сработала та самая модель тихого поведения, которая по мере накопления и выдала вроде бы неожиданный, случайный,

на самом же деле абсолютно закономерный результат, так что Иван Сергиев после выпуска из семинарии поехал не в Суру, а в Петербург?

Между прочим, в мае и июне 1851 года Сергиеву предлагали поступать в Петербургскую медико-хирургическую академию, а затем в Главный Педагогический институт. Оба раза он отказался.

28 июля 1851 года Ивану Сергиеву был выдан билет за № 366, дающий ему свободный пропуск на всех заставах от Архангельска до Санкт-Петербурга. В тот же день он выехал в Петербург.

Глава третья ПРИЗРАК СЕН-ТОМА

Никогда не забуду я одной страшной минуты, как St.-Jérôme, указывая пальцем на пол перед собою, приказывал стать на колени, а я стоял перед ним бледный от злости и говорил себе, что лучше умру на месте, чем стану перед ним на колени, и как он изо всей силы придавил меня за плечи и, повывихнув спину, заставил-таки стать на колени.

Л.Н.Толстой. Отрочество

ЛЁВА-РЁВА

Каждый читатель «Детства» и «Отрочества» Толстого непременно обратит внимание на то, что главный герой этих повестей Николенька Иртеньев постоянно плачет. Именно слезы являются основной душевной и физической реакцией на все проблемы, которые ставит перед ребенком окружающий мир.

Вот первые страницы «Детства»: немец-гувернер Карл Иванович всего лишь щекочет пятки своего подопечного, стараясь поднять его утром с постели.

«Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

– Ach, lassen Sie⁶, Карл Иванович! – закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек».

Слезы – единственный способ решения всех конфликтов, к которому Николенька Иртеньев прибегает бессознательно, просто потому что такова его душевная природа. И в семье об этом прекрасно знают.

«Поздоровавшись со мною, татап взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад, потом посмотрела пристально на меня и сказала:

– Ты плакал сегодня?

Я не отвечал... Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила:

– О чем ты плакал?»

Это удивительное «о чем ты плакал?» больше говорит нам о характере Николеньки, чем всё остальное. Только мать понимает, что слезы у ее сына имеют, так сказать, содержание. Не «почему ты плакал?», но «о чем ты плакал?»

Плачет он обо всем. О себе, о татап, об отце, о Карле Ивановиче, о птенчике, выпавшем из гнезда, о курице, которую несут на казнь, об охотничьей собаке со сломанной лапкой, о первой любви... Плачет от радости и злости, от любви и стыда. Плачет, когда ему очень хорошо и когда очень плохо. Когда счастлив и когда хочет умереть. Плачет просыпаясь и засыпая.

⁶ Ах, оставьте (нем.).

Апофеозом «Детства», его кульминацией являются слова, которые часто цитируются:

«После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце; на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие – но о чем они? – Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Ивановиче и его горькой участи – единственном человеке, которого я знал несчастливым, – и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: “Дай Бог ему счастья, дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать”. Потом любимую фарфоровую игрушку – зайчика или собачку – уткнешь в угол пуховой подушки и любишь, как хорошо, как тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы дал Бог счастья всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом.

Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели – невинная веселость и беспредельная потребность любви – были единственными побуждениями в жизни?

Где те горячие молитвы? Где лучший дар – те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?»

Весь дальнейший рассказ – о жизни в Москве, о бабушке, о Карле Ивановиче, о любви к Сереже Ивину и Сонечке Валахиной, о смерти матери и стоянии над ее гробом – это развязка внутреннего действия, потому что всё главное уже сказано. У гроба матери мальчик не может выжать из себя слезы, зато со страхом слышит крик пятилетней крестьянской девочки, которой показали мертвую барыню. И он впервые понимает, что лицо его татан может возбуждать не только любовь и нежность, но и ужас. Впервые понимает, «отчего происходил тот сильный тяжелый запах, который, смешиваясь с запахом ладана, наполнял комнату».

Искренние слезы и молитвы, которые служат для мальчика естественным выражением потребности любви, покидают его возле *гроба матери*. «Во время службы я прилично плакал, крестился и кланялся в землю, но не молился в душе и был довольно хладнокровен...»

На самом деле, как мы уже писали, Толстой не помнил своей матери, не помнил ее смерти и похорон. Но он помнил похороны бабушки Пелагеи Николаевны. Их описание в «Отрочестве» буквально совпадает со сценой прощания с татан: «Всё время, покуда тело бабушки стоит в доме, я испытываю тяжелое чувство страха смерти, то есть мертвое тело живо и неприятно напоминает мне то, что и я должен умереть когда-нибудь, чувство, которое почему-то привыкли смешивать с печалью».

Между «Детством» и реальным детством Толстого разница не столь велика. Как бы Толстой ни отрекся от восприятия этой повести как автобиографии («Кому какое дело до истории *моего* детства?» – с гневом писал он Н.А. Некрасову, который напечатал повесть в «Современнике» под заглавием «История моего детства»), она все-таки является автобиографией, потому что образ главного героя в основных чертах совпадает с тем, как Толстой описал себя в поздних «Воспоминаниях». Перед тем как по просьбе биографа П.И. Бирюкова он начал писать «Воспоминания», Толстой перечитал автобиографическую трилогию, и она ему не понравилась – «потому, что замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло нескладное смешение событий их и моего детства». При этом он не смог объяснить, почему, собственно, Николенька Иртеньев *не он*?

В детстве Толстого был только один мальчик, который отвечал бы всем главным чертам Николеньки, – это сам Лёвочка. Именно он был особенно любим матерью, называвшей младшего сына *mon petit Benjamin*, именно он был исключительно слезоточив и

получил от братьев кличку Лёва-рёва, именно его дразнили девчонкой и так далее. Если в 1852 году, находясь на Кавказе, Толстой описывал историю *не своего* детства, почему спустя ровно полвека, в 1902 году, он так и не смог в своих «Воспоминаниях» добавить к образу главного героя ни единой существенной черты?

Но главное: почему, задавшись целью написать о своем детстве «истинную правду», он не смог найти в нем ничего дурного, хотя в глазах позднего Толстого это была уже не сказка, а детские годы изнеженного барчука? Почему Толстой снова впал в ностальгический тон и даже охоту, которую категорически осуждал в конце жизни, описал в «Воспоминаниях» в светлых красках?

И наконец: почему Толстой не смог продолжить свои воспоминания? «Да, столько впереди интересного, важного, что хотелось бы рассказать, а не могу оторваться от детства, яркого, нежного, поэтического, любовного и таинственного детства».

Потому что это было единственное время, которое он по-настоящему любил! Когда он сам по-настоящему любил! Это была единственная духовная родина, в которой он чувствовал себя святым и безгрешным. Когда не принуждал себя заниматься тем, чему посвятил всю сознательную жизнь, – самопознанием. Просто прилетал ангел-утешитель и утирал слезы, не спрашивая, *о чем они*. Просто все любили всех. И во всем был ясный и очевидный смысл. Даже и в страданиях Карла Ивановича, которые необходимы для того, чтобы ребенок его пожалел.

В первом плане ненаписанного романа «Четыре эпохи развития», из которого выросла автобиографическая трилогия, Толстой сформулировал «главную мысль» начатого произведения: «Чувство любви к Богу и к ближним сильно в детстве, в отрочестве чувства эти заглушаются сладострастием, самонадеянностью и тщеславием, в юности – гордостью и склонностью к умствованиям».

Когда же закончилось детство Льва Толстого?

ВЕЧНЫЙ РЕБЕНОК

Детство Толстого не заканчивалось никогда. Вернее, оно закончилось с его смертью.

Еще вернее сказать, что в той степени, в какой зрелый Толстой продолжал оставаться *ребенком*, он и оставался *Толстым*. Это и есть феномен «детской» личности Толстого.

Повторяя за взрослыми слова и жесты, ребенок всегда делает это как-то иначе, и это «иначе» каждый ребенок делает по-своему, потому что всегда делает в первый и единственный раз. Повторение этих слов и жестов, введение их в привычку – это уже взрослая черта, конец детства и потеря рая.

Поэтому мы с такой любовью смотрим на детей, когда они играют во взрослых, и с таким сомнением взираем на взрослых, которые продолжают играть в детей. Разница здесь та же самая, что между Толстым и толстовцами. Когда некоторые из толстовцев внезапно прозревали и отшатывались от Учителя, они искренне недоумевали: как они, взрослые и серьезные люди, могли так долго идти на поводу у этого человека?! Они совершенно справедливо приписывали это его личному обаянию, его харизме. Но тем больнее было их разочарование в Толстом, и тем большие страдания доставляли они самому Толстому письмами, в которых звучал настоящий крик души: как же так, Лев Николаевич, дорогой, мы так верили вам, мы делали именно то, что вы говорили, а из этого получилась такая глупость!

Все конфликты и недоразумения, которые происходили между Толстым и обществом, Толстым и государством, Толстым и Русской Церковью, в основе своей упирались в главное: как только детские идеи Толстого усваивались взрослыми людьми и начинали воплощаться в жизнь, они немедленно становились глупостью, но порождали проблемы нешуточные и совсем не детские.

Мы ничего не поймем в великой идее Толстого о ненасилии и непротивлении злу, пока будем воспринимать ее отвлеченно, как умственный софизм. Увы, именно так это

воспринималось большинством современников Толстого и так же продолжает восприниматься сегодня.

Однажды студент спросил Толстого:

– А что, Лев Николаевич, если на меня вдруг набросится тигр? Вот так просто и отдаться ему на съедение?!

Толстой серьезно сказал:

– Да откуда в нашей Тульской губернии взяться тиграм?!

Любопытно, что вопрос о тигре чаще всего задавался Толстому, и устно, и в письмах. Возможно, вопрошавшие как-то отталкивались от его собственного имени – Лев. В конце концов призрак этого несуществующего тигра настолько возмутил Толстого, что он сказал следующее: «Я прожил на земле восемьдесят лет, и на меня ни разу не напал тигр. Но почему-то под предлогом, что на кого-то может напасть тигр, одни люди устраивают казни других людей».

Это классический пример того, как совершенно детское неприятие Толстым насилия в целом разбивалось вдребезги о взрослое состояние общества, из великой духовной истины превращаясь в чудовищную глупость. Потому что на самом деле вопрос должен быть поставлен иначе: «Что сделает ребенок, если на него вдруг нападет тигр?» Но и ответ на вопрос может быть только асимметричным: «Тигр не должен нападать на ребенка».

Но это детский ответ.

СТЫДНО

В семье Толстых никогда не били детей.

Сама возможность физического наказания ребенка была исключена из яснополянской программы воспитания. Сегодня это не кажется странным, но для XIX века это был очень прогрессивный принцип. Пороть детей розгами, бить линейками и просто заниматься рукоприкладством по отношению к существу, которое не может тебе ответить, считалось абсолютной нормой в дворянских семьях, даже в высших аристократических кругах.

Будущего императора Николая I, как и его малолетних братьев, их наставник генерал Ламсдорф порол нещадно. Розгами, линейками, ружейными шомполами. Иногда в ярости он мог схватить великого князя за грудь и стукнуть об стену так, что тот лишался чувств. Это не только не скрывалось, но и записывалось им в ежедневный журнал.

Ивана Тургенева мать порола розгами вплоть до совершеннолетия. Телесным наказаниям подвергались в детстве Фет и Некрасов. Как били до потери сознания маленького Алешу Пешкова, будущего Горького, мы знаем из его повести «Детство», написанной как своего рода антитезы «Детству» Толстого.

Но, пожалуй, самый выдающийся пример – судьба Феди Тетерникова, будущего поэта и прозаика Федора Сологуба. Его в детстве и отрочестве пороли так, что он, по собственным словам, «прикипел» к битью и уже не мог без него жить. Физическая боль стала для него лекарством от боли душевной.

Покоряясь грозной воле,
На пол я потом ложусь,
И когда от резкой боли
Наорусь и наревусь,

Вдруг в душе спокойно станет,
Жизнь покажется легка,
И уж сердца не тиранит
Посрамленная тоска.

Но вот в семье Толстых пороть ребенка почему-то не считалось нормой. Причем

инициатива исходила от обоих родов – и от Толстых, и от Волконских. Полное отсутствие телесных наказаний было принято в семье Ильи Андреевича Толстого, деда Льва Толстого по отцу. Не имела понятия об этом и Мария Николаевна. При этом она вовсе не нежничала с детьми и не только не старалась развивать в них «сердечное» начало, но, напротив, преследовала всякое проявление нежности, слабости характера, сентиментальности, даже жалости к птицам и животным. Так, она была недовольна тем, что Николенька, четырех лет от роду, пожалел убитую на охоте птичку и расплакался при виде грызущихся собак. «Наконец мы ему растолковали, что мальчику стыдно об этом плакать», – пишет она в «Журнале поведения Николеньки».

Семья Толстых была обычной провинциальной дворянской семьей. Мальчикам традиционно внушался культ здоровья, мужество и патриотизм, девочке Маше – семейные ценности. Не обходилось и без великорусского национализма: например, в детях воспитывали нелюбовь к полякам. Но в одном семья была непохожей на большинство: в ней никогда не били слабых и незащищенных. Вряд ли это была какая-то продуманная система воспитания. В Ясной Поляне крайне редко наказывали и крепостных. У Толстого не сохранилось в памяти ни одной картины физической расправы над мужиками. Его сестра Мария Толстая также говорила, что в Ясной Поляне она «никогда не слыхала, чтобы кого-нибудь наказывали, на конюшню посылали». И хотя при Николае Ильиче такое случалось, но это было исключением, а не правилом. На всю жизнь запомнил Лев Толстой и описал потом в первой редакции статьи «Стыдно» (1895), посвященной теме физической расправы над крестьянами, как в Ясной Поляне он всего лишь соприкоснулся с этим явлением.

«Помню я, как раз после смерти отца во время опеки мы детьми, возвращаясь с прогулки из деревни, встретили Кузьму кучера, который с печальным лицом шел на гумно. Позади Андрей Ильин приказчик. Когда кто-то из нас спросил, куда они идут, и приказчик отвечал, что он ведет Кузьму в ригу, чтобы сечь его, я помню тот ужас остоленения, который охватил нас. Когда в тот же день вечером мы рассказали это воспитывавшей нас тетушке, она пришла в не меньший нашего ужас и жестоко упрекала нас за то, что мы не остановили этого и не сказали ей об этом».

Ужас и отвращение – вот те чувства, которые вызывало в Толстом насилие. Во второй редакции «Детства» он пишет о матери: «Маман находила, что побои – наказание унижительное, я часто слыхал, что она отзывалась о сечении с ужасом и отвращением». Эти чувства не нуждаются в аргументации, с ними невозможно спорить.

В статье «Стыдно» взрослый Толстой повторяет за маман: «Про такие дела можно или совсем не говорить, или говорить по существу дела и всегда с ужасом и отвращением».

«Высшее правительство огромного христианского государства, 19 веков после Христа, ничего не могло придумать более полезного, умного и нравственного для противодействия нарушениям законов, как то, чтобы людей, нарушавших законы, взрослых и иногда старых людей, оголять, валить на пол и бить пеньями по заднице».

Но в этом аргументе нет никакой логики. Вопрос о применении или неприменении физического насилия к преступнику и, как его последней формы, смертной казни – фундаментальная проблема любого цивилизованного государства. Отрицая законное право государства на насилие, Толстой отрицает и здравый смысл, потому что оборотной стороной отказа государства от насилия будет народный самосуд – то же самое насилие, которое отрицает Толстой.

Спустя много лет в статье «Не могу молчать» (1908) как последний аргумент против казней, считая его, по-видимому, абсолютно неотразимым, Толстой предлагает власти посадить в тюрьму или даже казнить себя – старика: «Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России, и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком

счастье), надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю».

В этом аргументе тоже нет никакой логики. И тем не менее довод в самом деле неотразим, потому что Толстой и не ставит вопрос о целесообразности или нецелесообразности смертной казни (это взрослый вопрос!), но выражает всю степень безразличия, которую только и может породить в нравственной, божеской природе человека вид смертной казни. Намыленная веревка на старческой шее рождает в нас *гадливое* чувство, то самое чувство, которого и заслуживает смертная казнь.

Поразительным было постоянство Льва Толстого в отрицании насилия, *всякого насилия* ! Это не менялось с годами. Взросление Толстого не вносило в это отрицание никаких корректив. Начиная с набросков «Детства» до последней заметки о смертных казнях «Действительное средство», которую он продиктовал в Оптиной пустыни во время ухода, Толстой категорически не принимал насилия сильного над слабым, властного над подчиненным. Это касалось не только смертных казней или сечения розгами, но даже и одиночного заключения, которое также вызывало в нем «ужас и отвращение».

«Если нам ясно, что нелепо и жестоко рубить головы на плахе и узнавать истину от людей посредством выворачивания их костей, то так же ясно станет и то, что так же, если не еще более, нелепо и жестоко вешать людей или сажать их в одиночное заключение».

Это было написано Толстым в 1886–1887 годах в его незавершенной заметке под условным заглавием «Николай Палкин».

ПИСЬМО К ЦАРЮ

Наблюдая 25 марта 1857 года в Париже смертную казнь убийцы и орудие казни – гильотину, Толстой был до такой степени потрясен, что на следующий день покинул столицу самой просвещенной страны мира.

В письме к В.П.Боткину он так описал это чувство: «Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека. Там есть не разумная [воля], но человеческое чувство страсти, а здесь до тонкости доведенное спокойствие и удобство в убийстве и ничего величественного. Наглость, дерзкое желание исполнять справедливость, закон Бога... А толпа отвратительна, отец, который толкует дочери, каким искусным удобным механизмом это делается, и т. п. Закон человеческий – вздор! Правда, что государство есть заговор не только для эксплуатации, но главное для развращения граждан...»

В этом письме Толстой уже сформулировал принципы войны с государством, но пока без ее объявления – для этого потребуется больше двадцати лет. И первым документом объявления этой войны станет письмо 1881 года к Александру III с просьбой не казнить террористов, убийц его отца – императора Александра II, которое, на первый взгляд, пронизано духом миролюбия. На самом деле это был вызов государственной власти и умаление ее роли и достоинства.

Супруга писателя Софья Андреевна пребывала в страшном волнении, когда услышала об этом письме. Она понимала всю опасность этого «диссидентского» поступка и даже пригрозила «выгнать вон» домашнего учителя В.И.Алексеева, который поддержал ее мужа.

Что же Толстой предлагал императору в письме, оригинал которого не сохранился, но о содержании которого мы знаем из черновика? Он предлагал поступить не по-царски, а по-человечески, подразумевая под человеческими законами высшие христианские истины. «Прежде обязанностей царя есть обязанности человека, и они должны быть основой обязанности царя и должны сойтись с ними. Бог не спросит вас об исполнении царской обязанности, а спросит об исполнении человеческих обязанностей...» – пишет он.

Но ведь даже Елизавета Петровна, отменившая смертную казнь для уголовных преступлений Указом от 25 мая 1753 года, что было неслыханно прогрессивным актом, не могла отменить положения, по которому казни подлежали преступники, посягнувшие «на спокойствие государственное, безопасность Престола и Святость Величества». С особой жестокостью – через четвертование – казнены бунтовщики Пугачев и Перфильев, из их соратников один лишился головы, трое были повешены.

Смертная казнь в России полагалась за измену и неповиновение во время войны, за бунт и даже за нарушение Карантинного устава (казнили мародеров, чтобы зараженные вещи не распространяли эпидемию). Из 36 декабристов, приговоренных к смертной казни, пятеро были повешены. При Александре I за всё время войны 1812 года по решению военно-полевых судов были казнены 24 человека. В Уложении о наказаниях 1845 года смертная казнь безальтернативно предусматривалась «за посягательство на жизнь, здоровье и честь императора», «наследника, супруги императора и других членов императорского дома».

Предлагая отпустить цареубийц, отправить их в Америку и даже снабдить для путешествия деньгами, Толстой не просто прекраснодушничал. В принципе вопрос о возможности помилования поставили тогда не только он и его молодой коллега философ Владимир Соловьев. Это допускали и противники К.П.Победоносцева из либерального кабинета министров – М.Т.Лорис-Меликов, Д.А.Милютин и А.А.Абаза. Во всяком случае, проблема носилась в воздухе. Но Толстой не ставил перед царем вопрос о целесообразности или нецелесообразности смертной казни в данном конкретном случае. Он откровенно предлагал императору сделать выбор между божьим и кесаревым, при этом само собой предполагалось, что статус царя – не божий. И это было уже не просто нарушение церемониала, который Толстой, кстати, тоже нарушал («Я буду писать не в том тоне, в котором обыкновенно пишутся письма государям... Я буду писать просто, как человек к человеку...»). Это был прямой подрыв монаршей власти, ее сакральных основ.

Любопытно, что нигде в черновике письма к царю Толстой не ссылается ни на указ Елизаветы Петровны, ни даже на юридическое право царя миловать преступника. Он говорит не о *праве царя*, а об *обязанностях человека*. Царь *вправе* в этом случае поступать так или иначе, а человек *должен* поступить только соответственно.

И это была уже война.

Так или иначе открытым остается вопрос: что было бы, если бы царь согласился с предложением?

С одной стороны, помилование лишило бы революционное движение в России морального основания. Героический образ террориста был бы изрядно посрамлен. На это Толстой прямо указывал в письме к государю: «Не простите, казните преступников, вы сделаете то, что из числа сотен вы вырвете 3-х, 4-х, и зло родит зло, и на место 3-х, 4-х вырастут 30, 40... Что такое революционеры? Это люди, которые ненавидят существующий порядок вещей, находят его дурным и имеют в виду основы для будущего порядка вещей, который будет лучше. Убивая, уничтожая их, нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли. Для того, чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеал есть общий достаток, равенство, свобода. Чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который бы был выше их идеала, включал бы в себя их идеал».

С другой стороны, согласие Александра III с Толстым автоматически означало бы конец сакральности царской власти. Ведь террористов казнили не за то, что они убили человека (по законам того времени Родион Раскольников, убивший старую женщину и ее беременную сестру, получил каторжные работы; такой же участи подверглись герои-убийцы повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»), но именно за то, что они убили *Царя*, Помазанника Божьего. То есть они совершили покушение на *Престол* (церковный термин, который означает одновременно и самое священное место в храме, и царский трон).

Какие политические последствия вызвало бы помилование цареубийц – гадать сложно. Но вот неоспоримый факт: казнь террористов не остановила развития революционного

движения в России.

Зато указ Елизаветы Петровны об отмене смертной казни в скором времени лишился всякого смысла. Более того, уже в мае 1881 года в русском государстве был упразднен публичный порядок приведения смертных приговоров в исполнение. То есть казнить стали тайно, а не на глазах народа. Между тем еще десять лет назад в «Курсе русского уголовного права» юрист А.В.Лохвицкий писал об аморальности непубличной казни: «Казнь в темничной комнате, без присутствия публики, походила бы на тайное убийство». В спешном порядке восстанавливались орудия убийства, которые уничтожались по Указу Сената 1775 года, в котором говорилось: «Особо устроенные для бывших смертных казней лобные места и орудия истребить». Но что же в результате? Нарастание волны террора шло одновременно с ростом количества смертных казней. В новый век Россия вступила с разгулом внутрисоциальной ненависти, что выразилось в парадоксальном факте: именно после царского Манифеста 1905 года, даровавшего русским гражданам свободу совести и печати, число смертных казней выросло в десятки раз! Если в 1901–1904 годах было казнено 67 человек, то в 1905–1908-м – более двух тысяч. Всего за период 1905–1912 годов казнили 5666 человек. Это была цена, которую Россия платила – за что?

СПАСТИ РЯДОВОГО ШАБУНИНА

Пожалуй, главная особенность позиции позднего Толстого в отношении физического насилия и смертной казни была в том, что он категорически отрицал юризм в решении этих вопросов. Грубо говоря, роль адвоката на суде в его глазах была не менее противна, чем роль прокурора.

Но этой позиции он придерживался не всегда. В жизни Толстого был случай, когда он сам попытался выступить адвокатом осуждаемого на смертную казнь.

История суда над писарем Шабуниным изложена в разных биографических материалах о Толстом. Наиболее достоверно об этом рассказывает личный секретарь писателя Н.Н.Гусев.

6 июня 1866 года в 65-м Московском пехотном полку, расположенном в деревне Новая Колпна недалеко от Ясной Поляны, писарь Василий Шабунин ударил по лицу ротного командира капитана Яцевича, поляка по происхождению. Судя по разным материалам дела, Яцевич не был жестоким офицером. Он был скорее педантом, который требовал от подчиненных буквального исполнения их дела и своих приказов, раздражаясь, если подчиненный проявлял характер.

Отношения между Яцевичем и Шабуниным не заладились. Причиной тому был и национальный конфликт. Однажды ротный увидел писаря в нетрезвом виде, велел посадить его в карцер и приготовить розог, чтобы после учения наказать. Выйдя вслед за офицером из избы в сени, Шабунин сказал: «За что же меня в карцер, поляцкая морда? Вот я тебе дам!» – и ударил ротного по лицу так сильно, что у того из носа потекла кровь.

На следствии Шабунин оправдывался тем, что ротный слишком утруждал его перепиской бумаг, придираясь к каждой мелочи и заставляя заново переписывать: «Уж очень он на меня налегал».

Из материалов суда ясно, что солдат ни в коей мере не осознавал своей вины и не пытался спрятаться за объяснением, что ударил офицера в состоянии аффекта. «По здравому рассудку я решил, потому что они делов не знают, а требуют. Мне и обидно показалось».

Между тем это был второй за короткое время случай в полку, когда солдат ударил офицера. По законам военного суда это каралось смертной казнью через «расстреляние». Поразительно, что незадолго до своего поступка Шабунин как раз переписывал приказ о расстреле такого солдата.

Один из офицеров 65-го полка Г.А.Колокольников, знакомый семьи Берсов, будучи в гостях у Толстых в Ясной Поляне, рассказал о деле Шабунина и предложил Льву Николаевичу выступить защитником на суде. Суд происходил на квартире полкового

командира Юноши. Судила солдата офицерская «тройка». На стороне Шабунина был офицер Стасюлевич, некогда разжалованный из офицеров в рядовые за то, что в его дежурство из тифлисской тюрьмы бежали несколько арестантов. Незадолго до суда он был произведен из солдат в прапорщики. Третьим судьей был как раз Колокольцов, который повел себя очень странно: вероятно, из карьерных соображений, встал на сторону своего полкового командира и высказался за смертную казнь. Колокольцов, вспоминая Толстой, был «добрый, хороший мальчик». Вряд ли он осознавал, что именно его голос и оказался решающим в вопросе о жизни человека.

На суде Толстой произнес длинную речь, к которой долго готовился и которую читал по бумаге, боясь сбиться, «робея, как всегда». «Хорошо было то, что я во время этой речи расплакался», – вспоминал Толстой. Всю жизнь он казнил себя за то, что согласился принимать участие в этом процессе.

Сразу после суда Колокольцов раскаялся в своем решении. По совести, никто из офицеров не хотел казни Шабунина. Но дело было сделано, и помиловать солдата мог только царь. За эту последнюю надежду и ухватился Толстой, тотчас написав письмо своей тетушке А.А.Толстой с просьбой через военного министра Д.А.Милютина ходатайствовать перед императором о помиловании. Однако в письме он забыл указать, какого полка был осужденный, а обращаться к царю без указания полка было невозможно. Толстой поторопился сообщить название полка, но пока шла переписка с тетушкой, командующий войсками Московского военного округа утвердил приговор.

О расстреле писаря Шабунина детально рассказывает биограф Толстого П.И.Бирюков.

Известие о готовящейся казни мгновенно облетело ближайшие села и деревни. К дому, где содержался узник, стали собираться целые толпы, слезно умолявшие унтер-офицера позволить «хоть одним глазком взглянуть на несчастенького». К осужденному не пускали. Крестьяне оставляли для Шабунина кто что мог: яйца, молоко, лепешки и даже полотна материи.

Во время казни Шабунин был внешне спокоен. К месту расстрела он шел твердыми шагами, стоял с потупленными глазами, ни один мускул не дрогнул на его лице. Около столба, к которому был привязан осужденный, собралась толпа народа. Женщины рыдали, некоторые падали в обморок.

У молодых солдат, которые стреляли в писаря Шабунина, тряслись от волнения руки – на это обратили внимание очевидцы.

По совершении казни Шабунина сразу похоронили на поле недалеко. Народ толпой бросился к свежей могиле. Через час появился кем-то приглашенный деревенский священник, и начались непрерывные панихиды по убиенному. К вечеру на могиле были накинаны восковые свечи, медные деньги и куски холста. На другой день история с панихидами повторилась. Крестьяне шли даже из дальних деревень. В конце концов приехал становой пристав, приказал сравнять могилу с землей и поставить возле нее караул, чтобы «отнюдь не допускать любопытных». Панихиды были запрещены.

В позднейшем письме к П.И.Бирюкову Толстой отмечал: «... случай этот имел на всю мою жизнь гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неудачи в литературе, даже потеря близких людей».

В этом же письме Толстой весьма любопытно сформулировал свое отношение к смертной казни:

«Должен сказать, что приговоры одними людьми других к смерти и еще других к совершению этого поступка – смертная казнь – всегда не только возмущала меня, но представлялась мне чем-то невозможным, выдуманным, одним из тех поступков, в совершение которых отказываешься верить, несмотря на то, что знаешь, что поступки эти совершались и совершаются людьми. Смертная казнь как была, так и осталась для меня одним из тех людских поступков, сведения о совершении которых в действительности не нарушают во мне сознания невозможности их совершения».

В подтверждение своей мысли Толстой вспоминает парижскую казнь 1857 года и называет уголовное право собранием «самых очевидных софизмов, имеющих целью оправдать всякое насилие человека над человеком и самое убийство». Он также обращает внимание на возникновение к началу XX века института «вольных палачей», которым платят по 50 рублей за казнь. «Я знаю случай, когда к председателю суда, в котором к казни было приговорено 5 человек, пришел человек с просьбой передать ему дело исполнения казней, так как он возьмет сделать это дешевле: по 15 рублей с человека». Это был, говоря нынешним языком, тендер на убийство.

Вообще вопрос о тех, *кто приводит приговор в исполнение*, волновал Толстого в ничуть не меньшей степени, чем вопрос о тех, *кого казнят*. В смертной казни Толстой видел как бы двойное убийство: телесную смерть человека, которого приговорили к казни, и духовную смерть тех, которые казнят. В лишение жизни одним человеком другого он, как бывший боевой офицер, разумеется, не только мог верить, но и много раз видел это собственными глазами – и на Кавказе, и в Крыму. (Кстати, волею providения вышло так, что сам Толстой на войне не убил ни одного человека, о чем он с радостью вспоминал потом.) Но в то, что можно убивать человека со связанными руками, он не мог поверить.

В статье «Не могу молчать» (1908) Толстой справедливо указывает на то, что в России «до самого последнего времени по закону не было смертной казни» и что он «гордился этим когда-то перед европейцами». Но при этом писатель как-то странно забывает о военно-полевых судах. В статье «Стыдно» (1895) он ностальгически вспоминает, как в 20-е годы командир Семеновского полка С.И.Муравьев отказался от сечения провинившихся солдат розгами и проводил с ними душевные беседы, но молчит о том, что это тот самый Муравьев-Апостол, который был одним из ведущих участников «Южного общества» декабристов, принявшего решение об убийстве царя.

Проблема в том, что всякое разумное обсуждение вопроса о насилии неизбежно вернет нас к софизму о тигре, к проблеме допустимой и недопустимой степени насилия как ответной реакции на насилие же. Здесь вспоминается крик Достоевского в «Дневнике писателя»: «Убей турку!» – когда он представляет толстовского Левина на Балканах во время войны «с ружьем и со штыком, а в двух шагах от него турок сладострастно готовится выколоть иглой глаза ребенку, который уже у него в руках... Что бы он сделал? – Нет, как можно убить! Нет, нельзя убить турку! – Нет, уж пусть он лучше выколлет глазки ребенку и замучает его, а я уйду к Кити».

Но убедительность проповеди Толстого против насилия – не в разумных доводах, а в органическом неприятии насилия как глубоко античеловечного и постыдного акта. Это то, с чем нельзя смириться. Нельзя привыкать, нельзя молчать.

Потому что это существует, но это невозможно.

Однако самое удивительное, что чувство глубочайшего отвращения к насилию впервые возникает у Толстого не на войне и даже не во время суда над солдатом Шабуниним. Истинной причиной этого отвращения было незначительное событие отрочества Толстого.

НА КОЛЕНИ

Летом 1835 года на пристань Кронштадта сошел двадцатидвухлетний мужчина, белокурый, невысокого роста, крепкого телосложения. Его звали Проспер Шарль Антуан Тома (Prosper Thomas), но очень скоро в его паспорте, выданном в Петербурге, появилось отчество Антонович, а в русских домах в знак особого уважения его будут именовать Сен-Тома (приставка Saint означает «святой»). Он был одним из тысячной армии французов, приехавших покорять Россию уже не в качестве солдат и офицеров, как это было в 1812 году, а в качестве гувернеров и учителей французского языка, в которых нуждались городская знать и провинциальные помещики. Впрочем, у Проспера Антоновича были более амбициозные планы. Он мечтал путешествовать по России, изучать ее нравы, песни, костюмы, ее народ и дворянство. Это был умный, даровитый, порядочный молодой человек,

знавший кроме родного языка немецкий и латынь, но совершенно не говоривший по-русски. Однако не пройдет и года, как и этим языком он овладеет в совершенстве.

Но ни тогда, в 1835 году, ни гораздо позже, в сороковые годы, когда Тома, вернувшись на родину, писал свои «Воспоминания о России» (*“Souvenirs de Russie”*), ему и в голову не могло прийти, что именно ему, французу, суждено было стоять у истоков возникновения в России движения толстовцев. И всё благодаря тому, что между путешествиями в Киев и в Казань он служил гувернером в двух домах русских аристократов – Толстых и Милютиных. Кстати, в его мемуарах Толстые и Милютины ни разу даже не упомянуты. Для него это была просто работа.

Тем более не могло ему прийти в голову, что он окажется одним из центральных героев первого шедевра русского литературного гения. До сих неизвестно, успел ли Проспер Тома, который скончался в швейцарском городе Ремиремонне в 1880 году, прочитать французский перевод «Детства», впервые вышедший в весьма влиятельном парижском журнале *“Revue des deux mondes”* в 1863 году. Мы точно знаем, что Толстой внимательно следил за этим журналом. А Проспер Тома?

Он родился 25 декабря 1812 года в маленьком французском городке Эпинале. Его появление на свет совпало с бегством армии Наполеона из России – почти день в день. 14 декабря 30-тысячный остаток французской армии переходил реку Неман, оставляя за собой множество замерзших трупов, а 21 декабря М.И.Кутузов поздравлял русскую армию с полной победой.

Тома принадлежал к тем французам, которые исповедовали культ Наполеона. Он всегда помнил о поражении великой армии и ее бесславном отступлении. Зимой 1835 года, направляясь в Киев, он застрял на лошадях в пути в двадцати верстах от Могилева и вспоминал о «солдатах, возвращавшихся в 1812 году после Москвы». Он, «хотя и укрытый шубами», хорошо «понял все страдания и ужас положения» этих солдат. Он представлял себе, как «обессиленные от голода и холода люди, опустив голову, с хмурым безжизненным взглядом бредут к цели, достичь которой нет надежды».

Его взгляд на Россию и русских не лишен любознательности и меткости суждений, что отметила А.Н.Полосина в двух публикациях, посвященных Сен-Томе в «Толстовском ежегоднике» (2001, 2002). Он пишет, что «Россия погрязла в коррупции... в судах нет честных чиновников... Гангрена коррупции и взяточничества распространена среди всех государственных чинов, начиная с низшего ранга до самого высшего. Суды – одна из самых нездоровых структур империи. Горе тому, кто не знает, сколько ступеней необходимо пройти в кабинетах русских чиновников, чтобы добиться чего-либо по прошению!.. Средства, используемые некоторыми чиновниками для того, чтобы на их головы сыпалась манна небесная в виде взяток, часто напоминают трюки самых изощренных французских ярмарочных воров».

В Кронштадте ему бросается в глаза отношение начальников к подчиненным: юноша-офицер не ответил на приветствие матроса – ветерана и великана. «Мне объяснили, что великан – это простой матрос, а юноша – офицер, один – господин, другой – раб. Вот когда я осознал весь ужас социального рабства. Русское солнце померкло в моих глазах», – пишет он о самом первом впечатлении от России.

Много позже, пытаясь разобраться в том, почему французский гувернер вызвал в нем такую сильную антипатию, Толстой писал: «Он был хороший француз, но француз в высшей степени. Он был неглуп, довольно хорошо учен и добросовестно исполнял в отношении нас свою обязанность, но он имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности. Всё это мне очень не нравилось». Тома, считал Толстой, «любил драпироваться в роль наставника», «увлекался своим величием». «Его пышные французские фразы, которые он говорил с сильными ударениями на последнем слоге, *accent circonflexe*’ми, были для меня невыразимо противны».

Кого-кого, а Толстого невозможно заподозрить во франкофобии! Он горячо любил

Францию, ее язык, ее философию и литературу. Никто из зарубежных писателей не оказал такого прямого влияния на автора «Войны и мира», как Стендаль. Своим детям он вслух читал Жюль Верна, и дети Толстого искренне считали, что великий писатель – это Жюль Верн, а папá – просто писатель. Два его любимейших философа – Руссо и Паскаль. В старости Толстой признавался, что часто *думает* по-французски, потому что на этом языке ему легче формулировать свои мысли.

Тем не менее факт остается фактом: единственный человек, который нанес Лёвочке в отрочестве неисцелимую душевную травму, был не просто французом, но французом «в высшей степени». И вот что примечательно. На остальных братьев Толстых Сен-Тома не произвел такого впечатления. Старшие братья, Николенька и Сережа, искренне полюбили его, слушались беспрекословно, состояли с ним в переписке и т. д. Нам неизвестны конфликты между старшими братьями и их французским гувернером.

Сен-Тома, несмотря на присвоенную им приставку Saint, мог гордиться своим французским происхождением, но никак не родовитостью. Он был незаконным сыном унтер-офицера. Отец официально признал его в восемнадцатилетнем возрасте, но к тому времени юноша уже закончил колледж с похвальным листом. И вот в Москве он поступает старшим учителем в семье родовитых русских аристократов, не просто получая власть над их детьми, но оговаривая ее «по контракту».

К Толстым он приходит гувернером, когда вслед за матерью дети потеряли еще и отца. Больше того, приход в семью француза не просто совпадает со смертью Николая Ильича, но и в значительной степени вызван этой смертью. До кончины Николая Ильича Сен-Тома был просто приходящим учителем французского. Он всем в доме понравился. Лев Толстой пишет в конспекте «Воспоминаний», что он тоже сначала испытывал «увлечение культурностью и аккуратностью Сен-Тома».

О том, что он был незаурядным человеком или, как сказали бы сегодня, харизматичной фигурой, мы можем судить по тому, что, приплыв в Россию летом 1835 года никому не известной личностью, он зимой отправляется в Киев и сразу получает место секретаря графа В.В.Левашова, тогда Черниговского, Полтавского и Харьковского генерал-губернатора. Василий Васильевич Левашов был приближенным Николая I и героем войны 1812 года, пройдя ее до Парижа. Но, как и Тома, он был незаконнорожденным, внебрачным сыном обер-егермейстера. Свой графский титул он получил лишь в 1833 году за особые заслуги и тогда же стал генералом от кавалерии. Такие общие горькие детали в биографиях нередко сближают людей самых разных. Тем не менее когда граф Левашов покинул Киев (в 1838 году он стал членом Государственного Совета, а через десять лет – его председателем), Тома он с собой не взял, и уже в 1836 году француз оказался в Москве, поступив старшим гувернером в дом Милютиных.

Тома умел нравиться людям. Он понравился бабушке Толстых Пелагее Николаевне. По ее инициативе он и был приглашен на постоянное жительство в дом, который лишился мужского руководства. В его лице бабушка нашла замену другому гувернеру – немцу Федору Ивановичу Рёсселю, так любовно описанному Толстым в «Детстве» и «Отрочестве» под именем Карла Ивановича Мейера. Федор Иванович Рёссель был добряк и пьяница, сохранивший свои немецкие черты скорее как некий атавизм, над которым все Толстые добродушно посмеивались. О нем нельзя было сказать, что он «в высшей степени немец». Его рассказы о жизни в Германии, о службе в армии во время войны с Наполеоном, о мытарствах во французском плену были горькими и трогательными. Они до такой степени запали в душу маленького Толстого, что в будущем он посвятил им в «Отрочестве» целых три главы под общим названием «История Карла Ивановича». Рёссель в глазах Толстого выступает антиподом Сен-Тома. Сен-Тома если не презирует Россию, то все-таки смотрит на нее сверху вниз. Рёссель – немец с уже потерянными немецкими корнями. В Германии ему делать нечего. Россия стала его родной страной. И даже – не просто Россия, но именно Ясная Поляна. Дети Толстых стали его родными детьми, без которых он не может жить. В конце концов он умер в Ясной Поляне и похоронен на кладбище близ семейного захоронения

Толстых.

Карл Иванович в «Отрочестве» откровенно дуется на бабушку за то, что его выгоняют из дома ради француза. По мнению бабушки, St.-Jérôme (под этим именем в повести выступает Тома), «по крайней мере, *gouverneur*, который поймет, как нужно вести *des enfants de bonne maison*⁷, а не простой *menin*, *дядька*, который годен только на то, чтобы водить их гулять». Вот, собственно, в двух словах разница между Рёсселем и Тома. Первый – это «дядька», второй – «*gouverneur*».

В «Отрочестве» отец приглашает француза в дом под давлением бабушки, своей матери. Одновременное присутствие в доме двух сильных мужчин, один из которых к тому же хозяин, а второй всего лишь нанятый работник, ослабляет коллизию, которая происходила в реальности. Сен-Тома стал руководить детьми Толстых *после смерти* Николая Ильича в 1837 году. Разумеется, он не заменял им отца. Но степень его влияния на мальчиков, оставшихся без мужского руководства, выросла очень значительно. А то, что из дома убрали еще и «дядьку», поднимало француза на недостижимую высоту.

В отличие от Рёсселя Сен-Тома заранее позаботился о том, чтобы его авторитет был непререкаем. Сохранилось его письмо к Пелагее Николаевне, в котором он оговаривал условия своей работы: отдельная комната, слуга, 1500 рублей в год ассигнациями, уплачиваемые поквартально. Но самое важное место в письме то, где он требует фактически неограниченной власти над детьми, исключая лишь возможность физического наказания. «Чтобы меня боялись и слушались, я должен иметь полную власть и неоспоримый авторитет в такой мере, чтобы при словах: “Об этом будет сообщено господину Сен-Тома” – восстанавливался порядок».

Это условие и стало камнем преткновения между Сен-Тома и Лёвочкой.

Все-таки его недаром называли Львом! Единственный из мальчиков он взбунтовался против Сен-Тома.

И вот что интересно. Вопреки правилам, Рёссель поколачивал-таки детей. Не розгами, упаси Бог, но линейками и помочами от брюк. Как-то он отхлестал Льва пучком вербы, да еще и освященной в Вербное Воскресенье. Но почему-то это не вызвало у мальчика той ненависти, которую вызвал Сен-Тома (глава о нем так и называется «Ненависть»). Толстой также описывает случай, как отец однажды больно ухватил его за ухо, но это не только не породило в нем ненависти, а даже обиды не вызвало. Между тем у Толстого и в детстве, и всю жизнь была повышенная тактильная чувствительность. Всякое соприкосновение с внешним миром переживалось им гораздо острее, чем обычными людьми. Можно сказать, он кожей чувствовал внешний мир.

В детстве это были, как правило, приятные ощущения. «С особой нежностью» он целовал «белую жилистую руку отца» и был «умиленно счастлив», когда отец ласкал его. Свою любимую охотничью собаку Милку «с прекрасными черными глазами» он тоже с особой нежностью целовал в морду.

Но и на всю жизнь запомнил, как няня за пролитый на скатерть квас наказала его: поймала и, несмотря на «отчаянное сопротивление», начала возить этой мокрой скатертью по его лицу, приговаривая: «Не пачкай скатертей!» И пучок вербы запомнил, и даже то, что от вербы отпадали «шишечки». Но почему-то это не воспринималось как *насилие*, которое вызывает «ужас и отвращение».

Ужас и отвращение вызвал один Сен-Тома.

Когда Рёссель, едва сдерживая слезы от обиды, передавал ему детей с рук на руки, он сказал: «Пожалуйста, любите и ласкайте их. Вы всё сделаете лаской». При этом немец особо заметил, что у Льва «слишком доброе сердце, с ним ничего не сделаешь страхом, а всё можно сделать через ласку». На что Сен-Тома возразил: «Поверьте, *mein Herr*, что я сумею найти орудие, которое заставит их повиноваться», – и почему-то посмотрел именно на Льва.

⁷ детей из хорошей семьи (*франц.*)

«Но должно быть в том взгляде, который я остановил на нем в эту минуту, не было ничего приятного, потому что он нахмурился и отвернулся».

Одно из «орудий» наказания, которое употреблял Сен-Тома: он ставил провинившегося мальчика перед собой на колени и заставлял просить прощения. При этом гувернер, «выпрямляя грудь и делая величественный жест рукою, трагическим голосом кричал: “А genoux, mauvais Sujet!”»⁸

Но со Львом это не проходило. Он, терпевший наказания не только от отца, но от «дядьки» и даже от крепостной няньки, не соглашался с *унижением*.

Однажды Сен-Тома все-таки силой заставил Льва встать на колени, согнувши его спину. Мальчик этого не забыл.

Как-то у Толстых был семейный вечер. Дети, как водится, бесились в своей комнате. Вдруг пришел гувернер и сказал Льву, что поскольку он утром плохо отвечал урок, то не имеет права на веселье и должен уйти. Лев не только не исполнил приказ, но отвечал Тома дерзостью на глазах у остальных детей. Француз пришел в бешенство. «С’est bien, я уже несколько раз обещал вам наказание, от которого вас хотела избавить ваша бабушка; но теперь я вижу, что кроме розог вас ничем не заставишь повиноваться, и нынче вы их вполне заслужили».

Речь шла о том единственном способе воздействия на детей, который в семье Толстых был вне закона. В письме к Пелагее Николаевне Сен-Тома обещал, что он никогда не позволит себе прибегнуть к физическому наказанию детей, и уверял, что «с помощью Бога, отца сирот» он без розог достигнет успеха. Кстати, слово «Бог» часто встречается в этом письме, хотя едва ли Сен-Тома был набожным, как и Пелагея Николаевна. Скорее это следует отнести на счет его фразерства, которое так не понравилось Льву. С раннего детства у него было исключительное чутье на фальшь.

Несмотря на сопротивление мальчика, Сен-Тома отвел его в чулан и запер на замок, пообещав приготовить розги. Гувернер не осмелился привести приговор в исполнение, но те часы, которые Лев провел в чулане в ожидании наказания, он запомнил навсегда. «... я испытал ужасное чувство негодования, возмущения и отвращения не только к Thomas, но и к тому насилию, которое он хотел употребить надо мной, – впоследствии вспоминал Толстой. – Едва ли этот случай не был причиной того ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которое испытываю всю свою жизнь».

Находясь в чулане, Лёвочка перебирал в голове различные способы мести. Вдруг ему пришла мысль «о несправедливости Провидения». «Я, кажется, не забывал молиться утром и вечером, так за что же я страдаю? Положительно могу сказать, что первый шаг к религиозным сомнениям, тревожившим меня во время отрочества, был сделан мною теперь».

Предположим, это была поздняя натяжка. «Отрочество» писалось пятнадцать лет спустя после события. Но вот интересная деталь. Среди детей, приглашенных в дом Толстых на торжество, почти наверняка был Владимир Милютин, сверстник Льва, которого всегда приводили к Толстым на праздники. Его старший брат Дмитрий Александрович Милютин будет при Александре II министром военных дел. А Владимир станет одним из ярких деятелей российского либерализма, статью которого «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции» оценил еще В.Г.Белинский. Это тот самый Владимир Милютин, который упомянут в «Исповеди» Толстого под именем Володеньки М. «Помню, что когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам в воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что всё, чему нас учат, – одни выдумки. (Это было в 1838 году.) Помню, как старшие братья заинтересовались этой новостью, позвали меня на совет, и мы все, помню, очень оживились и приняли это известие, как что-то очень занимательное и весьма возможное».

⁸ На колени, негодяй! (*франц.*)

Володя Милютин был первым русским подопечным Сен-Тома. Именно от Милютиных француз переманила в свой дом Пелагея Николаевна, посулив более щедрое жалование. Но и уйдя к Толстым в гувернеры, он продолжал быть приходящим учителем Володи Милютина.

Конечно, было бы слишком смело сказать, что француз воспитывал в своих мальчиках атеизм. Но судя по тому, что, вернувшись во Францию уже в сороковые годы, он станет одним из активных участников Французской революции 1848 года, его собственные убеждения были далеки от религиозных основ и уж точно не годились для православного воспитания.

Тем не менее Сен-Тома был хорошим учителем и гувернером. Поэтому он и был нарасхват в московских барских домах. Он не только учил французскому языку и латыни, но и приучал своих подопечных к порядку. Все отмечали, что с его приходом комнаты мальчиков стали выглядеть аккуратней. Он заботился об их физическом развитии, водил старших Николая и Сергея в Манеж заниматься гимнастикой и обучаться верховой езде. Это детям очень нравилось. Одним из страшных наказаний для них было временное запрещение посещать Манеж.

Сен-Тома был единственным из учителей, кто разглядел во Льве писательские способности и горячо советовал развивать их. Он высоко оценил его стихотворные опыты и говорил: «Этот малыш – голова, это маленький Мольер».

В поздние годы Толстой иначе относился к Сен-Тома, вспоминая о нем даже с благодарностью. В 1894 году через знакомого французского писателя и переводчика Жюль Легра он пытался найти его след во Франции, но не нашел... И все-таки впечатление от своего первого заточения и ожидания порки так повлияли на Толстого, что в 1896 году он писал в дневнике: «Жив, сейчас вечер, 5-й час. Лежу и не могу заснуть. Сердце болит. Измучен. Слышу в окно, играют в теннис, смеются. Соня уехала к Шеншиным. Всем хорошо. А мне тоска, и не могу совладать с собой. Похоже на то чувство, когда St.-Thomas запер меня и я слышал из своей темницы, как все веселы и смеются».

Даже стариком он не мог забыть этого наказания! А ведь его тогда не только не высекли, но мальчишка одержал над гувернером победу. Пригрозив бабушке, что покинет дом Толстых из-за строптивости Льва, Сен-Тома не сделал этого, стараясь в дальнейшем не обращать на бунтаря особого внимания.

Вероятно, причина такой остроты конфликта заключалась не столько в поступке француз, сколько в самой личности обиженного.

Вот самое первое впечатление от земного бытия, записанное Толстым в незавершенном очерке «Моя жизнь»:

«Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мной стоят нагнувшись кто-то, я не помню кто, и всё это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собою».

Возможно, такое же чувство, как от пеленания, он испытывал и в чулане. «Им кажется, что это нужно... тогда как я знаю, что это не нужно».

Собственно, Толстой должен был благодарить француз. Ведь тот первым навел его на мысль о том, как можно победить насилие. Все планы мести Сен-Тома, которые мальчик обдумывал в чулане, оказались неудачны, потому что они повторяли действия его экзекутора: *«И St.-Jerome упадет на колени, будет плакать и просить прощения»*. Но что толку поставить врага на колени после того, как стоял на них сам? Чтобы справиться с насилием, насилие не годится.

Призрак заносчивого француз преследовал Льва Толстого всю жизнь.

«Но не хочу, – так завершается его запись о Сен-Томе от 31 июля 1896 года. – Надо терпеть унижение, надо быть добрым. Могу».

Глава четвертая ОДНАЖДЫ В КРОНШТАДТЕ

Он шел, окруженный густой кучкой людей, как-то немного опрокинувшись, словно отдаваясь на волю этой толпы и ею несомый, и вместе с тем казалось, что эту толпу он увлекает сам вперед.

Евгений Поселянин

НЕ ЖДАЛИ

В середине 50-х годов XIX века на улицах Кронштадта появилась странная фигура, вызывавшая недоумение горожан. По вечерам видели молодого священника, похожего на сельского батюшку, который шел по улицам со скрещенными на груди руками, устремив перед собой горящий, невидящий взор. Иногда его видели босым.

Если бы подобное происходило в Петербурге... Но в Кронштадте в те времена существовала только одна «гражданская» православная церковь – собор Андрея Первозванного. Морские офицеры и матросы окормлялись в своих «ведомственных» храмах, а величественный Морской собор в то время еще не был построен⁹.

Неудивительно, что новый батюшка, поведение которого было таким эксцентричным, а по мнению немногочисленной городской элиты – просто неприличным, сразу вызвал всеобщий интерес. Одни решили, что это юродивый, другие называли его сумасшедшим.

Не понравился он и клиру Андреевского собора, особенно его настоятелю Трачевскому. Того раздражало, что новый священник хотел каждый день служить литургию. Настоятель вынужден был забирать к себе домой антиминс¹⁰, чтобы остудить рвение своего подчиненного.

Чинились новичку и разные другие препятствия. Не полюбил его и кронштадтский полицмейстер Головачев, потому что батюшка начал собирать вокруг себя городскую рвань и пьянь, быстро сделавшись популярным у всевозможного нищего люда.

Но здесь необходимо сказать несколько слов о Кронштадте.

«Кронштадт того времени, когда вошел в него о. Иоанн, был особенный город, – замечает биограф отца Иоанна Николай Большаков. – Кронштадт служил местом высылки административным порядком порочных, неспособных, в силу своей порочности, граждан, преимущественно мещан и разного сброда. Эти люди носят наименование “посадских”, и в описываемое нами время городские жители много терпели от них. Ночью не всегда безопасно было пройти по улицам города, рискуя подвергнуться нападению и грабежу».

«“Посадские” – чернорабочие: угольщики, грузчики и т. д., – писал священник кронштадтской тюремной церкви П.П.Левитский. – А для жителей Кронштадта “посадские” – это люди спившиеся, попрошайки, одетые в лохмотья, бездомные, но приписанные к “мещанам”».

Это не совпадает с нашими нынешними представлениями о крепости Кронштадт с его

⁹ По данным на 1903 год в Кронштадте кроме Андреевского собора был католический костел, лютеранская кирха и две православные церкви – сухопутного и военно-морского ведомства. Остальные церкви были так называемые «домовые».

¹⁰ Плат с зашитыми частицами мощей христианских святых. Антиминс – необходимая принадлежность для совершения литургии.

героической и трагической историей, но в этом надо отдавать себе отчет. Отец Иоанн начинал служить не только в военно-морском форпосте России, охранявшем «окно в Европу», но и просто в портовом городе, эдакой маленькой северной Одессе, без ее размаха и богатства, зато с криминалом, который всегда активен в портовых городах. В Кронштадте осуществлялась перегрузка больших торговых кораблей, которые не могли подойти к Петербургу по Неве. В Кронштадт, как на остров, отрезанный от столицы водой, ссылали неблагонадежных людей и разный уголовный элемент, чтобы обезопасить от него Петербург. Здесь царили безработица, разгул пьянства, воровства и проституции...

«Какие ужасы у нас в Кронштадте делаются: один капитан иностранного судна убит и брошен в канаву окровавленный, избитый. Другой случай: двое мошенников, бежа от полицейских солдат, толкнули одного старика и убили его. Какое пьянство! Распутство! Увеселения!» – в дневнике отца Иоанна мы встречаем немало гневных высказываний о городе.

«На нашем небольшом острове сатана видимо поставил престол свой», – пишет он в 1857 году. «Видимо» – то есть зримо.

В духовной академии он мечтал стать проповедником среди диких языческих племен Америки. Но именно здесь, недалеко от столицы Российской империи, отец Иоанн почувствовал себя миссионером. И тогда он поступил так, как поступил бы на его месте настоящий миссионер: он отправился в самое сердце царившего зла, в самую видимую его часть – в трущобы. Он сделал то, чего начинающий священник, желающий карьерного роста, как раз делать не должен. Ведь с точки зрения кронштадтской элиты отец Иоанн совершил поступок, который ронял в их глазах звание священника, почти оскорблял его сан. Он отправился к людям самым пьяным, самым развратным, самым безнадежным для моральной проповеди.

Он погрузился в *грязь* .

«Он не брезгует грехом, не боится запачкаться о чужую грязь, – писал о нем иеромонах Михаил (Семенов). – Он любит всякого человека и в грехе его и позоре его».

Но и в этой среде его не ждали. Добровольный приход священника в злчные районы города не вписывался в традиционные отношения между клиром и паствой. Нищета должна собираться на паперти, к священнику надо идти трезвым, прилично одетым. Но чтобы священник сам пошел к нищим и пьяницам!..

«Мне было тогда только еще годов двадцать два, двадцать три, – рассказывал потом один кронштадтский ремесленник. – У меня была семья, двое детишек, старшему года три. Рано я женился. Работал и пьянствовал. Семья голодала. Жена потихоньку по миру собирала. Жили в дрянной конурке – в конце города. Прихожу раз не очень пьяный... Вижу, какой-то молодой батюшка сидит и на руках сынишку держит и что-то ему говорит – ласково. И ребенок серьезно слушает... Я было ругаться хотел: вот, мол, шлятся, да глаза батюшки и ласковые, и сурьезные в одно время остановили. Стыдно стало... Опустил я глаза, а он смотрит, прямо в душу смотрит. Начал говорить. Не смею я передать всё, что он говорил. Говорил про то, что у меня в коморке рай, потому что где дети, там всегда и тепло, и хорошо, и о том, что не нужно этот рай менять на чад кабацкий. Не винил он меня, нет, всё оправдывал, только мне было не до оправдания».

Отец Иоанн взял себе за правило гулять и молиться на улицах города между 11 и 12 часами вечера, когда приличные люди сидели по домам. Вот почему его стали видеть на улицах со скрещенными на груди руками. Во время этих прогулок он имел привычку заходить «на огонек», то есть в бедные дома, где в это время горел свет и, стало быть, случилось какое-то горе... «Приходит отец Иоанн в бедную семью, – рассказывал об этих походах очевидец, – видит, что некому сходить даже за съестными припасами, потому что из одного угла доносятся болезненные стоны хворой матери семейства, из другого – несмолкаемый плач полуголодных, иззябших, больных ребятишек. Отец Иоанн сам отправляется в лавочку, чтобы купить провизию, в аптеку за лекарством или приводит доктора, словом, окружает несчастную семью чисто родственными попечениями, никогда,

разумеется, не забывая и о материальной помощи, оставляя там последние свои копейки, которых слишком мало в то время имел еще сам».

После таких «огоньков» отец Иоанн, бывало, возвращался в семью не только без денег, но и босой. Потом уже сердобольные прихожане Андреевского собора приносили матушке Елизавете Константиновне сапоги мужа, говоря: вот, возьми... а то твой-то отдал их, босой домой придет, мы вот купили – не ходить же ему так.

В будущем один из биографов отца Иоанна заметит: это первый священник, который не просил деньги, а отдавал.

Всё это было замечательно, но слишком эксцентрично. Если бы таким манером стали вести себя все священники хотя бы одного Кронштадта, неизвестно, к чему бы это привело. Некоторые его поступки безусловно зашкаливали за пределы разумного. Например, его могли застать за стиркой белья в доме бедной женщины, когда та должна была выходить на работу, чтобы прокормить детей. Он оставался вместо нее в доме за няньку и за хозяйку. В то же время его собственная жена, матушка Елизавета Константиновна, вынуждена была подать прошение, чтобы заработную плату мужа выдавали ей, иначе от нее ничего не оставалось бы. Отчасти именно поэтому отец Иоанн взялся преподавать Закон Божий в местной гимназии, чтобы иметь деньги на пожертвования. Были свидетельства, что в порыве альтруизма отец Иоанн мог снять с себя и отдать свою рясу. Летом он собирал на природе детей и родителей, проводя с ними душеполезные беседы, – совсем как протестантский пастор. Но главное – досаждал настоятелю пожеланием ежедневных литургий. Словом, он проявлял амбиции, которых не ждали от молодого священника, сына нищего сурского дьячка. Он показал характер.

Этот характер он проявил уже в первой речи перед паствой. Это была речь не просто начинающего священника, но человека, сознающего свое священство.

«Сознаю, – говорил он, – высоту сана и соединенных с ним обязанностей; чувствую свою немощь и недостойнство к прохождению высочайшего на земле служения священнического, но уповаю на благодать и милость Божию, немощная врачующую и оскудевающая восполняющую. Знаю, что может сделать меня более или менее достойным этого сана и способным проходить это звание... Это любовь ко Христу и к вам, возлюбленные братия мои. Потому-то и Господь, восстанавливая отрешившегося ученика в звании апостола, троекратно спросил его: любишь ли Мя, и после каждого ответа его: люблю Тя, повторял: паси отцы Моя, паси агнцы Моя...»

Вот на какую высоту поднимал отец Иоанн звание священника. На апостольскую! В дневнике же он возводит священников в ангельский чин и говорит о непосредственной близости священников к Богу. Это прямые посредники между Богом и людьми. «Наше дело – служение спасению людей – очень великое и досточтимое. Мы должны быть совершенно преданы своему делу и не думать о деньгах, о пище и одежде; те, для кого мы служим, должны награждать нас за наши неоцененные для них труды из своей собственности. И они не должны никогда поставлять этого на вид нам, потому что, *если мы посеяли в них духовное, велико ли то, если мы пожнем их телесное* [1 Кор 9:11]. Мы устроим вечное спасение бессмертной их души, а сами между тем получаем за это скоропреходящие, тленные вещи: деньги, пищу и одежду для тела».

Кто-то увидит в этом противоречие – ведь он сам отдавал пастве последние деньги, лишая содержания свою семью. Но никакого противоречия здесь не было. Он столь же просто отдает, сколь и принимает эти «вещи», не придавая им никакого особого значения, вполне по пословице: Бог дал – Бог взял.

«Как дивно Господь вознаградил меня сегодня за милостыню! – замечает он в дневнике. – Подал я бедной одной рубль, и другой рубль, и третьей рубль – и мне все три рубля Господь возвратил вечером. Раба Божия принесла за исповедь три рубля».

Брать плату за исповедь для него, как священника, было столь же естественно, как повитухе – брать за роды. «Исповедь – мука рождения. Как бабушки помогают при родах, чтоб мать благополучно разрешилась младенцем, так священники должны помогать

страдающим муками духовного рождения, чтоб они благополучно разрешились грехами, этими порождениями адскими, этими вавилонским младенцами, которые должно разбивать о камень – Христа», – пишет он в дневнике в 1862 году.

Дневник молодого священника Иоанна Сергиева трогает сочетанием мудрости и наивности. Порой он рассуждает как деревенский ребенок, наслушавшийся «мудрости» не слишком образованных близких и полный всевозможных суеверий. «Пуп у человека находится против самого места, где сердце духовное», – с важностью объясняет в 1859 году отец Иоанн – недавний выпускник Петербургской духовной академии и кандидат богословия. Или сообщает, что изгнал из себя беса, «придавив нижним концом спасительного знамения чрево свое» (запись от 3 марта 1858 года). Или путем сомнительных подсчетов приходит к выводу, что «ангелов всех будет девяносто девять септиллионов».

Но дневник наполнен и глубокими мыслями, и запоминающимися художественными образами.

«И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковые листья, и сделали себе опоясания». Вот начало человеческой одежды; посмотри, как она проста по своему началу и что заставило человека покрыть себя одеждою. Как мы уклонились теперь от первоначальной простоты в одежде и как изменилась у нас самая цель одежд: мы покрываемся ими не с тем, чтобы прикрыть наготу свою, а с тем, большею частию, чтобы украсить, пощеголять в ней. Чем же мы щеголяем? Повязкою на ране».

«Главное в человеке – невидимая душа. Если это невидимое начало согласно по состоянию своих духовных сил с Первым, Верховным Началом, от Которого истекает жизнь и блаженство, тогда и этому невидимому, ничтожному началу нашему, то есть душе, бывает хорошо: оно чувствует мир и согласие своих сил и оттого блаженствует; но если же не согласно по превратному направлению своих сил – тогда ему бывает худо, тяжело, оно чувствует раздирающую всё существо борьбу каких-то разнородных сил, противящихся друг другу, и больше всего – преобладание какой-то мертвящей, злой, посторонней силы».

Эти строки написаны отцом Иоанном в 1857 году, на втором году его церковного служения. Чтобы прийти к мысли о связи человека с Богом как малой части с *неограниченным всем*, Льву Толстому потребуется больше двадцати лет.

Вообще в раннем дневнике отца Иоанна поразительно много мест, роднящих его со Львом Толстым. Но не с тем, каким он был в 50-е, 60-е или даже 70-е годы, а с Толстым после его духовного переворота. Без сомнения, отец Иоанн Кронштадтский в своем духовном взрослении значительно опередил своего великого сверстника. Как минимум на четверть века. Он словно исключил из своей жизни почти три десятилетия духовных и нравственных метаний и сомнений, которые столь мучительно переживал Толстой, но которые и заложили его мировую славу как великого писателя, автора «Детства», «Казаков», «Войны и мира» и «Анны Карениной».

«Созердай всех людей в безмерно любящем их Боге, и, если ты любишь Бога искренно, тебе легко будет любить и всех людей, прощая их недостатки», – пишет отец Иоанн, выражая мысли, схожие с теми, что находим в дневнике позднего Толстого.

Задолго до «переворота» Толстого отец Иоанн говорит о Царствии Божием внутри нас, противопоставляя веру истинную внешнему пониманию Бога. Раньше Толстого он критикует науку, искусство, женскую эмансипацию и так далее. Он похож на позднего Толстого и в предпочтении простолудинов людям образованным. «Эти грубые черты лица, эта чернота лица и грубость рук – отпечатки тяжких, ежедневных трудов, иногда на палящем зное солнца. Эта тусклость очей – следы часто проливаемых слез о бедности своего положения. О, сколь предпочтительнее для меня эти грубые, черные лица простых поселян – нежных, белых лиц; и эти грубые, черные руки их – нежных и белых рук жителей городских, привыкших проводить время больше в праздности и рассеянности или в легких, сравнительно с сельскими, трудах», – пишет отец Иоанн в дневнике в 1859 году, когда Толстой проигрывает 1500 рублей на китайском бильярде, продает за долги часть имения Щербачёвка, доставшегося ему после смерти старшего брата Дмитрия, проводит время «в

хандре, беспорядочности, лени», продолжает связь с замужней крестьянкой Аксиньей Базыкиной и называет свои хозяйственные заботы по Ясной Поляне «вонючей тяжестью», которая «навалилась мне на шею».

Толстому потребуется двадцать с лишним лет, чтобы прозреть и увидеть чудовищные язвы городской цивилизации: нищих, малолетних проституток и стариков, замерзающих у всех на глазах. Почти четверть века ему понадобится, чтобы дозреть до рассказа «Чем люди живы», где сапожник отдает голому бродяге свой полушубок – а бродяга оказывается Ангелом.

Конечно, с точки зрения догматического богословия сходство мыслей раннего отца Иоанна и позднего Толстого сомнительно. Они исходят из разных источников и приходят к разным выводам. Так, говоря о Царствии Божием внутри нас, отец Иоанн непосредственно связывает это с Евхаристией. Не случайно он использует устаревшую форму слова в цитате из Евангелия: «Царствие Божие *внутри* нас». Любовь к людям у отца Иоанна вторична по отношению к любви к Богу: любишь Бога, полюбишь и людей. У Толстого она первична: любишь людей, значит любишь и Бога.

Эти догматические различия, разумеется, крайне важны, если сравнивать отца Иоанна и Льва Толстого как христианских философов. Но нас интересует не это, а общее направление их эволюции. Поздний Толстой начинал свои богословские поиски с той же стартовой отметки, на которой Иоанн Кронштадтский находился уже в середине 50-х годов. С другой стороны, в отличие от Толстого, жизненный опыт отца Иоанна не был разнообразным, ограничиваясь стенами семинарии и академии. Он не знал, что такое жить в имении, служить в армии, не имел опыта общения с сильными мира и долгое время смотрел на них снизу вверх.

В 1858 году он записывает в дневнике сон, который называет «сладостным». Этот сон точно отражает социальные терзания отца Иоанна – выходца из низов. «Видел во сне покойного государя Николая (но как будто он жив и не умирал). Он обозревал свое царство; обозревая, зашел в дом к какому-то покровительствуемому им человеку... от которого узнал, что я оказал великодушный поступок кому-то поданием значительной милостыни. Царь горячо принял поступок мой с любовью и царственным видом попечения о всех своих подданных, приласкал меня царским словом, дал мне в награду какую-то бумажку, о которой я думал, что рубль, и велел мне с ним идти и чай у него пить. Между тем будто бы я показал свою бумажку другим, и оказалось, что она – царский билет, по которому я мог из любого казначейства получить сто шестьдесят рублей серебром, а другие говорили, что тысячу с лишком».

Этот «царский рубль», который оборачивается неопределенно большой суммой денег, прямо восходит к народной мечте о «неразменном рублике» и свидетельствует о том, что и после выпуска из академии и защиты магистерской богословской диссертации отец Иоанн в душе оставался всё тем же Ваней Сергиевым.

В этом была его сила, но и его слабость.

Даже и двадцать лет спустя в письме к племяннику об освящении пристроек к Андреевскому собору он всё еще придает огромное значение внешней стороне торжества и чинопочитанию: «Служил Архиерей – викарный Митрополит Варлаам, бывший мой товарищ по Академии. Я был у него еще в Июле месяце – принять благословение и побеседовать кое о чем. Принимал меня весьма ласково, и как отец, и как товарищ. Торжество освящения было чрезвычайное: весь город собрался на освящение. Приглашен был и Великий Князь Константин Николаевич, но отказался за недосугом. Я со старостою храмовладельцем ездили в г. Павловск, в летнюю резиденцию Князя, и имели честь говорить с Ним и Его супругою. – После службы торжественной старостою был устроен великолепный обед в здании Морского Собрания, в великолепном же зале, могущем поместить в себе свободно до тысячи человек. На обеде были: Морской Министр, Степ. Ст. Лесовский, Преосвященный, Губернатор, разные Генералы, два Архимандрита... всё духовенство Кронштадтское – православное, католическое, Англиканский пастор, много офицеров,

купцов».

Скудным был и культурный багаж отца Иоанна. Он почти не читал художественной литературы, не интересовался искусством, крайне наивно писал о научном и техническом прогрессе – например, об электричестве и паровозах. Но при этом в нем никогда не было и тени сомнения и высокомерия выскочки из низов. Он трезво оценивал свое положение и во всем полагался на волю Божию. «Каким я чудом есмь ныне то, чем есмь! Дед мой был непросвещенный, отец – также, а я получил обилие света умственного! Как я сделался тем, чем не были мой родитель и дед? Они не могли дать мне, чего сами не имели. Благодетель мой, Господе Иисусе! Я знаю Тебя. Я не таю благодеяний Твоих. Твоя благодать сделала меня тем, чем я есмь».

Не означает ли это, что пока Толстой метался, не умея найти применение своей неординарной личности, отец Иоанн уже причалил к единственной надежной пристани – Православной Церкви – и сразу обрел мир в душе?

Нет. Самое удивительное, что этапы эволюции «еретика» Толстого и православного священника Иоанна Сергиева почти в точности совпадают по годам.

В начале пятидесятых годов Иван Ильич Сергиев поступает в духовную академию. Это поворотный момент его жизни. Решалась его судьба: останется он обычным священником в Суре или пойдет дальше? Не может быть ни малейших сомнений, что без академии не было бы и феномена Иоанна Кронштадтского.

А Лев Толстой в начале пятидесятых годов отправляется на Кавказ. Опять-таки, это поворотный момент в его судьбе. Это его духовная академия. Здесь он начинает писать. Здесь происходит его единение с простым народом, русскими солдатами. Здесь он получает пожизненную прививку нефальшивого взгляда на отношения людей, на единство человека с природой. Наконец, именно здесь в его дневнике появляются первые размышления о Боге...

С середины пятидесятых годов Иван Сергиев становится священником, и это определяет его судьбу уже до конца земного пути. Впрочем, почему только земного? На иконах святой праведный Иоанн Кронштадтский, как правило, изображается с потиром (реже с Евангелием). Суть святости отца Иоанна все его биографы определяют тавтологическим сочетанием, в котором, однако, заключен глубокий и сокровенный смысл: *это святой священник*.

«Святость священника – вот особенность, можно даже сказать, единственность явления отца Иоанна», – пишет архимандрит Константин (Зайцев).

В середине пятидесятых годов поручик Толстой приезжает с Крымской войны, уходит в отставку и выбирает для себя писательский путь. Как бы он впоследствии ни пытался свернуть с этого пути, он оставался писателем до конца своих дней, даже и в своих богословских поисках. Как писатель (прежде всего!) он и вошел в историю мировой культуры. Именно те его сочинения, от которых он в поздние годы старался откеститься, называя их «пустяками», составляют сегодня его мировую славу. Но как Иоанн Кронштадтский не был просто священником, а был, если можно так выразиться, священником в кубе, так и Толстой раздвинул границы возможностей просто писателя. В этом и состоит феномен позднего Толстого.

Новый поворотный момент в их биографиях происходит в начале восьмидесятых годов. Но об этом – позже.

Пока же заметим, что в начале своего священнического служения отец Иоанн претерпевал трудностей гораздо больше, чем Толстой в начале писательского пути. И сомнений, и колебаний в его душе было не меньше, чем у Толстого.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Можно объяснять это так или иначе, но факт остается фактом: российские православные иерархи не только в государственной части (Синод), но и в лице главнейших духовных авторитетов (Феофан Затворник) весьма долгое время не хотели признавать отца

Иоанна, находя в нем опасное явление.

Но было бы слишком просто отнести это к исторической неготовности Русской Церкви. Тогда, согласно этой логике, мы должны сказать, что и русская литература не была готова принять позднего Толстого с его религиозными исканиями. Ведь его не приняли такие разные, но одинаково могучие авторитеты второй половины XIX века, как Тургенев и Достоевский.

Тургенев называл стиль позднего Толстого «непроходимым болотом». В 1880 году на открытии памятника Пушкину в Москве он пустил в среде литераторов слух, что Толстой в Ясной Поляне сошел с ума. В 1883 году, умирая на даче Виардо в Буживале, Тургенев в замечательном по внутреннему мужеству письме умолял Толстого вернуться к литературной деятельности.

Незадолго до смерти, в январе 1881 года Достоевский познакомился с письмами Льва Толстого к А.А.Толстой, в которых тот излагал свои новые воззрения. «Не то, не то!..» – кричал Достоевский. «Он не сочувствовал ни единой мысли Льва Николаевича», – заметила Александра Андреевна.

Главная проблема заключалась в том, что и Толстой после духовного переворота, и отец Иоанн в начале церковного служения отнюдь не представляли собой законченного духовного явления. Понять и вполне оценить эти фигуры можно было только в их развитии. Но и это развитие было настолько причудливо-индивидуальным, если не сказать иначе – эксцентрическим, что не было ничего удивительного в том, что оно вызывало опасения. Ни в истории русской церкви, ни в истории русской литературы не было ничего подобного.

Первый же поступок отца Иоанна в начале его священства буквально поверг в шок его близких. Обвенчавшись с дочерью ключаря Андреевского собора Елизаветой Несвицкой, он... объявил celibат. Он сказал жене: «Счастливых семей, Лиза, и без нас довольно. А мы с тобой посвятим себя на служение Богу». Для двадцатишестилетней Лизы это означало, что она будет жить с мужем как сестра с братом.

Это решение отца Иоанна его биографы комментируют крайне осторожно. Можно понять его в контексте церковного призвания, но в морально-человеческом плане это был очень жестокий поступок! «Жена спасется чрез чадородие», – пишет отец Иоанн в дневнике 1857 года, вскоре после того как лишил венчанную с ним женщину возможности иметь детей.

Только обзревая весь путь Иоанна Кронштадтского, понимаешь, что иначе он поступить не мог. В конце концов это приняла и жена. Елизавета Константиновна смирилась со своей участью, называла мужа «брат Иоанн» и скончалась через полгода после его кончины, завещав похоронить себя рядом с мужем в Иоанновом монастыре, в чем ей посмертно было отказано решением Синода.

«... отец Иоанн совершил уникальный в агиографической традиции поступок, – пишет современный исследователь Надежда Киценко. – Случаи, когда супруги сохраняют целомудрие или дают обет воздержания, встречаются в жизнеописаниях святых, но инициатива исходит, как правило, от жены, а не от мужа, и обычно выражается в убеждении супруга, а не в категорическом отказе. Но отец Иоанн принял решение сохранить девственность еще до женитьбы – решение, о котором... его невеста не подозревала. Как это можно трактовать? Сколь бы прагматичной ни была подоплека браков в среде духовенства, в которой обе стороны осознавали, что будущий муж унаследует приход отца жены, нормальные супружеские отношения считались неотъемлемой их частью... Здесь возникают сразу два вопроса. Во-первых, если отец Иоанн не намеревался исполнять супружеский долг, зачем он вообще женился и почему не постригся в монахи? Во-вторых, если он хотел соединять каждодневное совершение литургии и служение мирянам, унаследовав место протоиерея Константина Несвицкого в Андреевском соборе Кронштадта после женитьбы на его дочери, то он, несомненно, должен был заручиться согласием невесты до свадьбы, а не поставить ее перед фактом».

Надежда Киценко предполагает, что решение о сохранении девственности после брака

было принято отцом Иоанном еще до свадьбы, и это было продиктовано его желанием *ежедневного* служения литургии.

Таким образом, у него возникала сложная ситуация. Для того чтобы получить приход, Иван Сергиев должен был жениться на дочери уходящего на покой протоиерея – самый обычный поступок в церковной среде того времени. Но чтобы ежедневно служить литургию (а именно это поставил себе за основное правило молодой священник), он должен был вести девственный образ жизни, потому что литургические правила, связанные с причастием, исключают плотскую связь мужа с женой накануне литургии.

Эту проблему отец Иоанн решил просто, личным волевым решением, не советуясь ни с кем, ибо невозможно было представить авторитетное церковное лицо, которое дало бы молодому выпускнику духовной академии благословение на подобный поступок.

Тем не менее Надежда Киценко считает, что «он мог еще до свадьбы сообщить невесте о своем намерении сохранить целомудрие в браке».

Но если бы Иван Сергиев еще до свадьбы сообщил своей невесте о своем необычном решении, то никакой свадьбы не состоялось бы. Во-первых, это был брак не по взаимной любви молодых людей, которые познакомились друг с другом практически накануне свадьбы, а по договору жениха с отцом невесты. Кроме старшей Лизы и младших Александры и Анны у Несвицкого было еще три совершеннолетних сына, то есть это была обычная многодетная семья священника. В том же году, когда Лиза выходила замуж, умерла ее мать, и Лиза стала старшей представительницей женского рода в семье. Невозможно представить, чтобы девушка, воспитанная в такой среде, добровольно согласилась на героическую жизнь девственницы при живом муже, который в ее глазах был обычным выпускником академии из семьи бедного дьячка. У жениха не было никаких аргументов, которыми он мог бы убедить невесту заранее согласиться с таким решением. Оставалось одно: поставить жену перед фактом, что он и сделал.

Во-вторых, известно, что отношения между отцом Иоанном и Несвицкими долгое время складывались непросто, и причиной тому было прежде всего крайне необычное поведение молодого мужа. Никто до брака не мог предположить, что Лиза выходит замуж за человека, который перевернет представление о роли и значении приходского священника в России. Ведь поведение отца Иоанна ошеломяло людей и куда более искушенных.

Высочайший духовный авторитет того времени Феофан Затворник в письме к Иоанну Кронштадтскому, оригинал которого не сохранился, но которое стало широко известно в церковных кругах, предупреждал, что его вызывающая деятельность может закончиться либо «ничем», либо «страшным падением», ибо «никто еще, со времени принятия христианства, не только в России, но и на Востоке, не решался на подобный путь, не будучи монахом, а священником, живущим вне ограды и устава монастырских...»

Отца Иоанна вызывал на собеседование обер-прокурор Святейшего синода К.П.Победоносцев. Вызывал его к себе и петербургский митрополит Исидор (Никольский). Несколько раз он заставлял священника вести службу в своем присутствии, чтобы понять, что такого неканонического было в служении молодого батюшки, на которого ему жаловались клирики и богатые прихожане Кронштадта. Но первый вызов отца Иоанна к митрополиту был связан не с этим, а с жалобой Елизаветы Несвицкой на то самое волевое решение мужа, о котором он вроде бы должен был предупредить ее заранее. Митрополит угрозами склонял отца Иоанна на общение с женой. Отец Иоанн ответил: «В этом есть воля Божия, и вы ее узнаете...»

ОТЕЦ ИОАНН И ДЕТИ

Кто первым признал отца Иоанна? По убеждению иеромонаха Михаила, это были бедняки и их дети. Любопытно, что и Толстой, когда его духовные устремления начинают не вмещаться в его сугубо писательские поиски, тоже ищет понимания сначала в детской среде и открывает в Ясной Поляне школу для крестьянских детей. Причем происходит это гораздо

раньше духовного переворота, уже во второй половине пятидесятых годов, то есть буквально в то же самое время, когда отец Иоанн начинает миссионерствовать в кронштадтских трущобах.

Путь отца Иоанна с самого начала был парадоксальным. Отказавшись иметь собственных детей и лишив этой возможности жену, он отправляется помогать чужим детям, проявляя в этом заботливость и ласковость характера, которые покоряют сердца «детей подземелья».

Пока взрослые рассуждают, что за странный человек появился в их городе, не юродивый ли он, не тайный ли сектант, пока даже бедняки грубо выгоняют отца Иоанна из своих домов, куда он является непрощеным гостем, он, по словам иеромонаха Михаила, прибегает к средству, уже испытанному святым Леонтием Ростовским. «Когда его (Леонтия Ростовского. – П.Б.) выгнали взрослые, он обратился к детям, действовал на их сердце и разум и потом через детей приводил к Богу отцов и матерей; приблизительно так же действовал часто о. Иоанн».

Сравнение отца Иоанна с одним из древних русских святых епископом Ростовским Леонтием (возможно, греком по происхождению), осуществлявшим миссионерскую деятельность, на первый взгляд может показаться произвольным. Святой Леонтий, постриженный в монашество в Константинополе, а затем пришедший в Печерскую обитель в Киеве, был первым из печерских иноков, кто был рукоположен в епископы. Однако старейшинами Ростова он был встречен враждебно.

Святой Леонтий во второй половине XI века проповедовал христианство ростовским язычникам из многочисленного племени *меря*. Проповедь его вызвала сначала глухое сопротивление, а затем и открытое восстание. Несколько раз его с бесчестьем прогоняли и наконец совсем изгнали из города. Тогда Леонтий поселился за городом близ ручья, где построил небольшую церковь во имя святого архистратига Михаила. Сюда он стал зазывать «отроков ростовских», которых кормил пшеницей, сваренной с медом. Со временем святой Леонтий снова поселился в Ростове, где проповедовал слово Божие и крестил многих отроков и взрослых людей. Успех его миссионерской деятельности ожесточил сердца ростовских жителей языческой веры, и они решили убить его. С оружием в руках они подступили к соборной церкви и требовали, чтобы святитель вышел к ним. «Испугались священники и диаконы соборные и стали умолять архипастыря своего, чтобы он не выходил и тайно скрылся от идолослужителей, готовых умертвить его». Но он, надев архиерейское облачение, вместе со священниками и диаконами вышел из храма к народу. Пораженные его мужеством и небесным светом, исходившим от его лица, язычники попадали на землю, иные ослепли, иные как мертвые лежали на земле. Помолившись, он поднял их и исцелил. Они приняли христианскую веру и крестились. С того времени церковь в Ростове стала расти. «Тогда начал отходить мрак идольский, и воссиял свет благоверия», – так говорится в древнем «похвальном слове» святителю Леонтию.

Неизвестны случаи, чтобы молодого отца Иоанна кто-то пытался убить или нанести увечья, но вел он себя рискованно, когда по вечерам отправлялся в кронштадтские трущобы. Но главное – это дети! По сути, христианский святитель второй половины XIX столетия вынужден прибегнуть к тому же самому приему, что и его предшественник за восемь (!) веков до этого. И хотя, пишет иеромонах Михаил, «он не хотел действовать через детей, *делая их средством* », отец Иоанн, сознательно или нет, все-таки использовал опыт далекого предшественника. Он собирал вокруг себя детей, проводил вместе с ними и их родителями беседы на открытом воздухе, помогал одиноким матерям и тем самым завоевывал души бедных обитателей города.

«В сущности, эти дикари трущоб часто тоже дети, на ласки они рады откликнуться – только не сразу», – пишет биограф отца Иоанна, обозначая суть проблемы, но не развивая ее. Проблема же заключалась в том, что молодой кронштадтский батюшка оказался примерно в том же положении, что древний ростовский епископ. Его благотворительная деятельность была только верхушкой айсберга, а в глубине он занимался всё той же христианизацией

бедного населения, выброшенного не только на задворки города, но и за церковные стены. И здесь все средства были хороши.

Оказавшись в Кронштадте в середине пятидесятых годов, отец Иоанн столкнулся с проблемой, которую Толстой поднимает только в середине восьмидесятых годов в пьесе «Власть тьмы». А именно: христианские ценности, закрепленные законодательно в основании огромного православного государства, в реальной практике остаются абстракциями и не работают до тех пор, пока не воплощаются в конкретной личности, которая служит примером для остальных.

Как бы горячо ни любил Толстой русский народ, но в своей пьесе он показывает его дикарскую сущность – обратную сторону детской сущности. Он даже не рассматривает возможность благородного влияния на «дикарей» православного духовенства, с которым писатель в это время уже разошелся. Скорее всего, опыт отца Иоанна Толстому был или вовсе неизвестен, или он просто не придавал ему серьезного значения. Возможность христианизации русского народа Толстой искал в самом же народе, в его «богоносцах», вроде Акима. Иоанн Кронштадтский иначе понимал эту проблему – как пастырь, призванный «пасти овцы», а не искать поводырей среди тех же «овец». Но его важное отличие от основной массы духовенства заключалось в том, что он видел себя именно в качестве *пастыря*, а не *наемника-пастуха*. Отец Иоанн с самого начала как-то иначе понимал свою миссию, чем просто отрабатывать на своем месте свой хлеб. Он, как и Леонтий Ростовский, шел не на «место», а на сознательный героический путь. И это было тем более удивительно, что героизма от приходского священника вовсе не требовалось. Герои требовались в других сферах деятельности: в науке, в литературе (подцензурной), в земской деятельности и, наконец, в том явлении, которое получило название «хождение в народ» и было связано с подготовкой русской революции. Однако не только простым обывателям, но и высоколобым интеллигентам в голову не могло прийти, что героизм возможен на приходе.

Тот факт, что Иоанн Сергиев обратился к «детям» в широком смысле этого слова, преодолевая сопротивление «взрослых», что он начинал служить «дикарям», а не «отцам города», говорило о многом. Если бы в России появился еще один (заметим: один из многих!) монастырский подвижник, это было бы не в диковинку. Но в России появился Батюшка – с большой буквы! Народ первым это оценил.

ОТЕЦ ИОАНН И НАЧАЛЬСТВО

Больше всего его полюбили нищие и бездомные. Очень скоро они стали составлять его свиту, следуя за ним толпою по пятам. Таким образом, начало его популярности было связано с признанием наиболее бедной части общества.

Напротив, известность Толстого начиналась в аристократических кругах, включая и императорскую семью, а первым человеком, который принял его религиозные взгляды, был родовитейший князь Владимир Григорьевич Чертков. Немалые усилия понадобилось предпринять В.Г.Черткову, чтобы мысли Учителя и его «народная проза» спустились до социальных низов. Ради этого им было создано специальное издательство «Посредник». В этом принципиальное различие между общественными явлениями Толстого и отца Иоанна Кронштадтского. Популярность одного проделала путь «сверху вниз», а второго – «снизу вверх».

Это был тонкий и опасный момент. Ведь понятно было, что «совсем пропащих» тянуло к отцу Иоанну не из-за вдохновенных проповедей, но из-за его денег и сапог.

«Босяки стали его искать, – пишет иеромонах Михаил (Семенов). – Каждый день рано поутру, после обедни, отец Иоанн, выходя из церкви, был окружён кучкой бедняков, обращавшихся с просьбами о помощи в различных нуждах, и преимущественно материальных: одному нужно было платье, другому – несколько копеек на пропитание, у третьего сапоги отказывались служить. Отец Иоанн терпеливо выслушивал, каждого

расспрашивал сам о семье, детях».

Разумеется, его стали часто обманывать. Поэтому по мере возможности он сам отправлялся с просителями на рынок и покупал им необходимое продовольствие и одежду, в противном случае эти деньги могли бы пойти на пьянство. Тем не менее эта сторона деятельности молодого священника вполне законно тревожила городские власти. Ведь с ростом популярности отца Иоанна к нему стали поступать пожертвования от богатых прихожан, которые затем распределялись среди нищих. В конце концов это было поставлено на поток. Каждый вечер в определенные часы сам отец Иоанн или его помощник выходили к толпе нищих и раздавали деньги – порой до нескольких сотен рублей копейками. Это стало привлекать в Кронштадт, и без того наполненный безработными, толпы бродяг из Петербурга и окрестностей, к которым доходили слухи о добром батюшке.

Митрополит Вениамин (Федченков) пишет об этом:

«Бедняки привыкли смотреть на заботы о них почтенного пастыря как на что-то должное, почти законное. Если иногда случается, что при разделе “строй” получает по 2 копейки на человека вместо ожидавшихся 3-х, то раздаются громкие протестующие голоса...

– Не брать, ребята, ничего не брать, не надо! Этак завтра Батюшка по копейке даст! Что же? Мы будем на улице ночевать, что ли?»

Конфликт между отцом Иоанном и полицмейстером Головачевым на некоторое время стал одной из самых обсуждаемых городских новостей. Кульминацией конфликта был суд над Головачевым, который оказался нечист на руку. Зная об отношении к нему отца Иоанна, обвинение вызвало его в суд в качестве свидетеля, чем адвокаты Головачева были сильно встревожены. Однако батюшка во всем оправдывал подсудимого и в каждом пункте обвинения находил что-то гуманное и полезное. Раздраженный прокурор обратился к нему:

– Свидетель, вы должны на суде говорить всю правду!

– Я говорю по священству.

В результате прокурор отказался от допроса свидетеля, а отец Иоанн должен был покинуть зал.

Вообще отношения отца Иоанна с начальством в широком смысле слова – непростая и увлекательная история. Это Сцилла и Харибда, которые он миновал, повинаясь своей исключительной духовной интуиции, не имея никакого образца для подражания.

Это стоит оценить: каким образом на закате синодального (государственного) периода истории русской церкви обычный приходской священник сумел сохранить такую высоту достоинства сана, но при всех гонениях на него умудрился не стать церковным диссидентом?

«Он прославился прежде всего силою своих молитв и чудесами, – пишет современный исследователь жизни отца Иоанна священник Филипп Ильяшенко, – но, быть может, не менее удивительно, что этот харизматический светильник веры вполне естественно обнаружил себя именно в синодальной – так часто порицаемой за бюрократизм и формализацию – традиции. Будучи великим обновителем церковной жизни, он ничего не разрушил в ней».

Вопрос об отношении к начальству довольно часто поднимается в дневниках отца Иоанна.

«Если нужно оказать послушание начальнику с потерей своих денег или своей собственности вообще, в вещах или делах, не противных Богу, не усумнись оказать это послушание во имя Божие. Послушание паче жертвы, паче милостыни», – пишет он в 1863 году, и это, конечно, поразительное заявление со стороны человека, часто третируемого своим непосредственным руководством.

Хотя в своих дневниках отец Иоанн крайне скуп на жалобы, но из них можно догадаться, что первое время ему приходилось несладко, отношение к нему было самое недоброе.

«Тяжелым искушением для слабой моей воли посетил меня Господь, чтобы поставить на вид ложь и обман притесняющих меня лишением квартиры сослуживцев; я должен был отправиться в Петербург в сильную оттепель, когда ненадежный лед мог обрушиться под

ногами лошади, – описывает он в 1858 году свою несчастную попытку пожаловаться высшему начальству. – Прибывши в Петербург и севши на дрожки с женою, чтобы отправиться на ночлег к родственникам, я до того предался скорби, что стесненное сердце извлекло слезы, и я сидя – рыдал. Составив просьбу в Петербурге, я подал ее преосвященному викарию, но удовлетворительного ответа в то же время не дождался. Отправившись назад, я большею частию грустил по дороге, особенно по выезде из Петергофа на извозчике. В это время скорбь так сдавила мое сердце, что слезы мои катились ручьями в четыре приема, между тем как дождь хлестал мне в лицо, а впереди предстояла ненадежная и даже опасная дорога, не говоря о том, что карман наш пустел из-за пустяков. Прибыв в Рамбов, мы остановились, за темнотою, в гостинице. Здесь попавшийся офицер сказал, что по морю уже нельзя ездить на лошадях, что завтра мы можем отправиться не иначе как на спасательной лодке. На завтра, пришедши на пристань, мы узнали, что море разошлось. Горы льда у берега и разломавшаяся пристань давали знать, что в прошедшую ночь была сильная прибывль воды. Кое-как сговорили лодочника идти по воде за 75 копеек серебром с человека. Дивно было, что лед разломало в одну ночь, тогда как накануне ездили на паре с большими тяжестями. Один немец на лодке сказал: есть Один, Который командует над всеми, Который всё делает по Своей воле; людям нельзя говорить, что они непременно будут в такое-то время там. Признаюсь, мне понравилась эта вера и эти рассуждения доброго немца».

Притеснения со стороны начальства он испытывал не только в начале служения. В интересных воспоминаниях писательницы и общественной деятельницы Ариадны Тырковой-Вильямс, происходившей из знатного дворянского рода, рассказывается случай, как новгородский архиерей сознательно унижал отца Иоанна после освящения новой церкви в имении ее отца в Вергеже Новгородской губернии. Этот случай относится к концу девяностых годов, когда отец Иоанн уже был в славе.

«Вечером все сидели в гостиной. Мама, как полагается, на диване. Рядом с ней старшая из приехавших монахинь. С другой стороны, в кресле, архиерей, который приветливо беседовал с хозяйкой. Священники расположились на стульях вдоль стен. Отец Иоанн молча сидел далеко, под самым окном. Когда настал час его вечерней молитвы, он подошел к архиерею и, как полагается по церковной дисциплине, попросил разрешения уйти. Стоял он близко, но владыка его не замечал. Отец Иоанн вернулся на свой далекий стул. Я видела, как остальные священники украдкой переглянулись. Они-то понимали всё значение этой сцены. Через несколько времени отец Иоанн опять подошел с той же просьбой, и опять владыка не обратил на него внимания. Опять отошел отец Иоанн на свое место под окном. Та же сцена повторилась и в третий раз... Тогда уже мама не вытерпела и тихо сказала архиерею:

– Отец Иоанн что-то хочет вам сказать.

Только тогда архиерей взглянул на кронштадтского батюшку и, придерживая широкий рукав шелковой рясы, дал отпускное благословение».

ИСКУШЕНИЯ ОТЦА ИОАННА

Решившись на церковный подвиг ежедневного литургического служения в соединении с широкой общественно-благотворительной деятельностью, о которой мы еще скажем, отец Иоанн не имел для этого не только внешней поддержки, но и возможности как-то сравнить этот свой подвиг с опытом святых ли отцов, своих ли предков-священников или современных служителей церкви. Мы ничего не знаем о его духовных наставниках. Свидетельство о том, что у него был духовник для исповеди, мы найдем только в воспоминании тюремного священника П.П.Левитского. Это был протоиерей церкви военной тюрьмы Кронштадта отец Федор (Бриллиантов).

На отсутствие у отца Иоанна духовных руководителей обращает внимание митрополит Вениамин (Федченков), говоря о «соблазнительности» такого пути для других священников: «Отец Иоанн – совершенно особое детище, воспитанное Церковью, – без старцев, а

самобытно».

Он же делает радикальное предположение, что единственным непосредственным духовным руководителем отца Иоанна был живший в IV–V веках н. э. великий христианский проповедник Иоанн Златоуст. «Как Апостол Павел наставлял Златоуста в толковании “Посланий”, так Златоуст направил и направлял отца Иоанна в его священствовании». Толкование на Евангелие от Матфея Иоанна Златоуста студент академии Иван Сергиев приобрел на свои первые деньги, полученные в качестве секретаря-переписчика. Сохранилось свидетельство, что иногда, читая эту книгу, Иван Сергиев забывался настолько, что начинал хлопать в ладоши. Весьма возможно, что судьба Иоанна Златоуста, который, будучи монахом, отказался от епископской кафедры и занял скромное место пресвитера в родной Антиохии, повлияла на жизненный выбор отца Иоанна.

Его походы к отбросам общества, странный поступок по отношению к супруге и, наконец, его упрямое стремление *ежедневно* служить литургии (при том что в середине шестидесятых годов, как это следует из его дневника, на исповедь к нему могла прийти одна-единственная женщина, а других желающих исповедаться и причаститься в тот день просто не было) говорили о том, что в церкви появился человек, убежденный в своем избранничестве, своей особой миссии.

В 1904 году, выступая в маленьком уездном городке Сарапуле перед местными батюшками, отец Иоанн, уже прославленный молитвенник и чудотворец, высказал мысль, которую вряд ли ожидали от него услышать. «О своем душевном состоянии могу я вам сказать, что исполняю древнее великое правило: познай самого себя. Это, собственно, содержание и всей моей жизни: и доселе я не перестаю “познавать самого себя”. Чрез это я познаю свою беспомощность во всех отношениях».

«Доколе мне оскорблять Господа? Доколе мне мучить себя? Доколе мне смущаться при чтении молитв?» Эти строки из раннего дневника батюшки свидетельствуют о многом.

Любопытно, что, как и Толстой, Иоанн Кронштадтский придавал огромное значение своим снам, видя в них отражение внутренних терзаний и сомнений. Так, в дневник 1858 года он записывает удивительный сон про мальчика, в котором, конечно же, проявилось внутреннее раздвоение личности самого автора.

«Сон: я служил обедню один, без диакона. Когда Святые Дары были уже освящены и я причастился, является маленький мальчик, довольно неопрятный, у престола; заводит речь о Святых Тайнах, отзывается о них нехорошо, как (о, ужас!) о каком-то сиропе, а не о Теле и Крови; сам берет лжицу и пробует их, снова повторяет то же – и уходит. В доказательство, что это Кровь и Тело Господа, я указал ему последствие после причащения – радость в душе, которой не было бы, если бы мы причащались какого-нибудь обыкновенного сиропа. Когда он уходил, я трижды проклял его...»

В конце этого сна появляется неожиданный свидетель – дьякон. Он всё это видел и слышал... Отец Иоанн говорит ему: «Не подослали ли этого дерзкого мальчика от себя раскольники?» Но это объяснение, конечно, нельзя принять всерьез. Скорее, оно интимно связано с тем, что сам отец Иоанн вышел из среды северного священства, где раскол был традиционно силен. Но главное – это ощущение своей безоружности перед лицом случайного свидетеля, дьякона.

Ведение личных дневников поощрялось в среде белого духовенства как средство самоконтроля и одновременно подготовки к проповедям. Но дневник отца Иоанна в этом плане представляет собой необычное явление. Иногда невозможно различить, где самодисциплина здесь оборачивается самоистязанием, а подготовка к внешней проповеди становится гневной отповедью, обращенной к себе. Он непрестанно ловит себя на малодушии, маловерии, на сомнениях в краеугольных понятиях церковной службы и просто христианской веры – например, в Троичность Божества.

«И хочешь верить в достоинство веры, да иногда не верится без усилий; и хочется не верить в то, что действительно ложно и губительно, но с какой-то силою увлекаешься злым и лукавым сердцем от спасительной веры».

«Помни, что ты не больше, как порождение истекшей влаги... – и смирайся».

И снова его мучают сны. В одном из них он смотрит на мощи святителя Митрофана, «с некоторой недоверчивостию» трогая их пальцем, – «и что же? земля эта обратилась в живых, ползающих, отвратительных гадов, которые все расплзлись: они длинные, с острыми щупальцами на носу, кусались».

Это дает ему повод произнести в дневнике суровую отповедь самому себе: «Старайся всеми силами искоренить в себе непокорность неверия. А эта непокорность проявляется каждый раз почти, когда читаешь и слушаешь такое, что требует веры и что само в себе чудесно. Непослушание неверия обыкновенно старается объяснить и самые чудеса естественным образом. Будь внимателен к своим мыслям. Чудеса чудесами всегда и почитай, равно как и пророчества – пророчествами. Отнюдь не смей объяснять их естественным образом: это диавольское непослушание. И сколько сладости для сердца от послушания веры простой и искренней и сколько горечи, тяжести от гордого, лукавого непослушания неверия».

СЕМЬЯ ОТЦА ИОАННА

Вот вопрос: зачем понадобилось ему, поставившему себе за правило ежедневно принимать участие в многочасовых и очень утомительных службах, заниматься еще и широкой благотворительностью, к тому же не имея для этого никаких материальных средств? Что подвигло на энергичную деятельность по созданию в Кронштадте знаменитого Дома трудолюбия?

Отца Иоанна постоянно подозревали в популизме, причем такие разные люди, как Победоносцев и Николай Лесков. В самом деле, трудно было вместить в сознание, как обычный приходской батюшка мог проявлять такую энергию в том, что вообще-то являлось прерогативой людей знатных и обеспеченных, но при этом не только не манкировать своими непосредственными обязанностями священника, а напротив, изнурять себя ежедневными полными службами, отводя на сон не больше трех-четырех часов в сутки.

Трудно было поверить в то, что в истоках и того и другого лежали не внешние цели и задачи, но *глубокая внутренняя потребность души*. Что этот батюшка не исполнял взятую на себя роль, а поступал так, как просто не мог не поступить.

Он руководствовался не внешними соображениями пользы, но элементарной невозможностью для себя лично не помогать материально нищим и беднякам. Потому что в число этих нищих и бедняков входила и его собственная ближайшая родня, которая непрерывно атаковала батюшку просьбами о помощи.

Представьте на минуту, что Льва Толстого вдруг стали бы непрерывно засыпать душераздирающими посланиями его ближайшие родственники – посланиями, в которых корявым и неграмотным языком рисовалась бы самая беспросветная нужда.

«Пожалосто, дорогой дядинька», «неоставьте, дорогой дядинька» – рефрен писем к отцу Иоанну его сурской, холмогорской и другой родни, число которой ежегодно увеличивалось по мере взросления многочисленных детей двух его сестер Анны и Дарьи, его племянников и племянниц, которые сами женились, выходили замуж и рожали детей. Конечно, в каждом из этих писем была еще и просьба помолиться за них, грешных и недостойных. И он молился – но и непрерывно посылал своей родне деньги, понимая, что одними молитвами сыт не будешь. Он хорошо знал, что такое материальная нужда, как унижает она человека, как пригибает к земле. Можно представить, что чувствовал отец Иоанн, получив от племянника Андрея Малкина письмо, в котором тот ходатайствовал за неизвестного крестьянина («Всепокорнейше Вас просит Крестьянин деревни Горы Григорий Алексеев Фофанов и находится он очень в бедном положении семейство большое сам и жена и пятеро детей все малолетние») и одновременно укорял «дядиньку», что «чужим» он посылает «тысячи».

Помогать своим родным, не обращая внимания на других нищих? А ведь у отца Иоанна

появилась и своя семья. Как ни старался он освободить себя от семейных уз для полноценного священства, он тем не менее обрел не просто семью, но многочисленную семью. Кроме жены и тестя в его квартире на полном иждивении проживали две его несовершеннолетние свояченицы. В скором времени к ним присоединились еще и три шурина, содержание которых не входило в брачный договор. Жалобы на шумных родственников жены, которые желают вести светский образ жизни, принимать гостей и сами ходить в гости, постоянно встречаются в дневнике отца Иоанна. И хотя он всё время убеждает себя любить своих домашних («Домашние – пробный камень веры»), но эта любовь, по-видимому, давалась ему большими усилиями.

«Горе мне с домашними моими, с их неуважением к постановлениям церковным, с их лакомством всегдашним, безобраз<и>ем в повседневной жизни... с их леностию к молитве домашней и общественной (раз 5–6 в год ходят в церковь – Бог им судья!)... А как они воспитывают детей! О ужас! Вне всякого уважения к уставам Церкви! Сами не соблюдают посты и детей также учат: на 1 неделе Великого поста едят сыр и яйца, не говоря о икре и рыбе. – Кто их вразумит? – Меня не слушают», – часто жалуется отец Иоанн.

Долгое время он скрывал от жены и тестя, что посылает деньги своей сурской родне. В 1879 году, уже на двадцать четвертом году своего служения, он пишет племяннику Евдокиму Фиделину: «О получении денег прошу известить меня чрез брата, а не прямо, лично меня, чтобы не соблазнить домашних моих». (Брат Евдокима, Иван Васильевич Фиделин, в это время уже проживал в Кронштадте, работая журналистом в газете «Кронштадтский вестник». Но остановиться на квартире дядюшки он не мог: «... живет на особой квартире, не по моей вине».)

«Бессемейный» образ жизни, который будто бы избрал себе отец Иоанн, желая целиком посвятить себя служению Богу, в реальности обернулся тем, что его разрывали на части одновременно две семьи – одна многочисленная (Несвицкие), вторая – безразмерная (северная родня, их родственники, родственники родственников).

Но была и еще одна, третья семья, состав которой исчислялся уже тысячами людей. Это были нищие города Кронштадта. Каждый из них ощущал себя не просто бедняком, которому благодетельствует некий добрый человек, а тем более некая благотворительная организация. Нет, они воспринимали свои отношения с отцом Иоанном именно как связь с родителем – с *отцом*. Это была требовательная любовь с известными обидами и претензиями.

В Кронштадте говорили: «строй отца Иоанна». Описание этого «строя» мы находим в заметке писателя и сотрудника «Петербургского листка» и «Петербургской газеты» Н.Н.Животова.

«СТРОЙ...»

Чуть загорелся восток... С моря потянуло прохладой... Спит еще Кронштадт, и только «посадская голь» начала вылезать из своих «щелей» – грязных вонючих углов в низеньких ветхих домишках. «Боже, неужели здесь живут люди», – думал я, обходя в первый раз посадские трущобы, точно вросшие в землю. Оказалось, что не только живут, но живут плотнее и скученнее, чем, например, в богадельнях или казармах. Нары понаделаны рядами, а местами еще в два этажа! Голые доски, полутемная нетопленая изба, смрадная, нестерпимо пахучая атмосфера – вот общие признаки посадских «щелей». Не стану описывать подробнее отвратительную обстановку кронштадтской нищеты, потому что в ней нет ничего исключительного и особенного: такую же обстановку и бедность, и если бедность, то непременно антисанитарную грязь можно встретить везде в России, и везде, где нищета, там и грязь, где бедность, там и вонь; парадной, нарядной нищеты, как, например, в Германии, у нас нет...

Только что пробило 5 часов утра, как из убогих посадских избушек начали выскакивать фигуры, мужские и женские, в каких-то «маскарадных» костюмах: кто в кацавейке и больших калошах, кто в зипуне с торчащими клоками ваты; на голове остов цилиндра, соломенная в дырах шляпа и т. п. Все торопятся, точно по

делу бегут...

– Не опоздать бы, не ушел бы...

Только это у всех и на уме, потому что если «опоздать» или «он» ушел – день голодовки и ночлега под открытым небом.

Конечно, этот «он» – отец Иоанн, «отец» и единственный начальник всей кронштадтской подзаборной нищеты... Без него половина «посадских», вероятно, давно извелась бы от холода и голода.

– Куда же вы так торопитесь? – спросил я одного оборванца, когда первый раз познакомился с «золотой ротой Кронштадта».

– В «строй», – отвечал он.

Я пошел за бежавшими...

На дворе было холодно и совсем еще темно; фонарей на этих улицах в Кронштадте нет, так что ходить приходится почти ощупью. Мы прошли несколько улиц, пока на горизонте обрисовался купол Андреевского собора.

– Где «строиться?» – спрашивали золоторотцы друг друга.

– У батюшки, у батюшки...

Когда я подошел к дому, в котором живет отец Иоанн, там собралось уже несколько сот оборванцев и народ продолжал стекаться со всех сторон.

– Стройся, стройся, – слышались голоса.

Сотни собравшейся голи начали становиться вдоль забора, начиная от дома отца Иоанна по направлению к «Дому Трудолюбия». На одной стороне становились мужчины, на противоположной панели женщины. Меньше чем в 5 минут образовалась длинная лента из человеческих фигур, примерно в полверсты. Бедняки стояли в три колонны, по три человека в ряд, так что занимали всю панель, женщин было гораздо меньше мужчин.

Все ждали...

Долго я ходил по линии «строя», всматриваясь в эти изнуренные лица, исхудалые, оборванные фигуры... На лице каждого можно было прочесть целую житейскую драму, если не трагедию... Были тут молодые, почти юноши и седые старцы, попадались на костылях, убогие, с трясущимися головами, с обезображенными лицами...

Да, такую коллекцию «сырых» трудно подобрать; если каждый из них в отдельности не способен тронуть сердце зрителя, то коллекция этих «детей отца Иоанна» может заставить дрогнуть самое черствое сердце! Пусть большая часть их пьяницы или люди порочные, пусть сами они виноваты в своем положении, но ведь это *люди* ... люди страдавшие и не имеющие в перспективе ничего кроме *страданий* ! Вот бывший студент медицинской академии, вот надворный советник, поручик, бывший купец-миллионер, вот родовой дворянин громкой фамилии... Мне показали старика, который двадцать лет питается одним хлебом и водой, у него высохла правая рука, он лишился возможности работать и 20 лет живет подаванием отца Иоанна. Двадцать лет не имеет собственного угла, не видал тарелки супа и если бы не отец Иоанн, то давно умер бы с голоду.

Я просил показать этого старика. Несчастный стоял в хвосте «строя» в первой колонне.

– Любоваться пришли, – ядовито обратился он ко мне, когда я остановился против него...

Вид старика был суров; нависшие седые брови почти закрывали глаза, а всклоченная седая борода спускалась на грудь; глубокие морщины и желтый отлив кожи красноречивее слов свидетельствовали о пережитом старцем... Его высокая фигура как-то сгорбилась, а правая рука висела без движения...

– Возьми, старец, – протянул я ему руку с кредитным билетом.

– Оставьте себе или дайте вот им, – отвечал он, мотнув головой в сторону «строя», – я не нищий, моя правая рука высохла, а левая не принимала еще милостыни...

– Да ведь ты же 20 лет живешь подаванием!

– Ложь! 20 лет меня питает отец Иоанн, но милостыни я не просил и подавания не принимал.

– Так если ты берешь от отца Иоанна, почему же не хочешь взять от меня?

– Я не знаю тебя и знать не хочу, а отец Иоанн – мой *отец*, он не свое дает, а Божие, дает то, что он получает для нас от Бога. Ты даешь мне двугривенный как нищему, а отец Иоанн дает мне как родному, как другу дает любя... Он тысячу рублей дал бы, если бы нас меньше было, для него деньги не имеют той цены, как вам, господин...

Еще не было 6 часов, когда из калитки хорошо знакомого «золоторотцам» дома вышел «батюшка»... Толпа заколыхалась, но все остались на местах, обнажив только головы.

Отец Иоанн снял свою шляпу, сделал поклон своим «детям», перекрестился на виднеющийся вдали храм и пошел по «строю».

– Раз, два, три... десять... двадцать...

Двадцатый получил рубль для раздела с 19-ю коллегами. Опять: «раз, два, три... десять... двадцать» и опять – рубль. Так до самого конца «строя». Только что кончился счет, вся толпа бросилась с своих мест к «батюшке». Кто становился на колени, кто ловил руку «батюшки» для поцелуя, кто просил благословения, молитвы; некоторые рассказывали свои нужды... И отец Иоанн всех удовлетворил, никому не отказал; видно было, что почтенный пастырь сроднился с этой средой, понимает их без слов, по одному намеку, точно так же, как и толпа понимает его по одним жестам...

Окруженный и сопровождаемый своими «детьми», отец Иоанн медленно движется к собору Андрея Первозванного для служения ранней обедни. Исчез «батюшка» в дверях храма, и толпа рассеивается по городу, лишь ничтожная часть остается на паперти для сбора подаяния. Это уж профессиональные нищие, которых, однако, сравнительно очень немного, и напрасно некоторые полагают, будто отец Иоанн размножает нищих...

НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО

В 1872 году в газете «Кронштадтский вестник» вышло обращение, которое можно считать первым шагом публичной деятельности отца Иоанна. Таким образом между началом его служения и первым выступлением в прессе прошло семнадцать лет – большой срок для человека, которого подозревали в популизме.

«Кому не известны, – писал батюшка, – рои кронштадтских нищих – мещан, женщин и детей разного возраста? Кто не видал и того, что между нищими-мещанами есть много людей молодых и здоровых, представляющих из себя весьма жалкую фигуру по своей крайне грязной и изорванной одежде, трясущихся у преддверий храмов или лавок и заборов в ожидании подаяния от какого-либо благодетеля? Но всякий ли додумывается до настоящей причины такого множества бедных в Кронштадте?»

Перечисляя причины этой бедности (пожар, старость, пьянство, калечество, безработица и т. д.), отец Иоанн тем не менее главное зло видел не в этом, а в равнодушии к нищете людей обеспеченных. «Вы заранее отказываетесь ее видеть, вы отворачиваете лицо! Не гнушайтесь, ведь это члены наши, ведь это братья наши, хоть и непривлекательные по наружному виду».

Но что значит *члены*? Члены общества? Но нищие и безработные не являются членами общества, они за пределами общества – в этом-то и заключена проблема.

О том, что он подразумевал под «членами», отец Иоанн написал во втором воззвании, опубликованном в той же газете спустя некоторое время. Кстати, сам факт появления второй статьи говорит о том, что первая прошла либо незамеченной, либо показалась странной и требующей объяснений.

«Муравьи делают муравейники, в которых им бывает и зимою тепло и сытно; звери – логовища; пчелы – ульи; птицы – гнезда, пауки – паутины, а люди – дома, церкви, театры, мосты, железные дороги, броненосные суда, пароходы, крепости и проч. Всякому животному

дано от Бога, вложено в природу его уметь довольствоваться собой, защищать себя от вредного действия стихий или от живых неприятелей; а человека, существо Богоподобное в нравственном идеале, царя видимой твари, Бог наделил разумом, с помощью которого он изобрел разные полезные науки и искусство, и как человек создан для общежития, и всё множество людей должно, *по намерению Божию, составлять одно тело, а порознь члены* (курсив мой. — П.Б.), то для благоденствия и довольства, для удовлетворения многочисленных нужд человечества или общества...»

Далее шла речь о разнообразии кронштадтского общества, в котором «премудрость Божия... сообщила каждому человеку, кроме общих, особенные таланты или способности и уметь: иному власть, искусство, силу управлять людьми; другому искусство и власть учить и назидать других; иному сочинять, составлять планы и проекты, а другим приводить их в исполнение».

Не слишком искушенный в риторике, отец Иоанн произносил вещи на первый взгляд очевидные, но на самом деле отнюдь не очевидные. То идеальное общественное устройство, которое он рисовал и в котором, по какому-то недоразумению, только нищим и бездомным не находилось места, тут же, в пределах одной длинной фразы, вступало в противоречие с тем, что он говорил не как гражданин, а «по священству». А именно: каждый человек — это не просто человек, но член Божьего Тела. Но если одни члены этого Тела живут и благоденствуют, а другие мучаются и погибают, то это никак не Божье Тело, никак *не христианское общество*.

Интересно, что в своих воззваниях отец Иоанн обращался вовсе не к самым богатым людям Кронштадта, которые могли бы безболезненно для своего богатства поделиться деньгами с нищими. Он взывал, так сказать, к среднему классу, предлагая «всему обществу, духовному, военному, чиновничьему, торговому, мещанскому, образовав из себя попечительство или братство при разных церквях... соединенными силами заботиться о приискании для нищих общего жилья, рабочего дома и ремесленного училища». При этом его как-то не заботил вопрос о деньгах: «Доброму делу поможет Бог, а где Бог, там скоро явится всё как бы из ничего». «Если спор из-за слов, то перемените название и назовите его вместо рабочего дома хоть муравейником или пчельником, всё равно».

Кстати, говоря о «муравейнике», отец Иоанн не шутил. В 1865 году в Москве стараниями Общества поощрения трудолюбия был реализован проект «Московский муравейник». Так называлось благотворительное общество, которое помогало бедным москвичкам зарабатывать шитьем и вышиванием. Покровительницы вносили ежегодный взнос и обязывались заказывать у подопечных хотя бы несколько предметов одежды в год.

Вообще в предложении отца Иоанна не было ничего революционного по форме. История рабочих домов в России хотя и не была богатой, в отличие от продвинутой в этом отношении Европы, но всё же была. Еще Стоглавый собор при Иване Грозном постановил, что здоровые и трудоспособные нищие должны привлекаться к общественным работам. В период правления Алексея Михайловича также не прекращались попытки искоренить нищенство через поимку и отправление их в смиренные или рабочие дома. Идея же добровольных рабочих домов впервые появилась в «Учреждении о губерниях» Екатерины II. Приказы общественного призрения должны были устраивать дома, «где дают работу, а по мере работы пищу, покров, одежду или деньги». Беда в том, что рабочие дома в России всегда превращались в учреждения принудительного типа. Например, московский рабочий дом, созданный при Екатерине, вскоре объединили с домом для «буйных ленивцев», т. е. опасных для общества туляков, а в 1879 году преобразовали в городскую тюрьму, хорошо известную как Матросская Тишина...

На этот подводный камень для своего проекта указывал и сам отец Иоанн: «Некоторые не хотят слышать о рабочем доме, потому что, говорят, это есть карательное заведение, а мы не имеем права карать. Какое карательное заведение? Это прямое добродетельное заведение: разве не доброе, не гуманное дело спасать людей от лени, праздности, апатии, тулячества?»

В своих воззваниях отец Иоанн пытался придать своей идее общегуманитарный характер. И все же при внимательном прочтении «манифестов» не остается никакого сомнения, что в основе их лежал не прогрессивный пафос, а христианская утопия. Это и стало настоящим подводным камнем для будущего учреждения Иоанна Кронштадтского.

Тем не менее усилиями батюшки при поддержке военного прокурора барона О.О.Буксгевдена и великой княгини Александры Иосифовны в июне 1874 года при Андреевском соборе было основано православное христианское братство «Попечительство святого апостола Андрея Первозванного». На открытии отец Иоанн так говорил про это учреждение: «Церковное попечительство есть учреждение первых христиан времен апостольских, которые, по братской любви, так заботились друг о друге, что “не бяхе нищ ни един из них” (Деян 4:34). Оно особенно необходимо у нас. Дай Бог, чтобы оно было и у нас в таком же духе единомыслия и любви». В создании попечительства принимали участие люди разных национальностей, вероисповеданий и разного достатка – от членов императорской семьи до рядовых горожан.

К долгой истории появления в Кронштадте знаменитого Дома трудолюбия лучше всего подходит русская поговорка «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В октябре 1874 года в городе случился сильный пожар, от которого выгорела треть зданий. Около ста беднейших семей были вынуждены жить в землянках. Комитет для сбора пожертвований в пользу погорельцев и городская дума на часть пожертвований поручила Андреевскому попечительству построить деревянный дом для погорельцев. А в марте 1875 года Андреевское попечительство под руководством отца Иоанна открыло в этом доме бесплатное начальное народное училище.

1 марта 1881 года в России случилась трагедия, решительным образом повлиявшая на дальнейшее политическое развитие страны. После шести неудавшихся попыток покушения террористами-народовольцами был убит Александр II. На отца Иоанна злодейское убийство государя «торпедою», как он своеобразно пишет в своем дневнике, произвело страшное впечатление, во многом определившее его радикально-монархические устремления. Но вместе с тем он воспользовался им для дальнейшего осуществления своего замысла: он предложил увековечить память царя постройкой при Андреевском попечительстве каменного здания Дома трудолюбия. Это было предложение, от которого не могли отказаться ни власти, ни богатые жертвователи.

Уже к декабрю 1881 года большое каменное здание подвели под крышу, и вчерне строительство было закончено. Но вскоре в одном из веселых домов по соседству вспыхнул пожар. Полицмейстер Кронштадта Головачев, возможно, в пику отцу Иоанну, отказался принять своевременные меры, и в новом каменном здании выгорело внутреннее убранство, а деревянное здание народного училища сгорело дотла. Однако пожар привлек новые пожертвования, кроме того, за оба здания была выплачена страховая премия, и 10 октября 1882 года Дом трудолюбия был открыт. В 1886 году при нем была построена, а в 1890 году расширена и заново освящена церковь святого благоверного князя Александра Невского. В 1888 году построен трехэтажный каменный ночлежный приют, а в 1891 году – четырехэтажный странноприимный дом.

Дом трудолюбия просуществовал в Кронштадте до 1920 года, когда все подобные заведения закрывались «за ненадобностью». Церковь при нем была уничтожена, здания странноприимного дома и попечительства стали жилыми домами.

Однако и до революции судьба Дома трудолюбия оказалась непростой. Он пережил разные фазы развития, и каждая была связана с жизнью самого отца Иоанна.

Каким-то мистическим образом судьба этого дома действительно была предопределена убийством Александра II. Как политические реформы в России зависели от жизни и смерти одного человека, так и святое дело Дома трудолюбия было целиком и полностью зависимо от отца-основателя, Иоанна Кронштадтского. Заведение жило и дышало, пока жил и дышал этот человек.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО ОТЦА ИОАННА

Внутренняя организация этого Дома, который разросся до размеров небольшого городка или, говоря сегодняшним языком, микрорайона, поражает новаторством, но и тщательностью и ответственностью, с которыми его создатели подошли к этому делу. Помимо прочего это было крупное учреждение просветительского характера.

Его первоосновой стали пеньковая и картузная мастерские, где в 1902 году, например, работало одновременно 7281 человек. Легкий труд был сознательно выбран, чтобы от нищих не требовалось каких-то специальных знаний и навыков. Важно было немедленно помочь им включиться в трудовую деятельность и почувствовать себя полноценными гражданами города. Но одновременно здесь открылись начальная школа и ремесленные классы для детей неимущих родителей: бесплатная начальная школа (в 1903 году обучалось 259 детей); мастерская для обучения различным ремеслам, главным образом резьбе по дереву (61 человек); рисовальный класс (около 30 человек); мастерские женского труда для девочек – шитье, кройка, вышивка (около 50 человек); сапожная мастерская.

В Доме трудолюбия была детская библиотека (в 1896 году в ней было 2687 томов) и даже своя зоологическая коллекция.

Для взрослых были открыты: воскресная школа, разбитая по степени грамотности на несколько групп (например, в 1897 году обучались 133 мужчины и 34 женщины, в основном моложе 20 лет); народные чтения (лекторий), часто с «волшебными фонарями», иногда с пением на духовные, исторические и литературные темы (в 1898 году средняя посещаемость была 264 человека); бесплатная народная читальня; платная библиотека (30 копеек в месяц).

И это еще не всё. Образовательных и просветительских заведений для бедных подобного масштаба в то время не было даже в столице, не говоря уж о губернских городах. Зато они стали появляться позже с учетом кронштадтского опыта. То, что не получалось осуществить указами царей и императоров, заработало благодаря энергии неравнодушного приходского батюшки. Это и была подлинная революция снизу. В этом виделся залог возможного обновления не только гражданского общества, но и Церкви, которая в синодальный период стала терять свое влияние на общественную жизнь.

Но отец Иоанн не был бы отцом Иоанном, если бы вместе с просветительскими задачами не старался решить и социальные вопросы. Эта сторона деятельности Дома трудолюбия была даже более обширна. Так, при Доме трудолюбия состояли: приют для беспризорных и «дневное убежище» для малолетних (по сути, детский сад); загородная дача для детей со своим огородом (что-то типа будущих пионерских лагерей); богадельня для больных и престарелых женщин; большой каменный ночлежный дом на 84 мужчины и 24 женщины (плата – 3 копейки за ночь. Внимание: для ночлежников выписывались две газеты!); бесплатная амбулатория, через которую в 1896 году, например, прошел 2721 больной; народная столовая, работавшая в течение одиннадцати часов каждый день, отпускающая от 400 до 800 обедов; организация выдачи пособий деньгами, одеждой, обувью и другими необходимыми вещами. Чтобы помогать действительно нуждающимся, о них постоянно собирались сведения. Деньги выдавались в суммах от одного до двадцати рублей.

Важно, что вся эта помощь оказывалась *всем* бедным, без различия вероисповедания.

В 1891 году был построен еще и странноприимный дом (гостиница для паломников) с бесплатным отделением и платным – на 40 кроватей, поименованный в честь отца Иоанна. Именно об этой гостинице, где жили люди, приехавшие в Кронштадт специально, чтобы видеть отца Иоанна и получить его помощь и благословение, с такой иронией писал Лесков в своей повести «Полуночники».

Но почему Николай Семенович не обратил внимания на всё остальное?!

Это и есть главный вопрос. Почему никто из известных писателей и журналистов того времени не обратил серьезного внимания на рождение и деятельность Дома трудолюбия в Кронштадте, городе, который находился всего в нескольких часах езды от Петербурга?

Почему ни Лесков, ни Толстой, ни, скажем, Влас Дорошевич (кстати, написавший в

1908 году сочувственный некролог об отце Иоанне) не придавали значения инициативе несомненно выдающегося русского священника, вышедшего из среды самого простого народа? Почему, пока в газетах не разнеслась весть о нем как о чудотворце, его личность абсолютно не интересовала властителей дум, а когда стала интересовать, была воспринята с недоумением, как что-то уродливое и фальшивое?

Ответ на этот вопрос трагически прост. Потому и не заметили, что инициатива исходила от простого батюшки. От одного из многих приходских священников. В их глазах это были просто люди, поставленные архиереями на кормление в своих приходах. И только. Чего от них ждать?

А ведь Дом трудолюбия был открыт в том же самом 1882 году, когда в московской газете «Современные известия» появилась статья-манифест Льва Толстого «О переписи населения», которая буквально взорвала российское общество чудовищными фактами нищеты вместе с призывом писателя бороться с этой нищетой. Но первое событие не заметили, зато второе послужило началом движения, в которое включились представители высшей знати (В.Г.Чертков), крупнейшие писатели (Н.С.Лесков), замечательные художники (Н.Н.Ге). Через движение, названное толстовством, так или иначе прошла вся писательская элита, от Чехова до Горького и от Бунина до Леонида Андреева. Именно оно вошло в историю России как опыт практического христианства. А того, что невдалеке от столицы этот опыт весьма успешно осуществлял сын сельского дьячка, как будто и не было.

Когда статья Толстого печаталась в типографии, писатель помогал рабочим типографии набирать свой текст. Сотрудник газеты С.К.Эфрон вспоминал об этом:

«Граф пробыл в типографии более пяти часов и произвел на наборщиков чарующее впечатление своим обхождением. Долго, очень долго наши наборщики хвалились тем, что поработали вместе с знаменитым писателем, а после его ухода поделились его оригиналом и были очень счастливы, что им достались на память о совместной работе с графом его автографы».

Сравнивая статью «О переписи...» с «манифестами» отца Иоанна 1872 года, изумляешься совпадению как внутренних мотивов, побудивших авторов написать эти «манифесты», так и буквальными текстуальными повторами.

О т е ц И о а н н: «Други и братья! Примите это заявление к своему сердцу, да поближе, как свое собственное дело!»

Л е в Т о л с т о й: «... давайте по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнем народом – не поднимем ли? Дружней, братцы, разом!»

И дело даже не в риторике и общих фразах. Главное, что Толстой, как и отец Иоанн, категорически не приемлет обычной благотворительности и требует «общего дела». Он призывает сограждан самим отправиться в злые районы Москвы, чтобы столкнуться с нищетой нос к носу.

Л е в Т о л с т о й: «Делать же, по-моему, теперь, сейчас, вот что. Первое: всем тем, которые согласны со мной, пойти к руководителям, спросить у них в участке беднейшие кварталы, беднейшие помещения и вместе со счетчиками... ходить по этим кварталам, входя в сношения с живущими в них, и удерживать эти сношения с людьми, нуждающимися в помощи, и работать для них».

О т е ц И о а н н: «Вы заранее отказываетесь ее (нищету. – П.Б.) видеть, вы отворачиваете лицо! Не гнушайтесь, ведь это члены наши, ведь это братья наши... Нет, господа, это дело касается до всех жителей города, как живущих на жаловании, так и купцов, мещан и прочих, имеющих какое-либо состояние... Но рука руку моет, и палец палец; сильные должны носить немощи и немощных...»

Почему же призыв Льва Толстого услышали, а душевный зов священника – нет?

После этого стоит ли удивляться, что Дом трудолюбия постепенно и неуклонно превращался в *личное дело* отца Иоанна? Только благодаря тому, что как раз в начале восьмидесятых годов возникает мода на этого священника как на целителя и чудотворца, задуманный им как *общее дело* Дом трудолюбия продолжает существовать и оказывать

помощь нищим и больным людям. Только его слава поддерживает этот Дом на плаву, но слава эта связана не с общим делом, а с чудесами кронштадского батюшки. Только благодаря этим чудесам в Кронштадт потекли огромные денежные пожертвования, и эти пожертвования давались «под имя».

Это было как раз то, чего отец Иоанн не хотел. Как и Толстой. Но так уж вышло. Вот цифры Дома трудолюбия за один год:

Постоянных доходов и пожертвований...	1 943 руб. 15 коп.
% с неприкосновенного капитала...	2 377 руб. 74 коп.
Доходы из разных источников...	6 003 руб. 83 коп.
Временные пожертвования...	46 911 руб. 83 коп.
Итого...	57 236 руб. 83 коп.

Эти «разные источники» и «временные пожертвования» слагались из следующих сумм:

Субсидия, отпускаемая по Высочайшему повелению...	1 000 руб.
От Ее Императорского Высочества великой княгини Александры Иосифовны...	200 руб.
От Его Императорского Высочества великого князя Александра Михайловича...	100 руб.
От Петергофской земской управы...	250 руб.
От разных лиц на Попечительство...	417 руб. 20 коп.
От разных лиц на устройство лампы перед образом Спасителя в «Доме трудолюбия»...	35 руб.
От разных лиц по завещанию...	175 руб.
Членского взноса от 103 человек...	534 руб.
Вынуто из кружек...	975 руб. 73 коп.
Пожертвования протоиерея И.И.Сергиева...	43 963 руб.
По изданию бесед протоиерея И.И.Сергиева...	2 338 руб. 40 коп.

Итого: лично от отца Иоанна Кронштадтского Дом трудолюбия в тот год получил около 46 000 рублей. То есть 90 % всех доходов. И так повторялось из года в год...

Глава пятая НЕВЫРАЗИМО БОЛЬНО

Что я такое? Один из 4-х сыновей отставного полковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет, без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил... Посмотрим, что такое моя личность.

Из дневника Льва Толстого 1854 года

ЧЕГО БОЯЛСЯ ЛЕВ ТОЛСТОЙ?

В это трудно поверить, но главной проблемой личности молодого Льва Толстого было то, что ему казалось: в нем вовсе нет никакой личности. Не человек, а какой-то пестрый клубок всевозможных родных и чужих влияний, на который наматывали свои разноцветные нитки все кому не лень – братья, тетушки, учителя, гувернеры, дворовые люди.

Американский славист Дэниел Ранкур-Лаферьер в работе «Лев Толстой на кушетке психоаналитика» на основании тенденциозно подобранных признаний из писем и дневников

Толстого нашел в писателе целый букет психических патологий: мазохизм, нарциссизм, гомосексуализм, матереубийственный комплекс и проч. и проч. Читая этот научный труд, поневоле начинаешь сомневаться: неужели это тот самый Толстой, которого хорошо знали, с которым годами общались отнюдь не глупые и не наивные люди, включая жену, сыновей и дочерей, биографов, секретарей? Неужели никто из них не смог разглядеть в Толстом всех этих отклонений и патологий? Неужели он был настолько искусным лицемером, что сумел провести всех родных, всех учеников и соратников, даже известных писателей (и таких глубочайших психологов, как Чехов и Горький)? Только Лаферьера – не смог...

Но одна патология, на которую обращает внимание Лаферьер, у Льва Толстого, несомненно, была. Это *низкая самооценка и потребность во внимании других*. Даже в преклонном возрасте он признавался: «Я всегда, до самого последнего времени, не мог отделаться от заботы о мнении людском». В ранние же годы это была настоящая мука его: он постоянно сравнивал себя с другими мужчинами и всегда не в свою пользу. Поэтому он и стремился многим подражать, начиная с членов семьи и кончая своими товарищами, сослуживцами по армии, светскими волокитами.

Человек, которого подозревали в гордости, на самом деле был низкого о себе мнения.

Его потребность в «мнении людском» проистекала не из тщеславия, а от боязни, что его внешний облик не совпадает с его внутренним самоощущением. Это мучительное раздвоение между внешним и внутренним непрерывно терзало Толстого. Знаменитый «арзамасский ужас» был не чем иным, как аутофобией, то есть самобоязнью, патологическим страхом Толстого перед самим собой, оказавшимся в ситуации внезапного одиночества.

Психологам прекрасно известно, что аутофобией страдает множество людей, ни один из которых никогда не станет Толстым. Самые обыкновенные люди однажды задают себе вопросы: кто они? почему их зовут так, а не иначе? почему они здесь, а не там? почему делают то, а не иное? словом, почему они – это *они* ?

Летом 1869 года Толстой прочитал в газете объявление о продаже имения в Пензенской губернии. Низкая цена заинтересовала его, тем более что как раз в это время он получил солидный гонорар от издателя М.Н.Каткова за «Войну и мир». Он поехал со слугой Сергеем Арбузовым разузнать подробности продажи. И тогда в арзамасской гостинице, ночью, его и настиг «ужас».

Нет сомнения, что в ту ночь Толстой действительно был страшно напуган. Об этом он написал с дороги своей жене:

«Что с тобой и детьми? Не случилось ли что? Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство в гораздо меньшей степени возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддался ему, тем более что оно и было слабее. Нынче чувствую себя здоровым и веселым, насколько могу быть вне семьи».

Не надо быть крупным психологом, чтобы увидеть здесь три признака самобоязни: *внезапность* ничем не мотивированного страха, желание куда-то *бежать* и гораздо более слабое переживание этого чувства во второй раз, когда ты к нему уже *приготовлен*. Скорее всего, это событие не имело бы такого значения в глазах будущих биографов Толстого, если бы спустя почти десять лет писатель не вспомнил о нем в «Записках сумасшедшего». Это было первое произведение Толстого периода духовного переворота, который, как хорошо известно, был связан со страхом смерти. В «Записках...» он объяснял «арзамасский ужас» именно страхом смерти, хотя в письме к жене 1869 года ничего про это не говорится.

«— Да что это за глупость? — сказал я себе. — Чего я тоскую, чего боюсь?

— Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут».

Толстой пишет: «Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть». Он даже попытался дать художественное изображение страха смерти («всё тот же ужас – красный, белый, квадратный. Рвется что-то, а не разрывается»), в котором современная писательница Татьяна Толстая увидела прообраз супрематических квадратов Казимира Малевича.

«Арзамасский ужас» иногда связывают с уходом Толстого из Ясной Поляны осенью 1910 года. Однако причиной этого ухода были конкретные семейные обстоятельства. Нигде в дневниках Толстого, которые он тщательно вел накануне ухода (в отличие от 1869 года), мы не найдем признаний, что его посещал именно страх смерти и желание куда-то бежать. Кроме того, идея ухода вынашивалась им на протяжении двадцати пяти лет...

В 1869 году Толстой завершал работу над «Войной и миром». Он работал в состоянии невероятного умственного напряжения, преодолевая сильные головные боли. Возможно, поездка в Пензенскую губернию была продиктована также его желанием отвлечься, развеяться. Однако вопреки ожиданиям случился неожиданный психический срыв. Бессонница, чужая обстановка гостиницы, хаос в голове, беспокойные мысли о семье – всё это породило вспышку безотчетного страха, который он тогда не смог объяснить, но, по свойственной привычке всему давать рациональное объяснение, спустя десять лет истолковал как страх смерти.

Любопытно, что в воспоминаниях Сергея Арбузова, который находился с Толстым в гостинице в 1869 году, нет ни слова об «арзамасском ужасе». Слуга не увидел ничего необычного в поведении барина. По-видимому, Толстой стыдился этого страха и тщательно скрывал его от слуги. Да и как он мог объяснить крестьянскому парню, что испугался самого себя?! «Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя?» – эти вопросы, судя по «Запискам сумасшедшего», Толстой вдруг стал задавать сам себе, прекрасно понимая, что ответы на них есть и они просты, но его не успокоят.

В «Записках сумасшедшего» приводится и еще одна деталь, которую вспомнил Толстой: он стал сочинять молитвы.

«Молиться, вспомнил я... Я стал молиться: “Господи, помилуй”, “Отче наш”, “Богородицу”. Я стал сочинять молитвы. Я стал креститься и кланяться в землю, *оглядываясь и боясь, что меня увидят* (курсив мой – П.Б.). Как будто это развлекло меня – развлек страх, что меня увидят», – пишет Толстой.

В самом ли деле Толстой в Арзамасе видел «красный квадрат», как верит Татьяна Толстая, или это было всего лишь художественное приукрашивание события, как предполагает биограф Толстого Н.Н.Гусев, но странно, что почти никто из писавших об «арзамасском ужасе» не обратил внимания на куда более существенную деталь в «Записках сумасшедшего»: Толстой молился, но при этом стыдился. Боялся, что *это увидят посторонние*.

Страх этот совершенно противоположного рода, чем тот, который испытывал Иоанн Кронштадтский в своем сновидении с мальчиком. Во сне отец Иоанн мучительно раздваивался между верой в таинства и неверием и, застигнутый врасплох случайным свидетелем (дьяконом), стал нелепо оправдываться, что неверующего мальчика (его самого) к нему подослали раскольники. Но кто же мог застать во время ночной молитвы Толстого? Только его слуга и гостиничный сторож, которые упоминаются в «Записках сумасшедшего». Как и дьякон, это простые люди – своего рода олицетворение безличного человечества, то есть – *мнения людского*.

Отец Иоанн боялся, что это «мнение» застигнет его в момент колебания в вере.

А Толстой?

Страх, что его застигнут за искренней молитвой.

Но общее здесь одно: страх!

Это страх несовпадения внутренней личности с внешней. Того, что ты знаешь о себе сам, с тем, что в тебе видят посторонние.

Между тем Сергей Арбузов, несомненно, сам являлся как бы продуктом воспитания Толстого. Дворовый крестьянин, оторванный от привычной деревенской среды, он

сопровождал писателя не только в Арзамасе, но и во время его паломничества в Оптину пустынь.

Сын няни старших детей Льва Николаевича и Софьи Андреевны, Сергей Арбузов учился в яснополянской школе Толстого, затем мальчиком его взяли в дом, впоследствии он был старшим лакеем в доме. Он играл в домашнем театре, любил выпить, имел пристрастие к женщинам и был плутоват. Но в семье Толстых его очень любили, как и его мать, добрую крестьянку, бывшую дворовую соседей Толстых – князей Воейковых. В конце концов Арбузова все-таки уволили за пьянство и распутство. Например, в отсутствие Толстого в Москве он, пьяный, приводил в хамовнический дом проституток, о чем Софья Андреевна однажды пожаловалась в письме мужу. Впоследствии Арбузов вернулся с семьей в деревню Ясная Поляна, где у него имелся дом.

В 1900 году были изданы его воспоминания, в которых он, в частности, рассказывал о своем путешествии с Толстым пешком из Ясной Поляны в Оптину пустынь летом 1881 года. Из них отчетливо проступает образ эдакого русского Фигаро, хорошего и исполнительного слуги, но тайного насмешника над чудачествами своего барина, решившего заявиться в знаменитый монастырь как простой паломник, в лаптях и крестьянском платье. Толстого, который посещал Оптину пустынь не первый раз, опознали монахи, и монастырское начальство вынудило графа перейти из постоянного двора для нищих в роскошную монастырскую гостиницу, где, как пишет Арбузов, «всё обито бархатом». В своих воспоминаниях Сергей посмеивается и над хозяином, вынужденным спать на бархате, когда он мечтал ночевать на соломе, и над монахами, которые прислуживают за столом человеку, одетому как мужик.

И вот оказывается, что мнения этого слуги, воспитанного им же самим, Толстой испугался, когда его вдруг настигла внезапная потребность в молитве. Почему?

И точно такая же непонятная стыдливость нападает на Николеньку Иртеньева в начале «Отрочества», когда перед отъездом с постоянного двора он вдруг вспоминает, что забыл помолиться: «Я не успел помолиться на постоялом дворе; но так как уже не раз замечено мною, что в тот день, в который я по каким-нибудь обстоятельствам забывал исполнить этот обряд, со мною случается какое-нибудь несчастье, я стараюсь исправить свою ошибку: снимаю фуражку, поворачиваюсь в угол брочки, читаю молитвы и крещусь под курточкой так, *чтобы никто не видел этого...* (курсив мой. – П.Б.)»

Откуда такой стыд, такая стеснительность?

И уж вовсе странной выглядит картина, описанная Толстым во второй редакции «Отрочества». Начитавшись Паскаля, Николай Иртеньев вдруг «стал набожен: ничего не предпринимал, не прочтя молитву и не сделав креста». Но при этом до такой степени стыдился этой своей набожности, что при людях *«мысленно читал молитвы и крестился ногой или всем телом так, чтобы никто не мог заметить этого* (курсив мой. – П.Б.)».

Это просто невозможно себе представить! Как креститься *всем телом* ? Танец какой-то... Чего боялся Лев Толстой?

ВОСПИТАННЫЕ И НЕВОСПИТАННЫЕ

В судьбе Толстого, как и отца Иоанна Кронштадтского, ясно виден Промысел Божий. Самые, на первый взгляд, случайные события, накладываясь одно на другое, рождали совсем не случайные результаты, навсегда определяя пути этих людей.

Например, нельзя не обратить внимания на очень важный *разлом* в воспитании детей Толстых. Как случилось, что в обычной дворянской семье двое старших детей получили упорядоченное воспитание, а трое младших – нет? Если бы всё шло своим порядком, Льва, как и его старших братьев, системно воспитывали бы два человека: мать Мария Николаевна и французский гувернер Сен-Тома. Этого не мог делать отец, как по объективным причинам – он был постоянно занят хлопотами по имениям, так и по субъективным – Николай Ильич был большой любитель вина и карт. Но мать умирает, когда Лёвочке не исполнилось и двух

лет. Что касается Сен-Тома, то его прямое руководство младшими мальчиками, Митей и Львом, было недолгим. Вскоре после того, как француза по настоянию бабушки Пелагеи Николаевны взяли на постоянное жительство в московский дом, бабушка скончалась. После ее смерти было решено отказаться от содержания дорогого московского дома, найти квартиру попроще, а в результате разделить детей. Старшие, Николай и Сергей, вместе с опекуницей А.И.Остен-Сакен и Сен-Тома остались в Москве, чтобы готовиться в университет. Младшие – Дмитрий, Лев и Маша – с Т.А.Ёргольской и немцем-гувернером Ф.И.Рёсселем отправились в Ясную Поляну, где дети до кончины А.И.Остен-Сакен и переезда в Казань провели время вольно и весело, под надзором доброй тетеньки и пьющего немца.

При жизни отца и до приглашения в дом француза четырех мальчиков воспитывают разные люди. Например, бабушка Пелагея Николаевна – властная, капризная, деспотичная, бесконечно влюбленная в своего сына Николая Ильича, которого она безмерно избаловала. Она привыкла ни в чем себе не отказывать, жить на широкую ногу и не заботиться о деньгах, которые тают на глазах, как это уже было во времена ее жизни с супругом Ильей Андреевичем Толстым, разорившимся аристократом. Это одна линия воспитания Льва Толстого. Вернее сказать, *невоспитания*.

Другая линия – тетушки Татьяна Александровна, Пелагея Ильинична и Александра Ильинична. Первая – дальняя родственница, без своих средств и без права руководить домом и детьми. Вторая и третья – родные сестры Николая Ильича. Замечательные женщины, но каждая со своей непростой судьбой.

Пелагея Ильинична Юшкова (в девичестве Толстая) была младшей дочерью в семье Ильи Андреевича. С детства она была окружена заботой родителей и тоже сильно избалована, потому что слова «выговор» и «наказание» в этой семье даже не произносились. Детство, молодость, да и вся ее жизнь были пропитаны традициями русского барства, сложившимися еще в XVIII веке, когда Екатерина II даровала вольность дворянам. В юности она любила читать, делала выписки из Бальзака, Шатобриана и других французских писателей, но всё это вскоре забросила. Дневник, например, прекратился на первой странице. Она вышла замуж за отставного гусарского полковника Владимира Ивановича Юшкова, который был старше ее лет на десять (а быть может, и больше), но который не любил ее, даже презирал, в то время как она любила его всей душой и считала свое сердце разбитым. Едва ли не это было причиной ее набожности. Она любила принимать у себя монахов и архиереев, любила ездить по монастырям. Юшковы жили в Казани на широкую ногу, имели лучшего в городе повара и славились своими балами.

Прямого влияния на племянников, когда они остались сиротами, тетушка иметь не могла, потому что жила в Казани. Но и когда младшие Толстые в 1841 году переехали в Казань, Пелагея Ильинична мало влияла на них, особенно на мальчиков, чьи характеры вполне сформировались. Один из ее «воспитательных» поступков, который впоследствии возмущал Льва Толстого, заключался в том, что она подарила младшим мальчикам, Дмитрию и Лёвочке, по крепостному ребенку в расчете, что из них получатся верные слуги господам...

«Это была добродушная светская, чрезвычайно поверхностная женщина... – сообщает о ней в «Материалах к биографии Л.Н.Толстого» Софья Андреевна. – Всегда живая, веселая, она любила свет и всеми на свете была любима; любила архиереев, монастыри, работу по канве и золотом, которые раздавала по церквям и монастырям; любила поесть, убрать со вкусом свои комнаты, и вопрос о том, куда поставить диван, для нее был огромной важности. Муж ее был хотя человек умный, но без правил. Жил он бездельно, прекрасно вышивал по канве, подмигивал на хорошеньких горничных и играл слегка на фортепиано». В конце концов Пелагея Ильинична оставила своего ветреного мужа и поселилась в монастыре под Тулой, несмотря на приглашение племянника Льва жить в Ясной Поляне. В Ясную она переехала перед самой смертью, наступившей ее в 1875 году.

Судьба второй родной тетушки Толстого – Александры Ильиничны Остен-Сакен,

Алины, – оказалась куда сложнее.

Она была очень образованна, знала несколько иностранных языков, превосходно играла на флейте и фортепиано. Она была, как вспоминал Толстой, «очень привлекательна, с своими большими голубыми глазами и кротким выражением белого лица». Алина имела большой успех при дворе в Петербурге и была выдана замуж за богатого и знатного остзейского графа Остен-Сакена. Но это обернулось несчастьем для нее. Граф оказался бешено ревнив, а вскоре у него проявились и признаки прямого психического расстройства, которые выражались в мании преследования. В первый год после свадьбы он дважды покушался на жизнь жены; однажды выстрелил в нее, беременную, в карете, «спасая» от несуществующих преследователей, и бросил раненую на дороге. От потрясения у Алины родился мертвый ребенок, но ей об этом не сообщили, заменив его новорожденной дочерью придворного повара. Впоследствии она узнала правду, но воспитывала Пашеньку как приемную дочь.

После смерти психически больного мужа Александра Ильинична жила с братом Николаем Ильичом. Несчастливая судьба сделала ее очень религиозной, превратив некогда блистательную Алину в «скучную богомолку», как она себя иронически называла. «Тетушка... была истинно религиозная женщина, – вспоминал Лев Толстой. – Любимые ее занятия были чтения житий святых, беседы со странниками, юродивыми, монахами и монашенками, из которых некоторые жили всегда в нашем доме, а некоторые только посещали тетушку. В числе почти постоянно живших у нас была монахиня Марья Герасимовна, крестная мать моей сестры, ходившая в молодости странствовать под видом юродивого Иванушки... Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в ее время старец Леонид в Оптиной пустыни, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь не только избегать всякой роскоши и услуги, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим всё, что у нее было».

Тем не менее даже в старческом возрасте Лев Толстой не мог забыть «особенный кислый запах тетушки Александры Ильиничны, вероятно, происходивший от неряшества ее туалета. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами, поэтическая Aline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах»!

После внезапной смерти Николая Ильича от удара Александра Ильинична стала опекуной над детьми. Да, она заботилась о них. Но это не поглощало до конца ее души. Всё в ней было подчинено служению Богу. В 1841 году она поселилась в Оптиной пустыни, возможно, предчувствуя свою смерть, но и приближая ее строжайшими постами и выстаиванием многочасовых служб. В том же году она умерла в монастыре, где и была похоронена. Над ее могилой был воздвигнут памятник со стихами, по всей видимости, написанными тринадцатилетним Лёвой.

Эти две замечательные женщины, конечно, оказали какое-то влияние на личности племянников, привив им высокий дар любви и доброты и сообщив первые зачатки религиозных настроений. Однако ни о каком систематическом воспитании с их стороны не было и речи.

Единственные дети в семье Толстых, которые получили более или менее упорядоченное воспитание, были Николай и Сергей. Особенно старший Николенька, или Коко, которого мать, Мария Николаевна Толстая, успела довести до семилетнего возраста и который единственный хорошо ее помнил. В особом «Журнале поведения Николеньки» она записывала его ежедневные поступки, среди которых наиболее предосудительными считались лень, блажь и капризы – то, что она называла словом *митрофанить* от имени Митрофанушки в комедии Фонвизина «Недоросль». Не поощрялась и слезливость, которой впоследствии с избытком отличался ее младший сын Лёвочка. Пунктуально записывая в журнал все хорошие и плохие поступки Николеньки, Мария Николаевна не придерживалась какой-либо определенной программы воспитания, но своя четкая линия в этом по крайней

мере присутствовала.

Поэтому, наверное, не случайно самый старший, Николай Николаевич Толстой, оказался и наиболее дельным человеком. Он поступил в Московский университет на математический факультет, затем успешно перевелся в Казанский университет и окончил его с отличием. Из него вышел прекрасный военный. Он служил в артиллерии на Кавказе, был участником карательных экспедиций против непокорных чеченцев и вообще имел вкус к военной службе. Он не был лишен творческого дара. Его очерк «Охота на Кавказе», опубликованный в Некрасовском «Современнике» в 1857 году, вызвал восторг Тургенева, а Некрасов даже считал, что Николай «тверже владеет языком», чем Лев, уже прославившийся своим «Детством». В известной степени так и было. Кавказские и другие охотничьи очерки и рассказы Николая Толстого отличаются именно «твердым» языком, без особых прикрас, без сантиментов, без слез, которыми пропитана вся автобиографическая трилогия его младшего брата. Но в прозе Н.Н.Толстого нет и тех духовных исканий, религиозных порывов, без которых нельзя представить «Детство» Л.Н.Толстого. Это вполне земная, «объективная» и в лучшем случае – интересная психологическая проза.

Нет смысла гадать, что было бы с Николаем Толстым, если бы он не скончался в тридцать семь лет от скоротечной чахотки. Но при жизни он был безусловным авторитетом для братьев. Он был закоренелым холостяком, и это позволило ему избежать семейных конфликтов, которые всю жизнь терзали других братьев – Сергея и Льва. Последний неизменно завидовал Николеньке, главным образом – его способности стоять выше «мнения людского». Эта черта характера перешла к Николаю непосредственно от матери, которая всегда была равнодушна к мнению посторонних. Впрочем, эта черта характера отличала и Сергея, и Дмитрия. И только один Лёвочка не мог ею похвастаться.

Но именно отсутствие этой черты определило в будущем громадное преимущество Льва перед старшими братьями. За время своего беспорядочного и полного противоречивых влияний развития он впитал в себя человеческий мир, развил способность к перевоплощению в самых разных героев – от мужиков до аристократов, от детей до стариков, наконец, от мужчин до женщин.

Но для нас важнее другое. Почему Николай и Сергей, в отличие от Дмитрия, Льва и Марии, в сознательном возрасте оказались религиозно равнодушными людьми, не проявлявшими интереса к религии и церковным обрядам? Почему то, что для младших братьев и сестры стало стилем поведения (Дмитрий), единственным путем спасения (Мария) и колоссальной духовной трагедией (Лев), для старших братьев либо совсем не имело цены, либо уж точно не стало содержанием их жизни?

Из пятерых детей Марии Николаевны Толстой двое старших, Николай и Сергей, которые успели испытать на себе непосредственное влияние матери, были совсем не религиозны. Зато младшие, Дмитрий, Лев и Мария, воспитанные тремя верующими тетюшками, пусть и каждый по-своему, прошли *религиозный путь*. При этом все пятеро были совершенно непохожими людьми, объединенными разве что известной «дикостью» толстовской породы и крайней щепетильностью в вопросе о личной чести.

Младшая сестра Толстых Мария Николаевна Толстая скончалась в Шамординском монастыре схимонахиней. Согласно легенде, на Машу, когда она была еще маленькой девочкой, обратил внимание старец Оптиной пустыни отец Амвросий, сказав ей: «Маша будет наша». Тем не менее от ухода в монастырь Марию предостерегал ее московский духовник, знаменитый священник кремлевского Архангельского собора Валентин Амфитеатров. Очень уж нехарактерным, даже вызывающим для светской женщины был такой путь.

О брате Дмитрии, который был старше его всего на год, Толстой писал в своих «Воспоминаниях»: «В Казани я, подражавший всегда Сереже, начал развращаться... Не только с Казани, но еще прежде я занимался своей наружностью: старался быть светским, *comme il faut*. Ничего этого не было и следа в Митеньке; кажется, он никогда не страдал обычными отроческими пороками... Не знаю, как и что навело его так рано на религиозную

жизнь, но с первого же года университетской жизни это началось. Религиозные стремления, естественно, направили его на церковную жизнь. И он предался ей, как он всё делал, до конца. Он стал есть постное, ходить на все церковные службы и еще строже стал к себе в жизни».

Религиозное настроение, совсем не свойственное старшим братьям, привело к тому, что Дмитрий оказался белой вороной не только в своей среде, но и среди своих ближайших родственников, не исключая семьи Юшковых, где опекунша Толстых тетюшка Пелагея Ильинична Юшкова могла сочетать светские удовольствия с дружбой с казанскими архиереями и монахами.

«Он был неряшлив и грязен, – вспоминал Лев Толстой, – и мы осуждали его за это. Он не танцевал и не хотел этому учиться, студентом не ездил в свет, носил один студенческий сюртук с узким галстуком, и смолodu уже у него появился тик, подергиванье головой, как бы освобождаясь от узости галстука».

Митя ходил не в модную университетскую церковь, а в острожную, где вопреки тюремным правилам принимал от заключенных для передачи причетнику свечи или деньги на свечи. В товарищи себе он выбрал «жалкого, бедного, оборванного студента Полубояринова (которого наш приятель-шутник называл Полубезобедовым...)» В семье Юшковых была приживалка, девушка Любовь Сергеевна, странное и жалкое существо, с постоянно распухшим лицом, «как бывают запухлые лица, искусанные пчелами... Летом на лицо ее садились мухи, и она не чувствовала их, и это было особенно неприятно видеть... От нее всегда дурно пахло. А в комнате ее, где никогда не открывались окна и форточки, был удушливый запах. Вот эта-то Любовь Сергеевна сделалась другом Митеньки. Он стал ходить к ней, слушать ее, говорить с ней, читать ей. И – удивительное дело – мы так были нравственно тупы, что только смеялись на этом».

Полвека спустя вождь большевиков Владимир Ленин назовет Льва Толстого «барином, юродствующим во Христе». Но это сомнительное определение мало относилось к внешней жизни Льва Николаевича, который даже в периоды крайнего опрощения оставался в своих привычках аристократом, на что справедливо указывает его сын Илья Львович в прекрасных воспоминаниях об отце. Толстой всегда был чрезвычайно чистоплотен. Например, забыв во время ухода из Ясной Поляны щеточку для ногтей, он немедленно написал дочери Саше, чтобы та ее привезла. Характерно, что он написал это письмо о «щеточке» из Оптиной пустыни.

Зато в поведении брата Дмитрия несомненно были черты юродства. В Петербурге он заявился к знакомому правоведа Д.А.Оболенскому в пальто и фуражке. У того были гости. Дмитрия познакомили с ними и предложили снять пальто. Но оказалось, что под пальто ничего нет. «Он находил это излишним».

Дмитрий Толстой скончался в молодом возрасте от чахотки. Незадолго до смерти с ним случился переворот. «Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам». Но и в этой жизни он оказался нравственным ригористом. «Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он выкупил и взял к себе». Лев Толстой был единственным из братьев, кто посетил умирающего в Орле. «Он был ужасен. Огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было – одни глаза и те же прекрасные, серьезные, а теперь испытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал, и не хотел умирать, не хотел верить, что он умирает. Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем и ходила за ним. При мне по его желанию принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на нее».

В «Воспоминаниях» Толстой не открывает нам выражения этого лица. Но в романе «Анна Каренина» в сцене прощания Константина Левина с братом, который был списан с Дмитрия, это выражение Толстой показывает – и жестоко, видя в нем «временное, корыстное, с безумной надеждой на исцеление» чувство. Ему «мучительно больно было смотреть на этот умоляющий, полный надежды взгляд и на эту исхудалую кисть руки, с трудом поднимающуюся и кладущую крестное знамение на туго обтянутый лоб, на эти

выдающиеся плечи и хрипящую пустую грудь, которые уже не могли вместить в себе той жизни, о которой больной просил».

Сравним эту страшную сцену с описанием смерти другого брата, Николая, во Франции.

«В день своей смерти он сам оделся и умылся, – писал Лев в Россию брату Сергею, – и утром я его застал одетого на кресле. Это было часов за 9 до смерти, что он покорился болезни и попросил себя раздеть. Первое было в нужнике. Я вышел вниз и слышу, дверь его отворилась, вернулся – его нет нигде. Сначала я боялся войти, он не любил; но тут он сам сказал: “Помоги мне”. И он покорился и стал другой, кроткий, добрый; этот день не стонал; про кого ни говорил, всех хвалил, и мне говорил: “Благодарствуй, мой друг”... Страдать он страдал, но он только раз сказал дня за два до смерти, что ужасные ночи без сна. К утру давит кашель, месяц, и что грезится, Бог знает! Еще такие ночи две – это ужасно. Ни разу ясно он не сказал, что чувствует приближение смерти. Но он только не говорил. В день смерти он заказал комнатное платье и вместе с тем, когда я сказал, что ежели не будет лучше, то мы с Машенькой (сестрой. – П.Б.) не поедem в Швейцарию, он сказал: “Разве ты думаешь, что мне будет лучше?” таким голосом, что, видно, он чувствовал, но для меня не говорил, а я для него не показывал... Он умер совсем без страданий (наружных, по крайней мере). Реже, реже дышал, и кончилось. На другой день я сошел к нему и боялся открыть лицо. Мне казалось, что оно будет страдальческое, страшнее, чем во время болезни, и ты не можешь вообразить, что это было за прелестное лицо с его лучшим, веселым, спокойным выражением. Вчера его похоронили тут».

Николай, в отличие от Дмитрия, уходил из жизни как стоик, так сказать, застегнутый на все пуговицы, не нуждаясь не только в чудотворных иконах, но и в церковном утешении. Судя по письму Льва, он не исповедовался, не причащался, что, вероятно, не так просто было сделать на южном острове Франции.

При всем том именно Митенька, как и Маша, был ближе Лёвочке и по возрасту, и по мятушемуся, беспокойному характеру, чем Николенька с его недостижимым авторитетом. В своих «Воспоминаниях» Толстой признается, что в детстве только с Митей по-настоящему дружил, а старшим братьям завидовал и пытался подражать. Всё это и обозначает тот *разлом* между братьями, в котором религиозная составляющая была, скорее всего, следствием особенностей их воспитания.

Однако религиозное равнодушие не мешало старшим братьям формально оставаться, по-видимому, вполне православными людьми. Мы ничего не знаем о религиозном бунтарстве Николая Толстого, который всегда был просто добрым и глубоко порядочным человеком. Второй по старшинству брат, Сергей Николаевич, даже построил в своем имении Пирогово православный храм, довершив дело, начатое отцом, тоже, кстати, относившимся к религии спокойно и в общем-то прагматически. В то же время Сергей Николаевич откровенно презирал попов, а монашеский клобук своей сестры Маши называл «цилиндром».

«ВСЯ ЖИЗНЬ ЕЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ...»

Но все-таки кто религиозно воспитывал Льва Толстого? Ведь не могло же случиться так, чтобы его первые представления о Боге, о церкви, об аде и рае, о молитвах возникли как-то сами по себе или только из прочитанных им когда-то книг?

И здесь мы должны вернуться к одной из самых загадочных фигур в судьбе Толстого, повлиявшей на него необратимым образом, – к его самой любимой тетеньке Татьяне Александровне.

Татьяна Александровна Ёргольская выросла полусиротой и приживалкой, хотя и не в чужом доме. Она была троюродной тетушкой Льва Толстого. Родилась она в 1792 году. После смерти матери и вторичной женитьбы отца две девочки, Таня и Лиза Ёргольские, были разыграны с помощью бумажек между двумя родственницами: Т.С.Скуратовой (сестрой их отца) и будущей бабушкой Льва Толстого Пелагеей Николаевной. Черненькая

Таня досталась Пелагее Николаевне, а светленькая Лиза – Татьяне Семеновне. Таня росла вместе с Николаем Толстым, будущим отцом писателя, и, как это описано Толстым в «Войне и мире» (Соня и Николай Ростов), была в него влюблена. Но в жизни получилось не совсем так, как в «Войне и мире». Николай Толстой был влюблен в свою кузину гораздо сильнее, чем Николай Ростов в свою бедную родственницу. Вообще, между Соней в «Войне и мире» и Татьяной Ёргольской мало общего, хотя в остальном роман почти соответствовал жизни. Николай Толстой должен был жениться на Марии Николаевне Волконской без особой любви из-за плачевных финансовых обстоятельств своей семьи. Но, женившись, он оказался счастлив. Его жена, наверное, знала о любви мужа к Туанетт, которая была очень красива или, во всяком случае, так привлекательна, что в нее был влюблен даже ветреный полковник в отставке В.И.Юшков, муж Пелагеи Ильиничны. Но в отличие от Пелагеи Ильиничны, Мария Николаевна никак не проявляла ревности к Туанетт, продолжавшей жить в их доме. Во время отъездов Ёргольской к сестре Елизавете в Покровское Чернского уезда Мария Николаевна писала ей письма, в которых чувствовались неподдельная любовь и уважение. Впрочем, не исключено, что просто таков был характер матери Льва Толстого, не позволявшей себе унижительной ревности. Так или иначе, проблема любовного треугольника все-таки была. Но она не развивалась, потому что все участники треугольника понимали силу сложившихся обстоятельств.

Однако обстоятельства эти могли измениться после смерти Марии Николаевны в 1830 году. Туанетт к тому времени было тридцать восемь лет, а Николаю Ильичу – тридцать шесть. И он сделал предложение той, которую всю жизнь любил. Но Туанетт ему отказала.

И – совершила ошибку, в результате которой дети Николая Ильича после его смерти попали к двум опекунам, может быть, и любившим племянников, но слишком озабоченным своими личными проблемами.

Если с Александрой Ильиничной Остен-Сакен Татьяна Ёргольская еще уживалась, продолжая в Москве заботиться о детях, то переехать в Казань к Пелагее Ильиничне Юшковой она отказалась – отношения их были слишком натянутыми. В результате всех этих сложных отношений и возник тот самый *разлом*, о котором мы писали. Старших мальчиков в Москве воспитывал Сен-Тома, а младших детей в Ясной Поляне – Т.А.Ёргольская. И хотя она относилась к Сен-Тома с огромным уважением, ее влияние на младших было существенно иным, чем влияние Сен-Тома на старших. Это особенно наглядно проявилось в двух уже описанных нами ситуациях: попытке Сен-Тома наказать Льва и том ужасе и отвращении, которые вызвал у Ёргольской рассказ детей о наказании кучера. Ничего удивительного, что, когда братья съехались в Казани, младшие сильно отличались от старших и по своим глубинным мировоззрениям, и даже по поведению. Особенно сложно было со Львом.

В два неполных года лишившись матери и до переезда в Казань в тринадцать лет, Лев рос под влиянием двух могущественных сил. Первая – это родня и яснополянский народ, включая и дворовых, из этого народа вышедших. В «Воспоминаниях» он в 75-летнем возрасте легко называет имена людей из прислуги, которых знал в детстве: «1) Прасковья Исаевна, 2) няня Татьяна Филипповна, 3) Анна Ивановна, 4) Евпраксея. Мужчины: 1) Николай Дмитрич, 2) Фока Демидыч, 3) Аким, 4) Тарас, 5) Петр Семеныч, 6) Пимен, 7) камердинеры: Володя, 8) Петруша, 9) Матюша, 10) Василий Трубецкой, 11) кучер Николай Филипыч, 12) Тихон». И это не какая-то особенная память на имена. Эти люди были не просто частью памяти Толстого – они были *его* частью, они были *им самим*. Поэтому, начав «Воспоминания» о себе, он сейчас же забыл о своей личности, растворившись в великом множестве людей, не зная, кому отдать предпочтение.

Мать? Но ее он не помнил! Отец? Но его он видел нечасто, и от него остались хотя и приятные, но смутные воспоминания. И тогда, словно ракушками, автор «Воспоминаний» обрастает огромным количеством лиц, где «баре» перемешаны с народом, законные дети – с приемными и незаконнорожденными. «Бабушка сидит на левой стороне дивана с <...> золотой табакеркой в чепце с рюшей. Тетушки Александра Ильинична, Татьяна

Александровна, Пашенька, Машенька, дочь с своей крестной матерью Марьей Герасимовной <...> Федор Иванович, все собрались, ждут папеньку из кабинета».

Объединить всех этих людей, настолько разных, что даже непонятно, как они могли все собраться в одном небольшом пространстве, можно только одним – *любовью*. Но любовью не эгоистической, которая требует любви за любовь и внимания прежде всего к своей личности, а той любовью, которая и стала религией Толстого. И эта любовь была внушена ему второй могущественной силой – обаятельной личностью тетеньки Татьяны Александровны.

В зрелом возрасте Лев Толстой разделял два представления о любви. «Всякое влечение одного человека к другому я называю любовью», – писал он. Но в то же время: «Я понимаю идеал любви: совершенное жертвование собою любимому предмету». Когда Татьяна Александровна Ёргольская отказывалась от брака с Николаем Ильичем, она, возможно, руководствовалась тем же представлением о любви, которое в будущем в качестве идеала исповедовал ее племянник: в любви не должно быть эгоистических мотивов.

16 августа 1836 года она записывает на клочке бумаги: «Николай сделал мне сегодня странное предложение – выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их не покидать. В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива».

Вот интересно: задумывалась ли тогда Туанетт, почему предложение поступило от Николая не спустя положенный год, но спустя шесть лет после смерти супруги? Во всяком случае, его собственная скорая смерть менее чем через год после этого предложения всё расставила по своим местам. Это было именно практическое предложение с его стороны. Не продолжение love story с появившейся наконец возможностью для бедной родственницы выйти замуж за любимого кузена, а желание больного отца устроить жизнь своих детей, чтобы они не чувствовали себя сиротами после его кончины. Именно этого Туанетт, с ее представлениями о чистоте любви, и не поняла.

Уже 21 июня 1837 года она пишет о смерти Николая Ильича: «День страшный для меня, навсегда несчастный. Я потеряла всё то, что у меня было самого дорогого на свете, единственное существо, которое меня любило, которое оказывало мне самое нежное, самое искреннее внимание и которое унесло с собой всё мое счастье. Единственное, что привязывает меня к жизни, – это жить для его детей» (перевод с французского. – П.Б.).

Но чтобы жить для его детей, надо иметь *право* на его детей, а вот его-то у Ёргольской, как дальней родственницы Толстых, как раз и не было.

После отъезда всех детей в Казань в 1841 году она осталась в печальном одиночестве.

«Одиночество ужасно! Из всех страданий это самое тяжелое. Что делать с сердцем, если некого любить? Что делать с жизнью, если некому ее отдать?» Так Татьяна Александровна понимала любовь, так она понимала жизнь.

Так это, по-видимому, понимал и Лев Толстой, когда создавал свое великое нравственное учение о *законе любви* в противовес *закону насилия*. Но если с насилием всё более или менее понятно, как со всем, что Толстой решительно отрицал, то положительная часть его учения была далеко не ясна. Что значит любить всех? Любовь Татьяны Александровны Ёргольской была отнюдь не любовью ко всем. Это была, если угодно, сверхэгоистическая любовь, потому что всю свою жизнь она любила одного-единственного человека – Николая Ильича.

Понимал ли это Толстой? Прекрасно понимал! «Главная черта ее была любовь, – пишет Толстой в своих поздних «Воспоминаниях», – но, как бы я ни хотел, чтобы это было иначе, – любовь к одному человеку – к моему отцу. Только уже исходя из этого центра, любовь ее разливалась и на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него, через него и всех любила, потому что *вся жизнь ее была любовь* (курсив мой. – П.Б.)».

Когда Татьяна Александровна, забывшись, обращалась к своему любимому племяннику Лёвочке, называя его Nicolas (остались такие свидетельства), что он при этом должен был чувствовать? Что на самом деле он думал о своих отце и матери, зная, что был

рожден в браке, который заключен на небесах, но все-таки не по любви? Не потому ли Толстой всегда так решительно разделял реальный облик своей матери и ее идеальный образ, что в противном случае самые основы его возвышенной теории могли дать трещину?

«Матери своей я совершенно не помню. Мне было 11/2 года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета; так что, как реальное физическое существо, я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и всё, что я знаю о ней, всё прекрасно...» Это он пишет в своих «Воспоминаниях». И в них же он пишет о Ёргольской:

«Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери, впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами». Чувствуете сходство?

«...Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь»; «еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви»; «всем своим существом заражала меня любовью»...

Да, но какая это любовь?

Нельзя сказать, что Толстой не чувствовал всю сложность оттенков отношений между матерью и отцом, которые, женившись не по любви, тем не менее прожили девять счастливых лет в любви и согласии, рождая прекрасных детей, которых воспитывали и мать, и Татьяна Александровна, любившая его отца. Но именно эти оттенки никак не укладывались в его нравственную теорию о любви ко всем.

Но была еще одна сторона ее влияния на племянника, на которую он указывает в своих «Воспоминаниях». Татьяна Александровна была глубоко верующей и церковной женщиной. Мы уже писали об иконах, подаренных ею Льву в самые сложные и опасные моменты его жизни. Она словно ограждала путь своего племянника этими иконами, оберегая его от падений и случайной смерти. При этом религиозность Туанетт выгодно выделялась на фоне слишком экзальтированной религиозности Александры Ильиничны и комильфотных отношений Пелагеи Ильиничны с монахами и архиереями.

«Никогда она не говорила про себя, никогда о религии, о том, как надо верить, о том, как она верит и молится. Она верила во всё, но отвергала только один догмат – вечных мучений: “Dieu qui est la bonté même ne peut pas vouloir nos souffrances”¹¹. Я, кроме как на молебнах и панафидах, никогда не видал, как она молится. Я только по особенной приветливости, с которой она встречала меня, когда я иногда поздно вечером после прощания на ночь заходил к ней, догадывался, что я прервал ее молитву». Это воспоминание относится уже не к детским годам Толстого, но к тому времени, когда его любимая тетенька, к которой он в письмах с Кавказа и из Севастополя ласково обращался “chère tante”¹², поселилась по его просьбе у него в Ясной Поляне, где и прожила до своей смерти в 1874 году. В записках она рассказала то, о чем не говорила Льву, а именно, о чем и *о ком* она молилась по вечерам в своей комнате:

«Я была так счастлива почувствовать себя им (племянником. – П.Б.) любимой, что в этот момент я забыла жестокое страдание, угнетающее мое сердце... Видеть, что существует душа столь любящая, было для меня счастьем... Днем и ночью я призываю на него благословение неба...» (запись 1850 года).

Крайне важно, что духовный переворот в Толстом происходит *после* смерти Татьяны Александровны, но никак не при ее жизни в Ясной Поляне. Причем начинается он с того, что Толстой сознательно *принуждает* себя посещать церковь и исполнять все положенные обряды, а заканчивается решительным отказом от церковной веры и ссылкой тетушкиных

¹¹ Бог, который сама доброта, не может хотеть наших страданий (франц.).

¹² Дорогая тетенька (франц.).

икон на домашнюю половину Софьи Андреевны. Как будто при жизни Туанетт ее незаметных вечерних молитв хватает на всех, а после ее смерти обнажается какая-то пустота, которую Толстой пытается заполнить, но – неудачно! То, что было естественным как воздух для его любимой тетеньки, оказалось неестественным для него – и закончилось крахом.

Сын Толстого Илья Львович вспоминает о том, как происходило увлечение отца Церковью, случившееся в конце семидесятых годов, вскоре после смерти Ёргольской.

«Увлечение отца православной церковью длилось, насколько я помню, около полутора года.

Я помню недолгий период его жизни, когда каждый праздник он ходил к обедне, строго соблюдал все посты и умилялся словам некоторых действительно хороших молитв...

Вместе с папá стали богомольнее и мы.

Раньше мы постились только на первой и последней неделе Великого поста, а теперь, с 1877 года, мы стали поститься все посты сплошь и ревностно соблюдали все церковные службы».

«Он так строго соблюдал посты, – вспоминает жена писателя, – что в конце страстной недели ел один ржаной хлеб и воду и большую часть времени проводил в церкви. Детей он этим тоже заражал; и я, даже беременная, строго постилась...»

«Православие отца кончилось неожиданно, – продолжает воспоминания Илья Львович. – Был пост. В то время для отца и желающих поститься готовился постный обед, для маленьких же детей и гувернанток и учителей подавалось мясное.

Лакей только что обнес блюда, поставил блюдо с оставшимися на нем мясными котлетами на маленький стол и пошел вниз за чем-то еще.

Вдруг отец обращается ко мне (я всегда сидел с ним рядом) и, показывая на блюдо, говорит:

– Илюша, подай-ка мне эти котлеты.

– Лёвочка, ты забыл, что нынче пост, – вмешалась мамá.

– Нет, не забыл, я больше не буду поститься и, пожалуйста, для меня постного больше не заказывай.

К ужасу всех, он ел и похваливал. Видя такое отношение отца, скоро и мы охладели к постам, и наше молитвенное настроение сменилось полным религиозным безразличием».

Что же случилось с Толстым и почему его страстное желание стать членом православной Церкви закончилось религиозным бунтом на глазах всей семьи? Об этом Толстой подробно написал в своей «Исповеди».

«Исполняя обряды церкви, я смирял свой разум и подчинял себя тому преданию, которое имело всё человечество. Я соединялся с предками моими, с любимыми мною – отцом, матерью, дедами, бабками. Они и все прежние верили, и жили, и меня произвели. Я соединялся и со всеми миллионами уважаемых мною людей из народа».

Обычно толстовское желание обратиться в православие объясняют его стремлением «слиться с народом». Но это не совсем так. Все-таки на первом месте у него стояли предки, родственники. И среди них, без сомнения, – недавно ушедшая из жизни Ёргольская.

Но этот опыт оказался неудачным. Толстой так и не смог преодолеть свой разум, то рациональное начало, которое было привито в нем, в том числе и одной из линий его предков, представителей русского Просвещения XVIII века. То, что было так органично для его любимых тетушек, каждая из которых была по-своему несчастна, оказалось неорганичным для него, а лгать перед собой он не мог.

«Никогда не забуду мучительного чувства, испытанного мною в тот день, когда я причащался в первый раз после многих лет. Служба, исповедь, правила – всё это было мне понятно и производило во мне радостное сознание того, что смысл жизни открывается мне. Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминание Христа и означающее очищение от грехов и полное восприятие учения Христа. Если это объяснение и было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей

души, каясь в своих пороках, так радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших молитвы правил, так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что я не чувствовал искусственности моего объяснения. Но когда я подошел к царским дверям и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера» («Исповедь»).

Но кто же этот «кто-то»? Едва ли речь здесь идет о «простом робком священнике». Скорее, разум Толстого в принципе не смог смириться с положением христианской Церкви, которое требовало иррациональной веры в то, что хлеб и вино во время евхаристии претворяются в Плоть и Кровь Христа. Это и был настоящий камень преткновения.

Современный исследователь проблемы «Толстой и Церковь» священник Георгий Ореханов предполагает, что в основании толстовской критики Церкви кроме рационализма лежала и какая-то неизвестная, но глубокая личная обида. Это несомненно было так. И истоки этой обиды, возможно, лежали в детском упрямстве Толстого, который не смог соединить в себе столь дорогую для него веру своих тетушек (прежде всего Татьяны Александровны Ёргольской) со своим мощным и бескомпромиссным разумом...

«...Мне только было невыразимо больно», – признается Толстой в «Исповеди», указывая на то, что эта победа разума над иррациональной верой не доставила ему радости: «Я смирился, проглотил эту кровь и тело без кощунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесен. И, зная наперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз».

И снова это заставляет задуматься о природе любви и веры Татьяны Александровны и о том, насколько они отличались от «закона любви» Льва Толстого. Почему то, что было легко и органично ей, ее племяннику было так тяжело?!

Удивительной была смерть Татьяны Александровны Ёргольской.

«Уже когда я был женат и она начала слабеть, – пишет Толстой, – она раз, выждав время, когда мы оба с женой были в ее комнате, она, отвернувшись (я видел, что она готова заплакать), сказала: “Вот что, mes chers amis ¹³, комната моя очень хорошая и вам понадобится. А если я умру в ней, – сказала она дрожащим голосом, – вам будет неприятно воспоминание, так вы меня переведите, чтобы я умерла не здесь”».

Впоследствии Толстой страдал от того, что они с женой послушались тетеньку, и она перешла жить в тесную комнату возле людской, в которой после ее смерти действительно никто из семьи не жил.

И еще, что по скупости он часто отказывал ей в маленькой радости, финиках и шоколаде, которыми она его же и угощала.

«Умирала она тихо, – вспоминал Толстой, – постепенно засыпая, и умерла, как хотела, не в той комнате, где жила, чтобы не испортить ее для нас. Умирала она, почти никого не узнавая. Меня же узнавала всегда, улыбалась, просиявала (так у Толстого. – П.Б.), как электрическая лампочка, когда нажмешь кнопку, и иногда шевелила губами, стараясь произнести Nicolas, перед смертью уже совсем нераздельно соединив меня с тем, кого она любила всю жизнь».

Глава шестая ПАСХАЛЬНЫЙ БАТЮШКА

Ему всегда был присущ дух радостного прославления Бога, как у нас, грешных, в день святой Пасхи. От него не было слышно

¹³ Мои дорогие друзья (франц.).

покаянных воплей; он больше радовался, чем скорбел.

Митрополит Антоний (Храповицкий)

ЖИЛ В ЦЕРКВИ

Когда в конце жизни отца Иоанна спросили, откуда у него такая вера в Бога, он с «твердой ясностью» сказал: «Я жил в Церкви!» – «А что это такое – жили в Церкви?» – «Ну что значит жить в Церкви? Я всегда пребывал в церковной жизни. Служил литургию. Любил читать в храме богослужебные книги...» Как если бы Толстой на вопрос, как он написал «Войну и мир», ответил: «Ну, взял перо и бумагу... До этого изучил документы... Побывал на Бородинском поле...»

Но Иоанн Кронштадтский, скорее всего, искренне не понимал, чего хотят от него, спрашивая, откуда у него такая вера в Бога? Отец Иоанн был прежде всего *искренний священник*, как ни банально это звучит. В его жизни не было ничего, что могло бы иметь для него такое же значение, как литургия. И он не просто ради этого жил, а только одним этим и жил, умерев через девять дней после последней церковной службы. В конце жизни он не принимал пищи, кроме Даров причастия. Можно без всякого преувеличения сказать, что Плоть и Кровь стали его плотью и кровью.

Но откуда в кронштадтском батюшке с первых шагов его служебной карьеры проявилось такое рвение к церковным службам? Ведь к середине XIX столетия не только выпускники духовных академий, но и многие выпускавшиеся из семинарий не очень стремились попасть на приходы.

«Да, русские продолжали оставаться одним из самых воцерковленных и благочестивых народов Европы, – пишет Надежда Киценко в книге об отце Иоанне. – Однако народное благочестие отнюдь не всегда автоматически подразумевало почитание священника, поставленного вести свою паству. После петровских преобразований незыблемое положение приходских пастырей заметно пошатнулось, к ним даже могли теперь применяться телесные наказания».

«...Вопреки распространенному представлению о сытости “поповской жизни”, абсолютное большинство сельского и значительная часть городского приходского духовенства второй половины XIX – начала XX веков влачила жалкую и полуголодную жизнь на копейки, получаемые за отправление треб», – пишет современный исследователь жизни и деятельности отца Иоанна священник Филипп Ильяшенко.

«...Наши сельские священники могли бы быть сильным оплотом (государства. – П.Б.), – жалуется в письме К.П.Победоносцеву одна его провинциальная корреспондентка, – ежели бы им не приходилось существовать милостыней. Бывает, в бедной семье, истомленной голодом и холодом, умирает больной, в таком случае один священник мог бы духовно поддержать убитую горем семью; но он-то, наш сельский священник, и бывает страшнее самой смерти. Чтобы пригласить священника, нужны деньги, какие уже и так приходилось позанять на лечение, гроб, похороны умершего. Священник бесплатно хоронить не может, так как это составляет его насущный хлеб. Этот способ вознаграждения портит нравственность священника, отчего и сыновья священника попадали к анархистам».

С одной стороны – крестьянская и городская масса, которая видела в приходских священниках если не богатых паразитов, то уж точно причину дополнительных расходов на необходимые требы, так как ни обвенчаться, ни крестить детей, ни похоронить покойников без уплаты священнику было невозможно.

С другой стороны – образованная часть русского общества, которая воспринимала приходских священников как своего рода низшую касту и относилась к ним в лучшем случае пренебрежительно, а порой и с явным презрением. Скажем, приглашенного в барский дом батюшку после исполнения им службы, как правило, не сажали за общий стол, высылая ему деньги и закуску. Накормить батюшку полагалось, но как обычного наемного работника. Любопытно, что на это постыдное обстоятельство – не сажать батюшек за общий стол –

обратил внимание не кто-нибудь, а Толстой в разговоре с военным прокурором А.В.Жиркевичем. «Но я лично делал иначе и приглашал всегда священника за общий стол, думая, что поступаю либерально», – вспоминал Толстой.

Совершенно другим было отношение к *черному* духовенству. «...Монашество по-прежнему высоко чтилось и считалось наиболее богоугодной формой церковного служения, – пишет Надежда Киценко. – Традиционное почитание монашества неизбежно приводило к определенной десакрализации приходских батюшек, бывших в подавляющем большинстве людьми семейными и, следовательно, остававшимися в этом бренном земном мире. В то же время монашествующие, а также различные Божьи люди – странники, отшельники, блаженные – в сознании большей части как мирян, так и самого клира находились как бы ближе к Творцу».

В результате для всякого амбициозного молодого человека того времени, даже происходившего из духовной среды, поступить на приход означало поставить крест на своей карьере и оказаться в самом невыгодном, с точки зрения общественного мнения, положении. Гораздо выгоднее для выпускника духовной школы было пойти в монахи. Или, как это сделал племянник отца Иоанна Евдоким Фиделин, бросить духовную семинарию и поступить в военное училище.

Но Иван Сергиев решает иначе. Он проходит все ступени духовного образования, начиная с низшего, и не только идет на приход, но видит во сне великолепный Андреевский собор со всем его внутренним убранством. Это происходит еще до знакомства с Несвицкой и первым посещением Кронштадта. Таким образом, он вступает на путь белого священника не просто осознанно, но с глубоким внутренним рвением, что отражается в первой речи перед паствой.

В его глазах белый священник – это ангел. Нет, он даже выше ангелов! Потому что только он один имеет возможность быть посредником между Богом и людьми, каждый день беседовать с Богом с просьбой о помощи, о милости и снисхождении к людям.

Больше того. Он имеет право *требовать* от Бога этой помощи и милости. Иначе зачем вообще Христос поставил на земле священников, если Господь не слышит их молитв за вверенную им паству и не оказывает ей немедленной помощи, как если бы отец отказался помочь своим детям в крайней нужде? Это, с одной стороны, наивное и какое-то детское отношение отца Иоанна к церковной службе, на самом деле имело очень древние корни и восходило к молитве Моисея: «Господи, прости им грех или изгладь меня из книги Твоей».

От Моисея и библейских пророков взгляд отца Иоанна возвышается до Христа, который был первым священником «по чину Мельхиседекову». И уже от Христа через апостолов *святость священника* переносится на каждого, кто рукополагается во священники епископом. Но дальнейшее зависит от самого священника. Или он «возгревает» эту святость, и тогда имеет возможность быть и ангелом, и апостолом, и даже самим Христом (есть в дневниках отца Иоанна и такие смелые записи) по отношению к пасомым, или... Но иного варианта для отца Иоанна просто не существовало.

«Не только слугою, но другом Божиим является здесь (в храме. – П.Б.) священник, которому Бог поручает величайшую тайну, сокровенную от всех родов в Боге. На него (свершителя Евхаристии) ангелы взирают с благоговением и некоторою ревностью, созерцая такое снисхождение к нам Божие, такое срастворение Господа Бога с нашим бренным естеством».

Такие рассуждения часто присутствуют в дневниках отца Иоанна. Его отношение к своему сану было исключительным по искренности и бескомпромиссности! И в этом он, как ни парадоксально, похож на Толстого, с его предельной искренностью и бескомпромиссностью. Если Толстой отказался от церковной веры, то уже ничто не могло бы убедить его признать хотя бы часть правды в существовании Церкви. Но и отец Иоанн, вступив на путь священника, не мог допустить в вопросе о своей роли и значении никаких соображений от лукавого.

ДВА «ДЕТСТВА»

Как жаль, что отец Иоанн не написал *своего* «Детства»! Как жаль, что ни один выдающийся священник в России не обладал литературным даром, соизмеримым с талантами Толстого, Бунина, Ивана Шмелева.

Мы хорошо знаем о религиозных переживаниях детства Толстого. Мы знаем, что они не были тесно связаны с церковью. Да, мальчика возили в церковь в Кочаках и время от времени заставляли говеть, исповедоваться и причащаться, и, судя по воспоминаниям Толстого, он делал это вполне искренне. Но скорее это было связано со страхом послушания перед Богом, а не с любовью к Нему. Толстой вспоминал, что однажды ребенком выпил чаю до принятия таинств, и Бог «как-то наказал» его. Но настоящий религиозный восторг вызывали в мальчике не церковные обряды, а божьи странники, вроде Гриши, который носил вериги.

«Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих (так он называл тех, которые принимали его), в том числе о матушке, о нас, молился о себе, просил, чтобы Бог простил ему его тяжкие грехи, твердил: “Боже, прости врагам моим!” – кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой резкий звук, ударяясь о землю».

«Великий христианин Гриша! – восклицает он в “Детстве”. – Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога, твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих – ты их не поверял рассудком... И какую высокую хвалу ты принес Его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!..»

В другом свете предстает в повести белое духовенство. Протопоп, приглашенный для домашней службы на именины бабушки, в глазах ребенка не имеет ни лица, ни сколько-нибудь заметной фигуры, а появление его в доме даже прислугой воспринимается как событие малозначительное. На вопрос, встала ли бабушка, горничная говорит:

«Как же-с! уж кофе откушали, и протопоп пришел».

Совсем иной взгляд на духовенство, но уже черное, в повести «Юность». К Иртеньевым приходит монах, чтобы исповедовать членов семьи. Толстой вспоминает его «выразительный, строгий голос», «чувство благоговейного трепета, которое я испытывал утром при мысли о предстоящем таинстве». Одной исповеди юноше показалось недостаточно. На другой день рано утром он отправляется в городской монастырь, чтобы исповедаться вторично. Подробно описывается келья чернеца и то чувство, которое она вызывает:

«Проходят месяцы, проходят годы, – думал я, – он всё один, он всё спокоен, он всё чувствует, что совесть его чиста пред Богом и молитва услышана им».

Несправедливо избирательный взгляд на белое и черное духовенство сохранялся в Толстом всю жизнь. Он знал многих белых священников, включая знаменитого московского священника отца Валентина Амфитеатрова. Он дружил одно время с настоятелем церкви в Кочаках, который в конце семидесятых годов был частым гостем у Толстого и засиживался у него за полночь. Однако белое духовенство не породило сколько-нибудь выдающихся образов в творчестве Толстого. В этом плане интересно сравнить два его произведения – «Отец Сергей» и «Отец Василий».

Можно не принимать образа бунтующего монаха в лице бывшего князя Степана Касатского, ставшего отшельником. Но нельзя не признать, что этот образ глубоко волновал автора и был связан с какими-то интимными переживаниями самого Толстого. Это один из героев-странников, искателей истинной веры, которые всегда привлекали его, начиная с образа юродивого Гриши в «Детстве». Над «Отцом Сергием» Толстой работал с 1891 по 1898 годы, бросал писать и снова возвращался. Во всяком случае, эта тема его не отпускала.

Совсем другая история с попыткой написать в 1906 году рассказ о приходском священнике. «Начал было рассказ о священнике, – пишет Толстой в дневнике 30 сентября. – Чудный сюжет, но начал слишком смело, подробно. Не готов еще, а очень хотелось бы

написать». 23 октября – новая запись: «Очень хочется написать священника, но опять думаю о том, какое он произведет впечатление». И наконец 17 ноября он признается: «Начал нынче было писать “Отца Василия”, но скучно, ничтожно». Так и не закончил рассказ.

Прототипом отца Василия был, вероятно, Василий Можайский, священник Кочаковской церкви. Судя по свидетельству Душана Петровича Маковицкого, идея «Отца Василия» была примерно та же, что и «Отца Сергия»: «Рассказ про священника, разуверившегося в вере, которую он исповедует (т. е. церковной вере. – П.Б.), написать о его сомнениях, страданиях, о том, что семья заставляет его продолжать этот путь». Но что-то мешало писателю воплотить свой замысел. И этим «что-то» была, скорее всего, неуверенность Толстого в том, что он по-настоящему правдив в своих описаниях жизни белого духовенства. Оно являлось для него *terra incognita* – «неизвестной землей».

В 1909 году Толстой вернулся к этому замыслу и стал писать рассказ от лица самого священника в виде «Записок», но скоро признался Маковицкому, что не может закончить рассказ, потому что не знает, «мог ли бы священник писать это действительно...»

И вот эта «неизвестная земля» была для отца Иоанна самой родной и дорогой. Это была его духовная родина. Это было *его* «Детство».

Иеромонах Михаил (Семенов) в биографии Иоанна Кронштадтского пытается представить себе самые ранние впечатления Вани Сергиева, связанные с душой богослужения.

«Отец еще маленького Ваню берет в храм – и он здесь привыкает, всецело переносится в мир потусторонний – к Богу. Расширенными глазами следил он за священником (своим родным дедом. – П.Б.) перед престолом и чутким сердцем чувствовал, какая огромная тайна совершается здесь по молитвам верующих. Священник в фелони, окруженный волнами фимиама, кажется ему ангелом, предстоящим пред престолом Бога. Таинственный алтарь, в который религиозно настроенный отец Вани даже “входил” как-то иначе, чем в обычный дом, в горницу, благоговейно, торжественно, для Вани был местом, куда человек может войти только со святой мыслью, святым настроением. “Иззуй прежде сапоги от ног своих, здесь земля святая”. Мало-помалу храм становится для Вани тем, чем для детей мир сказок: местом отдыха для души от будничных и несвятых впечатлений дня».

Без этих первых впечатлений, отпечатавшихся в душе на всю жизнь, мы никогда не поймем особенностей служения отца Иоанна. Ни семинария, ни академия, ни даже чтение Иоанна Златоуста не могли оставить в его сердце такой неизгладимый след, как эти первые переживания наивной души. Крайний Север, нищее село, бесконечные зимние ночи, холод... Но в храме горят свечи, а не лучины, в храме светло и тепло, и там совершается невыразимо-таинственное действо, похожее на сказку, где дед становится ангелом, а отец ходит как-то иначе, торжественно и благоговейно...

ЦЕРКОВЬ И ТЕАТР

Чтобы представить, насколько по-разному воспринималось таинство церковного богослужения светски образованными людьми XIX столетия и такими священниками, как Иоанн Кронштадтский, вспомним хотя бы сцену венчания Константина Левина и Кити Щербацкой. Совершенно ясно, что ни оба героя, ни их родня, ни гости в этом богослужении *ничего не понимают*. Но всем им, тем не менее, ужасно «весело». Что вполне можно понять – свадьба же!

«Им весело было слушать чтение послания апостольского и раскат голоса протодьякона при последнем стихе, ожидаемого с таким нетерпением постороннею публикой. Весело было пить из плоской чаши теплое красное вино с водой, и стало еще веселее, когда священник, откинув ризу и взяв их обе руки в свою, повел их при порывах баса, выводившего “Исаие ликуй”, вокруг аналая. Щербацкий и Чириков, поддерживавшие венцы, путаясь в шлейфе невесты, тоже улыбаясь и радуясь чему-то, то отставали, то натыкались на венчаемых при остановках священника. Искра радости, зажегшаяся в Кити,

казалось, сообщилась всем бывшим в церкви. Левину казалось, что и священнику, и дьякону, так же как и ему, хотелось улыбаться».

В биографии Н.С.Лескова, написанной его сыном А.Н.Лесковым, рассказывается об откровенной пародии на богослужение, в которой вместе с профессиональными актерами участвует и Николай Семенович Лесков, внук священника и автор «Соборян». Всё это «действие» происходит в трактире Прокофия на углу Гороховой и Садовой.

«У этого “Прокофия”, в “отдельном кабинете”, после “усердной рюмки”, иногда, по образу средневековых мистерий, “соборне” свершалось “Голгофское действие”. Пилата изображал по-римски бритый, круглолицый актер И.Ф.Горбунов, а Христа, которого по ходу действия потом он же, уже в новой роли исполнителя приговора, пригвождал к стене или двери в соседний кабинет, – бледный, “со бородой” и приятными чертами усталого доброго лица С.В.Максимов¹⁴. Остальные олицетворяли Варраву, толпу, требовавшую распятия Сергея Васильевича, с поникшей головой стоявшего перед судилищем со связанными салфеткою руками, воинов и т. д. в соответствии с последовательным развертыванием действия. Изнемогавшему “на кресте” Максиму подносили “оцет”, то есть уксус из судка, прободали ему грудь копьем, точнее – тонкою тростью Лескова с мертвым черепом – *temento mori* – вместо рукоятки, и т. д. По изречении им “свершилось” и уронении главы на грудь происходило “снятие с креста”, “повитие” тела, “яко плащаницею”, совлеченною с одного из столов скатертью и “положение во гроб”, на оттоманку. Тут на Лескова выпадало исполнение роли Иосифа Аримафейского, и под его регентством хор исполнял песнопение “Благообразный Иосиф с древа снем пречистое тело Твое...” У “гроба” ставилась “стража”, при вскоре же наступавшем “воскресении” повергавшаяся во прах! Оправившись от сценических напряжений, все удовлетворенно возвращались к “беседному вину” и к прерванной трапезе...»

«Уживалось ли всё это с деизмом и даже истовым церковным правоверием некоторых исполнителей?» – задается вопросом сын Лескова. И отвечает: «Как нельзя лучше».

Подобные же «мистерии» разыгрывались на вилле Горького на острове Капри, когда писатель жил там с многочисленными гостями и приживальщиками с 1906 по 1913 годы. Так, на постановочном снимке, сделанном Юрой Желябужским, сыном гражданской жены Горького актрисы М.Ф.Андреевой, Горький изображает первосвященника, в хламиде, с воздетыми руками. Роль Девы Марии играет М.Ф.Андреева, а роль Христа – революционер Л.Б.Красин. Сцена называется «Брак в Кане Галилейской».

Такая традиция в культурной среде действительно существовала, но непонятно, откуда ее истоки? Из средневековых мистерий? Из всешутейных соборов времен Петра Великого? Или просто из страсти к актерству? Еще менее понятно, где проходила граница между искренним актерством и сознательным кощунством.

Отец Иоанн не любил светский театр. Особенно возмущало его, что театры принято посещать в выходные дни, которые, по убеждению священника, следует отдавать молитве и церковной службе.

«Театр – школа мира сего и князя мира сего – дьявола; а он иногда преобразуется в ангела света (2 Кор. 11, 14), чтобы прельщать удобнее недальновидных, иногда ввергнет и нравственную пьеску, чтобы трубили про театр, что он пренравоучительная вещь и стоит посещать его не меньше церкви, а то, пожалуй, и больше: потому-де, что в церкви одно и то же, а в театре разнообразие и пьес, и декораций, и костюмов, и действующих лиц», – пишет Иоанн Кронштадтский в «Моей жизни во Христе».

В дневнике 1861 года отец Иоанн приходит к мысли о необходимости запрета цирковых и театральных зрелищ по праздничным дням и введении для них более суровой церковной цензуры: «Если Бог судит быть протоиереем – позаботься о том, чтобы на театрах и цирках не было соблазнительных картин и зрелищ, особенно богов и богинь языческой

¹⁴ Известный писатель, этнограф, революционер.

мифологии; по сношению с гражданской властью воспретить на праздники и в самые праздники театры или, по крайней мере, сильнее говорить о них в церкви».

Враг театра? Но если собрать все высказывания отца Иоанна о театре в его дневниках, то, во-первых, удивляешься их количеству, несоизмеримому с рассуждениями о поэзии или живописи. Во-вторых, любопытно сравнить эти высказывания с теми записями, где он или настраивает себя на предстоящую службу, или разбирает службы, уже свершившиеся. Эти места весьма напоминают процесс постановки пьесы, где за премьерой следует обкатка спектакля.

Известный театровед Б.Н.Любимов в работе «Церковь и театр» обращает внимание на сходство названий книг Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» и К.С.Станиславского «Моя жизнь в искусстве».

И наконец, в дневнике Иоанна Кронштадтского конца пятидесятих годов мы находим поразительное рассуждение: «Что за актер, который конфузится на сцене? Тем более, что за священник, который конфузится в церкви при служении?»

Еще одна интересная мысль отца Иоанна в дневнике относится к тому, как правильно читать Священное Писание: «При чтении какого-нибудь места из Священного Писания нужно принимать живое, искреннее участие в том лице, о котором идет речь или которое представляется говорящим, нужно быть на время как бы одно с ним, как бы одна душа, тогда чтение достигнет своей цели. Но оно не достигнет своей цели, когда читаемое место будет как бы чуждым для души читающего, когда он верою не примет участия в лице, о котором идет речь, *когда он не станет в его положение или, лучше, – во все его положения* (курсив мой. – П.Б.)».

По сути, речь идет о перевоплощении в героев Ветхого и Нового Заветов по системе Станиславского. При этом автор дневника предлагает удивительный пример подобного прочтения, пересказывая своими словами историю третьего явления Христа ученикам после Воскресения. Мы имеем дело с весьма талантливой режиссерской «читкой».

«Господь является при озере Тивериадском семи ученикам Своим. Симону Петру нужно было заняться прежним, любимым своим промыслом – рыбною ловлею, и он сказал прочим: я пойду рыбу ловить. Согласились и те с ним попытать своего счастья: пошли, уселись в лодку, трудились целую ночь и не поймали на этот раз ничего. Утро застало их еще в лодках. Вдруг они слышат с берегу голос: дети! Есть ли у вас что-либо съестное? (Какая заботливость Отца о детях! Он знает, что у них ничего нет, и, как Владыка суши и моря, достал им завтрак из моря.) Те отвечали: нет. Господь сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Закинули – и что же? Уже не могли и вытащить ее по причине множества рыбы. Святой Иоанн говорит Петру: это – Господь. Петр, услышав, что это Господь, подпоясался одеждою, так как был нагой (какая простота и невинность: таковы были люди до падения), и бросился в море. А другие ученики подошли лодками к берегу, потому что не больше как на двести локтей были от земли, таща полную рыбы сеть. Вышедши на берег, они увидели разложенный огонь, на нем рыбу и хлеб на земле: вероятно, всё это приготовил Господь. Спаситель сказал: принесите-ка рыбы, пойманной ныне. Петр вошел в лодку, вытянул сеть на землю и насчитал больших рыб сто пятьдесят три. Ученики удивились, как при таком множестве не прорвалась сеть, а она к тому же, вероятно, была ветхая. Господь пригласил обедать. Никто не смел спросить такого чудесного Гостя: Кто Ты? – верно зная, что это Чудодействующий Господь. Вот Он подошел, взял хлеб и дал им, равно как и рыбу. Нежнейший Иисусе! Как счастливы были Тобою теперь дети Твои – апостолы! А мир? Он и не знал теперь об этом. Ты судил давно не являться ему по Воскресении. Это уже в третий раз Господь явился ученикам Своим, восстав от мертвых. Во время этого обеда Господь трижды спрашивает Петра, любит ли Его Петр, и получает трехкратное уверение его любви к Себе; и поручает ему пасти овец Своих разумных, для чего требуется горячая любовь ко Господу, и предсказывает ему затем род смерти – на кресте. Сказавши это, Господь сказал Петру: *иди за Мною*. Петр, обратившись, заметил Иоанна и сказал Господу как бы так: вот Ты мне предсказываешь и род смерти моей, а этому

что Ты скажешь? Господь отвечает: если Я хочу, чтобы он оставался, пока Я приду, что тебе до того: ты иди за Мною. И вот разнеслась молва в учениках, что святой Иоанн не умрет, хотя и не сказал ему Господь, что он не умрет, а сказал только: если хочу, чтобы он оставался, пока Я приду, что тебе до того: ты иди за Мною. Не так поняли апостолы слова Господа. Ах, дети! Как они были тогда недалеки умом своим».

Но для чего потребовался священнику этот подробный пересказ 21-й главы Евангелия от Иоанна? Можно допустить, что это подготовка к проповеди. Однако не может не удивлять тщательная и, так сказать, профессионально режиссерская проработка этой сцены, где каждое действие персонажей не только объясняется, но еще и наполняется свежим эмоциональным содержанием, как если бы он втолковывал актерам свое видение этого сюжета, не говоря уже о том, с каким знанием дела эта сцена пересказана! Сразу чувствуется, что это говорит бывший мальчишка из рыбацкого поселка, понимающий толк и в ловле рыбы, и в сетях, и в приготовлении рыбы на костре, и в том, как это важно – быстро обогреть и накормить мокрых рыбаков хотя бы самой простой пищей.

И наконец, театральная составляющая дневников отца Иоанна выражается в постоянной смене лиц обращения, где «я» меняется на «ты», что превращает эти записи в страстные монологи, которые буквально просятся к исполнению на сцене.

«Господь подверг испытанию любовь твою к Нему в самый светлый праздник. Ты под огнем должен был славословить Его, воскресшего. Что же ты не выдержал этого испытания? Видно, любовь твоя к Нему не крепка, а слаба. Какая теснота была в тот день! Какой несносный жар от множества возженных светильников в руках молящихся, и пред иконами, и от дыхания людей, в непомерном множестве собравшихся. Тело горело, не сгорая, пот лил ручьями во всё время службы. Прости, Жизнодавче Христе Боже, мою торопливость и мою малодушную робость и оттого происшедшую небрежность при богослужении в пресветлый Твой праздник. Вместо благословения и радости я заслужил в этот день своими грехами клятву, и душевную тугу, и горе».

С другой стороны, этот монолог является как раз тем самым «разбором полетов», которым отец Иоанн занимался после каждой службы.

Между театром и церковью исторически немало близкого. Как пишет Б.Н.Любимов, средневековый европейский театр родился из церковных служб. (В России было иначе.) Но и в дальнейшем, когда пути церкви и театра разошлись, у них остались общие родовые признаки. «...Парадоксальность структуры богослужения, – замечает Б.Н.Любимов, – заключается в том, что всё *тайное* богослужение делает явным, зримым, священно-действием» («Священнодействие и действие»).

«Просфора, из которой вынимается Агнец, образ Христа (подобно тому как в ветхозаветном богослужении его символизировал агнец пасхальный), литургически знаменует Пресвятую Деву Марию, – пишет протоиерей Владимир Иванов в учебном пособии для духовных семинарий. – Жертвенник, где совершается проскомидия, изображает рождественскую пещеру (вертеп). Дискос, на который полагается Агнец, символизирует ясли Христовы, звезда – звезду над Вифлеемом в ночь Рождества, покровы – пелены, которыми был повит Младенец Иисус, кадельница и фимиам – дары волхвов родившемуся Иисусу. Молитвы и славословия священнослужителей – поклонение пастырей и волхвов...» («Таинство Агнца»).

«Священник во время богослужения представляет собой образ Христа... – отмечает Б.Н.Любимов. – При этом тот же священнослужитель, в зависимости от “сюжетного звена” богослужебной драмы, может изображать разные образы...»

Вот приготовление из хлеба и вина вещества для евхаристии: «На проскомидии священник берет просфору, означающую Деву Марию, когда родители привели Ее в храм Господень. Священник, подражая пророку Захарии, полагает просфору в сосудохранильницу, что изображает время, проведенное Девой в храме, а перенос ее на место, именуемое предложением, означает жизнь Богородицы в Вифлееме». «*Копие*», употребляемое во время литургии, изображает копье, которым сотник Лонгин прободал на

кресте Христа». И вообще между началом и концом проскомидии *«зримо»* происходит грандиозная христианская трагедия, возвещающая самую большую радость христианскую – Рождество Воплотившегося Бога-Слова Спасителя, самую страшную трагедию – Его вольную, позорную и мучительную смерть, и Радость всех Радостей – Воскресение и обетование спасения всему человечеству» («Священнодействие и действие»).

Церковь – не театр.

Но как в театре плохой актер может испортить самую прекрасную пьесу, так и в практике богослужения многое зависит не только от того, *что* происходит во время действия, но и от того, *как* это происходит.

ТО ЖЕ, НО НЕ ТАК ЖЕ

«В своем служении он делал то же, но не так же...» – настаивает митрополит Вениамин (Федченков).

Об этой особой манере служения отца Иоанна писали много и разноречиво. Далеко не всем она нравилась, особенно на первых порах, когда образованным жителям Кронштадта хотелось видеть в молодом батюшке куда более благородного священника.

Вспоминает адмирал Д.В.Никитин: «В Кронштадте редкими ударами гудит большой колокол Андреевского собора, обозначая, которое из Евангелий прочитано на вечернем чтении Страстей Господних. Служит сам отец Иоанн. Когда он начинает читать главу Евангелия, он, видимо, далеко удаляется от всего окружающего. Он переживает всей душой Страсти Господни. *Он вдруг начинает сам себя перегонять* (курсив мой. – П.Б.)».

Все обращали внимание на то, что отец Иоанн служил порывисто, как бы наперегонки с самим собой. А ведь такая манера службы не только не была традиционной, но и прямо осуждалась церковной традицией. «Размеренное чтение, исполнение духовных песнопений, благоговейные поклоны сообразно с установленным порядком, правильное и неторопливое наложение крестного знамения – всё это уже само по себе отрывает душу от земного и возвышает до небесного», – писал бывший ректор Московской духовной академии митрополит Антоний (Храповицкий) в книге «Учение о Пастыре, Пастырстве и об Исповеди». Именно в этом ключе в то время наставляли будущих священников в семинариях.

Но приведем воспоминания отца Сергия (Четверикова), который в бытность студентом Московской духовной академии присутствовал в Троице-Сергиевой лавре на литургии, где участвовали и отец Иоанн, и владыка Антоний:

«Меня поразила тогда необычайная огненная вдохновенность отца Иоанна. Он служил, весь охваченный внутренним “огнем”. Такого пламенного служения я не видел ни раньше, ни после. Он был действительно как Серафим, предстоявший Богу. Сослужившие ему священники и наш вдохновенный отец ректор Антоний (Храповицкий) в сравнении с ним казались вялыми, безжизненными, деревянными, какими кажутся лица при вспышке магния. Лицо отца Иоанна всё время обливалось слезами. Все движения его были быстрыми и резкими».

Продолжим мысль митрополита Антония о «размеренном» богослужении:

«...Любое проявление самовольства даже благочестивым священником во время общей молитвы неизбежно ввергает в прелесть, то есть в духовный самообман; это, в свою очередь, подталкивает священника к следующему соблазну, когда прихожане начинают благоговеть не перед службой, а перед его собственной персоной; и пастырь из организатора общей молитвы превращается в актера».

«Слова бегут неудержимым потоком, – пишет о манере служб отца Иоанна адмирал Д.В.Никитин. – Затем он как будто бы снова замедляет темп, растягивая каждое слово. Отец Иоанн не смотрит на Священную Книгу; то, что там написано, он с детства, когда еще был мальчиком в глухом селе Суре Архангельской губернии, вытвердил наизусть. Сейчас он не с нами. Он телом находится среди нас, но духом, мыслию он в далекой стране Иудейской.

Читая священные строки, он подымается вместе с Христом на небольшой холм в окрестностях столичного города. День уже перевалил за полдень. Идти в гору жарко, место заброшенное, печальное. Сюда приходят толпы только в дни даровых зрелищ: мучения и казни людей. Дороги хорошей нет, ноги вязнут в песке, острый щебень чувствуется даже сквозь подошву. Раскрывши рты, смотрит на происходящее иерусалимская чернь. Это ее день. Но среди оборванцев есть и более нарядно одетые люди – завсегдатаи всяких казней, любители сильных ощущений...»

Кто эта чернь? Кто эти нарядно одетые люди? Ведь перед отцом Иоанном не чернь, а паства! Тем не менее военно-морской офицер чувствует, что за аналоем происходит что-то не так, что отец Иоанн в этот момент не в храме, а где-то в другом месте.

«Отец Иоанн взглянул вверх на купол собора, увидел изображение четырех евангелистов, столь ему знакомых за годы его служения здесь, опустил взор на аналой с Евангелием, вспомнил, что его слушает его паства, и он обычным тоном читающего Священную Книгу священника заканчивает главу».

Известна еще одна особенность службы отца Иоанна: он сам читал каноны, дирижируя хором причетников, чего, как правило, священники не делали. «Но как он читал! Совсем не так, как читаем мы, обыкновенные священнослужители: т. е. ровно, без “выражения”, певучим речитативом. И это мы делаем совершенно правильно, по церковному учению с древних времен: благоговение наше перед Господом и сознание собственного недостойнства не позволяют нам быть дерзновенными и в чтении; “бесстрастность” ровного, спокойного, благоговейного совершения богослужения – более пристойна для нашей скромности. Неслучайно же подчиненные вообще разговаривают с начальствующими не развязно, не вольно, а “почтительно докладывают” ровным тоном. Особенно это заметно в военной среде, где воины отвечают начальникам подобно церковному речитативу, на одних “нотах”», – вспоминает митрополит Вениамин.

«И он молился чрезвычайно громко, а главное: дерзновенно. Он “беседовал” с Господом, Божьей Матерью и святыми, беседовал со смелостью отца, просившего за детей; просил с несомненной верой в то, что Бог не только всемогущ, но без меры и милосерд. Бог есть любовь! А святые богоподобны. Вот почему отец Иоанн взывал к ним с твердым упованием; как именно – этого на бумаге не передашь. Можно лишь отчасти представить, как это было: “Слава, Господи, Кресту Твоему честному!” – “Пресвята-ая Богородице!!! Спаси-и нас!!!”»

Если судить по воспоминаниям митрополита Вениамина, можно предположить, что у отца Иоанна был какой-то необыкновенно сильный, громоподобный голос. Однако подавляющее большинство свидетелей пишут, что это был не слишком выдающийся – по мощи звучания – голос. «Голос – второй тенор», – пишет священник Иоанн Попов.

Были ли у отца Иоанна актерские способности? При первом общении он производил скомканное впечатление. Он скорее озадачивал, а не поражал. Вот как описывает свои впечатления от посещения отцом Иоанном Кронштадтским в начале девяностых годов калужской классической гимназии православно настроенный писатель Борис Зайцев, который в то время был простым школьником:

«Священник (отец Иоанн. – П.Б.) по ходу благословлял встречных. Ему целовали руку. Подойдя к нам, он остановился, поднял золотой крест и высоким, пронзительным, довольно неприятным голосом сказал несколько слов. Я не помню их... Помню его подвижное, нервное лицо народного типа с голубыми, очень живыми и напряженными глазами. Разлетающиеся, не тяжелые, с проседью волосы. Ощущение острого, сухого огня. И малой весомости. Будто электрическая сила несла его. Руки всегда в движении, он ими много жестикулировал. Улыбка глаз добрая, но голос неприятный, и манера держаться несколько вызывающая».

По своим физическим данным отец Иоанн должен был стать не самым выдающимся священником. Что же происходило в Андреевском соборе, если не только простой народ, но врачи, инженеры, адмиралы и те молодые люди, которые в будущем становились

известными митрополитами, – оставались религиозно потрясены этими службами и вспоминали о них долгие годы как о несомненном чуде?

Искренняя вера священника! Буквальная вера в то, что происходит здесь и теперь! И Рождество, и Крестный Путь, и Воскресение – происходят не символически, а в зримой реальности. Это невозможное для обычного человека и даже обычного священника чувство веры в абсолютный реализм происходящего превращало служения отца Иоанна в нечто принципиально *иное*, чему нельзя найти определение и что называли просто *службами Иоанна Кронштадтского*.

На глазах прихожан стирались границы веков, рассыпались в прах цивилизации и становились прозрачными стены храма. И они видели перед собой человека, который зримо беседует с Господом, как Моисей, и говорит с Христом, как апостолы, которые еще не знают, что они апостолы. Время от времени этот человек «возвращается», вспоминает о своем настоящем месте и снова «бежит» сквозь видимую реальность в реальность невидимую, но которая настолько душевно потрясает его, что он – плачет, улыбается, что-то шепчет, о чем-то просит, чего-то требует. И он делает это в совершеннейшей уверенности, что находится *там*, а не здесь. Еще вернее сказать, *там* в этот момент и находится *здесь*. И это общее чувство сопричастия священной истории пронизывает собрание верующих как электрическим током.

Он служил не благолепно, а душевно. Некоторые очевидцы даже испытывали страх за этого священника – слишком непосредственно он переживал внутри себя то, что позволялось исполнять с большим ритуальным хладнокровием. Если он и уходил в самого себя, то его переживания наглядно отражались в его облике: все видели, как он явственно страдает и радуется, плачет и улыбается... И здесь уже не играли существенной роли отдельные особенности, вроде внезапных остановок и замедлений в службе, или, напротив, ее ускоренного темпа, или молитв своими словами, что позволял себе отец Иоанн и что было недопустимо по церковным канонам.

Это были незначительные нарушения, но дело-то в том, что *весь* отец Иоанн был исключением из правил.

ВЗГЛЯД «ПРОФЕССИОНАЛОВ»

Это лучше всего понимали священники, сослужившие отцу Иоанну. Так, воспоминания сельского батюшки отца Иоанна Попова заканчиваются признанием: «Таков подобает нам иерей! Таким-то, или хотя подобным, а не иным совсем, и мне иерею быть должно. А я-то, я... Ох, Господи Иисусе Христе, Пастыреначальниче мой! Страшно-страшно становится за себя, когда сравнишь дивное пастырское усердие отца Иоанна и свое холодное небрежение!.. Страшно становится за себя! Недаром сказал некогда святой Иоанн Златоуст: “Не мною многих быти во иереех спасающихся, но множайших погибающих”. Страшно слово сие! Увы мне!..»

Многие батюшки специально приезжали в Кронштадт, чтобы своими глазами «испытать» знаменитого священника и сверить свои впечатления с тем, что о нем широко писала пресса и говорила народная молва.

Во время путешествий по России Иоанн Кронштадтский сам приглашал местных священников к сослужению. В 1897 году в церкви села Путилова Шлиссельбургского уезда с ним сослужил литургию Михаил Паозерский – настоятель Троицкой церкви в селе Васильевское Новолadoжского уезда. Он пишет в своих воспоминаниях: «Признаюсь, я принял это приглашение не столько из желания разделить животворящую Трапезу страшных Христовых Таин с великим молитвенником, сколько из простого, мелкого любопытства. Каюсь, я был отчасти предубежден против него: все эти нелепые рассказы богомолков, безграмотные и бессмысленные молитвы, распространяемые от имени его; эксплуатация невежественной массы некоторыми из окружающих его лиц – всё это мало говорило моему сердцу и критически настроенному уму. Правда, я боялся осудить Божия избранника, но не в

силах был открыть ему и сердце свое и говорил, как древний Фома: “Доколе не увижу – не иму веры”».

И что же в первую очередь замечает отец Михаил?

«Первое впечатление не в пользу его: движения нервные, порывистые; руки то сложит на груди, то быстро-быстро трет одну о другую; голову то опустит на грудь, то закинет назад, то склоняет попеременно на правый и левый бок; крестится скоро, но редко, зато часто-часто кланяется. Вообще производит впечатление человека, находящегося в крайнем нервном возбуждении».

Но «профессиональный» взгляд отмечает и то, с какой скромностью отец Иоанн отправляется на солею для чтения канона и как смиренно кланяется служащему с ним священнику. «И этот смиренный поклон, поклон светильника Церкви простому сельскому иерею, отданный не с пренебрежением, а почтительно, как равному о Христе собрату, впервые задел в моем сердце какую-то новую, сочувственную струнку», – пишет отец Михаил. Однако и дальше священник продолжает отмечать, что голос у отца Иоанна «резкий», чтение «невывразительное, даже не музыкальное», пусть и «подкупает своей прочувствованностью».

Но вот закончилась утренняя. Во время облачения к литургии сельский батюшка впервые может рассмотреть близко внешность отца Иоанна. Откровенно говоря, и внешность невыразительная.

Однако отца Михаила, как и всех, впечатляют его глаза. Только это совсем иного рода впечатление. Он видит, что глаза эти «тусклые, с красными веками и белками, какие бывают обыкновенно у людей много плачущих или мало спящих. И эти потускневшие от слез и молитвенных бдений глаза вызывают во мне новую нотку симпатии к этому великому труднику и молитвеннику Русской земли».

«Началась Божественная литургия. Своим резким голосом, нервною торопливостью, угловатостью и порывистостью манер отец Иоанн не дает того художественного наслаждения, какое испытываешь, например, при служении нашего Архипастыря, где всё величаво, плавно, размеренно; но тем не менее как-то чувствуешь, что этот торопливый, порывистый иерей не отправляет только службу, не исполняет известный ритуал, а действительно священнодействует, приносит жертву Богу».

Сравнение манеры службы отца Иоанна со службой архипастыря в этом контексте едва ли случайно. Но кого имеет в виду отец Михаил? Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, а также первенствующим членом Синода тогда являлся владыка Палладий (Раев-Писарев). За год до этого он возглавлял в Успенском соборе Московского кремля коронацию Николая II и императрицы Александры Феодоровны. Среди многих священников принимал участие в этой коронации и отец Иоанн. Конечно же, Паозерский не мог не знать об этом. Сравнивая Иоанна Кронштадтского с архипастырем, он, разумеется, нисколько не пытается как-то уронить достоинство владыки (тем более что воспоминания были опубликованы тогда же в «Санкт-Петербургском духовном вестнике»). Здесь намек более тонкий и, так сказать, внутрицеховой. Отец Иоанн в глазах отца Михаила – это все-таки *свой брат*, белый священник, но достигший таких высот славы, что может быть публично поставлен на одну доску с архиепископом, в прошлом монахом, прошедшим совсем иной путь, нежели кронштадтский пресвитер. Это в общем-то путь, который мог бы проделать и отец Михаил. Намек на то, что «порывистый иерей», такой нескладный на первый взгляд, в своем служении «не исполняет известный ритуал», а именно «священнодействует», выдает гордость представителя приходского духовенства, олицетворением которого выступает Иоанн Кронштадтский.

Невозможно представить, чтобы про архипастыря отец Михаил решил бы публично напечатать следующие слова: «В начале службы отец Иоанн казался довольно рассеянным: подивился вслух тяжести напестольного креста, причем поднял его и поцеловал крепко, звучно, как целуют особенно любимых лиц; потом попросил открыть и закрыть окно; несколько раз зевнул, характерно крестя рот левою рукою». Это специфический взгляд

священника на священника. Речь идет о *своем брате*. Но при этом отец Михаил прекрасно отдает себе отчет, что отец Иоанн Кронштадтский находится на недостижимой для него высоте:

«И вдруг он опустил к подножию престола и, сложив руки на краю его, приник к нему головою. Как раз в это время запели Херувимскую песнь. Что-то строгое, почти суровое разлилось по лицу его, и я, как в книге, читал на нем: “Никтоже достоин от связавшихся плотскими похотьми и сластями приходи, или приблизитися, или служить Тебе, Царю славы: еже бо служить Тебе, велико и страшно и самем небесным силам”.

И мне страстно, неудержимо захотелось так же вот пасть пред Престолом Всевышнего и плакать, плакать и “о своих гресех и о людских неведениях”. Последние преграды сомнения рухнули, и двери сердца моего широко растворились, чтобы принять в себя этого необыкновенного человека».

В воспоминаниях многих священников, сослуживших отцу Иоанну, замечается, что в какой-то момент службы все они вдруг чувствовали: отец Иоанн служит как-то не так! В последний раз митрополит Вениамин (Федченков) сослужил отцу Иоанну Кронштадтскому, будучи еще иеромонахом. Он так вспоминает об этом:

«Он предстательствовал. Я стоял пред престолом с левой стороны. И как только он возгласил с обычною ему силою: “Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа”, – меня, точно молния, пронзило ясное сознание, выразившееся в уме в таких словах: “Боже! Какой он духовный гигант!” И, созерцая это с очевидностью, я, в размышлении, закрыл уста свои служебником... “Какой гигант”.

И вдруг он протягивает ко мне свою левую руку, отодвигает книгу от уст и говорит властно:

– Не думай!.. Молись!»

ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРЬ НАС

В воспоминаниях митрополита Вениамина личность отца Иоанна оценивается достаточно трезво. Он не находит в нем дара проповедника, несмотря на то, что проповеди Иоанна Кронштадтского издавались огромными тиражами. Он не склонен придавать большого значения его чудесам, хотя именно они и сделали батюшку знаменитым.

Но вот на чем он настаивает неколебимо как на несомненном чуде этого священника – это на литургической стороне его служения. Отец Иоанн – литургическое чудо!

Но литургия сама по себе чудо, которое завершается и прямым чудом: претворением (преложением, пресуществлением) хлеба и вина в Плоть и Кровь Христа. Но ведь недаром это называется не только Святыми, но и Страшными Тайнами. Именно здесь камень преткновения для многих желающих верить в церковные таинства.

Даже самый скептический ум может принять процесс богослужения с его интересной и разнообразной символикой, особенно если службы исполняются так называемыми «религиозными виртуозами», используя термин Макса Вебера, то есть такими священниками, которые обладают харизматической притягательностью.

Если служба ведется благолепно, в красивом храме, с сильным хором, то скептицизм рассудка покоряется еще и эстетическим наслаждением. Но всякий человек, задав себе прямой вопрос, верит ли он в претворение хлеба и вина в Плоть и Кровь, не может не понимать, что разум здесь бессилен и никакие эстетические особенности службы важной роли не играют. Или ты веришь и действительно приобщаешься Тайн, или не веришь, и тогда... Вариантов может быть множество, одним из которых и был путь Льва Толстого, споткнувшегося именно на этой Тайне.

Но задавал ли себе этот вопрос отец Иоанн, перед тем как стал вводить практику *частого* причащения, что противоречило бытовавшей церковной традиции и что Надежда Киценко называет «литургическими нововведениями» отца Иоанна?

Самое трепетное в дневнике отца Иоанна – его личный опыт приобщения Святых Тайн.

Он внимательно наблюдает за тем, как причастие отражается не только на его душевном, но и физическом состоянии. Он страдал золотухой, объясняя этим свою душевную депрессию. «Вот в чем секрет моей сердечной тяжести: от физического предчувствия дурной, сырой погоды. Никогда не отчаивайся поэтому, если во время или после литургии не чувствуешь мира и радости в сердце: их не бывает часто не от моральной, а от физической, внутренней болезни... Ведь ты внутренне золотушен».

И тогда он начинает тщательно отмечать перемены в своем состоянии до и после причастия. Они оказываются поразительными. Он буквально оживает! «Силою животворящих Таин золотуха твоя с ее жгучими припадками внутри почти совершенно прошла: у тебя не бывает теперь этой жгучести ни пред какою погодою. Благодарю Господа Бога...»

Много лет спустя, путешествуя с отцом Иоанном по северным рекам, художник и фотограф С.В.Животовский обратил внимание, что, едва зайдя на берег у храма, батюшка отдавал приказание причастить и служил литургию. «Каждое утро наш пароход останавливался у первой встречной церкви. Отец Иоанн служил обедню, причащался Святых Таин, одаривал из своего запаса духовенство ризами и церковной утварью, и после этого мы отправлялись в дальнейший путь. И тогда он чувствовал себя бодрым и счастливым весь день».

И это тоже было самопознание, о котором он впоследствии говорил как о главной задаче своей жизни. Но о чем, собственно, шла речь? О служении Богу или о заботе о своем душевном и физическом состоянии? Ведь отец Иоанн не скрывал, что он сам нуждался в ежедневном причастии как в средстве исцеления больного организма.

Так, в 1906 году, находясь на отдыхе на даче богатого купца Поздеева в селе Устюжна Новгородской губернии, отец Иоанн ежедневно служил литургию в домовых церквях. И вот в письме к жене он с радостью сообщает: «Я здоров, благодаря ежедневному служению утрени и Литургии с Причащением Св. Таин и любезному гостеприимству моих благодетелей».

Эта простодушная непосредственность сильно отличалась от настроения большинства просвещенных людей второй половины XIX века, которые, как Толстой, видели в таинстве только символический акт. Если отец Иоанн верил, то верил буквально, а не отвлеченно. Если он в чем-то сомневался, то разрушал сомнения не логическим, а опытным путем.

«Не думайте, что вера наша не животворна для нас, пастырей; что мы лицемерно служим Богу... Нет: мы первые больше всего пользуемся милостями Божиими и знаем по опыту, что для нас Господь с Его Таинствами...» – писал он.

Неверно думать, что Иоанн Кронштадтский не искал истины, обладая ею изначально. Весь его дневник – это непрерывный и страстный поиск истины. Другое дело, что эти поиски «территориально» ограничены церковными стенами. Не случайно даже во время своих путешествий он продолжает непрерывно служить, останавливаясь в каждом селе, где находилась церковь. Но нужно понимать, что для подобного церковного человека «территория» Церкви представляется безграничной, включающей в себя и всё мироздание. Мир – не просто храм, но – Храм Божий.

Но и обычный храм – это не только стены, иконы, церковная утварь и даже собрание прихожан. «В храме Господь живет, как царь во дворце», – пишет отец Иоанн. Как «солнечные лучи собираются в фокусе или в стекле», так же и в храме «сосредоточивается всемогущая сила Божия, сущая и действующая во всем мире».

Найти свое настоящее место на этой «территории» – серьезная личная проблема. Поэтому, называя священника (то есть и себя тоже) ангелом, Иоанн Кронштадтский ни на секунду не забывает о своем бренном человеческом естестве и мучается вопросом самопознания ничуть не в меньшей степени, чем Толстой.

По убеждению отца Иоанна, в результате причастия внутри человека образуется храм Божий. Но тогда нужно позаботиться об этом храме, как хороший хозяин заботится о доме. Без этого мы никогда не поймем странной физиологичности дневников отца Иоанна: «Не усомнись пред причащением ночью испить слабительного, если болезнь или бессонница по

причине засорения желудка того требует. Ибо *не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст*, то есть злые помыслы и проч. [Мф 15:11, 19]. Опытом дознано. После такого случая Господь сподобил меня причаститься достойно. Я служил раннюю [обедню] 20 июля, и в ночь на это число, страдая бессоницей от засорения желудка, я выпил (в два часа ночи) стакан зельтерской воды, которая преблагоотворно на меня подействовала, очистив мой желудок».

Не меньшее значение имеет принятие еды и питья после причастия. Язык дневника отца Иоанна становится очень выразительным: «Берегись после причащения кушать и пить много: не засоряй помоями царской опочивальни...»

Для отца Иоанна критерием истины является не безрассудная вера, но живой опыт (одно из наиболее частых слов в его дневнике). Рукоположившись во священника, он заново осмысляет Святое причастие как путь устройства Царства Божия внутри себя. Он одновременно переживает это как личную проблему и выступает своего рода пропагандистом частого причастия.

Но на это нужно было еще отважиться.

СТРАХ И СВОБОДА

Из литургических нововведений отца Иоанна можно назвать четыре основных.

Во-первых, это практика *частого причащения*, что было смелым шагом для того времени.

Во-вторых, он сделал алтарь *доступным местом* – не только для приезжавших священников, но и для мирян. В алтаре Андреевского собора порой собиралось до ста жителей и гостей Кронштадта.

В-третьих, он широко применял практику *сослужения пресвитеров*, с радостью приглашая батюшек из других приходов участвовать в литургиях в Андреевском соборе и охотно принимая участие в службах во время путешествий.

В-четвертых, из-за огромного наплыва верующих в Андреевский собор он позволил себя проводить *общие исповеди*.

«Отец Иоанн стремился преодолеть атмосферу страха, царившую вокруг причастия, – пишет Надежда Киценко. – К примеру, перед Евхаристией прихожане должны были поститься от трех дней до недели, а те из них, кто умел читать, – прочитывать Последование ко Святому Причащению. Женщины не могли причащаться во время нечистоты даже при условии выполнения всех остальных предписаний; более того, данный запрет распространялся и на такие непосредственно не связанные с литургией обычаи, как поклонение иконам и целование креста. Православное духовенство того времени (как, впрочем, и современное) апеллировало к понятию чистоты, характерному для иудаизма, ислама и раннего христианства, как неременному условию принятия причастия. На самом деле это была одна из причин, по которой русские редко причащались: для того чтобы говеть “как полагается”, требовалось бы потратить больше времени и усилий, чем было возможно».

Этот принцип протоиерей Александр Шмеман называет «благочестивым», «исходящим из сознания греховности, из “уважения” к святине, из страха перед своим недостойнством». Тем не менее отец Александр задает вопрос: «Как совершилась и почему веками держится эта метаморфоза в восприятии – не только церковным народом, но и епископатом, духовенством и, наконец, богословами – самой сущности Евхаристии, сведение ее к “одному из таинств”, одному из “средств освящения”? Как это ни покажется странным, попыток ответить на эти вопросы мы почти не находим в нашем официальном академическом богословии. Между тем... речь идет не просто об эволюции церковной дисциплины, упадке благочестия, западных влияниях и т. д., а о духовном повороте в самосознании, самовосприятии Церкви в целом. Речь идет, иными словами, об *экклесиологическом*

кризисе¹⁵...» («Таинство причастия»).

«Изменения в архитектуре русских храмов, – пишет Надежда Киценко, – также стимулировали усиление особого отношения к Евхаристии. В отличие от католической традиции, где расположенные на дароносице Святые Дары были доступны для лицезрения людей, православный иконостас, отделявший алтарь от остальной доступной для прихожан части храма, на протяжении веков становился всё выше и выше и в итоге полностью скрыл от глаз молившихся престол; в итоге центральная часть литургии верных, во время которой происходит пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Господни, оказалась недоступной для их взглядов. Вместе с тем иконы и другие святыни, как, например, святая вода или просфоры (а также куличи, яйца, пасхи или фрукты на праздники соответственно Светлого Христова Воскресения или Преображения), миро, святыне мощи и кресты, стали казаться более доступными средствами укрепления веры, нежели вызывающее трепет Святое Причастие».

В этом – один из парадоксов судьбы Иоанна Кронштадтского. Священник, которого в просвещенном обществе привыкли воспринимать как мракобеса и реакционера, на самом деле в церковной практике был апостолом духовной свободы и освобождения от страха перед церковными тайнами.

Прежде всего обратим внимание, что сама по себе практика частого причастия, которую пропагандировал отец Иоанн, как уже говорилось, была смелым шагом для приходского священника. Для сравнения укажем, что отнюдь не простой священник, а митрополит Московский Филарет (Дроздов) в начале XIX столетия позволял себе советовать православным причащаться хотя бы четыре раза в год.

Сегодня, когда частота причастия зависит от самого верующего или от его духовника, подобная смелость отца Иоанна может показаться несерьезной. Но в то время, когда Иоанн Сергиев стал пресвитером Андреевского собора, обычной и даже нормативной практикой было причастие не чаще одного раза в году.

«В соответствии с церковным учением о Евхаристии считалось, что если причастник принял Святые Дары, не подготовив себя должным образом, то его неминуемо ждало суровое наказание за небрежное отношение к этому ключевому и установленному Самим Спасителем таинству, – пишет Надежда Киценко. – Поэтому нередко случалось, что прихожане не отваживались подходить к Святой Чаше, даже исповедавшись и получив отпущение грехов. В результате установившаяся к XVI веку практика Святого Причастия только раз в году считалась нормой и продержалась вплоть до XIX века. Более того, в России евхаристические правила были зафиксированы и на законодательном уровне. В итоге целые государственные учреждения, гвардейские полки и гимназические классы были обязаны причащаться в определенные и строго установленные для них дни. Таким образом, церковное таинство становилось не только религиозным обрядом, но верноподданнической обязанностью».

Иначе говоря, во времена Иоанна Кронштадтского проблема заключалась даже не в том, чтобы разрешить или не разрешить православным причащаться часто, а в том, чтобы *заставить* их сделать это хотя бы один раз в году. Это было связано как со страхом перед причастием, так и с секуляризацией общественного сознания, то есть со снижением роли религии в жизни общества.

Священник Василий Шустин вспоминает, как с отцом приезжал в Кронштадт юношей:

«Один раз отец предложил мне проехаться в Кронштадт вместе с ним, так как он захотел исповедаться и причаститься у отца Иоанна. Я поехал с ним. Батюшка приехал в Кронштадт к нам¹⁶, отслужил молебен, выслал всех из комнаты и исповедал отца. После

¹⁵ Экклесиология – объяснение сущностной природы Церкви.

¹⁶ В дом, где остановились Шустины.

исповеди мне отец говорит: “Исповедуйся и ты у отца Иоанна”, – и просит об этом Батюшку. Но я не готовился к причастию и ел в этот день мясо, поэтому я сказал Батюшке, что и хотел бы причаститься, да не могу. Тогда Батюшка говорит: “Значит, ты не хочешь”. А я опять отвечаю: “Батюшка, я не подготовлен”. Он, не слушая меня, спрашивает: “Хочешь или не хочешь?” Я, конечно, хотел и сказал ему это. Тогда он опять выслал всех из комнаты и сказал мне: “Маловер, что ты сомневаешься?” – и исповедал меня <...>.

На следующий день я причастился в храме у него и с легкой душой вернулся домой».

Можно привести немало примеров, когда отец Иоанн допускал к причастию людей неподготовленных, но можно привести и другие примеры, когда он отказывал в причащении. Известно, что он прогонял иоаннитов, исповедовавших культ отца Иоанна.

Что такое Евхаристия – в понимании отца Иоанна?

Евхаристическая тема в богословии вообще настолько сложна, что мы просто не имеем права подробно говорить о ней в этой книге, тем более что автор и не специалист в этом вопросе. Однако заметим, что настоящее богословское напряжение в дискуссиях о евхаристии возникает только к началу XX века. Затем это вспыхивает в церковных спорах, как ни странно, уже после Октябрьской революции в связи с концом синодального периода русской церковной истории. Но само по себе направление евхаристической экклесиологии возникает лишь к середине XX столетия в работах Николая Афанасьева, Георгия Флоровского, Александра Шмемана, Иоанна Зизиуласа.

Был ли Иоанн Кронштадтский выдающимся богословом? Это спорный вопрос. В последнее время звучат такие утверждения. Но все богословские работы отца Иоанна – «Христианская философия», или «Мысли о Боге», или «Моя жизнь во Христе», или другие менее известные широкой публике произведения – оказываются не чем иным, как компиляцией из его дневника и устных проповедей.

И тем не менее евхаристическая практика Иоанна Кронштадтского почти на век предвосхитила открытия ведущих русских и зарубежных православных богословов. Объяснить это можно только одним: они, как и отец Иоанн, обращались прежде всего не к современному им опыту богослужения, а к ранней христианской практике.

Так, ссылаясь на историю первых христиан, протопресвитер Николай Афанасьев в 60-е годы XX века писал о «тождественности Церкви и Евхаристии». Для христиан первых трех веков собираться в церкви и совершать Евхаристию (то есть причащаться Тела и Крови Христовых) было по сути одно и то же. Им не было смысла объяснять друг другу ее значение.

Впервые собравшись после дня Пятидесятницы, ученики Христа, в сущности, продолжили Тайную Вечерю с Ним, преломляя хлеб и вкушая вино из освященной чаши, как это делалось во всех древнееврейских домах, где принятие пищи имело священный и закрытый характер. Но на этот раз всё происходило совсем с другим смыслом.

Христа уже не было с ними, но Он, тем не менее, с ними был, потому что они помнили то, что Он завещал им на Тайной Вечере.

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое.

И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» [Мф 26:26–27].

В этом возобновлении Тайной Вечери родилась христианская Церковь, завещанная Христом. Ее первым предстоятелем стал апостол Петр, которого Иисус до этого трижды благословил на служение. Петр стал и первым епископом, получившим благодать священства от Самого Христа. Вся дальнейшая история христианского священства является (не в частности, а по существу) передачей этой благодати от епископов к епископам и пресвитерам. Но для чего? Для совершения евхаристии, которая является не просто одним из семи церковных таинств (крещение, миропомазание, причащение, покаяние, таинство священства, таинство брака и елеосвящение), как стало утверждать школьное средневековое богословие, и даже не главным из семи таинств, но *самой Церковью, ее смыслом*. По словам

Николая Афанасьева, Евхаристия (причащение) – это даже не «таинство в Церкви», но «таинство Церкви».

Церковь – это не молитвенный дом, но само Тело Христово, в котором через Евхаристию, через причастие собираются христиане как новый «избранный народ Божий». Так в самой общей форме можно передать главный тезис, на котором настаивала евхаристическая экклесиология XX века. Не Евхаристия для Церкви, но Церковь для Евхаристии. И как бы ни полемизировали между собой православные богословы, которые придерживались этого взгляда на Церковь, но в главном убеждении они были единодушны: возрождение Церкви возможно только через возрождение Евхаристии как церковного собрания.

Однако ничего этого отец Иоанн читать не мог. Но если бы и мог, неизвестно еще, как бы он это воспринял. Догматическое богословие того времени для отца Иоанна, как для остальных простых русских священников, исчерпывалось капитальным трудом митрополита Макария (Булгакова) «Православно-догматическое богословие» в двух томах. Эта книга, много раз переиздававшаяся, представляла собой свод лекций отца Макария, которые он читал в Петербургской духовной академии, параллельно печатая их в журнале «Христианское чтение» с конца сороковых до начала пятидесятих годов. С 1850 по 1857 годы, когда студент Иван Сергиев учился в этой академии, отец Макарий был ее ректором. Он же рукополагал Ивана Сергиева во дьяконы. И он же, по роковому совпадению, оказался первой мишенью тотальной толстовской критики Церкви как исторического института. Именно его «Православно-догматическому богословию» была посвящена критическая работа Толстого «Исследование догматического богословия», которую он написал (между «Исповедью» и «В чем моя вера?») в середине восьмидесятих годов.

Современный исследователь богословия Иоанна Кронштадтского священник Павел Хондзинский убедительно показывает, что план так называемых «Катехизических бесед» (книга, составленная из речей и проповедей отца Иоанна) вполне соответствует «Макариевой системе с некоторым необходимым для катехизиса упрощением». И хотя Павел Хондзинский видит принципиальную внутреннюю разницу между этими текстами, говорить о богословской системе отца Иоанна – значит просто выдавать желаемое за действительное. В то же время одной из задач современного богословия является систематизация богословских высказываний Иоанна Кронштадтского «по случаю». К этой задаче призывал еще религиозный мыслитель, философ и историк Георгий Флоровский в «Путиях русского богословия». Интересно, что такой строгий критик практически всех богословских «систем» XIX столетия, как Георгий Флоровский (Николай Бердяев остроумно переименовал его книгу в «Беспутыя русского богословия»), в отношении отца Иоанна не нашел ни одного критического слова.

«Сложилась привычка видеть в о. Иоанне Кронштадтском только практического пастыря, благотворителя и молитвенника. И редко кто читает его замечательный дневник “Моя жизнь во Христе” как богословскую книгу. Конечно, в ней нет богословской системы, но есть богословский опыт и о нем свидетельство. Это дневник созерцателя, а не моралиста. И молитва не лирика, не только устремление души, но именно ее встреча с Богом, веяние Духа, духовная реальность... С дерзновением и властью о. Иоанн свидетельствует о тайне Церкви как единого тела, и о том, как она жива и действительна в Святейшей Евхаристии. “Мы одно тело Любви... Тверди: все – одно... Мы, говори: одно”... О. Иоанна можно сопоставлять с вождями современного так называемого “литургического движения” на Западе», – пишет Флоровский.

Таким образом, говорить следует не просто о «богословии», но об «опытном богословии» (Павел Хондзинский) или об «опытном богословии» (Георгий Флоровский) отца Иоанна. «Таинства и богослужение церковное – ответ Бога на вопиющие потребности нашей души», – пишет отец Иоанн. И этим он исчерпывающе обозначает свое понимание главной задачи Церкви и роли в ней священника.

Службы отца Иоанна – это постоянный полет, порыв вперед, в Царство Божие. Это

вихрь, которым он увлекал за собой церковное собрание, не давая опомниться ни на мгновение. В конце жизни, беседуя у себя дома с молодыми монахами, он сказал загадочную фразу: «Монахи!.. Монахи!.. Не оглядывайтесь назад!.. Вспомните жену Лотову!»

«После пресуществления Святых Даров, когда на престоле возлежит уже Сам Агнец Божий, вземлющий грехи мира, отец Иоанн не мог оторвать от Него своих глаз, исполненных благодатных слез благодарения. Один сослужитель Батюшки по собору говорит, что отец Иоанн близко-близко и любовно склонялся над Агнцем, плакал и духовно ликовал, взирая на Него; он был в то время подобен ребенку, который ласкается к своей матери, поверяя ей детские радости и печали, зная, что родная мать выслушает его, не отгонит прочь от себя. Нельзя передать всей небесной красоты описанного момента, обаятельно действовавшего на сердце всякого верующего человека», – вспоминает епископ Арсений (Жадановский), а иеромонах Михаил (Семенов) пишет:

«Отец Иоанн подходит к жертвеннику.

Он полон торжественной радости. Уже в это время его охватывает какой-то ликующий пророческий экстаз.

...Он вынимает Агнец... С какой любовной внимательностью он равняет Его, обрезывает со всех сторон и благоговейно ставит на дискос... Потом он начинает вынимать частицы.

“Смотрите, смотрите, – неожиданно восклицает он среди проскомидии, – отец Николай, смотрите, отец Павел, где есть что-нибудь такое, как у нас... Смотрите. Вот Он, Христос. Здесь Он, здесь среди нас, и мы около Него, кругом Его, как апостолы”».

«Первая часть литургии – у отца Иоанна – преимущественно, так сказать, часть молебная. Он в это время больше всего сознает себя как молитвенника “за люди”... Отец Иоанн весь охвачен сознанием огромной ответственности пред этими немощными, вверившими ему себя, благо своей души и тела, и точно спешит молиться за них; молится порывисто, настойчиво, не просит, а требует от Бога исполнения просьб этих несчастных, с властью священника, поставленного Христом; он хватается за край ризы Господней, требуя милости душам, вверенным ему от Господа».

«С великого входа начинается второй момент литургии. Отец Иоанн берет святую чашу и относит ее, прибавляя от себя: “И изведоша Его вон из винограда и ту убиша Его”.

Этой глубокой по мысли вставкой отец Иоанн вводит себя, как он говорит, в священные воспоминания последних дней Христа Бога. Всю вторую часть до пресуществления Даров он отдается переживанию святых картин Евангельского прошлого. С этого времени, главным образом, после “Верую” он в Гефсимании, в Сионской горнице, около Голгофы. В этой части литургии отец Иоанн много вставляет от себя, иногда тайно, иногда вслух».

Одной из таких вставок от себя были слова отца Иоанна, которые он, целуя священников в оба плеча, произносил после слов «Христос среди нас!» – «Живый и действующий!».

«Я стоял, пораженный этими словами, – вспоминал один из очевидцев литургии Иоанна Кронштадтского, – и невольно думал. Да, вот среди нас, а не там, где-то вдали находится Христос Спаситель, находится не мертвый, не как отвлеченная какая доктрина, не как только историческая известная личность, а живой, “живый и действующий”. Он среди нас. И даже “действующий”. Жутко становилось, трепетом великим наполнилась невольно душа...»

Так с середины XIX столетия в Кронштадте на глазах изумленных мирян и даже священников свершалось невиданное действо богослужений отца Иоанна, где каждое слово и движение были не исполнением известного *обряда*, но переживались как самая подлинная *жизнь*.

Всё происходило *на самом деле* !

Глава седьмая

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛЬВА

Утверждение о том, что ты во лжи, а я в истине, есть самое жестокое слово, которое может сказать один человек другому.

Л.Н.Толстой. Исповедь

ЧУДОВИЩЕ

Говоря о духовном перевороте Толстого, мы сталкиваемся с одной серьезной проблемой. Существует расхожий и ошибочный миф, что якобы до своего переворота или, по крайней мере, до женитьбы на Софье Берс Лев Толстой вел какой-то страшно греховный образ жизни. Но и женившись, и даже испытав на рубеже 70-х–80-х годов религиозное потрясение, он до конца дней не смог избавиться от своей животной природы, «чувства оленя». Это противоречие сопровождало его всю жизнь.

Поразительно живуч миф о сексуальном гигантизме и брутальности Льва Толстого. Будто бы, служа в армии и проживая в обеих столицах, Толстой имел какое-то немыслимое количество внебрачных связей, а женившись в тридцать четыре года на восемнадцатилетней Сонечке Берс и заставив ее родить тринадцать (!) детей, изменял ей с крестьянками. Какой ужас! – хватаясь за голову, восклицает современная женщина. – Да это монстр какой-то! И этот монстр еще хотел оставить жену и детей без наследства!

Но мать Сонечки Любовь Александровна Берс (в девичестве Иславина) тоже родила тринадцать детей, из которых пятеро умерли в младенчестве. Когда она выходила замуж, ее жениху было тридцать четыре года, а ей – всего шестнадцать лет. Ее супруг, кремлевский доктор-немец Андрей Евстафьевич Берс, был известным в московских кругах ловеласом. Будучи домашним врачом у именитых лиц, Берс заводил романы со своими пациентками, среди которых были, например, княгиня Кропоткина и богатая помещица Варвара Петровна Тургенева. Последняя родила от него незаконную дочь, сводную сестру писателя Ивана Тургенева. Настоящее отцовство знаменитого анархиста князя Петра Кропоткина также находилось под сомнением. Берс ничего не мог оставить в наследство дочерям и сыновьям. Семья еле сводила концы с концами, а Сонечка, выходя замуж за графа Льва Толстого, была бесприданницей с 300 рублями, подаренными ей матерью перед отъездом, чтобы дочь хотя бы в первое время своей жизни в Ясной Поляне не чувствовала себя полностью зависимой от мужа. Но кому придет в голову назвать тестя Толстого монстром?

Известно, что на протяжении сорока восьми лет супружеской жизни Толстой ни разу не изменил своей жене. Вся их семейная жизнь была слишком прозрачна, чтобы заподозрить что-то другое. В 1892 году, не дожидаясь своей смерти, Толстой отдал жене и детям в собственность недвижимого имущества в несколько раз больше, чем сам получил в наследство в 1847 году. Это были обширные имения в Тульской и Самарской губерниях и большой благоустроенный дом в Москве. Толстой постоянно помогал с обустройством хозяйства своим крестьянам и в обычное время, и особенно после пожаров. В 1891–1892 годах он два года проработал «на голоде» в селе Бегичевка Рязанской губернии, открыв несколько сотен бесплатных столовых. Он помог переселиться в Канаду нескольким тысячам гонимых в России духоборов, о чем их потомки благодарно помнят до сих пор. Толстой служил мировым посредником в процессе освобождения крестьян. Наконец, все дети Толстого, кроме рано умерших, прожили каждый по-своему интересную и насыщенную жизнь, во многом благодаря своей фамилии. Так почему же он монстр?

Толстой первый раз вступил в половую связь (с проституткой) в очень раннем возрасте, в четырнадцать лет. Но в публичный дом его привели старшие братья, Николай и Сергей. Первый, по общему суждению, был умным, талантливым и высоконравственным человеком, на чем до конца своих дней настаивал и его брат Лев. Второй послужил прототипом князя Андрея Болконского в «Войне и мире». Он дожил до преклонных лет и был безмерно любим и уважаем Львом Николаевичем. Никому и никогда не приходило в голову назвать Сергея

монстром, хотя в растлении младшего брата и он сыграл немалую роль.

Мы ничего не знаем о нравственных страданиях братьев Льва Толстого по поводу того, что в молодости они распутничали, играли в карты и ходили к цыганам (особенно цыганами увлекался Сергей). Они делали это не потому, что были безнравственными. Просто так было принято в их среде. Ранние половые связи считались нормальными и полезными для молодого человека. В некоторых семьях барчукам в четырнадцать лет подкладывали дворовых девок в постель для здоровья. Так, отец Льва Толстого Николай Ильич Толстой в шестнадцать лет имел связь с дворовой девушкой, родившей от него внебрачного сына Мишеньку, которого затем определили в почтальоны. При жизни Николая Ильича, вспоминал Лев Толстой, этот его сводный брат по отцу «жил хорошо, но потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню то странное чувство недоумения, которое я испытывал, когда этот впавший в нищенство брат мой, очень похожий (более всех нас) на отца, просил о помощи и был благодарен за 10–15 рублей, которые давали ему...»

При этом мы знаем, что Лёвочка рыдал возле постели первой в своей жизни женщины, потрясенный до глубины души *чудовищным*, на его взгляд, поступком, который он совершил. Мы также прекрасно знаем, что до седых волос он плакал, вспоминая об этом давнем событии своей жизни, в котором, с точки зрения нравов того времени, вовсе не было ничего необычного. О внебрачной связи в Ясной Поляне с Гашей, горничной своей тетушки, которую затем выгнали из дома, Толстой тоже не мог забыть до конца дней и написал об этом самый мучительный свой роман – «Воскресение». В романе судьба Катюши Масловой сложилась трагически. Но жизнь реальной горничной была благополучной – ее взяла к себе в услужение сестра Толстого. И Толстой знал об этом, но зачем-то казнил самого себя в романе в образе Нехлюдова. Своей второй добрачной связи с замужней крестьянкой Аксиньей он настолько стыдился, что когда написал об этом повесть «Дьявол», то двадцать лет прятал ее в обшивке кресла, чтобы не прочитал кто-нибудь. Особенно его ревнивая жена.

Известно, что Толстой женился по страстной любви. Граф, боевой офицер, знаменитый писатель, он несколько дней приходил в гости к Берсам, носил в кармане письмо с предложением руки и сердца Соне – и не решался отдать, комкал в кармане, мучился, проклинал себя в дневнике. Однако ему и в голову не приходило поговорить с ее родителями, чтобы обсудить этот во всех отношениях выгодный для Берсов брак. Так поступил бы любой жених в его положении, но не он.

Между тем Толстой родился в семье, где ее глава, Николай Ильич Толстой, как уже говорилось, женился на Марии Николаевне Волконской по очевидному расчету и без особой любви с его или с ее стороны. Это было известно и никак не скрывалось. Более того, это не мешало супругам уважать друг друга и даже испытывать обоюдные нежные чувства, гулять по вечерам в яснополянском парке, писать в разлуке приятные письма, не говоря о том, чтобы рожать и воспитывать детей. Как, впрочем, не мешало отцу Толстого одновременно и расширять семейные владения, и проигрывать в карты деньги жены, изменять ей и быть равнодушным к алкоголю. И тем не менее даже в зрелом возрасте Лев Толстой, уже отказавшийся от пороков, продолжал любить и уважать своего отца, гордиться им, героем войны 1812 года, мужчиной светским, красивым, остроумным, но не отличавшимся ни высоким образованием, ни серьезной духовной жизнью, ни выдающимся умом. Ни строчкой, ни случайным словом Толстой не обмолвился, чтобы его отец был безнравственным или недостаточно нравственным человеком.

Толстой щепетильно оберегал светлую память об отце. Но при этом и в дневниках, и в творчестве, и в устных рассказах с каким-то мазохизмом казнил себя самого, утверждая, что в молодом возрасте сам он был исключительно греховным и безнравственным человеком. И даже пронизательный Горький попался на эту удочку. В очерке о Льве Толстом он пишет: «О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая – раньше – неприятно подавляла меня...

Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:

– Вы сильно распутничали в юности?

А.П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л.Н., глядя в море, признался:

– Я был неустойчивый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово».

Но когда состоялся этот откровенный разговор? Чехов и Горький встречались с Толстым в Крыму осенью – зимой 1901–1902 годов, когда тот *умирал* на даче графини Паниной. Сначала была малярия, потом воспаление легких, потом брюшной тиф, от которых 73-летний старик при отсутствии антибиотиков неминуемо должен был умереть. Он выжил... И это было Божье чудо. К тому времени Толстой был глубоко верующим человеком, который самые незначительные события своей жизни воспринимал как проявление Высшей Воли. Тем более как иначе он мог понимать свое чудесное тройное выздоровление? Только как Божье послание, Божий «аванс»! И вот, стоя одной ногой в могиле, старец «охотно и много» рассуждает о сексуальных приключениях в молодости? Что-то здесь не то, что-то здесь не так... Но почему-то это не смущает читателей горьковского очерка, и как раз этот эпизод любят приводить как свидетельство особой греховности молодого Толстого.

У нас нет оснований не доверять воспоминаниям Горького, хотя он и был мифотворцем. Впрочем, это и неважно, сам по себе эпизод весьма убедителен.

Толстой, несомненно, мог сказать такое в присутствии двух молодых людей (ведь даже Чехов был моложе его на тридцать два года), да еще и самых знаменитых писателей того времени. Он мог это сделать по двум причинам. Во-первых, чтобы в очередной раз прилюдно казнить себя за то, что считал ужасным преступлением в своей жизни. Во-вторых, чтобы писатели это запомнили и поведали всему миру, что и сделал Горький. Толстой последовательно создавал миф о своей какой-то особенной, так сказать, *выдающейся* греховности. Именно в этом он был по-настоящему неустойчивым.

В старости, перечитывая свой молодой дневник, Толстой как-то пришел к мысли, что надо бы его уничтожить. Слишком одностороннее впечатление он производит. Но тотчас отказался от этого. И пусть, пусть производит! Пускай все видят, что такого ничтожного человека, каким он был в молодости, все-таки не оставил Господь! Это было его принципиальное решение. И опять в основании этого решения было страстное желание казнить себя. Уже на века, без срока давности!

Но еще раньше он показал этот дневник своей невесте. Это был какой-то «дикий» поступок, заложивший в фундамент их семейной жизни настоящий динамит, потому что Софья Андреевна была очень ревнивой женщиной. С этого момента она становится сотрудницей своего мужа не только в переписке «Войны и мира» и «Анны Карениной», но и в создании мифа о его выдающейся греховности. Она делает это в своем дневнике, написанном столь же талантливо, сколь и несправедливо, потому что нельзя требовать справедливости от женщины, которую еще до венца огорошили такими откровениями.

Зачем же Толстой сделал это?! Проще всего сказать, что это была его ошибка. Но на самом деле это была не ошибка, а необходимость. Он прекрасно понимал, что это шило в мешке не утаишь, этот скелет в шкафу не спрячешь. Кто угодно, только не он! Он до такой степени страдал от совершенного им в молодости, что спрятать или уничтожить эти страдания было не в его силах. Это была жестокая проверка невесты на прочность. Не выдержит сейчас, а что будет потом? Ведь у него, в отличие от большинства мужчин, не было здорового отношения к своему прошлому, без которого, строго говоря, невозможно жить, без которого жизнь превращается в кошмар непрерывного самоистязания. Так оно и вышло...

Но заглянем в этот «преступный» дневник, который так поразил его будущую жену. Прочитаем его глазами хотя бы юной невесты. Нам хватит пальцев одной руки, чтобы перебрать донжуанский список молодого Толстого. Да и какой это список, если по именам названы только две женщины: незамужняя казачка Соломонида (Марьяна в повести

«Казачи») и замужняя крестьянка Акулина (Степанида в повести «Дьявол»). С первой у Толстого ничего не было, он только хотел ее «взять», зато со второй... После нескольких плотских свиданий молодой человек почувствовал с ней такую неразрывную связь, что называет ее в дневнике «женой», а в будущей повести – «дьяволом». Вторая связь до такой степени напугала его, что Толстой был близок к убийству или самоубийству, что и отразилось в двух вариантах финала «Дьявола».

Остальные – «девки» – не только не названы, но и напрочь лишены лиц и даже тел, хотя при этом зачем-то зафиксированы. Их как будто не существует, как не существует и самой связи с ними. Существенным является чувство после соития. И каждый раз это какой-то ад в душе! «Не мог удержаться, подал знак чему-то розовому, к<оторое> в отдалении казалось мне очень хорошим, и отворил сзади дверь. – Она пришла. Я ее видеть не могу, противно, гадко, даже ненавижу...» (18 апреля 1851 года).

Донжуанский список молодого Толстого поражает не количеством и разнообразием, а масштабом страдания из-за того, чего нет, чего не видишь, не чувствуешь, но что тем не менее оставляет в душе какой-то трупный яд, невыветриваемый запах разлагающейся плоти. И очень может быть, что это переживание гораздо оскорбительнее для женского взгляда.

Во всяком случае, чуткая Софья Андреевна, постоянно на протяжении всей жизни перечитывавшая ранний дневник мужа, который притягивал ее как магнит, страдала не от того, что Лёвочка слишком весело проводил свои молодые годы. В конце концов, как внимательный читатель этого дневника, она не могла не обратить внимание на запись 1850 года, когда двадцатидвухлетний Толстой прожигал жизнь в Москве: «Пустившись в жизнь разгульную, я заметил, что люди, стоявшие ниже меня во всем, в этой сфере были гораздо выше меня; мне стало больно, и я убедился, что это не мое назначение». Не могла она не оценить и другую фразу из дневника: «Я невыносимо гадок этим бессильным поползновением к пороку. Лучше бы был самый порок».

Нет, совсем не ранняя испорченность мужа терзала ее, а то, как он относился к этому.

Тем более что это отношение не менялось с годами. Семейная жизнь не выветрила трупного запаха из его памяти. «Связь мужа с женой, – пишет Толстой в записной книжке уже зрелых лет, – не основана на договоре и не на плотском соединении. В плотском соединении есть что-то страшное и кошунственное. В нем нет кошунственного только тогда, когда оно производит плод. Но всё-таки оно страшно, так же страшно, как труп». Фраза «*преступно* спал» из дневника семейных лет не могла не оскорблять супругу.

И все-таки Толстой действительно был монстром или, по-русски говоря, *чудовищем*. Но совсем не в том смысле, как это представляют себе поклонники мифа о «противоречивом» Толстом, который в молодости славно погрешил, а в старости крупно покался. Он был чудовищем потому, что его моральные переживания *всегда* были категоричны и гипертрофированны. Своими чудовищными размерами они просто не вмещались в обыденную мораль. Конечно, жить с таким сложным человеком было большим испытанием!

В словаре Даля «чудовище» дается как производное от слова «чудо», «явление, кое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы». Таким явлением и был Лев Толстой.

ВОЙНА ПОЛОВ

В августе 1868 года Толстому исполнилось сорок лет. Половина жизни пройдена. К началу семидесятых годов он достигает всего, чего может пожелать мужчина в его возрасте. Он состоятельный человек и знаменитый писатель. У него прекрасная жена, в мае 1869 года появляется на свет третий сын Лев, а в феврале 1871-го – вторая дочь Мария. Толстой находится в зените таланта и успеха. Именно в это время, в 1869 году, П.М.Третьяков заказывает И.Н.Крамскому портрет Толстого для своей галереи. Зная непростой характер писателя, он действует через Фета, с которым Толстой пребывает в близких дружеских

отношениях. Толстой в письме к Фету довольно резко отказывается позировать: «Насчет портрета я прямо говорил и говорю: нет. Если это вам неприятно, то прошу прощения. Есть какое-то чувство сильнее рассуждения, которое мне говорит, что это не годится».

Несколько лет спустя Крамской пускается на хитрость. Он поселяется в пяти верстах от Ясной Поляны на даче, мимо которой Толстой иногда проезжает верхом, и пытается написать его портрет верхом на лошади. Когда это обнаружилось, Толстой, конечно же, не мог не пригласить знаменитого портретиста в гости. В сентябре 1873 года С.А.Толстая пишет сестре: «У нас теперь всякий день бывает художник, живописец Крамской, и пишет два Лёвочкиных портрета масляными красками. Ты, верно, прежде слышала, что Третьяков собирает галерею портретов русских замечательных людей. Он давно присылал просить позволить списать с Лёвочки портрет, но он не соглашался. Теперь же сам живописец уговорил, и Лёвочка согласился с тем, чтобы он взял на себя заказ портрета другого, который остается у нас и будет стоит около 250 руб. Теперь пишутся оба сразу и замечательно похожи, смотреть страшно даже».

Толстой кисти Крамского – это настоящий русский богатырь. Видимо, не случайно в начале семидесятых годов одним из нереализованных замыслов Толстого был роман об Илье Муромце. Но если внимательно взглянуть в портрет, можно заметить и другое – печать страшного умственного напряжения, которая лежит на лице и подчеркивается глубоким межбровным ровчиком. Начало семидесятых – начало глубочайшего кризиса в жизни Толстого и его семьи, с которой он составляет как бы одно «тело».

Этот разлад «головы» и «тела» символически отразился в истории создания портрета, о которой пишет старший сын Сергей Львович: «Отец неохотно позировал, Крамской же по своей скромности не настаивал и, как рассказывала моя мать, не успел закончить портрет, заказанный Третьяковым. Она говорила, что он выписал только голову, а остальное он закончил, набив серую блузу отца паклей или еще чем-то. От этого на портрете голова несколько мала, а туловище нежизненно».

5 июня 1870 года Софья Андреевна пишет в дневнике: «Сегодня 4-й день, как я отняла (от груди. – П.Б.) Лёвушку (сын Толстых. – П.Б.)... Должно быть я опять беременна». 12 февраля 1871 года раньше срока на свет появилась Маша. После этого Софья Андреевна заболела родовой горячкой и едва не умерла. Врачи советовали ей больше не рожать детей.

Выше мы уже писали, что многодетные семьи в дворянской среде не были новостью в XIX веке. Но на плечах Софьи Андреевны лежала бóльшая нагрузка, чем несла, например, ее мать. Она была не только женой и матерью, но союзницей, участницей, помощницей в творческом труде мужа. Кроме того, она сама была художественно одаренной женщиной, что было для нее несчастьем, ибо она жила бок о бок с самым великим писателем своего времени. В разные годы Софья Андреевна пыталась стать и писательницей, и художником, и фотографом, и даже скульптором, но ничего действительно выдающегося, за исключением своего великого дневника, она все-таки не создала. Это, несомненно, терзало ее и было одной из причин неисцелимой обиды на супруга. Не случайно ее незавершенная мемуарная книга называется «Моя жизнь», где акцент стоит на первом слове. (Кстати, интересно сравнить это название с названием главной книги Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», где ударение, конечно, приходится на последнее слово.) Софья Андреевна очень страдала от того, что *ее* жизнь, как она ее себе представляла, оказалась похороненной под жизнью ее супруга-гения.

Поэтому в 1871 году, элементарно устав от родов, пеленок, кормлений, детских болезней и собственных недомоганий, испуганная возможной смертью от родовой горячки, Софья Андреевна готова была согласиться с докторами, о чем объявила мужу. Но с его стороны она встретила самый решительный протест. В это время он не представлял себе семейной жизни без рождения детей. Для него деторождение – таинство, которым нельзя управлять и которое нельзя планировать.

В 1870 году Толстой вступает в переписку с критиком Николаем Николаевичем Страховым. Они познакомятся в следующем году, и Страхов на десять с лишним лет, вплоть

до появления В.Г.Черткова, станет близким другом и верным соратником Толстого. В письме к Страхову, написанном по поводу его статьи «Женский вопрос», опубликованной Страховым в журнале «Заря», Толстой высказывает ряд принципиальных мыслей, без которых мы не поймем мировоззрения Толстого в этот сложный для него период.

Но сначала – о статье Страхова.

Статья была написана в связи с появлением на русском языке книги английского философа и экономиста Джона Стюарта Милля «О подчиненности женщины».

Эта книга была создана Миллем фактически в соавторстве со своей женой миссис Тейлор. Любовь между ними вспыхнула еще при жизни ее первого мужа и являлась незаконной в течение двадцати лет до его смерти. Эта любовь осуждалась и английским пуританским обществом, и отцом самого Милля. С другой стороны, супруг, мистер Тейлор, не препятствовал этой любви, проявив себя джентльменом (в молодости они с Миллем дружили). Тем не менее книга Милля «О подчиненности женщины» была написана как страстная защита женской эмансипации. Она явилась, по сути, первой феминистской работой, созданной мужчиной.

Страхов критиковал Милля с патриархальных позиций. Суть его возражений сводилась к тому, что так называемый женский вопрос не является женским вопросом, ибо он навязан женщине мужчинами: «женский вопрос выдуман мужчинами, и женщины схватились за него, как они хватаются за всё, чем надеются привлечь мужское внимание». По убеждению Страхова, «женщина по красоте, по прелести душевной и телесной есть первое существо в мире, венец создания. Но благородство и прелесть женской натуры принадлежат ей только на том условии, чтобы она не изменяла себе». Призвание женщины – семья и дети, а ее идеал – жена и мать. В то же время Страхов (кстати, до конца дней оставшийся убежденным холостяком) воспевал в своей статье, пусть и в своеобразной форме, половую любовь: «Отношения между полами, эти таинственные и многозначительные отношения – источник величайшего счастья и величайших страданий, воплощение всякой прелести и всякой гнусности, настоящий узел жизни, от которого существенно зависит ее красота и ее безобразие». Между тем женский вопрос «стремится к распространению бесполости между женщинами», что есть «крайняя уродливость, о которой невозможно говорить без отвращения». Тем более обидной для женщин выглядела поправка Страхова в пользу женского вопроса: женщина имеет право вступать на «неженские» поприща в том случае, если она объективно «беспола», то есть «не имеет пола от рождения» или «перешла уже за пределы полового возраста».

Когда Толстой в марте 1870 года писал свой ответ Страхову, в Ясной Поляне угасала его любимая тетенька – Татьяна Александровна Ёргольская. Ей оставалось жить менее четырех лет. В системе Страхова она и была тем объективно «бесполым» женским существом, для которого критик Милля оставлял окно в область женской свободы.

И в это же время в семье Толстых возникает «надрез», о котором Софья Андреевна через год напишет просто: *«сломилась жизнь»*. Она еще кормит Лёву, но уже подозревает новую беременность, которая ей не в радость. Для нее женский вопрос заключается, во-первых, в естественных ресурсах ее организма, которые ей в это время представляются исчерпанными (хотя после Льва и Маши она родила восемь детей), а во-вторых, в чувстве собственного достоинства, которое, как ей опять-таки представляется, подавляет ее гигант супруг, требующий ее полного отречения в свою пользу.

О том, насколько серьезным оказался этот первый «надрез» в семье Толстых, можно судить по тому, что не только Софья Андреевна, но и Лев Николаевич помнили о нем спустя многие годы. Так, в дневнике 1884 года, жалуясь на свое одиночество в семье, Толстой пишет, что началось это «с той поры, четырнадцать лет, как лопнула струна, и я сознал свое одиночество». То есть первый страшный семейный кризис Толстой относил к 1870–1871 годам. И хотя в то время, когда Толстой писал письмо Страхову, вопрос о «надрезе» еще не стоял, и в семье, возможно, царили мир и счастье в связи с рождением третьего сына (не случайно его называли именем отца), веяния этого грядущего кризиса не могли не носиться в

воздухе Ясной Поляны. Еще в 1867 году, в разгар совместной работы над «Войной и миром» Софья Андреевна в своем дневнике пожаловалась на одиночество, которое спустя четыре года почувствовал уже ее супруг:

«Правда, что всё пропало. Такая осталась холодность и такая явная пустота, потеря чего-то, именно искренности и любви. Я это постоянно чувствую, боюсь оставаться одна, боюсь быть наедине с ним, иногда он начнет со мной говорить, а я вздрагиваю, мне кажется, что сейчас он скажет мне, как я ему противна. И ничего, не сердится, не говорит со мной о наших отношениях, но и не любит. Я не думала, чтобы могло дойти до того, и не думала, чтобы мне это было так невыносимо и тяжело. Иногда на меня находит гордое озлобление, что и не надо, и не люби, если *меня* не умел любить, а главное, озлобление за то, что за что же я-то так сильно, унижительно, больно люблю».

Это было не что иное, как война полов внутри семьи, о которой Страхов туманно выразился как об «источнике величайшего счастья и величайших страданий». Это было именно то, от чего отказался Иоанн Кронштадтский, не позволив себе и своей супруге иметь никаких плотских отношений, а значит, и никакого счастья в этом плане.

Разумеется, было бы безумством обсуждать, чей путь оказался более правильным – Толстого или Иоанна Кронштадтского. Девственность отца Иоанна была вызвана не философскими и не моральными соображениями. Она была необходимым условием ежедневного литургического служения, которое он выбрал как цель и смысл всей своей жизни. С другой стороны, страшно было бы представить себе «бесполого» Льва Толстого! Мы не имели бы не только «Казаков», «Войны и мира», «Анны Карениной», но и «Отца Сергия» и даже «Воскресения».

Но нельзя не заметить, что спустя двадцать лет после кризиса начала семидесятых годов Толстой приходит к полному отрицанию смысла плотской любви и, как следствие, к отрицанию семьи. Он приходит к мысли, с которой не согласился бы отец Иоанн: что христианской семьи не бывает, как не бывает христианского государства. То, в основе чего лежит плотская связь (хотя бы и в целях деторождения), не может являться религиозным союзом, как не может считаться религиозным государство, основанное на насилии.

И это новое толстовское понимание семьи, а также отношений между мужчиной и женщиной станет не менее жестоким моральным ударом для его жены, чем то условие семейной жизни, которое поставил перед супругой после венчания Иоанн Сергиев. Софья Андреевна никогда не могла простить мужу этого момента его духовного переворота, как не могла принять и того глубоко обидного для нее факта, что упраздненное место «плотской жены» было постепенно занято «духовным другом» В.Г.Чертковым...

В обоих случаях страдательной стороной мужского волевого выбора оказывались женщины, у которых просто не было выбора. Конечно, теоретически Елизавета Константиновна имела право опротестовать свой брак с белым священником, который отказался от исполнения супружеских обязанностей, что в церковной среде того времени никак не поощрялось. Но нельзя забывать, что по брачному договору муж обязался содержать всю семью Несвицких. В этом случае расторжение брака становилось проблемой не только для молодой женщины. Опять же теоретически Софья Андреевна тоже могла подать на развод со своим мужем и даже объявить его сумасшедшим с лишением прав состояния. В известные моменты жизни такая возможность даже и обсуждалась ею с ее родственниками и сыновьями. Но, во-первых, она действительно любила мужа, а во-вторых, такой поступок стал бы пятном на ее репутации, о которой Софья Андреевна, прекрасно понимавшая свое значение в жизни гения, не могла не заботиться. В любом случае и отец Иоанн, и Лев Толстой в своих выборах руководствовались высшими духовными соображениями, в то время как их супруги вынуждены были заботиться о куда более приземленных вещах. Таким образом, в семейных коллизиях Иоанна Кронштадтского и Толстого тоже было немало общего.

Письмо Толстого Страхову поражает жесткостью, если не сказать *жестокостью*, с которой он пытается решать женский вопрос. Он целиком солидарен со Страховым и готов

«обеими руками» подписаться под его выводами. Но одного он не принимает: того самого окошка в область социальной свободы, которое Страхов оставляет для «бесполоых» женщин. «Таких женщин нет, – пишет Толстой, – как нет четвероногих людей. Отрожавшая женщина и не нашедшая мужа женщина все-таки женщина, и если мы будем иметь в виду не то людское общество, которое обещают нам устроить Милли и пр., а то, которое существует и всегда существовало по вине непризнаваемого ими *кого-то*, мы увидим, что никакой надобности нет придумывать исход для отрожавших и не нашедших мужа женщин: на этих женщин без контор, кафедр и телеграфов всегда есть и было требование, превышающее предложение».

Что он имел в виду? Во-первых, это «няньки» – в самом обширном народном смысле. Тетки, бабки, сестры – это няньки, находящие себе в семье в высшей степени ценимое призвание». Во-вторых, *экономки*, под которыми, кроме «наемных женщин», Толстой подразумевал «тещ, матерей, сестер, теток, бездетных жен». «Не знаю, почему для достоинства женщины – человека вообще выше передавать чужие депеши или писать рапорты, чем соблюдать состояние семьи и здоровье ее членов». И наконец, вот оно, третье женское «сословие»: «Вы, может быть, удивитесь, что в число этих почетных званий я включаю и несчастных б...»

Дальше следует логическое оправдание проституции, что уж совсем странно для Толстого, который ни в раннем, ни тем более в позднем возрасте не испытывал симпатии к продажной любви.

Толстой не отправил этого письма Страхову. То был верный признак, что либо он сам был с ним внутренне не согласен, либо посчитал, что не нашел здесь верных выражений для своих мыслей.

Не отправил, но сохранил. Можно предположить, что оно было для него важным личным документом. В этом нас убеждает конец письма, который нельзя понять вне контекста семейных отношений Толстых этого времени:

«Тот, кто жил с женщиной и любил ее, тот знает, что у этой женщины, рожаящей в продолжении 10, 15 лет, бывает период, в котором она бывает подавлена трудом. Она носит или кормит; старших надо учить, одевать, кормить, болезни, воспитание, муж и вместе с тем темперамент, который должен действовать, ибо она должна рожать. В этом периоде женщина бывает как в тумане напряжения, она должна выказывать упругость энергии непостижимую, если бы мы не видали ее. Это вроде того, как наши северные мужики в 3 месяца лета убирают поля. В этом-то периоде представьте себе женщину, подлежащую искушениям всей толпы неженатых кобелей, у которых нет магдалин, и главное – представьте себе женщину без помощи других несемейных женщин – сестер, матерей, теток, нянек. И где есть женщина, управившаяся одна в этом периоде? Так какое же нужно еще назначение несемейным женщинам? Они все разойдутся в помощницы рожаящим, и всё их будет мало, и всё будут мереть дети от недосмотра и будут от недосмотра дурно накормлены и воспитаны».

Когда Толстой писал эти строки, он, несомненно, держал в голове опыт двух наиболее близких ему женщин, живших в его доме – своей жены и тетеньки Ёргольской. И очень возможно, что Толстой не стал отправлять письмо именно потому, что почувствовал в своих рассуждениях что-то глубоко неправильное, механическое и очень жестокое.

Ёргольская не потому стала нянькой и экономкой в семье Толстых, что не нашла себе мужа (напомним, она была очень красива), а потому, что всю жизнь любила одного человека и только ради него согласилась на эту роль. Что же касается нелепого сравнения постоянно беременной женщины с мужиками, которые «в 3 месяца убирают поля», то его можно объяснить только явной растерянностью Толстого перед тем, что жена на исходе десятилетия супружеской жизни начинает предъявлять ему претензии, задавать вопросы, ответить на которые он не готов, потому что только-только выбрался из пучины работы над «Войной и миром», где всё вроде бы расставил по своим местам: выдал Наташу за Пьера, а княжну Марью за Николая...

ПОЕЗДКА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Творческий кризис Толстого был непосредственно связан с семейным кризисом и наоборот. Семья и творчество были сообщающимися сосудами, которые до поры до времени, до начала семидесятых годов, функционировали слитно и гармонично. Но в начале семидесятых оба сосуда как бы дают трещину, и Толстой оказывается сразу перед двумя неразрешимыми проблемами. Он уже не может писать, как раньше, а его семейная жизнь не может продолжаться, как раньше. «Арзамасский ужас» был первым звонком на этой остановке жизни, когда он впервые был вынужден задуматься: а тем ли делом он занимается и той ли жизнью вообще живет? Это естественная мысль, которая посещает всякого умственно развитого мужчину в среднем возрасте, но у Толстого она приобретает, как и всё, что с ним происходило, какие-то невероятные, *чудовищные* размеры. Толстой буквально находится на грани сумасшествия.

Софья Андреевна: «Всё лето прошлое он читал и занимался философией; восхищался Шопенгауэром, считал Гегеля пустым набором фраз. Он сам много думал и мучительно думал, говорил часто, что у него мозг болит, что в нем происходит страшная работа; что для него всё кончено, умирать пора и пр.».

Толстому чего-то не хватает. Спустя несколько лет он поймет, чего ему не хватает – веры в Бога!

Таким образом, главная жизненная проблема Толстого существенно отличалась от главной проблемы Иоанна Кронштадтского. Для отца Иоанна Церковь – это нечто несравненно и несоизмеримо большее, чем он сам, с его плотью, его грехами, его неустроенной семейной жизнью. Для Толстого же и семья, и литература оказываются чем-то безусловно меньшим, чем он сам. Они до конца не отвечают на «вопиющие потребности» его души – как Церковь отвечала на «вопиющие потребности» души отца Иоанна.

В начале зарождения семейного и творческого кризиса Толстой собирается поехать в Оптину пустынь. Эта в итоге не состоявшаяся поездка удивительна тем, что впоследствии Толстой почему-то был уверен, что она состоялась. То есть в голове он ее все-таки совершил, пережил как явную, несомненную реальность.

Загадка этой несостоявшейся поездки заинтересовала биографа Льва Толстого и одного из его секретарей Н.Н.Гусева. В «Материалах к биографии» он приводит устный рассказ Бирюкова Черткову, который Гусев записал дословно:

«Приблизительно в 1906 году я (П.И.Бирюков. – П.Б.) для своей биографической работы расспрашивал Льва Николаевича, в Ясной Поляне, за круглым столом, о некоторых событиях его жизни. Мы остались одни в зале. Я между прочим спросил его, с какой целью он в первый раз¹⁷ посетил Оптину Пустынь. Лев Николаевич ответил мне приблизительно следующее: “Мне хотелось побеседовать с тогдашним старцем Амвросием, о нравственных качествах которого я был высокого мнения. У меня на душе лежало большое сомнение, поводом которого было расстройство семейных отношений. Жена после тяжелой болезни, под влиянием советов докторов, отказалась иметь детей. Это обстоятельство так тяжело на меня подействовало, так перевернуло всё мое понятие о семейной жизни, что я долго не мог решить, в каком виде она должна продолжаться. Я ставил себе даже вопрос о разводе. И вот за разрешением этого-то сомнения я и решился обратиться к старцу Амвросию. Но, как и во всех моих сношениях с Оптиной Пустынью, и тут меня постигло полное разочарование. Старец как-то мало обратил внимания на важность моего вопроса, принял его как обычную исповедь и сказал несколько самых обыкновенных слов утешения о смирении, которые нисколько мне не помогли в разрешении мучившего меня вопроса. Семейные же наши

¹⁷ Не в первый. Первый раз Толстой побывал в Оптиной пустыни в тринадцатилетнем возрасте в 1841 году, когда там хоронили его тетюшку А.И.Остен-Сакен.

отношения потом сами собой наладились”.

Лев Николаевич рассказывал это шепотом, чтобы не услышали».

Представим на минуту, что всё, что рассказал Толстой Бирюкову, произошло на самом деле. Но тогда в воспоминаниях Толстого есть противоречие. Если он отправился в Оптину пустынь для того, чтобы наладить свои семейные отношения, то он явно получил желаемое! Произошло ли это «само собой» (а как могло произойти иначе?), или после молитв Амвросия (что было бы очевидно для воцерковленного человека), или потому, что изменился сам Толстой или его жена, – но результат был именно таким, какой хотел получить паломник Толстой. Только окончательным раздражением Толстого на русскую Церковь можно объяснить то, что в 1906 году он не почувствовал этого противоречия.

В действительности, как мы помним, в 1871 году никакой поездки в Оптину не было. Толстой лишь собирался туда поехать со своим другом князем С.С.Урусовым, и эта поездка была запланирована до конфликта с женой из-за деторождения. В ноябре 1870 года Толстой пишет Урусову: «Путь выпал, и реки стали. Едем. От вас зависит, когда?..»

На следующий день он пишет Фету: «Получив ваше письмо, я сейчас же решил ехать к вам и теперь бы собирался на жел<езную> дор<огу>, если бы не Урусов, которого я вызвал к себе для поездки в Оптину пустынь и который может приехать завтра. Если он не приедет или после нашей поездки я непременно приеду к вам...»

В это время в имении Степановка Мценского уезда Орловской губернии тяжело заболела жена Фета Мария Петровна. Она была близка к смерти, и Фет поехал в Москву за доктором, который спас ее. Детей у Марии Петровны и Афанасия Афанасьевича не было, так что в случае смерти жены Фет остался бы в полном одиночестве, на которое он и так жаловался в письмах к Толстому. На одно из таких писем Толстой отвечал 4 февраля 1870 года: «Вы мне пишете: “Я один, один!!!” А я читаю и думаю: вот счастливец – *один* . А у меня жена, трое детей, четвертый грудной, две старухи тетки, нянька и две горничные; и всё это вместе больно лихорадкой, жар, слабость, головная боль, кашель. В таком положении застало меня ваше письмо».

В 1870 году семейный кризис, может быть, и предчувствовался, но еще не разразился. И потому причина, по которой Толстой собирался ехать в Оптину, очевидно, была другой. Но какой в точности, мы не знаем. 25 ноября, когда Толстой отправил письмо Урусову, он написал еще и письмо Страхову, в котором признался: «Я нахожусь в мучительном состоянии сомнения, дерзких замыслов невозможного или непосильного и в недоверии к себе и вместе с тем упорной внутренней работы. Может быть, это состояние предшествует периоду счастливого самоуверенного труда, подобного тому, который я недавно пережил, а может быть, я никогда больше не напишу ничего...»

Таким образом, мы можем смело предположить, что если бы Толстой встретился с отцом Амвросием в ноябре 1870 года, разговор у них шел бы в основном не о семейных проблемах Толстых, но о том состоянии умственного и творческого кризиса, в котором оказался Толстой после завершения «Войны и мира». Можно только гадать, как такой разговор отразился бы в творчестве Толстого. Но заметим, что именно после посещения Амвросия в июне 1878 года Ф.М.Достоевский окончательно приступает к работе над романом «Братья Карамазовы», где одной из ключевых фигур оказывается старец Зосима.

Поездка Достоевского в Оптину пустынь была вызвана еще и глубоким горем в семье: 16 мая 1878 года скончался сын Федора Михайловича и Анны Григорьевны Алеша. Достоевский был потрясен тем, что трехлетний ребенок умер от эпилепсии, вероятно, унаследованной от отца. Посетившая в это время Достоевских А.П.Философова рассказывала: «Я была поражена их одиночеством, принесла им гробик, и меня просили положить ребенка. Я его положила, много с ними плакала».

Сам Достоевский не оставил воспоминаний о встрече с отцом Амвросием, но его жена Анна Григорьевна по рассказам мужа писала: «Когда Ф.М. рассказал “старцу” о постигшем нас несчастии и о моем слишком бурно проявившемся горе, то старец спросил его, верующая ли я, и когда Ф.М. отвечал утвердительно, то просил передать мне его благословение, а

также те слова, которые потом в романе старец Зосима сказал опечаленной матери... Из рассказов Ф.М. видно было, каким глубоким сердцеведом и провидцем был этот всеми уважаемый “старец”».

Интересно, что настоящая встреча Толстого с отцом Амвросием состоялась примерно в то же время – в 1877 году. Это была первая поездка Толстого в Оптину пустынь в зрелом возрасте. В этих двух поездках, Толстого и Достоевского, было что-то общее. Так, оба они отправились в знаменитый монастырь в сопровождении крупнейших философов своего времени: Толстой ехал со Страховым, а Достоевский – с еще молодым, но уже модным тогда Владимиром Соловьевым.

Еще более интересно, что благодаря Соловьеву Толстой и Достоевский однажды имели возможность познакомиться, но не познакомились из-за странного поведения Страхова.

10 марта 1878 года, находясь в Петербурге, где он заключал купчую на покупку у барона Бистрома самарской земли, Толстой посетил публичную лекцию двадцатипятилетнего магистра философии Петербургского университета Владимира Соловьева, будущего отца русского символизма. На этой лекции были Страхов и Достоевский. Казалось, всё говорило за то, чтобы близко знакомый с Толстым и Достоевским Страхов познакомил двух главных писателей современности, которые давно желали встретиться друг с другом. Но Страхов этого не сделал. В воспоминаниях жены Достоевского Анны Григорьевны это объясняется тем, что Толстой просил ни с кем его не знакомить. И это очень похоже на поведение Толстого в ненавистном ему Петербурге, где он чувствовал себя совершенно чужим.

Есть что-то глубоко символическое в том, что два «равноапостольных» писателя, эти Петр и Павел русской литературы, посещают Оптину пустынь и встречаются со старцем Амвросием с разницей в один год. Но Достоевский в это время находится в конце своего пути: 28 января (ст. ст.) 1881 года его не стало, «Братья Карамазовы» остались недописанными. Толстой же в 1877 году был в самом начале своего нового пути, духовного переворота: в разговоре с П.И.Бирюковым он сам назвал дату – «1877».

Но это уже не тот Толстой, каким он был в 1870 году, когда находился в состоянии тяжелого, но плодотворного творческого кризиса. Тогда старец Амвросий еще имел возможность оказать какое-то влияние на Толстого-писателя, стоявшего на творческом перепутье, когда один великий роман завершен, а второй – «Анна Каренина» – еще даже не задуман. Разумеется, это только наши домыслы, но нельзя исключить, что отец Амвросий мог бы своей личностью подсказать Толстому какие-то свежие романские решения, как это случилось с Достоевским. В 1870 году Толстой всё еще предан литературе. Он не видит для себя другой судьбы, как создавать новые произведения. Он только не знает, с чего ему начать и на что обратить взор. О чем можно писать после «Войны и мира», чтобы это не оказалось безделицей?

Однако поездка Толстого 1870 года в Оптину пустынь не состоялась. Вместо этого Толстой отправился в Москву, где в Большом театре слушал оперу немецкого композитора Фридриха фон Флотова «Марта» в исполнении итальянской труппы. В письме к жене от 1 декабря 1870 года он сообщает, что его хватило только на «полтора акта».

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Софья Андреевна не была бы верной подругой гения, если бы вовремя не заметила, что с мужем происходит что-то странное и что это его состояние необходимо как-то зафиксировать, потому что сам Толстой в эти дни почти не ведет свой дневник. Так появляется отдельный дневник Софьи Андреевны, который она скромно назвала «Мои записи разные для справок» и который является, по существу, подробной хроникой кризиса Толстого накануне духовного переворота. Благодаря «Записям», которые охватывают период с 1870 по 1881 годы, мы имеем возможность проследить изменения, происходившие в это время в таком чрезвычайно сложном творческом организме, как Лев Толстой. И это крайне

важно.

«Ясная Поляна, 14 февраля . На днях, читая биографию Пушкина, мне пришло в голову, что я могла бы быть полезна для потомства, которое будет интересоваться биографией Лёвочки, и записывать не повседневную его жизнь, а жизнь умственную, насколько я способна следить за ней. Мне и прежде это приходило в голову, да времени у меня мало. Теперь начать хорошо. “Война и мир” кончено, и ничего еще серьезно не предпринято».

Это 1870 год. В прошлом году, летом, случился «арзамасский ужас», о котором Софья Андреевна имеет довольно смутное представление по письму из Арзамаса. Но она хорошо помнит о его состоянии накануне поездки в Пензенскую губернию, когда он говорил, что «у него мозг болит», «всё кончено, умирать пора и проч.». В том же году Толстой задумал свою «Азбуку», учебное пособие, по которому, как он считает, смогут учиться все – от императорских детей до детей сапожников. Для литературной коллекции этой хрестоматии Толстой обращается к русским сказкам и былинам. Образы Ильи Муромца, Алеши Поповича наводят его, как отмечает Софья Андреевна, «на мысль написать роман и взять характеры русских богатырей для этого романа. Особенно ему нравился Илья Муромец. Он хотел в своем новом романе описать его образованным и очень умным человеком, происхождением мужик и учившийся в университете. Я не сумею передать тип, о котором он говорил мне, но знаю, что он был превосходен».

Одновременно его начинает занимать драма, причем именно историческая драма. «Борис Годунов» Пушкина Толстому решительно не нравится. Он даже вспоминает пародию самого Пушкина на белые стихи В.А.Жуковского: «Послушай, дедушка, мне каждый раз / Когда взгляну на этот замок Ретлер / Приходит в мысль: что, если это проза / Да и дурная?»

Перечитав «бездну драматических произведений», в частности Мольера и Шекспира, Толстой все-таки останавливается на комедии и начинает ее. Но громада «Войны и мира» преследует его, как тень отца Гамлета, напоминая о еще не до конца оплаченных эпических долгах. «Нет, испытавши эпический род, трудно и не стоит браться за драматический», – говорит он жене. Не браться за драматургию убеждает его и Фет, который знает толк в античной драме, ибо закончил в свое время историко-филологическое (словесное) отделение философского факультета Московского университета.

В жизни Толстого ничто не происходило случайно, всё всегда вело к далеко идущим последствиям. Явно не без влияния Фета Толстой вспоминает, что он-то является, по сути, самоучкой, потому что в 1847 году сбежал с первого курса Казанского университета, где учился на отделении восточных языков. Недостаток классического образования начинает смущать Толстого. И вот едва ли не для того только, чтобы прочитать в подлинниках Эсхила, Софокла, Еврипида, а также Гомера и Геродота, он в конце 1870 года начинает изучать с нуля греческий язык и так этим увлекается, что это превращается в какое-то сумасшествие.

«27 марта (1871 года. – П.Б.). С декабря упорно занимается греческим языком. Просиживает дни и ночи. Видно, что ничто его в мире больше не интересует и не радует, как всякое вновь выученное греческое слово и вновь понятый оборот. Читал прежде Ксенофонта, теперь то Платона, то “Одиссею” и “Илиаду”, которыми восхищается ужасно». Уже в конце декабря 1870 года Толстой не без гордости и даже не без некоторого кокетства неопита спешит сообщить Фету, чье имя Афанасий с греческого языка переводится как «бессмертный»: «Получил ваше письмо уже с неделю, но не отвечал потому, что с утра до ночи учусь по-гречески... Невероятно и ни на что не похоже, но я прочел Ксенофонта и теперь à livre ouvert¹⁸ читаю его. Для Гомера же нужен только лексикон и немножко напряжения».

Напрасно убежденный «классик» Фет, писавший, что «только атмосфера героического

¹⁸ С листа (франц.).

духовного строя греков воспитывает нравственную аристократию» («Два письма о классическом образовании»), посмеивался и заявлял своему другу И.П.Борисову, что готов пожертвовать собственную кожу на диплом Толстого по греческому языку. Всего за три месяца с конца 1870-го до весны 1871 года Толстой прилично выучил греческий.

Но вот что вызывает сомнения. Толстой героически изучает греческий язык не на подъеме, а в состоянии крайнего упадка физических и умственных ресурсов. Это то самое время, те страшные зима и весна 1870–71 годов, о которых Софья Андреевна вспоминала как о первом необратимом «надрезе» в семейных отношениях, когда «сломилась жизнь». И в это время Толстому физически плохо, он болен: его мучают ревматизм, зубная боль, постоянные бессонницы. Но при этом Толстой «весь в Афинах» и даже по ночам «говорит по-гречески» (из письма к Фету).

Весной 1871 года, как мы помним, Софья Андреевна едва не умирает от горячки и объявляет, что больше у нее не будет детей. Толстой раздавлен. Он пишет Урусову: «Пожалейте меня, я всё болен»; «Мое здоровье всё скверно. Никогда в жизни не испытывал такой тоски. Жить не хочется». И в то же время, может быть, назло физическому нездоровью и психологической подавленности, он купается в греческом солнце и захлебывается родниковой водой античности. «Ради бога, объясните мне, почему никто не знает басен Эзопа, ни даже прелестного Ксенофонта, не говоря уже о Платоне, Гомере, которые мне предстоят, – пишет Толстой Фету в начале 1871 года. – Сколько я теперь могу судить, Гомер только изгажен нашими, взятыми с немецкого образца, переводами. Пошлое, но невольное сравнение – отварная и дистиллированная теплая вода и вода из ключа, ломящая зубы, – с блеском и солнцем и даже со щепками и соринками, от которых она еще чище и свежее. Все эти Фосы и Жуковские поют каким-то медово-паточным, горловым подлым и подлизывающимся голосом, а тот чорт и поет, и орет во всю грудь, и никогда ему и в голову не приходило, что его кто-нибудь будет слушать».

В этом состоянии Толстого есть что-то байроническое, если не сказать ницшеанское. В его словах и поступках видна какая-то мрачная героика, в принципе ему не свойственная. Он словно испытывает себя на прочность, вытесняя одно сумасшествие другим. И не случайно именно в декабре 1870 года он читает жене начало странного произведения «о гениально умном человеке, гордом, хотящем учить других, искренно желающем приносить пользу, и потом, после нескольких времени путешествия по России, столкновения с людьми простыми, истинно приносящими существенную пользу, после разной борьбы, приходящем к заключению, что его желание приносить пользу, как он это понимал, – бесплодно, и потом переход к спокойствию ума и гордости, к пониманию простой, существенной жизни, и тогда – смерть...»

Этот текст, если он был, не сохранился. Но что это было? Продолжение замысла романа о декабристах? Во всяком случае, Толстого долго грела мысль написать о сосланном в Сибирь декабристе, который там, «во глубине России», постигает суть народной жизни и, в частности, смысл продвижения русских на Восток, к границам Китая. Но если отрешиться от «Декабристов» и посмотреть на этот сюжет сквозь призму будущей судьбы самого Толстого, то нельзя не поразиться совпадению: именно так и прошла его жизнь! За исключением путешествия по России, всё так и будет! Гениально умный человек, желающий приносить людям пользу, через столкновение с простыми людьми разочаруется в своих бесплодных умственных построениях, придет к пониманию простой существенной жизни и будет умирать на станции Астапово в такой простой обстановке, что от этого вздрогнет не только его семья, но и весь мир.

Только одного этот гениально умный человек не добьется.

Спокойствия ума.

ПЕТР I И ДЕКАБРИСТЫ

Можно по-разному объяснять две последовательные творческие неудачи, которые

Толстой потерпел в начале и в конце 70-х годов – с романом о Петре I и продолжением работы над «Декабристами». Мы знаем, как тщательно он к этим вещам готовился, сколько литературы прочитал, как занимался в государственных архивах, собирал свидетельства частных лиц, заранее прорабатывал словарь романа о Петре I, изучал нравы и костюмы этого времени... Что касается «Декабристов», то подготовкой к роману он занимался еще до начала «Войны и мира», а в конце 70-х ее продолжил. Гигантский предварительный труд! И – всё брошено.

Но почему? Сам Толстой объяснял это исключительно чувством *разочарования*. Он разочаровался в своих героях. Как будто они его обманули. Он думал, что Петр I – это фатальная, но великая цивилизующая сила, развернувшая Россию лицом к Европе, а выяснилось, как говорил он своему шурину С.А.Берсу, «что личность и деятельность Петра I не только не заключали в себе ничего великого, а напротив того, все качества его были дурные. Все так называемые реформы его отнюдь не преследовали государственной пользы, а клонились к личным его выгодам. Вследствие нерасположения к нему сословия бояр за его нововведения он основал город Петербург только для того, чтоб удалиться и быть свободнее в своей безнравственной жизни... Нововведения и реформы почерпались из Саксонии, где законы были самые жестокие того времени, а свобода нравов процветала в высшей степени, что особенно нравилось Петру I». В более позднем разговоре с Н.Н.Гусевым Толстой выразился еще проще: «По-моему, он был не то что жестокий, а просто пьяный дурак. Был он у немцев, понравилось ему, как там пьют».

Между тем еще в феврале 1870 года, готовясь к написанию романа о Петре, Толстой говорил Софье Андреевне, что Петр «был орудием своего времени, что ему самому было мучительно, но он судьбою назначен был ввести Россию в сношение с Европейским миром».

Можно подумать, что это говорилось двумя разными Толстыми. Но это не так. В том же году, когда Толстой говорил жене о Петре как «орудии своего времени», он сказал ей и другое: «Меня упрекают в фатализме, а никто не может быть более верующий, чем я. Фатализм есть отговорка, чтоб делать дурное, а я верю в Бога, в выражение Евангелия, что ни один волос не спадет без воли Божьей, оттого и говорю, что всё предопределено».

«Всё предопределено», но это не может служить отговоркой, чтобы «делать дурное». Замысел романа о Петре, возможно, потому и рассыпался, что Толстого в гораздо большей степени волновали личные мотивы деятельности Петра, а не их сколь-либо угодно полезный результат. Чем больше он погружался в личность Петра, тем больше понимал невозможность причастности к нему, личного слияния с ним, перевоплощения в его натуру, той *литургической* составляющей творчества, без которой он не мог творить.

С декабристами всё было сложнее, потому что они были и по духу, и по привычкам, и по происхождению близки писателю. С некоторыми из них он состоял в отдаленном родстве. Во время подготовки к работе над романом он встречается с бывшими участниками движения, переписывается с ними, живо интересуется судьбами их товарищей и родственников, тонкостями отношений между декабристами. Его волнуют такие интимные подробности, как, например, те, что Толстой выпытывал в письме к декабристу П.Н.Свистуну: «Что за человек был Федор Александрович Уваров, женатый на Луниной? Я знаю, что он был храбрый офицер, израненный в голову в Бородинском сражении. Но что он был за человек? Когда женился? Какое было его отношение к обществу (тайному обществу. – П.Б.)? Как он пропал? Что за женщина была Катерина Сергеевна? Когда умерла, остались ли дети? На какой дуэли – с кем и за что – Лунин, Михайла Сергеевич, был ранен в пах?»

Наблюдая состояние мужа в это время, Софья Андреевна даже с некоторым испугом пишет сестре: «Лёвочка... теперь совсем ушел в свое писанье. У него остановившиеся глаза, он почти ничего не разговаривает, совсем стал не от мира сего и о житейских делах решительно не способен думать».

Тем не менее в 1879 году он прекращает работать над «Декабристами». Почему?

«Потому что я нашел, что почти все декабристы были французы» (из письма

А.А.Толстой). Более пространное объяснение дает младший брат Софьи Андреевны С.А.Берс: «...Лев Николаевич разочаровался и в этой эпохе. Он утверждал, что декабрьский бунт есть результат влияния французской аристократии, большая часть которой эмигрировала в Россию после Французской революции. Она и воспитывала потом всю русскую аристократию в качестве гувернеров. Этим объясняется, что многие из декабристов были католики...»

1878–79 годы – начало охоты террористов на членов царского правительства и важных государственных лиц. В 1878 году совершены покушения на киевского прокурора Котляревского, жандармского офицера Гейкинга в Киеве и шефа жандармов Мезенцева в Петербурге; в 1879 году – на харьковского губернатора князя Кропоткина и шефа жандармов Дрентельна в Петербурге. В том же 1879 году Исполнительный комитет «Народной воли» выносит смертный приговор царю Александру II, и начинается череда террористических актов, завершившаяся убийством царя 1 марта 1881 года. И вот 17 апреля 1879 года, отвечая на письмо Фета о том, как идет работа над «Декабристами» (письмо было написано как раз в связи с покушением Александра Соловьева, который на площади Гвардейского штаба совершил в императора пять неудачных выстрелов из револьвера), Толстой пишет: «Декабристы мои бог знает где теперь, я о них и не думаю, а если бы и думал и писал, то льщу себя надеждой, что мой дух один, которым пахло бы, был бы невыносим для стреляющих в людей для блага человечества».

И это была, возможно, главная причина, по которой Толстой оставил работу над «Декабристами» – настолько внезапно, что это еще долго удивляло его поклонников. Та же тётушка А.А.Толстая, когда он неловко сослался на французское воспитание декабристов, при всей глубине своей православной веры не смогла этого понять: «Скажите мне непременно, действительно ли вы совершенно оставили ваших декабристов. В таком случае я буду неутешна. Что за дело, что они не русские, а французы или западники. Разве это не исторический и характерный факт той эпохи?»

Даже ей, такой умной и чуткой женщине, тонко чувствовавшей душу племянника, Толстой не смог бы объяснить главной тайны своего творчества, как Иоанн Кронштадтский не смог бы на словах объяснить особенности своих литургий.

Это – не ритуал.

Это – на самом деле...

ГОРДЫЙ ЧЕЛОВЕК?

1869 год – завершение «Войны и мира».

1870 год – время творческих терзаний, невозможности начать что-то новое, что не было бы потерей уже достигнутой высоты. Неудача с романом о Петре I, притом что Толстой написал тридцать пять вариантов его начала. Неосуществленное желание поехать в Оптину пустынь для совета со старцами. Семейный разлад. Погружение, словно в океан, в страстное изучение греческого языка. Физическое недомогание, тоска...

1877 год – окончание «Анны Карениной». Терзания, невозможность начать что-то новое, что не повторяло бы «Войну и мир» и «Анну Каренину», мысль «народную» и мысль «семейную». Опять неудача – с проектом под условным названием «Декабристы», который на этот раз должен был вылиться в грандиозный эпический роман о покорении русскими восточной Сибири (мысль «завладевающая»). Поездка со Страховым в Оптину пустынь. Нравственный надлом.

1878–79 годы – это не кризис начала семидесятых годов, из которого Толстой вышел обновленным, но все-таки прежним, взявшись за работу над «Анной Карениной». Это уже переворот в сознании писателя, определивший всю его судьбу.

В апреле 1878 года он, после длительного перерыва, начинает вести дневник, который постепенно станет для него главным делом жизни. Начало ведения этого нового дневника приходится на Пасху, которую Толстой вместе с семьей и всем народом встречает в церкви в

Кочаках. Таким образом, возникает искушение отметить начало нового этапа в жизни Толстого именно праздником Христова Воскресения – если бы это не было искусственной натяжкой. Толстой, конечно, вступает на религиозный путь. Однако это не тот путь, который уместно сравнивать с Воскресением Христа.

Дело в том, что в это главное событие христианской истории Толстой как раз и не смог заставить себя поверить.

Когда заходит речь о религиозных исканиях Толстого, обычно звучат слова о его «гордости». Традиция эта возникла давно и настолько укоренилась в нашем сознании, что «гордость» или «гордыня» Толстого стали общим местом... Но правда ли это?

В словаре Владимира Даля, который наиболее полно отражает народное понимание тех или иных слов и понятий, «гордый» не имеет ни малейшего положительного смысла. «Гордый» – значит «надменный, высокомерный, кичливый; надутый, выношенный, спесивый, зазнающийся». Совершенно очевидно, что ни одно из этих значений не относится к Толстому. Это знает всякий человек, который имеет серьезное представление о его личности.

В словаре Ожегова «гордый» приобретает иные оттенки: 1. Исполненный чувства собственного достоинства, сознающий свое превосходство; 2. Заключающий в себе нечто возвышенное; 3. Чересчур самоуверенный, надменный, самолюбивый. Отбросив третье значение, как не имеющее отношения к Толстому, и второе, как слишком расплывчатое, заметим: да, чувство собственного достоинства было присуще Толстому в огромной степени, но при этом никогда не было связано с чувством собственного превосходства.

По словам его сына Ильи Львовича, «по своему рождению, по воспитанию и по манерам отец был настоящий аристократ. Несмотря на его рабочую блузу, которую он неизменно носил, несмотря на его полное пренебрежение ко всем предрассудкам барства, он барином был и барином остался до самого конца своих дней...

И гордость отца была тоже чисто барская – благородная. Много пришлось ему от этой гордости страдать. И в молодости, когда у него не хватало денег проигрывать в карты и равняться в кутежах с богачами-аристократами, и когда он пробивал себе литературную карьеру и вызывал на дуэль Тургенева, и когда жандармы производили обыск в Ясной Поляне и он, оскорбленный, чуть не уехал навсегда за границу, и когда в Москве генерал-губернатор Долгорукий прислал к нему своего адъютанта, требуя от него сведений о живущем в его доме сектанте Сютяеве, и когда ненавистники его упрекали в том, что он, проповедуя опрощение, сам продолжает жить в роскоши в Ясной Поляне, и когда правительство и церковь осыпали его клеветами и называли безбожником... много, много мучила его гордость, много заставила она его пережить и передумать, и, может быть, эта же благородная гордость духовная немало способствовала тому, что из него вырос тот человек, каким он стал во второй половине своей жизни».

Возможно, это был главный разлад в душе Толстого: аристократ по рождению, он не стал аристократом по убеждениям. И даже, скорее, стремился подавить в себе этот аристократизм.

Например, пресловутая крестьянская одежда... Во-первых, Толстой не носил крестьянской одежды. «Толстовка» все-таки сильно отличалась от крестьянской косоворотки. Хотя бы тем, что разрез был спереди, а не сбоку. Сама косоворотка, по версии академика Д.С.Лихачева, была придумана для того, чтобы во время работы из ворота не выпадал нательный крестик. Для Толстого, отказавшегося от ношения креста, это не имело значения. С другой стороны, «толстовка» оказалась одеждой настолько удобной, что пережила своего создателя более чем на сто лет. Сегодня свободная блуза из плотного трикотажа в сочетании с капюшоном («толстовка») считается наиболее удобной и функциональной одеждой для максимального сохранения тепла. И никому не придет в голову, что в ней есть что-то «вызывающее».

Во-вторых, отказ от дворянского платья имел для Толстого важный и нравственный, и опять-таки практический смысл.

Нам трудно представить себе, до какой степени одежда того времени подчеркивала социальное происхождение человека. Барин и мужик, оказавшись рядом, не просто отличались друг от друга по внешнему виду, но воочию представляли собой пример встречи двух совершенно разных миров, вроде встречи Миклухо-Маклая и коренных жителей Новой Гвинеи. Начиная с петровской эпохи внешние различия между барином и мужиком достигли такого масштаба, что, оказавшись рядом, эти два представителя *homo sapiens* не могли общаться друг с другом как два представителя человечества, но только как барин с мужиком.

Однажды в жизни Толстого был забавный случай. Зимой он шел по Москве в своем обычном бараньем тулупе. Мимо на извозчике мчался известный славянофил Иван Аксаков. Толстой закричал и замахал руками, радуясь случайной встрече со старым знакомым. Но Аксаков промчался мимо. Он не узнал Толстого, решив, что ему машет руками и что-то кричит обыкновенный мужик. Ему даже не пришло в голову остановиться и спросить: может, этому мужику что-то нужно? Толстой говорил об этом усмехаясь: «Это была проверка на его “народность”».

Но понятие «мужик» в отношении внешнего вида распространялось не только на крестьянское сословие. Самый бедный петербургский студент в своем форменном университетском мундире со шпагой гляделся аристократом в сравнении, например, с купцом. Об этом вопиющем несоответствии внешнего и внутреннего содержания, сложившемся в результате петровских преобразований, писал крупнейший русский промышленник, историк и богослов Владимир Рябушинский: «Начитанный, богатый купец-старообрядец с бородой и в русском длиннополом платье, талантливый промышленник, хозяин для сотен, иногда тысяч человек рабочего люда и в то же время знаток древнего русского искусства, археолог, собиратель икон, книг, рукописей, разбирающийся в исторических и экономических вопросах, любящий свое дело, но полный и духовных запросов, — такой человек был “мужик”; а мелкий канцелярист, выбритый, в западном камзоле, схвативший кое-какие верхушки образования, в сущности малокультурный, часто взяточник, хотя и по нужде, всех выше себя стоящих втайне критикующий и осуждающий, мужика глубоко презирающий, один из предков грядущего русского интеллигента, — это “барин”. Так продолжалось до половины XIX века, почти без изменения, и некоторые следы такого разделения дожили и до начала XX века вплоть до революции».

Итак, смена одежды имела для Толстого *нравственный* смысл: ему было бы стыдно находиться рядом с мужиком в батистовой сорочке с бантом.

Но это имело еще и практическое значение. Крестьяне Ясной Поляны, как бы Толстой ни одевался, разумеется, понимали, что перед ними барин. Но вот странники на тульском шоссе, с которыми Толстой любил часами разговаривать, никогда не открылись бы незнакомцу в дворянском платье. Инстинктивное недоверие к «барину», который еще совсем недавно был рабовладельцем по отношению к ним, было в крови у русских крестьян. Даже сейчас городской человек, оказавшись наедине с сельским жителем, чувствует это недоверие. Но еще меньше крестьяне были бы разговорчивы с откровенно ряженым человеком. В том-то и дело, что Толстой, видимо, нашел для себя «форму», которая была наиболее органична его «содержанию». Именно в этой «форме» ему не было нужды кривляться и что-то из себя изображать — «барина», который интересуется народом. Толстой, знавший крестьян Ясной Поляны по именам, знавший все подробности их жизни (например, они не скрывали от него, что прячут беглых каторжников), писавший для них прошения в государственные учреждения и т. д., не нуждался в маскарade. Однако за пределами Ясной Поляны такой маскарad был ему, конечно, необходим.

История с одеждой очень многое проясняет в странностях Толстого, в которых видели и продолжают видеть эпатаж, проявление «гордости».

Несомненно, можно говорить о Толстом как о *гордом человеке*, который так и не смог до конца смириться, отказаться от своей выдающейся индивидуальности. Но при этом необходимо понимать, что эта гордость была для него не источником радости, а тем более

довольства собой, но настоящей нравственной мукой. А самое главное, нужно понять, что этот человек просто не мог иначе реализоваться в этом мире. Из множества вариантов своего поведения он выбирал не самый удачный, который устраивал бы всех, а тот, в котором он чувствовал минимальный разрыв между своим «содержанием» и внешней «формой».

В наиболее драматичном виде это проявилось в конфликте Толстого с Церковью.

КОНЕЦ СВЯЗИ

Толстой спорил с Церковью вовсе не как сознательный агрессор, который задался целью разрушить ее из-за гордыни своего ума. Но при этом объективно Толстой оказался именно агрессором. Он был подобен медведю, который вломился в улей с пчелами, искренне полагая, что эта тонкая и сложная организация производства меда всем хороша, но в ней слишком много лишнего, а потому она должна быть реорганизована на простых «медвежьих» началах. И в первую очередь нужно, конечно, убрать всех «трутней», которые о себе слишком много «исторически» возомнили.

Толстой вступает в конфликтный диалог с Церковью, то ли не понимая всю невероятную сложность почти двухтысячелетней ассимиляции христианства в разные времена и у разных народов, то ли как раз понимая, но отвергая именно потому, что это слишком сложно и затемняет изначальную суть учения.

Самое главное: он был убежден, что христианство – это *учение*, а не мистический опыт, который передается из поколения в поколение и нуждается в сакральной неприкосновенности. В этом смысле Толстой по-своему продолжал европейскую традицию «исторической критики» христианства, которая уже получила мощное развитие в работах Фердинанда Баура, Эрнеста Ренана, Давида Штрауса, аббата Ламеннэ, Фредерика Фаррара и других священников и богословов, вышедших из западной церковной среды. Некоторые из их сочинений издавались и обсуждались в России в то самое время, когда первая и самая невинная богословская работа Толстого – «Исповедь» – была строжайше запрещена русской духовной цензурой, вырезана из готового набора в журнале «Русская мысль» и уничтожена за то, что «она приводит в сомнение важные истины веры и постановления православной церкви и допускает весьма неуважительные отзывы об истинах и обрядах православной веры».

К тому времени, когда стали появляться богословские сочинения Толстого, на Западе давно уже вышли жизнеописания Христа «от Штрауса», «от Ренана», «от Фаррара». В России они тоже публиковались – с известными затруднениями, но все-таки публиковались. «Жизнь Иисуса» Эрнеста Ренана вышла в России в 1902 году, еще до манифеста о свободе печати. Что касается «Жизни Иисуса Христа» видного англиканского богослова Фредерика Фаррара, она выходила у нас в разных переводах, причем один из них, А.П.Лопухина, к концу девяностых годов выдержал шесть изданий. Почему же «Соединение и перевод четырех Евангелий» Толстого было запрещено и ввозилось нелегально в женеvских изданиях «Свободного слова»? Почему впервые легальное издание на русском языке этого, допустим, не лучшего произведения Толстого осуществилось только в 1906 году, и то без заключительной части? Почему все последующие попытки издать это сочинение целиком влекли за собой судебные процессы и аресты изданий? И почему в полном виде его напечатали в России только в 1918 году?!

После 1 марта 1881 года диалог российской власти и общества был завершен, по сути, еще не начавшись. После подлого и злодейского убийства царя при абсолютном бездействии его охраны русская или, лучше сказать, петербургская империя впадает в ступор, оцепенение, поиск внутренних врагов. Об этом психологическом состоянии власти и общества очень интересно, хотя с большой осторожностью, сообщал Н.Н.Страхов А.А.Фету из Петербурга в курское имение Воробьевка:

«Что написать Вам, дорогой Афанасий Афанасьевич? Ужасы, совершающиеся кругом, не дают ничего думать и делать» (начало марта 1881 года); «А время скверное: в городе

смутно и беспокойно; была казнь (террористов. – П.Б.), делаются деятельные розыски; как после шквала ходят волны и долго еще не успокоятся» (6 апреля 1881 года).

Более откровенно Страхов высказался в письме к Толстому от 6 марта 1881 года:

«Какой удар, бесценный Лев Николаевич! Я до сих пор не нахожу себе места и не знаю, что с собой делать. Бесчеловечно убили старика, который мечтал быть либеральнейшим и благороднейшим царем в мире. Теоретическое убийство, не по злобе, не по реальной надобности, а потому что в идее это очень хорошо. Меня всё раздражает: и спокойствие, и злорадство, и даже сожаления... Нужны ужасные бедствия, опустошения целых областей, пожары, взрывы целых городов, избиение миллионов, чтобы опомнились люди...»

Между тем к тому времени, когда Толстой буквально вломился со своими мыслями в общественно-религиозную жизнь России, в ней пусть и медленно, но созревали предпосылки для постепенного и необходимого преобразования этой жизни. Уже в 1818 году Российским Библейским обществом вместе с Петербургской духовной академией было напечатано первое издание четырех Евангелий параллельно на русском и церковнославянском языках. Затем начали переводить и печатать книги Ветхого Завета. Так выполнялось распоряжение Александра I «доставить и россиянам способ читать Слово Божие на природном своем российском языке». Одновременно осуществлялись переводы Священного Писания на языки других народов Российской империи. К 1826 году, когда по указу Николая I деятельность Библейского общества была приостановлена, вышло около миллиона экземпляров книг Священного Писания на двадцати шести языках народов России.

В 1858 году митрополит Московский Филарет (Дроздов) добивается у императора разрешения на новый перевод и издание Священного Писания на русском языке, которые на этот раз осуществляются под руководством Синода. В 1862 году выходит на более современном русском языке издание Нового Завета и начинается работа над новым переводом Ветхого Завета. В 1876 году из печати выходит первая полная русская Библия, текст которой с этих пор называют синодальным. Это был громадный прорыв русского религиозного просвещения, учитывая тот факт, что впервые Библия на церковнославянском языке появилась за три столетия до этого.

В это время в России уже возникла своя оригинальная богословская традиция, и не только догматическая в лице митрополита Макария (Булгакова), но и религиозно-философская в лице славянофилов (прежде всего А.С.Хомякова) и только-только выходящего на авансцену В.С.Соловьева. В 1885 году на базе Московского университета возникает Московское психологическое общество – по сути, первое философское общество в России, куда входят Н.Н.Страхов, Н.Я.Грот, Л.М.Лопатин, В.С.Соловьев и в деятельности которого принимает участие Лев Толстой. В 1889 году в России начинает выходить первый философский журнал «Вопросы философии и психологии», в котором печатались Н.Н.Страхов, В.С.Соловьев, Л.М.Лопатин, братья С.Н. и Е.Н.Трубецкие, Б.Н.Чичерин, а также ученые А.Н.Бекетов, В.П.Сербский, Н.В.Бугаев. Несколько статей принадлежали Толстому, а в последние годы существования журнала там печатались Н.А.Бердяев, Г.Г.Шпет, С.Н.Булгаков, Ю.И.Айхенвальд.

Не может быть сомнения, что при более спокойном развитии России самые «безумные» толстовские выступления могли быть органически усвоены и переработаны русской религиозно-философской мыслью. Во всяком случае они могли бы свободно обсуждаться и подвергаться конструктивной критике. Собственно, этот процесс уже и наметился, причем, как это часто бывает в среде философов, сначала на уровне личного общения и частных споров. Именно в феврале 1881 года, буквально накануне той акции террористов, которая случилась в Петербурге, в Ясной Поляне состоялись две знаменательные встречи: туда приехали один за другим два крупнейших русских философа – Н.Н.Страхов и В.С.Соловьев. В это время Толстой как раз заканчивал работать над своим переводом и комментарием Нового Завета. Так что оба философа получили редкую возможность читать рукопись, что называется, «с письменного стола».

3 апреля 1881 года Толстой писал Страхову: «Молодец Соловьев. Когда он уезжал, я

сказал ему: дорого то, что мы согласны в главном, в нравственном учении, и будем дорожить этим согласием. Благодарю вас за вашу любовь ко мне, а я не могу не любить вас и дорожу очень нашим согласием».

Впоследствии пути Толстого и Соловьева, Толстого и Страхова, Страхова и Соловьева решительно разойдутся. Но очень важно, что именно накануне радикальных политических перемен в России эти люди находились в точке если не полного согласия, то понимания друг друга и доверия друг к другу. Не случайно после убийства царя Толстой и Соловьев одновременно совершают два, может быть, прекраснотдушных, но несомненно христианских поступка: они обращаются к власти с просьбой помиловать цареубийц.

О письме Толстого к Александру III мы уже писали. Это письмо через Победоносцева пытался передать царю как раз Страхов и, получив отказ Победоносцева, опустил второй список письма в дворцовый почтовый ящик. Узнав об этом, Толстой писал Страхову: «Победоносцев ужасен. Дай Бог, чтобы он не отвечал мне и чтобы мне не было искушения выразить ему мой ужас и отвращение перед ним».

Это было написано 3 апреля, в тот самый день, когда в Петербурге были повешены пятеро народовольцев, среди них женщина: А.И.Желябов, С.Л.Перовская, Н.И.Кибальчич, Т.В.Михайлов, Н.И.Рысаков.

А 28 марта в зале Кредитного общества Владимир Соловьев читал свою публичную лекцию «О ходе русского просвещения в настоящем столетии», в которой сказал: «Сегодня судятся и, вероятно, будут осуждены – на смерть – убийцы царя. Царь может простить их и, если он действительно чувствует свою связь с народом, он должен простить. Народ русский не признаёт двух правд. Если он признаёт правду Божию за правду, то другой у него нет, а правда Божия говорит: “Не убий”».

Сегодня невозможно судить о том, как должна была повести себя власть в той ситуации и к чьему мнению, Победоносцева или Толстого с Соловьевым, должен был прислушаться государь. Но факт состоит в том, что в результате трагедии 1 марта 1881 года верховным арбитром во всех спорных вопросах между властью и обществом, обществом и Церковью становится именно Победоносцев, а русская религиозная реформа оказывается замороженной на четверть столетия.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Церковные критики Толстого любят приводить две цитаты из его дневника – 1855 и 1860 годов, которые якобы доказывают безбожие Толстого, а главное – его «гордую» уверенность, что именно он-то и должен написать «новое Евангелие», в котором не будет Бога.

Вот первое высказывание: «Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле» (4 марта 1855 года).

Кажется, только один современный богослов и серьезный исследователь Толстого (редкое, но возможное сочетание) священник Георгий Ореханов обратил внимание на то, что в тот день, когда была сделана запись, Толстой *причащался*. Об этом он сообщает нам в самом начале записи, и едва ли это случайно. Можно предположить, что «разговор о божественном» состоялся у него со священником во время исповеди накануне причастия. Если так, это говорит о том, что Толстой к исповеди подошел не формально и имел весьма продолжительную беседу с батюшкой.

Но куда более важно другое обстоятельство, на которое не обращают внимание критики. Где была сделана эта запись? В это время Толстой находился на Крымской войне. Правда, в начале марта Толстой не был в Севастополе, служил в 3-й артиллерийской батарее

на реке Бельбек в десяти верстах от города. В Севастополе он окажется 25 марта и будет нести службу в самом опасном месте осажденного города – на четвертом бастионе. Но и до этого он не раз бывал в Севастополе, встречался с главнокомандующим крымской армии князем М.Д.Горчаковым, вместе с А.Д.Столыпиным (отцом П.А.Столыпина) принял участие в ночной вылазке против неприятеля. Другими словами, Толстой тогда находился в эпицентре сражений.

В первом же замечательном севастопольском очерке «Севастополь в декабре месяце» (события происходят в 1854 году, но писался он в марте-апреле 1855 года) Толстой описывает не только мужество солдат и офицеров, но и ужасающие факты войны. Он рассказывает о большом зале Дворянского собрания, где располагается хирургическое отделение и где людям ампутруют конечности, как сказали бы сегодня, в режиме нон-стоп. «Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания...»

Наблюдая это, писатель размышляет: «Что значат смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями?» Но вот он выходит из собрания, и «...вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим». Вот он идет мимо храма и видит «похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведет вас на прежние мысли; похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки – весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте».

Лишь соединив впечатления от войны с «разговором о божественном» и причастием (в церкви, в полевых условиях?), мы сможем понять состояние Толстого, в котором у него возникла мысль о «новой религии». Но по-настоящему это состояние, вероятно, сможет понять воевавший человек. Только он сможет почувствовать, как соединялись в толстовском сознании розовый гроб, выносимый с музыкой и хоругвями из церкви, с тем, что происходило на Волынском редуте в июне 1855 года, когда «одна бомба падала за другой. Никто не приходил и не выходил, мертвых раскачивали за ноги и за руки и бросали за бруствер» (запись в дневнике). Вспомним еще матроса на четвертом бастионе, которому взрывом бомбы была «вырвана часть груди», «на забрызганном грязью лице его видны один испуг и какое-то притворное преждевременное выражение страдания, свойственное человеку в таком положении»; «в то время как ему приносят носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой, невысказанной мысли»; «он останавливает носилки и с трудом, дрожащим голосом говорит товарищам: “Простите, братцы!”»; «товарищ-матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно, размахивая руками, возвращается к своему оружию». «“Это вот каждый день так человек семь или восемь”, – говорит морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свертывая папиросу из желтой бумаги».

Если предположить, что в ситуации того привычного ада, который Толстой видит вокруг себя на Крымской войне, он приходит к весьма спокойной морализаторской мысли об «очищенной» религии, которая обещала бы людям комфортное проживание на земле, то нужно признать Толстого каким-то моральным чудовищем! Без души, без чувств, без понимания всей сложной проблематики жизни. Но и его севастопольские очерки, и его дневник этого времени, и его письма Т.А.Ёргольской доказывают обратное: Толстой мучительно пытается понять происходящее и найти какой-то разумный выход из этого

положения. Не случайно запись в дневнике о религии заканчивается словами, которые почему-то никогда не замечают церковные критики Толстого: «Действовать *сознательно* к соединению людей с религией – вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня...»

Не случайна и другая его запись в дневнике, сделанная той же весной 1855 года, когда он находился на четвертом бастионе Севастополя, среди крови и грязи, но чувствовал себя при этом «превосходно»: «Боже! благодарю Тебя за Твое постоянное покровительство мне. Как верно ведешь Ты меня к добру. И каким бы я был ничтожным созданием, ежели бы Ты оставил меня. Не остави меня, Боже! Напутствуй мне, и не для удовлетворения моих ничтожных стремлений, а для достижения вечной и великой неведомой, но сознаваемой мной цели бытия». Конечно же, это слова *верующего человека* ! Но такого, который стремится к соединению веры и разума, причем в тех условиях, когда разум, казалось бы, должен трусливо отступить, стушеваться, а на его месте – явиться голая вера в Провидение, в силу молитвы и в тот образок Божьей Матери, который прислала ему на войну тетушка Татьяна Александровна Ёргольская.

Однако проблема как раз в том, что он не тетушка Ёргольская с ее пусть наивной, но несомненно благотворной верой, которую Толстой, по крайней мере в то время, не отрицает. Но в нем самом нет этой наивной веры! Поэтому он и не хватается за образок, не шепчет исступленно слова известной молитвы, не просит Бога «Помилуй мя, грешного!», а говорит: «Напутствуй мне!». Дай понять разумом, которым Ты меня наделил, то, что вокруг меня происходит, и встать на верный путь!

Можно ли это поведение считать гордыней? Наверное, можно. Если очень не любить Льва Толстого.

Вторая запись в дневнике появляется спустя пять лет, когда Толстой находится во французском городе Гиере: «...Пришла мне мысль написать матерьялистическое Евангелие, жизнь Христа-матерьялиста» (13 октября 1860 года). Эта странная мысль приходит к нему во время похорон брата Николая, чью смерть Толстой переживал крайне тяжело. Не то чтобы она его испугала... До этого он еще ребенком видел смерть бабушки и отца. В 1856 году он наблюдал, как в Орле мучительно умирал другой его старший брат – Дмитрий. Наконец, он уже прошел Кавказскую, Крымскую войны.

Смерть Николая не испугала, но ошеломила Толстого. Он не просто любил его больше всех братьев – он привык видеть в нем образец *разумного* отношения к жизни. И вот Николенька умирает – беспомощно, стремительно, в чужой земле. И встает вопрос, что делать с телом? Отправлять его на родину хлопотно, да и зачем?! Судя по письмам и дневниковым записям Льва Толстого, Николай перед смертью не высказывал никаких особых пожеланий, не исповедовался и не причащался. Просто умер, и всё. Просто перестал *быть* .

Ошеломленный Толстой пишет в Петербург своей тетушке Александре Андреевне: «Два месяца я час за часом следил за его погасанием, и он умер буквально на моих руках. Мало того, что это один из лучших людей, которых я встречал в жизни, что он был брат, что с ним связаны лучшие воспоминания моей жизни, – это был мой лучший друг. Тут разговаривать нечего; вы, может быть, это знаете, но не так, как я; не то что половина жизни оторвана, но вся энергия жизни с ним похоронена. Незачем жить, коли он умер, и умер мучительно, так что же тебе будет – еще хуже. Вам хорошо, ваши мертвые живут там, вы свидитесь с ними (хотя мне всегда кажется, что искренно нельзя этому верить – было бы слишком хорошо), а мои мертвые исчезли, как сгоревшее дерево. Вот уже месяц я стараюсь работать, опять писать, что я было бросил, но самому смешно. В Россию ехать незачем. Тут я живу, тут могу и жить... Я вам пишу не для того, чтобы вы утешали меня. Пожалуйста, не пишите мне ничего обо мне. Пожалуйста, ничего не пишите».

Глубоко верующая тетушка все-таки посылает своему племяннику утешающее письмо. Отвечая на него, Толстой описывает католическую религиозную процессию, которую наблюдал в Гиере, и это описание многое проясняет в его религиозном самочувствии в этот момент.

«В Нуёрес был престольный праздник и процессия, кажется, 25 ноября. Я пошел смотреть и с равнодушной, но сосущей тоской смотрел на толпу и на статую, которую носили, и так гадко было их суеверие и комедия, и завидно было, что оно им весело-приятно. Тут же в толпе попался мне комиссьонер и дал ваше письмо; я стал его читать на ходу, но потом тяжело стало, зашел в дровяной сарай, сел на бревна, прочел его и ревел целый час, зачем и об чем – сам не знаю».

В этом же письме Толстой сообщает: «...Желанье ваше читать Евангелие я исполню. У меня теперь нет его, но ваша хорошая знакомая Ольга Дондукова обещала мне дать его». То есть Евангелия не было в квартире, где Толстой жил вместе с умиравшим братом, и значит, внезапная мысль создать «матерьялистическое Евангелие» была продиктована исключительно ситуацией похорон Николая, а не сознательным желанием «переписать» известный текст по своему понятию. Это был скорее порыв отчаяния, а не гордой мысли.

И наконец, что имел в виду Толстой под словом «матерьялизм»? Уж конечно, не европейский позитивизм в духе Огюста Конта и Герберта Спенсера. Речь шла о том же, о чем Толстой станет твердить спустя двадцать лет. Христос – не Бог. Это реальный человек. Историческая фигура.

Здесь и лежит еще один камень преткновения между Толстым и Церковью. Обойти его нельзя, как-то сгладить это противоречие тоже невозможно.

Мы просто вынуждены признать: Толстой не верил в Божественность Христа. Ни в молодости, ни в зрелом возрасте, ни в старости, ни перед самой смертью. Но это не значит, что он не верил в Бога вообще. Он мог сомневаться в существовании Бога, но и отказаться от Бога не мог, потому что в этом был краеугольный камень его *разумения жизни*.

«...Ничего не признаю действительно существующим, кроме Бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли Бога, выраженной в христианском учении», – писал Толстой в 1901 году в своем ответе на Определение Святейшего синода об отпадении его от православной Церкви.

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

26 марта 1870 года Толстой пишет в дневнике: «Возьмитесь разумом за религию, за христианство – и ничего не останется, останется разум, а религия выскользнет с своими неразумными противоречиями. То же с любовью, поэзией, историей».

Однако спустя ровно десять лет Толстой занимается именно этим: берется разумом за христианство и последовательно истребляет в нем всё, что ему представляется неясным, спорным, провоцирующим на разного рода взаимоисключающие толкования, а в итоге уничтожает в Евангелии всю поэзию, по справедливому замечанию современного литературоведа И.Л.Волгина.

Результатом борьбы Толстого с противоречиями христианства и стала его печально знаменитая книга «Соединение и перевод четырех Евангелий» (1880–1881), из которой затем им было составлено еще и «Краткое изложение Евангелия».

Самое же печальное заключалось в том, что Толстым двигало как раз благое желание отыскать *зерно истины*, из которого так или иначе выросли все последующие истолкования христианства, легшие в основу разделения церквей и возникновения многочисленных сект. «В самом деле, – пишет Толстой в своем предисловии ко второму изданию «Перевода», – тысячи преданий, и каждое отрицает, проклинает одно другое и свое считает истинным: католики, лютеране, протестанты, кальвинисты, шекеры, мормоны, греко-православные, староверы, поповцы, беспоповцы, молокане, менониты, баптисты, скопцы, духоборы и пр., и пр., все одинаково утверждают про свою веру, что она единая истинная и что в ней одной дух святой, что глава в ней Христос и что все другие заблуждаются».

Но вместо того чтобы решать эту тяжелейшую проблему богословия и истории религии как объективную данность, на которой зиждется вера и жизнь миллионов людей, Толстой предлагает простой, но и самый соблазнительный путь. А давайте-ка отбросим всё это в

сторону! Посмотрим: что было вначале?

Но вначале было Евангелие, которое само по себе является сложнейшей богословской проблемой – и потому, что писалось разными людьми и в разное время, и потому, что неоднократно переводилось на разные языки и списывалось разными переписчиками, и, наконец, потому, что является древним текстом.

И вот что парадоксально. Когда десять лет назад, в конце 1870 – начале 1871 года, Толстой специально изучал греческий язык, чтобы читать античных авторов в подлинниках, первое, на что обратил он свое сердитое внимание, была именно адаптация античных текстов под слух и восприятие современных русских читателей. В.А.Жуковский, переводивший «Одиссею» Гомера на русский язык, не знал греческого языка, он отталкивался от переводов немца Иоганна Фосса и англичанина Александра Поупа. Одновременно немецкий ученый-классик специально для В.А.Жуковского сделал подстрочный перевод каждого стиха, подписывая под греческим словом его точное значение на немецком. В результате, как считал Толстой, Гомер был только «изгажен». Вместо «ломающей зубы воды из ключа, с блеском и солнцем и даже со щепками и соринками» получилась «отварная и дистиллированная теплая вода».

Можно спорить о том, насколько справедлив или несправедлив был Толстой к переводу Жуковского. Но именно это чувство *подмены* испытываешь, когда читаешь толстовский перевод Евангелия. Вместо живого, глубокого, многозначного текста нам предлагается его крайне грубое, уплощенное содержание.

Толстой признавался, что работал над этим произведением в состоянии сильнейшей душевной экзальтации. В предисловии к первому изданию «Перевода» за границей, который был осуществлен стараниями В.Г.Черткова, он пишет, что работа эта «далеко не окончена и в ней много недостатков». Но что значит «не окончена»? Формально она именно доведена до конца. Очевидно, речь шла о редактуре и исправлении текста. Их-то Толстой и не в состоянии был сделать в 1891 году, когда печатался «Перевод», ибо «то *сосредоточенное, постоянно восторженное* (курсив мой. – П.Б.) душевное напряжение, которое я испытывал в продолжении всей этой долгой работы, уже не может возобновиться...»

В этом признании – два вопиющих противоречия. Во-первых, как может сочетаться сосредоточенное отношение к предмету исследования с постоянным восторгом, который он вызывает? И во-вторых, разве для исправления текста требуется восторженное состояние души? Как раз наоборот.

И совсем уж саморазоблачительным видится предисловие ко второму изданию «Перевода» по инициативе В.Г.Черткова в 1902 году: «Книга эта была написана мною в период незабвенного для меня *восторга* (курсив мой. – П.Б.) сознания того, что христианское учение, выраженное в Евангелиях, не есть то странное, мучившее меня своими противоречиями учение, которое преподается церковью, а есть ясное, глубокое и простое учение жизни, отвечающее высшим потребностям души человека...»

В то же время Толстой соглашается, что «под влиянием этого *восторга и увлечения* (курсив мой. – П.Б.) я, к сожалению, не ограничился тем, чтобы выставить понятные места Евангелия, излагавшие это учение (пропустив то, что не вяжется с основным и главным смыслом и не подтверждает и не отрицает его), но пытался придать и темным местам значение, подтверждающее общий смысл. Эти попытки вовлекли меня в искусственные и, вероятно, неправильные филологические разъяснения, которые не только не усиливают убедительность общего смысла, но должны ослаблять его...»

Но в таком случае зачем он согласился на второе издание? На это он отвечает, на первый взгляд, уклончиво, но, если внимательно отнестись к его словам, вполне разумно:

«Те, которым дорога истина, люди не предубежденные, искренно ищущие истины, сумеют сами отделить излишнее от существенного, не нарушив сущности содержания. Для людей же предубежденных и вперед решивших, что истина только в церковном толковании, никакая точность и ясность изложения не может быть убедительна».

Иначе говоря, Толстой предупреждает, что для церковных людей эта книга не может

представлять значения, потому что свет истины они уже обрели в церкви. Однако есть масса людей, которых не устраивает церковная вера по каким-либо причинам, но при этом они принимают этическое учение христианства. Вот для них-то и написана эта книга. Ошибка же писателя (и Толстой сам ее признает!) состояла в том, что он попытался, как он затем понял, соединить несоединимое: примирить этические постулаты христианства с описаниями чудес, а также разного рода бытовыми подробностями жизни Христа, которые вытекали из жизни еврейского народа того времени. Говоря совсем грубо, Толстой упрекает себя за то, что вместо того, чтобы просто и внятно изложить этику христианства, как он ее понимает, он пытался «филологически» доказать, что ничего, кроме этой этики, в Евангелии не существует. Так он ввязался в заранее безнадежное дело.

Вряд ли случайно Толстой дважды повторяет слово «восторг». Между тем еще А.С.Пушкин решительно протестовал против смешения восторга и вдохновения. «Вдохновение есть расположение души к живому приятию впечатлений, следовательно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных», – писал он.

Толстой, несомненно, создавал свой «Перевод» в состоянии восторга, а не вдохновения. Этот восторг от внезапно открывшейся ему истины отнюдь не располагал к живому приятию впечатлений, потому что когда ты узрел истину, которая объясняет тебе всё на свете, то уже ни о каких живых впечатлениях и речи быть не может.

Еще в 1879 году Толстой пишет для одного себя, без мысли где-то это напечатать, пространное незаконченное сочинение, которое не имело названия и начиналось словами: «Я вырос, состарился и оглянулся на свою жизнь». В этом до сих пор не опубликованном произведении, как в яйце, содержалось несколько эмбрионов будущих богословских трудов Толстого: «Исповедь», «Исследование догматического богословия» и «Соединения и перевод четырех Евангелий».

О своем состоянии во время работы над «Переводом», которую Толстой начал в январе 1880 года, он писал Н.Н.Страхову: «Я всё работаю и не могу оторваться и часто счастлив своей работой, но очень часто слабею головой».

О крайнем умственном переутомлении своего мужа писала тому же Страхову и Софья Андреевна: «Лев Николаевич совсем себя замучил работой, ужасно устает и страдает головой, что меня сильно тревожит». Об этом же она писала сестре: «Лёвочка... головой часто жалуется, потому что много работает».

Но зачем потребовалось такое напряжение после того, как он отказался от другой, не написанной и более свойственной его художественной натуре работы – от романа о декабристах? Зачем он попытался вырастить из эмбриона тысячестраничный массив «Соединения и перевода четырех Евангелий»?!

Выскажем три предположения.

Первое – самое банальное: Толстой хотел опубликовать свой перевод Евангелия. Косвенным свидетельством этого может служить его ответ на неизвестное письмо некой З.И.Уразовой, написанное, вероятно, в связи с тем, что слухи о работе Толстого над новым переводом Евангелия проникли в печать: «Точно, что я написал сочинение, которого главная часть есть изложение Евангелия, как я его понял; но я еще не печатал его». Заметим, что Толстой не ответил здесь категорически: «Но я не собираюсь печатать его».

В первой главе сочинения «В чем моя вера?» (1883), на публикацию которого он, несомненно, надеялся и предпринимал для этого шаги, Толстой также вспоминает о «Перевод», причем пишет, что работает над ним уже шестой год: «Каждый год, каждый месяц я нахожу новые и новые уяснения к подтверждению основной мысли и исправляю их и дополняю то, что сделано. Жизнь моя, которой остается уже немного, вероятно, кончится раньше этой работы. Но я уверен, что работа эта нужна, и потому делаю, пока жив».

Не означает ли это, что Толстой все-таки питал надежду по крайней мере на посмертную публикацию «Перевода»?

Второе предположение не такое очевидное, но и его не стоит сбрасывать со счетов. Вопреки существующему мифу о том, что Толстой знал какое-то невероятное количество

иностранных языков, на самом деле он в совершенстве владел только двумя: французским и немецким. Уже с английским языком у него были серьезные проблемы. Свободно говорить на нем он не мог, а когда в 1905 году попытался ответить живущему в ЮАР молодому Ганди (будущему Махатме индийского народа) на английском, то отказался от этой затеи и написал по-русски для дальнейшего перевода. Он пытался изучать и древнееврейский, и другие языки, но полиглотом все-таки не был. Знание греческого, пусть несовершенное, было предметом гордости Толстого, о чем он писал в письмах к Фету и другим корреспондентам. Возможно, что именно эта гордость была одним из импульсов, чтобы не просто самому прочесть Евангелие в греческом оригинале, но и, так сказать, посоперничать с синодальным русским переводом, полный текст которого вышел в 1876 году.

И наконец, третье предположение, которое видится нам наиболее обоснованным. В конце семидесятых – начале восьмидесятых годов Толстой ведь открывает не просто свет истины. Ему открывается свет именно евангельской истины, в его понимании.

Коротко говоря, это называется *практическим христианством*. Бог существует, но Он невидим и не познаваем разумом. Однако разумом можно постичь Его присутствие в мире, который в глазах разумного верующего становится Царством Божиим. Главным средоточием этого Царства оказывается человек – именно потому, что он разумен и может понимать себя как сына Божьего.

Следовательно, безграничный Бог для ограниченного своим разумом человека равен только его разумному пониманию Бога. Не больше, но и не меньше. Всё, что находится за пределами этого разума, может быть и важно, и значительно, но для человека не имеет ни малейшего смысла, зато способно ввергать в бесконечные гадания на кофейной гуще о том, что находится за пределами его разума. Те, кто занимается этим, либо гордые глупцы, либо умные мошенники. Настоящая религиозная задача человека – раздвигать границы своего разумного понимания Бога. Этот процесс Толстой довольно широко называет *разумением жизни*, в противовес просто разуму, который есть условие, но не процесс. Однако это *разумение жизни* не может идти умозрительным путем, но только через практическое исполнение заповедей Христа, которые содержатся в Евангелии. Эти заповеди – то, что понятно всем. В них *зерно истины*, источник света, который не нуждается в дополнительном освещении. А всё прочее сомнительно, неопределенно и спекулятивно.

Но этот «символ веры», принятый Толстым, повторяем, еще до начала планомерного перевода Евангелия, сталкивался с одной проблемой. Если свет идет от Евангелия – то что такое Евангелие? Если свет идет от Христа – то кто такой Христос?

Надо было еще доказать, что смысл Евангелия равняется *разумению жизни*, к которому пришел сам Толстой. Но пришел не только через Евангелие, а через весь опыт своей жизни. Это была заведомо обреченная попытка адаптировать Священное Писание под личный духовный опыт, который слагался из множества составляющих: из детства, отрочества и юности, из общения с верующими тетюшками, из особого отношения к народу, из службы на Кавказе и в Крыму и так далее. Впоследствии Толстой понял, сколь неправильным был этот путь отождествления сакрального текста, еще и прошедшего горнило двухтысячелетнего исторического восприятия, с текстом своей собственной жизни. Вероятно, лично Толстому такой опыт был необходим, как зачем-то необходимо было Иоанну Кронштадтскому уже в сане священника заново изучать Библию, пересказывая себе самому ее основные сюжеты. Однако ошибка Толстого заключалась в том, что он почему-то не придал этой работе необязательную форму личного дневника, что (как в случае с отцом Иоанном Кронштадтским) совсем не исключало ее публикации. Но одно дело – это дневник, личное высказывание, а совсем другое – перевод и комментарии. Он просто выбрал не тот жанр. Тот образ Иисуса Христа, который рисует Толстой, в литературном отношении, может быть, и интересен, но в религиозном плане – сомнителен до бесконечности.

«Рождение Иисуса Христа так было: когда выдана была его мать Иосифу, прежде чем им сойтись, оказалась она беременна. Иосиф, муж ее, был праведен: не хотел ее уличить и задумал без огласки отпустить ее, но когда он подумал это, ему приснилось, что посланный

от Бога явился и сказал: не бойся принять Марию, жену твою, потому что то, что родится от нее, родится от духа святого».

В «Примечаниях» (собственно, они-то и являются настоящим «Евангелием от Толстого», потому что здесь он свободен в выражении своих мыслей) он прямо объясняет смысл события:

«Была девица Мария. Девица эта забеременела неизвестно от кого. Обрученный с нею муж пожалел ее и, скрывая ее срам, принял ее. От нее-то и неизвестного отца родился мальчик».

После этих строк церковный человек закрывает «Евангелие от Толстого», чтобы никогда его больше не открывать. В самом начале книги Толстой, с церковной точки зрения, произносит величайшее кощунство о Богородице, после которого его диалог с Церковью не имеет никакого смысла. Но если отрешиться от этого диалога и все-таки попытаться вчитаться в суть религиозных исканий Толстого, именно в «Примечаниях», а вовсе не в натужном дословном переводе Евангелия Толстой рисует нам удивительно сложный человеческий характер.

Итак, в древней Иудее от неизвестного отца, но в законном браке, родился мальчик. Он знает, что его отец не Иосиф, но не знает, кто его отец, потому что этого не знает и его мать. Причем этот мальчик живет в очень прозрачном социальном микрокосмосе, где, например, родословная его отчима прослежена от Авраама.

Этого мальчика все, кроме Марии и Иосифа, считают сыном Иосифа, простого иудейского плотника, человека незнатного, но уважаемого. Но как воспринимает себя сам мальчик? Оказывается, он приходит к мысли, что раз у него нет отца, то его отцом является Господь Бог, без Которого ничего бы в этом мире не появилось.

Именно так понимает Толстой сочетание «сын Божий», которым называет себя Иисус. Он такой же сын Божий, как и все люди на земле, но его отличие от них в том, что он, в результате своего «позорного» полусиротства, это понимает, а они – нет. Таким образом *возвращение о благе*, как Толстой на русский лад переводит слово «Евангелие», в психологической глубине своей оказывается проблемой достаточно сложного человеческого несчастья. Ведь трудно вообразить себе, что испытывает мальчик, а потом молодой человек, которого все считают законным сыном плотника, но которому даже родная мать не может сказать, кто на самом деле является его отцом.

Если бы Толстой оставался просто писателем, не стал бы насиловать евангельский текст своими буквалистскими переводами понятий, а тем более сокращать его по своему разумению (что является фактом какой-то совсем уж неприличной писательской цензуры); если бы он просто перенес этот удивительный сюжет на русскую почву (что он совсем неловко пытался делать в «Перевод», заменяя слово «скорпион» на «паука» – в России ведь скорпионы не водятся, а слово «змея» на «козюлю» – народное название змеи); если бы он, проще говоря, не занимался сомнительным богословием, которое было органически чуждо его природе, из этого сюжета могли бы получиться прекрасный роман или повесть – история о полусироте, который не отчаялся, нашел Бога в душе и передал этот свой опыт другим людям. Это могла быть история русского странника или юродивого или образованного человека. Только не «Евангелие от Толстого»!

Нельзя не согласиться с церковными критиками Толстого: самый язык изменяет писателю в этом сочинении. Толстой груб, неделикатен в прикосновении к чуждым ему святыням. Например, когда переводит понятие «фарисеи» как «православные». Лингвистически это не является ошибкой, потому что слово «фарисеи» можно перевести как «правоверные иудеи» или просто «правоверные». Но при этом возникает фельетонная игра слов и ставится знак тождества между иудейскими и православными священниками. В результате получается, что «православные» распяли Христа. И таких подмен в этом произведении немало.

Но самое главное – оно не достигает цели, которую в начале книги ставит перед собой и читателем Толстой. Задавшись целью просто и понятно рассказать о жизни и учении

Христа-человека, повествователь постоянно ставит его в какие-то двусмысленные положения, из которых ничего не понятно и всё ужасно сложно.

Вот Христос приходит в пустыню, где постится сорок дней. Толстому очень важно доказать, что никакой встречи Иисуса с дьяволом быть не могло, потому что не может быть никакого дьявола. В результате весь сюжет искушения в пустыне превращается в какой-то странный спор с самим собой, со своей плотью.

Вот как звучит начало этого сюжета в синодальном переводе: «И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и ангелы служили Ему». Перевод Толстого: «И был Иисус в пустыне 40 дней, не ел ничего и отощал».

Но дальше, как бы ни хотел Толстой исключить дьявола из сюжета, он вынужден называть его, лишь заменяя более нейтральным «искуситель». Ведь не скажешь: «Голос плоти поставил его на крыле храма...»? У Толстого: «Искуситель привел Христа в Иерусалим и поставил его на на крыле храма и сказал ему: если ты сын Бога, бросься вниз». Но на самом деле, как объясняет он в «Примечании», это был «голос плоти». «Сначала голос плоти рассуждает и говорит: Если бы ты был сын Бога и дух, то ты бы не голодал, а если бы и голодал, то мог бы по своей воле из камней делать хлеб и удовлетворять своей воле. А если голодаешь и не можешь из камня сделать хлеб, значит, ты не сын Бога и не дух. Но ты говоришь, что ты сын Бога в том смысле, что ты надеешься на Бога. И это неправда, потому что, если бы ты надеялся точно на Бога, как сын на отца, то ты бы и не мучился теперь голодом, а прямо бы пустился на власть Божию, и не берег бы свою жизнь, а ты небось с крыши не бросишься...»

И как нам во всем этом разобраться?

Искушение Иисуса дьяволом, несмотря на то, что, как верно пишет Толстой, у дьявола в Евангелии нет внешних признаков, выглядит зримо и достоверно, как разговор Сына Божьего с Божьей же тварью, но падшей и поэтому желающей падения Христа. Разговор же «духа» Христа с «голосом плоти» не выглядит никак, хотя и сопровождается почти галлюцинациями, вроде перемещения в Иерусалим на крыло храма. Остается предположить, что это галлюцинации «отощавшего» человека – что совсем уже абсурдно.

С искушения в пустыне начинается серьезный перекося в толстовской трактовке евангельской истории. С точки зрения Церкви Христос в пустыне победил дьявола, доказав, что Он истинный Сын Божий. С точки зрения Толстого Христос никого не победил. Уничтожить в себе «голос плоти» человек не в силах. «Победы нет ни с той, ни с другой стороны, – поясняет Толстой в “Примечании”, – есть только выражение двух противоположных друг другу основ жизни. И ясно выражена и та, которую отрицает Иисус, и та, которую он избрал... В каждом серьезном разговоре о значении жизни, о религии, в каждом случае внутренней борьбы отдельного человека повторяются всё те же рассуждения этого разговора дьявола с Иисусом или голоса плоти с голосом духа.

То, что мы называем “материализм”, есть только строгое следование всему рассуждению дьявола; то, что мы называем “аскетизм”, есть только следование первому ответу Христа о том, что *не хлебом жив человек* ».

Это рассуждение Толстого одновременно и противоречит церковному пониманию Евангелия, и опровергает утверждения о том, что Толстой написал какое-то «материалистическое» Евангелие, Евангелие без Бога. Толстой как раз более категоричен в отрицании «материализма» и выстраивает куда более жесткую вертикаль «Бог – человек».

Другое дело, что сам Христос становится у него не Богом, но аскетом, совершившим в пустыне личный духовный выбор между «голосом духа» и «голосом плоти». Но при такой «стартовой позиции» весь дальнейший евангельский сюжет начинает «вести и корчить», говоря словами Н.С.Лескова, правда, сказанными совсем по другому поводу. Сам Толстой оказывается в безнадежной ситуации: он все время должен объяснять читателям (но прежде всего – себе), почему этот аскет совершает то, чего не может совершить, и говорит то, чего не должен говорить.

Христос в понимании Толстого, возможно, и был бы прекрасен как сильный человек с

несчастливыми обстоятельствами своего «позорного» рождения, исполненный высокого духовной полета и любви к людям. Но зачем он творит все эти чудеса, вроде исцеления бесноватых и воскрешения Лазаря? Зачем завещает своим ученикам есть и пить хлеб и вино в его «вспоминание», еще и называя это своим «телом и кровью»?

С чудесами Толстой расправляется просто: *вычеркивает* их из Евангелия, объявляя все эти места «ненужными» (любимое слово Толстого). Но как быть с Тайной Вечерей? Представить, что аскет будет завещать ученикам есть и пить свое тело и кровь, пусть даже и в символическом виде, пусть даже и в его «вспоминание», совершенно невозможно! И тогда Толстой через сложнейшие смысловые ухищрения, которые он, конечно, объявляет «простыми и понятными», приходит к мысли, что Христос делает это для того, чтобы *любовно* накормить хлебом и вином предателя Иуду, не отделяя от остальных учеников, но при этом подчеркнуть, что как раз Иуда и будет есть его тело и пить его кровь, совершая свое предательство. Непонятно, чего здесь больше: кощунства или бессмыслицы? Смысл Евхаристии оказывается вывернутым наизнанку. Выходит, что два тысячелетия христиане совершали и продолжают совершать символический акт *предательства Христа*.

Само собой разумеется, что Толстой завершает перевод Евангелия на смерти Иисуса на кресте.

Все явления Христа своим ученикам и народу после Воскресения, все слова, сказанные Христом, не имеют для Толстого никакого значения, потому что с его точки зрения этого быть просто не могло. Человек не воскресает во плоти. Спорить с этим бессмысленно, но ставка здесь слишком высока, ибо речь идет не о нюансах веры, но о самом пути *спасения человеческого*.

Тот путь, что выбирает Толстой, – это путь сильного человека, который доверяет своему разуму и отказывается обсуждать то, что находится за его пределами. И не просто обсуждать, но включать в свое *разумение жизни*. Надо признать, в этом своем выборе Толстой страшно логичен и убедителен. Недаром его учение завоевало умы и сердца многих его современников, включая даже и некоторых священников. Но нельзя и не признать, что в отношении Христа этот метод не работает. Как бы Толстой ни старался убедить нас в том, что на Голгофу с крестом идет пусть и необычный, но все-таки человек и только человек, что на кресте страдает не Господь, а полусирота по имени Иисус, – не только воображение, но и здравый смысл не позволяет с этим согласиться.

Потрясающая душа сцена в Гефсиманском саду, где Христос, дрогнув в своем человеческом естестве, просит Отца Небесного пронести мимо Него «чашу сию», избавить Его, Сына Бога, от человеческих страданий, под пером Толстого снова превращается в «борьбу с соблазнами», как в пустыне. И совсем уже непонятно, откуда в этом аскете столь убежденный фатализм, что он, вместо того чтобы где-то упражняться в «борьбе с соблазнами», добровольно отдает себя на крестную муку? Почему он, «непротивленец», сначала велит своим ученикам вооружиться, а потом опустить мечи (у Толстого ножи)? Отчего такого высокого напряжения исполнен его разговор с Пилатом? Какое дело римскому наместнику до еврейского аскета? Зачем он снова и снова настаивает на том, чтобы его отпустил его же народ?

И наконец, совсем невероятной видится сцена на кресте. Иисус Христос в книге Толстого отвечает разбойнику, просящему Его о милости не здесь, но в Царстве Божьем («Помяни меня, Господи, когда прийдешь в Царствие Твое!»): «Истинно говоришь, *теперь* (курсив мой. – П.Б.) ты со мной в раю» (вместо: «Истинно говорю тебе: ныне же будешь со Мною в раю»). То есть страдающий человек, который корчится на кресте и которому осталось жить на земле совсем немного, в отчаянии последней надежды просит помиловать его *там*. На что Христос отвечает: всё в порядке, не волнуйся, ты всё правильно говоришь, *мы с тобой уже находимся в раю*.

Неужели сам Толстой не чувствовал этого вопиющего противоречия между просьбой и ответом? Наверное, чувствовал. Во всяком случае, в своей работе над переводом Евангелия он постоянно испытывал, так сказать, сопротивление материала.

В воспоминаниях учителя И.М.Ивакина, с которым Толстой советовался как с филологом, показан процесс работы писателя. «С самого первого раза мне показалось, что, начиная работать над Евангелием, Лев Николаевич уже имел определенные взгляды... Научная филологическая точка зрения если и не была вполне чужда ему, то во всяком случае оставалась на втором, даже на третьем плане... Историческую, чудесную, легендарную сторону в Евангелии, как известно, он совершенно устранял, считал неважной, ненужной.

– Какой интерес знать, что Христос ходил на двор? – говорил он. – Какое мне дело, что он воскрес? Воскрес – ну и господь с ним! Для меня важен вопрос, что мне делать, как мне жить?!

Он очень не жаловал Ренана, да, кажется, и Штрауса за то, что они обращали внимание именно на фактическую сторону в Новом Завете. Ренана он особенно не любил еще и за то, что от “Жизни Иисуса” отдавало будто бы парижским бульваром, за то, что Ренан называл Христа “*charmant docteur*”¹⁹, за то, что “в переводах его из Евангелия всё так гладко, что не верится, что и в подлиннике так...” Он имел в виду только нравственную, этическую сторону... Иногда он прибегал из кабинета с греческим Евангелием ко мне, просил перевести то или иное место. Я переводил, и в большинстве случаев выходило согласно с общепринятым церковным переводом. “А вот такой-то и такой-то смысл придать этому месту нельзя?” – спрашивал он и говорил, как хотелось бы ему, чтоб было... И я рылся по лексиконам, справлялся, чтобы только угодить ему, неподражаемому Льву Николаевичу... Как рад он бывал, если что скажешь насчет его работы, особенно если не согласишься с ним (несогласие он относил насчет того, что я бессознательно проникнут церковностью)! Он весь превращался в слух, так и впивался в тебя... Иное дело, если кто начинал оспаривать его взгляды в корне, в основе, – тут не обходилось без крика, и громче всех кричал Лев Николаевич».

Из этих воспоминаний становится абсолютно понятен метод работы Толстого над переводом Евангелия. Как это ни обидно звучит, но это метод работы начинающего филолога или историка, который ищет в источниках не материал для исследования, а аргументы в пользу своих концепций.

Впрочем, Толстой и не скрывал, что его интерес к Евангелию далек от академического. В предисловии к «Краткому изложению Евангелия» он высказался так: «Я искал ответа на вопрос жизни, а не на богословский и исторический, и потому для меня совершенно было всё равно: Бог или не Бог Иисус Христос, и то, от кого исшел святой дух и т. п., и одинаково не важно и не нужно было знать, когда и кем написано какое Евангелие и какая притча и может или не может она быть приписана Христу. Мне важен был тот свет, который освещает 1800 лет человечество и освещал и освещает меня; а как назвать источник этого света, и какие материалы его, и кем он зажжен, мне было всё равно...»

ПОКРЫВАЛО МАЙИ

Отличие Толстого от многих писателей-современников, не вступавших в конфликт с Церковью, было в том, что у них не было предмета для этого конфликта. Им просто не о чем было с Церковью спорить.

Тетушка писателя А.А.Толстая в своих воспоминаниях пишет о разговоре с Тургеневым, который состоялся за год до его смерти:

«Между прочим, конечно, было говорено и об Л.Т. В то время начинали являться его так называемые богословские сочинения. Тургенев относился к ним с полным негодованием и не мог утешиться, что он оставил литературу “*pour écrire de pareilles billevesées*”²⁰, как он

¹⁹ милый учитель (*франц.* .)

²⁰ чтобы писать такой вздор (*франц.* .).

выражался.

Заговорили и об Евангелии. Тургенев отнесся к нему с каким-то неприятным пренебрежением, как к книге, ему мало известной.

– Vous n’allez pas m’assurer pourtant que vous n’avez jamais lu l’Evangile?²¹ – спросила я.

– Oh, non, il m’est arrivé de lire – je dirai même que st. Luc et st. Mathieu sont assez intéressants; quant à st. Jean – cela ne vaut pas la peine d’en parler²².

– Helas! – отвечала я с грустью. – Vous ne serez donc jamais que le plus aimable des païens!²³»

Невозможно представить себе Толстого, который поддержал бы такой «светский разговор»!

И вот что интересно.

Тургенев ведь не просто смеялся над религиозными взглядами и богословскими сочинениями Толстого. Они вызывали у него «негодование». В первую очередь это было связано с тем, что Толстой ради религии отказался от литературы. Находясь на смертном одре в Буживале, Тургенев посылает Толстому письмо, в котором умоляет своего собрата по перу вернуться к литературной деятельности: «Ведь этот дар вам оттуда, откуда всё другое. Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на вас подействует!» Но одной обидой за искусство «негодование» Тургенева не объяснишь.

Духовный переворот Толстого вызвал возмущение у самых разных людей, которые были очевидно далеки от церковной веры. Невольно возникает ощущение, что во взглядах Толстого они увидели какой-то вызов их душевному покою, их *разумению жизни*.

Один из ярких примеров тому – поэт Афанасий Фет.

В нашу задачу не входит обсуждение весьма сложного мировоззрения этого великого поэта и философа, который первым перевел на русский язык «Мир как воля и представление» Шопенгауэра, тем более, что мировоззрение Фета еще по-настоящему не исследовано. Но в чем не может быть никаких сомнений, так это в том, что церковное христианство, включая и православие, не имело для него никакой цены, кроме разве способа обуздания грубого народа. В одном из писем к Толстому он называет христианство просто «известным учением», прибавляя, что лично для себя не видит в этом учении никакого проку: «...Что мне следует делать? Если по учению Христа продать добровольно и имущество и раздать туземцам, то я подожду, пока другие это сделают, и, если окажется хорошо, – не отстану». В письме к Страхову, с которым Фет всегда был гораздо откровеннее, чем с Толстым, он скажет: «...Хороший Бог такой противуречивой пакости творить не станет и, следовательно, к творению жидовскому не причастен».

Казалось бы, при таком отношении к Священному Писанию религиозные взгляды Толстого не должны были бы серьезно волновать Фета. Между тем львиная доля его переписки со Страховым посвящена злой и неприятной критике толстовской веры, в которой Фет чувствует угрозу для *своего* разума жизни.

«Что такое аскетизм, рождающий ежегодно детей и почивающий до 12 часов дня? Что такое опека труда, состоящая в каком-то раскисании над самим собой?..»

«Сплошной отрицатель жизни не может, не впадая в бедлам, ни воспитывать детей, ни проводить каких-либо улучшительных для жизни мыслей, кроме самоубийства. А в этом ужасающем хаосе живет такой ум, как Лев Николаевич», который, с одной стороны, что-то утонченно-сложно проповедует для спасения *рода* человеческого и собственного

²¹ Однако же я не поверю, что вы никогда не читали Евангелия (*франц.*).

²² Нет, мне случалось читать Евангелие. Я скажу даже, что св. Лука и св. Матфей довольно интересны, что же касается св. Иоанна, то не стоит даже о нем говорить (*франц.*).

²³ Увы! Вы останетесь навсегда только самым милым из язычников (*франц.*).

рода, породы детей земных – и готовит веревку себе на горло. Есть вещи до того непонятные, что природа получает спазм и болезненно отказывается от их понимания. Такой спазм у меня в горле...»

«Эта вера, по-моему, плод обманутой собствен<ой> неспособности к практике, гордыни».

Любопытно, что даже сами образы и выражения, к которым прибегает Фет в своей критике Толстого, совпадают с тем, как ругали его церковно настроенные фанатики, писавшие ему письма после его отлучения от церкви. Ключевыми образами здесь выступали «гордыня» и «веревка на шею», которую советовали надеть Толстому, чтобы не смущать православный народ. А одним из главных пунктов обвинения звучало то, что Толстой, проповедуя опрощение, живет в усадьбе и спит до полудня.

Невозможно предположить, чтобы Фета всерьез задевало толстовское отношение к Церкви. Скорее уж наоборот, он считал, что Толстой *слишком* серьезно относится к ней. В присутствии Софьи Андреевны он однажды сказал: «Лев Николаевич хочет с Чертковым такие картинки нарисовать, чтоб народ перестал в чудеса верить. За что же лишать народ этого счастья верить в мистику, им столь любимую, что он съел в виде хлеба и вина своего бога и спасся? Это всё равно, что если б мужик босой шел бы с сальным огарком в пещеру, чтоб в темной пещере найти дорогу, а у него потушили бы этот огарок и салом велели бы мазать сапоги, а он – босой!» Старший сын Толстого Сергей Львович по поводу этих слов справедливо пишет, что они «очень характерны для Фета. Они остроумны, но в них чувствуется и скепсис, и презрение к народу».

Всё дело в том, что после «Войны и мира» и «Анны Карениной» Фет видел в Толстом мудреца, который постиг самую суть человеческих отношений. И вдруг этот мудрец вступает в какой-то яростный спор с Церковью, пытаясь отвоевать у нее правильное понимание христианства. Во-первых, с точки зрения Фета, это борьба с ветряными мельницами. Во-вторых, по его убеждению, эти ветряные мельницы как раз необходимы как обманка для народа или, выражаясь высоким языком любимого им Шопенгауэра, как «покрывало Майи», то есть иллюзия для простолюдинов. И вот Фет видит серьезную опасность в том, что, сокрушив мельницы, Толстой нарушит естественный «порядок» течения жизни.

Трудно сказать, чего здесь больше – здравого смысла или логики Великого инквизитора.

ДВА БРАТА

Но еще более сложный случай – отношение к взглядам Толстого его старшего брата Сергея Николаевича. Его также возмутила перемена в брате, которую он назвал «сумасшествием». Он не стеснялся в выражении неприязни к тому, что пишет брат с начала восьмидесятых годов. И опять в ход идет остроумие. Сын Л.Н.Толстого Илья Львович вспоминал: «Как-то он (Лев Николаевич. – П.Б.) дал ему (Сергею Николаевичу. – П.Б.) одну из своих философских статей и просил его прочесть и сказать свое мнение. Дядя Сережа добросовестно прочел всю книгу и, возвращая ее, сказал:

– Помнишь, Лёвочка, как мы, бывало, езжали на перекладных? Осень, грязь замерзла колчами, сидишь в тарантасе, на жестких дрожинах, бьет тебя то о спинку, то о бока, сиденье из-под тебя выскакивает, мочи нет – и вдруг выезжаешь на гладкое шоссе, и подают тебе чудную венскую коляску, запряженную четвериком хороших лошадей... Так вот, читая тебя, только в одном месте я почувствовал, что пересел в коляску. Это место – страничка из Герцена, которую ты приводишь, а всё остальное – твое – это колчи и тарантас».

То же самое о новых вещах Толстого говорил Тургенев А.А.Толстой: «Слог похож теперь на непроходимое болото». И Александра Андреевна согласилась с этим определением. Даже самым близким людям из окружения Толстого почему-то не приходило в голову, что этот слог является естественным результатом мучительного поиска истины и

что задача писателя, как теперь ее видит Толстой, не в том, чтобы услаждать слух.

Однако Толстого окружали умные люди, которые постепенно начинали понимать, что в этих поисках есть глубокая правда, но такая, с которой очень трудно примириться. И особенно трудно было тем, кто, не находя истины в церкви, не пытались искать ее больше нигде, а все-таки чувствовали, что истина существует.

Таким человеком был Сергей Николаевич Толстой, личность язвительно-остроумная. В 1894 году он писал Льву: «За неимением чтения всё это время читал Достоевского. Ужасно много из того, что им написано, кажется, он мог бы и не писать, большая часть тех лиц, которых он выводит и которые, как видно, ему очень дороги, напротив, мне ужасно противны. Но, конечно, талант есть, но видно, что он много писал, чтобы наполнить листы, ради денег. Кажется, что от него пошло в ход: *“Здравствуйте, – высморкалась она”*. У него, может, нечаянно вышло, а *боборыкины* подхватили».

Он был несчастлив в семейной жизни, пострадав от своей же врожденной порядочности. В молодости, увлекаясь цыганским пением, он выкупил из табора красавицу-певицу Машу Шишкину. Цыганки были тогда целомудренны, и жить с ними «просто так» было нельзя. Став гражданской женой Сергея Николаевича, Мария Михайловна родила ему сына и трех дочерей. Но прожив с ней восемнадцать лет, он влюбился в младшую сестру Софьи Андреевны Татьяну Берс, которая его тоже глубоко полюбила. Дело было за тем, чтобы расстаться с цыганкой (обеспечив ее и незаконных детей) и жениться на Танечке. Вместо этого Сергей Николаевич, как порядочный человек, обвенчался с Машей. Татьяна так тяжело переживала этот поступок, что пыталась отравиться. До конца своих дней, а скончался он в 1904 году в возрасте семидесяти восьми лет, Сергей Николаевич Толстой прожил затворником в своем Пирогове, хотя в молодости отличался красотой, светскостью и мог сделать успешную карьеру. Но слишком независимый характер, а главное – нежелание ни в чем поступаться своей волей и прихотями (случай с Машей был единственный, когда он пошел против своих желаний, и этот случай, возможно, сломал его жизнь) были несовместны с карьерой. Судя по мнению его любимого племянника, старшего сына Л.Н.Толстого Сергея Львовича, «дядя Сережа» был неважным помещиком. Получив по разделу наследства между братьями и сестрой лучшее из имений – Пирогово в Тульской губернии, с жирными черноземами и прекрасным конным заводом, он тем не менее едва сводил концы с концами. Но при этом опять-таки остроумно шутил по поводу хозяйствования своего брата Льва:

– Вы ведь живете на деньги, полученные от писаний вашего отца. А мне надо учитывать каждую копейку. Вашего отца приказчик обворует на 1000 рублей, а он его опишет и получит за это описание 2000 рублей: тысяча рублей в барышах.

Его супруга Мария Михайловна была глубоко верующей и церковной женщиной. Отношение же Сергея Николаевича к религии и конкретно к православию определить непросто. Тот же Сергей Львович утверждал, что «в продолжении всей своей жизни» дядя был «равнодушен к православию». В то же время Сергей Николаевич был крайним консерватором. Он выписывал исключительно «Московские ведомости» (в 1892 году организовавшие откровенную травлю Толстого), а затем суворинское «Новое время». Его аристократический консерватизм не был лишен подозрительного отношения к евреям. Так, в одном из писем к Толстому, который дружил с либеральным судебным и общественным деятелем А.Ф.Кони, Сергей Николаевич с насмешкой пишет в связи с избранием Льва Николаевича в почетные члены Академии наук по отделению русского языка и словесности: «...Что за радость была мне узнать, что Кони из жидов. В какой ты хорошей компании в Академии».

В то же время он пришел в ярость, когда духовная консистория учинила следствие о его православных корнях и исполнении обрядов, о чем писал брату: «...У нас были восемь раз разные попы, по восьми разным делам, в том числе и ваш кочаковский, и восемь раз отбирали показание о том, бываю ли у Святого причастия, был ли под судом и проч., и кто была восприемница и поручитель, и кто стоял у купели. Последний же, восьмой раз

благочинный через пироговского священника отбирал показание о том, почему я, как известно архиерею... не был 20 лет у причастия».

Но и к религиозным исканиям Толстого он поначалу относился крайне враждебно. В отличие от сестры Марии, которая, уже будучи монахиней, ежегодно приезжала в Ясную Поляну гостить на лето, Сергей Николаевич не был там частым гостем, а в поздние годы почти совсем туда не приезжал.

Интересно, что дочери Сергея Николаевича, Вера, Варя и Маша, которых отец заставлял говорить с собой по-французски, стали последовательницами учения Льва Толстого, то есть, попросту говоря, толстовками. Это не принесло им счастья в личной жизни и доставило немало хлопот и огорчений отцу. Его единственный сын Гриша просто ненавидел отца и терроризировал требованиями денег до конца его жизни. Напряженными были и отношения Сергея Николаевича с мужиками, с которыми он держался по-барски высокомерно. Возможно, именно это стало причиной того, что во время революции крестьяне сожгли его дом в Пирогове, не тронув (что характерно!) второй каменный дом – сестры Марии Николаевны, имевшей в Пирогове свою часть земли. Трудно сказать, было ли это результатом их отношения к господам, однако факт остается фактом...

Не будучи религиозным, Сергей Николаевич страшно боялся смерти, чего опять-таки никогда не скрывал. В письмах к брату он довольно часто говорит о своем страхе смерти, но при этом отказывается и от какого-то религиозного утешения. «Передумал много, но придумать не придумал ничего хорошего. Смерть вот она, а что делать – не знаешь, – пишет он в мае 1896 года. – Козлов, бывший старшина, который судился с пироговскими крестьянами, которых я к тебе посылал, поступил в Афонский монастырь и пишет оттуда: “Что меня еще не одели, но ноги от стояний опухли”. Вот он придумал и, вероятно, более или менее покоен, но я на Афон не могу и всех любить тоже не могу, хотя и стараюсь».

В детстве и в молодости Сергей Николаевич обожал младшего брата, а в зрелые годы гордился им как писателем. Впрочем, и его отношение к толстовству не было столь прямолинейным. Возможно, именно под влиянием брата он отказался от прислуги. В его семье было принято самим ставить еду на стол и убирать за собой грязную посуду. И это в то время, когда в самой Ясной Поляне прислуга насчитывала двадцать человек.

Младшая дочь Сергея Николаевича Мария Сергеевна Бибикова вспоминала, что отношение отца к духовным поискам брата отнюдь не ограничивалось злым остроумием, которое было скорее всего средством самозащиты от убеждений Толстого, слишком категоричных и поэтому пугающих. «После одного приезда Льва Николаевича в 1887 году, когда он с отцом долго говорил о вегетарианстве, отец за обедом сказал: “Лёвочка теперь нам и мясо не велит есть; он, пожалуй, прав”. Вскоре после этого отец нам рассказал, что, засидевшись как-то вечером у камина, он вспомнил про охоту (Сергей Николаевич был страстный охотник. – П.Б.) и теперь сознает, что это жестокая и ненужная забава.

Когда он в эту ночь лег спать, то долго не мог заснуть: ему всё представлялись в виде кошмара и в полусне убитые им звери, и он говорил, что если бы можно было их всех оживить, то они составили бы огромное стадо. Ему ночью было страшно от страданий, причиненных им всем этим животным, и казался отвратительным ненужный, жестокий азарт во время травли их. Чтение произведений Льва Николаевича, его новые взгляды глубоко волновали отца, и, как человек очень честный, правдивый, он в последние годы всё больше соглашался со Львом Николаевичем, всё больше мучился неправильностью своей жизни, прошлой и настоящей, но, чтобы иметь право жить спокойно, он всё старался найти ей оправдание, продолжал спорить и не соглашаться и отстаивать свои прежние взгляды».

Как и младший брат, формально он был воспитан в православной Церкви, в которую искренне никогда не верил. Отпадая от Церкви, Лев Толстой находил в себе силы искать истину в другом направлении. Но у Сергея Николаевича на это не было ни сил, ни таланта. Поэтому, как пишет дочь, «самое легкое для него было отказаться от церковности, но в Бога, в высшую разумную силу добра он верил; это тоже было для него смутно, непонятно, мучительно, он часто говорил, что было много легче и спокойнее жить, когда была вера в

церковь».

Возможно, под влиянием взглядов младшего брата происходит полное отпадение С.Н.Толстого от православия. Но и принять *разумение жизни* более сильного в духовном отношении брата у него не выходит. «Часто он говорил: “Какая у Лёвочки смелость, что он берется отвергать православие”. Но, исключая церковные обряды, которые отец совершенно перестал исполнять, во всем остальном он колебался и не применял к жизни требований Льва Николаевича».

Когда в начале 1902 года Лев Николаевич, находясь в Крыму, был близок к смерти, Сергей Николаевич собрался было поехать к нему, но все-таки не решился, ибо сам тогда был серьезно болен. Тем не менее в телеграмме старшему брату Лев Николаевич писал, что он «чувствует его любовь».

Знаменательная встреча братьев Толстых состоялась в сентябре 1902 года, когда старшему было семьдесят шесть лет, а младшему – семьдесят четыре года. Есть фотография, где Лев и Сергей Николаевичи сидят в кабинете Толстого в Ясной Поляне, уже два глубоких старца, так похожие внешне, но такие разные по духовному облику. Этот приезд, который был, несомненно, приятен обоим, тем не менее показал пропасть в образах жизни двух братьев, в том, к чему они пришли на закате дней.

«...Давно мне ничего не было такого приятного, как мой приезд в Ясную, – писал Сергей Николаевич, вернувшись в Пирогово, – но у меня тоже была мысль о том, как бы я невольно не сказал или не сделал бы чего неприятного вам, что легко могло случиться, так как я отвык от людей, даже самых близких, и это был мой первый выезд из Пирогова после более трех лет, а у вас я встретил и венгерцев-криминалистов, и евреев-банкиров, и Бутурлина, и Абrikосовых, приехавших от Черткова, и всё это очень любопытно, но одичавшему человеку трудно... Приехавши домой, я вспомнил, что я не поговорил с тобой о многом, о чем именно хотелось поговорить, но поговорить с тобой хотелось так много, что, во всяком случае, всего бы не успел; когда теперь придется увидаться, Бог знает».

Последний раз они увиделись перед самой смертью Сергея Николаевича в августе 1904 года. Старший брат мучительно умирал от рака лица. Лев Николаевич приехал в Пирогово и провел там несколько дней. Показательно, что именно Лев и Маша, младшие Толстые и самые религиозные из них (хотя и очень по-разному), присутствовали так или иначе при последних днях и даже минутах трех своих братьев – Мити, Николая и Сергея. Лев посетил Дмитрия в Орле незадолго до его смерти. Он и Мария были с Николаем в Гиере до последнего его вздоха. Они были и в Пирогове.

Можно ли считать случайностью, что именно Лев Толстой, этот неистовый борец с православной Церковью, отлученный, но не смирившийся, оказался прямым посредником между умиравшим внецерковным братом и православным священником? Об этом замечательно написал Сергей Львович Толстой:

«За несколько дней до его смерти, когда было очевидно, что он умирал, к нему приехал мой отец и дней десять прожил в Пирогове. Еще до его приезда Марья Михайловна и находившаяся в Пирогове его сестра монахиня Марья Николаевна мечтали о том, чтобы Сергей Николаевич причастился, но не решались ему это сказать. Когда приехал Лев Николаевич, они ему высказали свое пожелание. Против их ожидания, он прямо передал Сергею Николаевичу желание его жены и сестры, и Сергей Николаевич внял их просьбам и причастился. Почему он причастился? Это осталось его тайной».

В истории жизни и смерти Сергея Николаевича Толстого как в капле воды отразился страшный вопрос, который Толстой поставил, но на который так и не смог ответить. Если нет веры в Церковь, но есть вера в Бога, то как быть? Толстой отвечал на это решительно и категорически: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет». То есть исполняй заповеди Христа, твори добро, люби ближнего, как самого себя, и не мечтай о загробной жизни, которой никто не видел.

Однако следование заповедям Христа – это нравственный подвиг, который не мог до конца исполнить и Лев Толстой. Тогда как же быть слабому человеку, лишенному церковной

опоры?

Погибать в своей слабости?

БЕССИЛИЕ ЛЬВА

В «Яснополянских записках» Маковицкого есть записи за 1910 год, последний год жизни Толстого. В них рассказывается о паломничестве в Ясную Поляну людей несчастных, обиженных судьбой.

7 апреля 1910 года . «Приезжала девица-учительница... Л.Н. <...> спросил ее: “Что вы намерены делать?” – “Открыть свою школу. Программа готова”. В трех словах: только бы закончить образование, и еще нужны ей деньги, “чтобы быть полезной народу”. Л.Н. ей говорил, но ей ничего этого не нужно. Просила денег на дорогу. Л.Н. отказал».

12 июня 1910 года . «Утром Л.Н. зашел к барышням – черниговской, приехавшей с просьбой устроить ее на место, и к другой, привезшей свои рукописи, где описывает случившееся – например, рассказ о калек. Она сама – несчастная, слабовольная и слабосильная физически. Желает жить полезной, в христианском смысле, работой... Другая – хромя из Оренбургской губернии, с вопросами о жизни. Обе сочиняют...»

Эти и другие записи подобного рода оставляют грустное впечатление. Словно великий писатель обманул этих людей. А они так на него надеялись, так в него верили! Они приехали из дальних мест. Может быть, ради этого они оставили дома своих близких, а может быть, как раз наоборот – каждый из них был настолько одинок, что ему просто не к кому было обратиться, кроме Льва Толстого. Таких историй и в «Записках» доктора Маковицкого, и в дневниках Толстого, и в записях его последних секретарей встречаем великое множество. Но что он мог?

Еще в восьмидесятые годы, когда Толстой закончил своей перевод Евангелия, его тетюшка А.А.Толстая прозорливо писала ему, словно предчувствуя будущие проблемы, с которыми придется столкнуться племяннику:

«Отняв у ваших последователей эту Божественную помощь, вы создадите путников, голодных и алчущих, лишенных пищи и воды. Хватит ли у них силы донести до конца тяготу обязанностей, лежащих на них? Ведь самоотвержение – добродетель вовсе не легкая и не врожденная вообще человечеству. Не наступит ли час, когда, удрученные сознанием невозможности выполнить эти предписания в их буквальном смысле, они запутаются в своих мыслях и падут еще ниже, чем прежде, как ни склонны были к добру? Ваша ответственность перед ними постоянно тревожит мое сердце; если это не так, если она не волнует вашу совесть, успокойте меня... Легко может быть, что ваш голос обратит на лучший путь заблудшего или неверующего, но утешит ли он страждущего?»

Отказавшийся от стремлений к земным благам, поглощенный одними *умственными занятиями*, вы, может быть, не отдаете себе достаточного отчета в страданиях человечества, самых разнообразных и жестоких. Что дадите вы тем, которые изнемогают от боли и которым необходимы *все* доказательства любви и власти Христа, чтобы укрепить веру в Его учение? Вряд ли они удовольствуются вашим сокращенным Евангелием, у которого ваша фантазия отняла столько неизреченных сокровищ...»

Но к тому времени Толстой уже вполне отдавал себе отчет «в страданиях человеческих, самых разнообразных и жестоких». В 1881 году он создает «Записки христианина», одно из самых страшных и безысходных своих произведений, написанное в форме необработанных дневниковых записей.

«Щекинский мужик. Чахотка. Чох с кровью. Уже 20 лет в кровь бросает. Гречиху косил, тянулся за мужиками. Родники. Рубаха мокрая. Пьет, что из носу потечет.

Над женой подшучено. Порчъ. Кричит. Облокотами на печку, зимой. Сестре надо помочь. Пашу, борозд 5 пройду, отдыхаю. Кошу. Кабы Бог прибрал, и к стороне.

А не верит, что умрет...»

«Егора безрукого сноха. Приходила на лошадь просить...»

«Приходили бабуринские – на подати, – у меня нет денег, отказал...»

«Щекинский мужик, жестокий, робкий, откровенный, низенький, просил денег, отказал...»

«Бабуринский мужик с мальчиком. Пьяный мужик затесывал вязок, разрубил нос. Лечили в больнице 22 дня, залежал 5 р. 50 к. Не мог отдать...»

«Ходил на деревню. Лохмачева недуг портит, как иголками...»

«Баба из Судакова. Погорели. Выскочила, как была. Сын в огонь лезет. Мне всё одно пропадать. Лошади нет. Лошадь взяли судейские...»

«Мужик Крыльцовский. Маленький, жалкий. Издохла лошадь. Не дал...»

«Бабуринской хромой, отказал...»

«Нынче нищая казначеевская, пьяная. Грумантская вдова. Мальчик будет пахать. Лошадь просила. Не дал...»

«Щекинская баба – кровища ушла. Голова дурна. Обреклась к Троице.

Старик обнищал. Сумы не сметывала...»

«Подыванковской брат больной сестры. У сестры нос преет...»

«Городенский чахоточный с сыном, шел целый день до меня...»

«Щекинская больная с девочкой 3 дня шла до меня...»

«Старуха переволокская. Сын помер. Двоюродный племянник согнал. Ходит, побирается. Была богата...»

В марте 1910 года после смерти Александры Андреевны пачка писем к ней Толстого была передана ее душеприказчиками в Ясную Поляну, и члены семьи Толстых читали их вслух несколько вечеров подряд. По свидетельству очевидцев, Лев Николаевич слушал свою переписку с тетушкой «с величайшим вниманием». Потом он называл ее своей «духовной биографией».

Но что же тогда ответил Толстой на то письмо тетушки?

«У китайского царя, – ответил он, – было написано на ванне: обновляйся каждый день (час) сначала и сначала. Толцые, и отверзится, просите духа и дастся вам – это самое и значит. Жизнь вся есть только движение по этому пути – приближение к Богу (в этом ведь согласны). И это движение радостно, во-первых, тем, что чем ближе к свету, тем лучше, во-вторых, тем, что при всяком новом шаге видишь, как мало ты сделал и как много еще этого радостного пути впереди. Но вы говорите: мои грехи, мое несовершенство, слабость? Но ведь я иду не на Окружной суд, а на суд Бога. Бог же есть любовь. Бога я не могу понимать иначе, как премудрым, всезнающим, и, главное, не только не злопамятным (каким я даже стараюсь не быть), но бесконечно милосердным. Так как же мне перед таким судьей бояться моих слабостей, грехов?»

И вновь мы как будто не можем не признать убедительность аргументов Толстого. Да ведь он прав, прав! Если вера – это духовный труд, причем *радостный*, потому что это труд ради спасения души, то чего же нам опасаться на этом Божьем пути? Прав был и китайский царь, написавший на ванной символические слова, которые означали: каждый день, даже каждый час живи заново, обновляйся и не уступай унынию на пути к нравственному совершенству. И вроде бы эти слова по смыслу совпадают со словами Христа, которые приводят все четверо евангелистов: «Толцые, и отверзится... дастся вам». То есть «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф 7:7–8).

Если Бог – милосердный и всевидящий судья, а не прокурор, строго листающий «Уложение о наказаниях», то Он оценит твои духовные поиски и усилия, какими бы слабыми и ничтожными они ни были и как бы ты ни спотыкался на своем пути. Просто будь самим собой в лучших устремлениях своей души. Верь Богу, как отцу родному. Не ищи себе посредников в переговорах с Ним, а только слушайся того разумного и, следовательно, Божьего начала в самом себе, которое и есть Бог.

Но если это не так? Если Бог наделил человека разумом не для того, чтобы человек разумно соединялся с Богом через соединение в любви со всеми людьми, наделенными тем

же разумом? Если разум дан человеку для того, чтобы прямоком привести его в ад на вечные мучения? На это Толстой отвечал: «Я не хочу такого жестокого бога!» И это был уже духовный бунт, от которого один шаг до строк столь не любимого Толстым Фридриха Ницше: «Прочь с таким богом! Лучше совсем без бога! Лучше на свой риск и страх устраивать судьбу!»

Среди людей, горячо любивших Толстого, но не разделявших его антицерковных взглядов, была не только Александра Андреевна Толстая. Среди таких людей был молодой военный прокурор А.В.Жиркевич, человек безупречной нравственной жизни и профессиональной чести. Он сам был писателем, но главное – глубоко и нетривиально мыслящим человеком. Влюбленный в Толстого как мальчишка, он робел в его присутствии и каждый свой приезд в Ясную Поляну, где его охотно принимали, рассматривал как величайшую веху своей жизни. Тем не менее он спорил со своим кумиром в дневниках, не так давно изданных его внучкой Н.Г.Жиркевич-Подлесских. Например, он обижался на Толстого за то, что тот сурово осуждал его профессию, хотя именно на этой стезе Жиркевич, как человек гуманных воззрений, немало пострадал. Он, как и многие, называл гордыней религиозные взгляды Толстого. Но вот когда Толстой умер, когда весь его путь стал очевиден, Жиркевич написал следующие поразительные слова:

«Как понятна и хороша философия Толстого! До рождения человека и после его смерти – бездна, одухотворенная волей Творца вселенной! Жизнь человеческая, в сравнении с этим безднами, – лишь миг. Может ли миг этот не быть одухотворен той же вселенской волей? Надо жить, надо делать добро, надо любить, так как этими началами проникнуто всё живущее. А о будущем не надо заботиться (то есть о загробной жизни). Мудрый, благой Отец вселенной, конечно, всё мудро и благо устроит. А главное, нашего мнения и желания не спросит».

Что бы ни говорили церковные критики Толстого, обвиняя в ереси, в его религиозных взглядах присутствовала какая-то высшая нравственная правда. Недаром на рубеже XIX–XX веков за ним потянулось столько чистых и свежих духом молодых людей. Но слишком часто эта нравственная правда, сталкиваясь с конкретной человеческой практикой, с процессом *живой жизни*, вдруг оказывалась бессильной. Казалось бы, весь пафос проповеди Толстого состоял в том, что он боролся не за мертвое, казенное, обрядовое христианство, а за живое и практическое. Или, говоря его же словами, «христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание». Но вот к нему в Ясную Поляну приходят живые христиане. И он, великий мудрец мира, не знает, что ему с ними делать. Толстой в растерянности.

Легко можно представить себе, что он им тогда говорил. «Не нужно никуда ездить, сидите дома, помогайте своим близким, если они у вас есть, творите маленькое посильное добро там, где вам определил жить Господь».

Всё правильно! Но почему-то они несчастны там, где им определил жить Господь. Почему-то они хотят какой-то милости и верят в то, что великий старец *подаст* им ее, как живой воды. Но главное – все они физически немощны и бедны.

Вот в 1910 году одна девица просит у него денег хотя бы на обратную дорогу. Но Толстой ей даже в этом отказывает.

Этот поступок писателя может показаться неприличным со стороны графа. Но это только на поверхностный взгляд. С 1891 года, когда он отказался от собственности и прав на свои сочинения, у него *не было денег*. Когда осенью 1910 года он уезжал из Ясной Поляны в последний путь до Астапова, в его записной книжке лежали 50 рублей и еще немного мелочи в кошельке. Нам странно читать в «Записках» Маковицкого, что великий писатель торговался с извозчиками и гостинниками на пути своего бегства. Но нужно понять, что причиной этому была вовсе не скупость, а простой житейский расчет. На эти деньги он должен был доехать, как ему представлялось, например, до Кавказа.

Разумеется, деньги были у его супруги Софьи Андреевны, которой он отписал свое имение и часть прав на литературные издания. Но и этих денег определенно не хватило бы даже на то, чтобы обеспечить проезд туда и обратно всех яснополянских паломников. К тому

же жена Толстого очень не любила этих людей, потому что они превратили семейное гнездо в проходной и постоялый двор. Нам может показаться невероятной сцена из кинохроники, где Толстой скрупулезно отсчитывает на своей ладони какие-то грошики, чтобы дать страннику, одетому в лохмотья. Вот скупердый, дал бы ему три рубля, что ли! Нам трудно поверить, что у самого знаменитого писателя и родовитого графа трех рублей на тот момент просто не было. А если бы и были, то это были деньги его жены, которая сама еле сводила концы с концами в яснополянском хозяйстве. Тем не менее, отказавшись от собственности, Толстой так и не смог до конца отказаться от благотворительности. Слишком много несчастных досаждали просьбами. И в этом заключалась уже его мука.

В шестьдесят пятом томе Юбилейного собрания Л.Н.Толстого, где напечатаны его письма 1890–91 годов, есть важный документ – одно из немногих писем Толстого, в котором упоминается Иоанн Кронштадтский. Это письмо – ответ на просьбу Анатолия Степановича Буткевича, тульского помещика и пчеловода. 13 мая 1891 года тот просил Толстого помочь ученице акушерской школы Мацкиной. Зная об отсутствии у Толстого собственных средств, Буткевич просил его письменно обратиться к кому-нибудь из знакомых, могущих ежемесячно давать Мацкиной 10–30 рублей в продолжение одного года. Толстой в не дошедшем до нас ответе в этой просьбе отказал и, по-видимому, изложил свои взгляды на благотворительность. В письме с почтовым штемпелем «Крапивна, 1 июня 1891» Буткевич возразил Толстому. Он писал, что не согласен с его взглядом на деньги и что тезис «Деньги – зло» не считает «нравственным принципом». Тогда 4 июня 1891 года Толстой был вынужден объясниться более подробно.

«Я и не думал осуждать вас, дорогой Анатолий Степанович, я только оправдываю или скорее объясняю себе свое отношение к деньгам. И очень рад случаю еще раз, и для себя преимущественно, высказать свое отношение к ним, а это очень нужно.

Денежный соблазн очень тонкий, и очень легко запутаться в нем. Мне он особенно близок, потому что окружал и окружает меня. В том, что деньги зло (я не помню, выражал ли я так, но если и не выразился, то готов принять это выражение), нет никакого сектантства, а простое утверждение того, что зло – зло; кнут, штык, пушка, тюрьма, всякое орудие насилия, если и не есть само по себе зло, то без опасности ошибки может быть названо злом; деньги тоже орудие насилия и потому – зло или назовите, как хотите, но только такая вещь, которой я пользоваться не желаю, и точно так же не желаю участвовать в пользовании и распределении их. Не желаю же пользоваться и участвовать в пользовании ими потому, что они орудие насилия. Приобретать деньги значит приобретать орудия насилия, распределять деньги, употреблять их, направлять их значит распорядиться насилием. При крепостном праве помещик посылал своих рабов работать тому, кому он хотел благодетельствовать; теперь мы делаем то же самое, давая деньги или выпрашивая их в одном месте и давая другому. Дать человеку 20 рублей в месяц значит прислать рабов работать на него каждый месяц. Распорядиться так чужим трудом я считаю неправильным и потому избегаю денег, распоряжения ими и участия в их распределении. И этот вопрос я решил таким образом давно и давно уже повел и жизнь, и свои рассуждения в этом направлении. <...> Если бы я считал, что деньгами можно сделать добро, то я не только не отказался бы от распоряжения собственностью и приобретения ее, но старался, как Иоанн Кронштадтский или как Бутс²⁴, увеличивать свои средства, чтобы сделать ими добро.

<...>

До свидания, если Бог даст. Целую вас.

Любящий вас».

Многословие этого письма в данном случае является не недостатком, а важным смысловым элементом. Задумаемся только: Толстого просят всего лишь (!) помочь одной

²⁴ Уильям Бутс (1829–1912) – английский проповедник, основатель благотворительной организации «Армия спасения».

уездной барышне закончить акушерские курсы. Даже не своими деньгами помочь, а обратившись к другим лицам, которые, конечно же (!), не откажут Толстому. Тем более речь идет о ничтожных средствах. А он пишет об этом целую философскую статью.

Это свидетельствует о том, что Толстой в ситуации с этими несчастными десятью-тридцатью рублями оказывался в чрезвычайно запутанном положении, в которое он попадал почти ежедневно, донимаемый яснополянскими паломниками. «Граф, дай денег!» Но у графа денег нет. Граф отказался от них.

Еще более важно упоминание Иоанна Кронштадтского. Значит, Толстой все-таки интересовался его деятельностью и был осведомлен, как тот распоряжается деньгами?

Главная же проблема состояла в том, что все эти несчастные, наказанные судьбой люди обращались не по адресу. Им следовало писать письма и ехать – не в Ясную Поляну, а в город Кронштадт.

Глава восьмая ВРАЧ ДУШ И ТЕЛЕС

Пусть бы ты сказал мне: болящих исцеляй, а я бы тебе сказал: дай средства, например, лекарства, совет, который бы я мог передать больному к его пользе... Сам я не в силах, не могу: как я восстановлю порядок в теле больного, когда я не знаю хорошо, что за беспорядок произошел у него в членах и как помочь из беспорядка возникнуть порядку? Как послушается меня эта дивная машина? Как бы мне не испортить ее, неопытному? Так бы я сказал тебе... А если бы ты сказал мне: мертвых воскрешай, – я счел бы тебя помешавшимся в уме и не счел бы нужным долго говорить с тобою. Я сказал бы тебе только, что один Бог силен есть воздвигнути нас из мертвых, а люди без чрезвычайного дара Божия не могут этого сделать; а когда бы ты сказал: бесы изгоняйте, я сказал бы тебе: разве ты сильнее бесов, так как для того, чтобы изгнать их, непременно надобно быть сильнее их. Но как они – духи бесплотные, хотя и духи тьмы, и были некогда Ангелами, сильными крепостию, то, без сомнения, они сильнее тебя, плотяного. Если же ты пересиливаешь их, то или с тобою Бог, или ты – Сам Бог.

Из дневника Иоанна Кронштадтского

ЗАМЕТКА В ГАЗЕТЕ

20 декабря 1883 года в петербургской газете «Новое время» появилось «Благодарственное заявление», подписанное шестнадцатью лицами. Некоторые из них указывали не только полные имена, отчества, фамилии, но и адрес.

«Мы, нижеподписавшиеся, считаем своим нравственным долгом засвидетельствовать искреннюю душевную благодарность протоиерею Андреевского собора, что в городе Кронштадте, отцу Иоанну Ильичу Сергиеву за оказанное нам исцеление от многообразных и тяжелых болезней, которыми мы страдали и от которых ранее не могла нас избавить медицинская помощь, хотя некоторые из нас подолгу лежали в больницах и лечились у докторов. Но там, где слабые человеческие усилия являлись тщетными, оказалась спасительною теплая вера во Всемогущего Целителя всех зол и болезней, ниспославшего нам, грешным, помощь и исцеление через посредство достойного перед Господом благочестивого отца протоиерея. Святыми и благотворными молитвами сего, так много заслужившего перед Верховным Зиждителем всех благ подвижника все мы получили не только полное избавление от угнетавших нас недугов телесных, но

некоторые из нас чудесно исцелились и от немощей нравственных, бесповоротно увлекавших их на путь порока и гибели, и теперь, укрепленные столь явственным знаком Божьего к ним милосердия, почувствовали в себе силы оставить прежнюю греховную жизнь и пребывать более твердыми на стезе честного труда и богобоязненного поведения...»

После этой статьи отец Иоанн проживет двадцать пять лет, день в день, скончавшись 20 декабря 1908 года. И это будет другая жизнь, чем та, что вел сначала обычный пресвитер, а с 1875 года протоиерей и ключарь Андреевского собора Иван Ильич Сергиев.

Путь святого человека очень трудно разделить на периоды, если касаться его духовной биографии. Но если все-таки говорить о *жизни Ивана Ильича Сергиева*, как мы говорим о *жизни Льва Николаевича Толстого*, а не «великого писателя земли русской», нужно признать, что эта жизнь, как и жизнь Толстого, «разламывается» на два периода – до начала восьмидесятых и после.

Кульминацией духовного переворота Толстого считается 1881 год. В этот год он с семьей переезжает из Ясной Поляны в Москву, сталкивается с «мерзостями» городской жизни, пишет «Записки христианина» и рассказ «Чем люди живы».

Началом новой жизни Иоанна Кронштадтского биографы признают 1883 год, когда в «Новом времени» вышло «Благодарственное заявление».

Интересно, что первые упоминания о необыкновенных способностях кронштадтского священника стали появляться в петербургских газетах уже с 1875 года, а в кронштадтских – и того раньше. Поэтому сам по себе текст «Заявления» вряд ли стал бы сенсацией. К тому же он был написан опытной рукой, хотя и весьма сердечно, но в то же время осторожно, чтобы не навлечь на его героя гнев непосредственного и более высокого духовного начальства. Авторы «Заявления», видимо, принимали во внимание суровую субординацию, царившую в духовном ведомстве, как и в любом ведомстве Российской империи. Публично объявить о том, что некий, даже не столичный, протоиерей является целителем и чудотворцем, означало бы оказать медвежьё услугу этому пока еще малоизвестному священнику. Фактически это означало бы, что место, которое он занимает на своем приходе, скромнее его возможностей. Это был бы даже невольный донос на него, ибо это означало бы, что он не просто окормляет людей из других приходов, но и творит какие-то «чудеса», что пахло ересью.

Возможно, именно поэтому стиль «Заявления» был тщательно выверен по части подобной крамолы, и акцент был сделан все-таки не на чудеса самого отца Иоанна, а на Всемогущего Целителя и на Промысел Божий. Гораздо большее впечатление, чем сам текст, производят подписи, в которых рассказываются истории этих чудесных исцелений.

Молитвами достойного протоирея отца Иоанна получил я от Милосердного Господа полное исцеление в своих тяжких болезнях. Четыре года страдал я расслаблением и ломотой в ногах, сильнейшим ревматизмом головы, а также у меня очень болела грудь. Ранее много раз обращался к докторам, но никакие средства не помогали.

Гаврила Тягунов. Сенная, Госткина ул., д. 2, кв. 41

Более трех лет я страдала болезнью сердца, соединенною с сильными болями в голове, кроме того, у меня очень болели ноги, одним словом, вся была расслабленная; обращалась к докторам, но напрасно. Получила же полное исцеление от батюшки отца Иоанна.

Евдокия Тягунова

Страдая упорно и мучительно внутренней болезнью, я долго лежал в Александровской больнице, но, не получая выздоровления, наконец выписался и больной поехал в Кронштадт, где сразу получил чудесное исцеление от почтенного

отца протоиерея Иоанна.

Пахомов

Я страдал сильнейшим застарелым ревматизмом во всем теле, чувствуя нестерпимую боль в голове, груди и ногах. Никакие ни домашние, ни медицинские средства не помогали. Обратившись к отцу протоиерею Иоанну, я священной его молитвою сразу как будто ожил и получил полное выздоровление. Сын мой, 6-летний мальчик, был болен горячкой. Батюшка протоиерей, помолившись над ним, наложил на него руку, и мальчик тотчас же стал вполне здоровым. 8-летняя дочь моя страдала какой-то непонятной болезнью, была худая, бледная и изнуренная, сохла день ото дня и также была исцелена святыми молитвами отца Иоанна. Жена моя была совершенно расслаблена болезнью и не имела никакого аппетита к пище. Получила исцеление от того же отца протоиерея.

Кузьма Фадеев Кудрявцев. Сенная площ., д. 3, кв. 19

В наивном реализме этих маленьких, но пронзительных текстов не было никакой «литературы». Но в них была та концентрация человеческого горя, описать которую литература просто не в силах, потому что у нее нет для этого подходящего языка. Тем более что в этих текстах завопило даже не крестьянство, перед которым русская литература всегда чувствовала себя в неоплатном долгу, а самая бесформенная среда – мещане, торговцы, мастеровые, на которых литература не обращала особого внимания, а если и обращала, то исключительно критически, как на самую бесперспективную с точки зрения прогресса человеческую массу. Так вот, в лице отца Иоанна Кронштадтского эта масса обретала своего героя и утешителя.

В тот же день, когда в «Новом времени» появился текст «Заявления», обер-прокурор Святейшего синода К.П.Победоносцев дает директору своей канцелярии служебное поручение.

«Победоносцев – Ненарокомову:

Посмотрите, что напечатано в Новом Времени сегодня наряду с объявлениями о театрах и пр.

Думаю, тут не без греха священник. Что за человек и в чьем ведомстве? Не у Петра Евдокимовича Покровского?»

П.Е.Покровский, протоиерей и духовный писатель, был главным священником армии и флотов. Победоносцев, конечно же, обратил внимание на место служения отца Иоанна – Кронштадт, заподозрив, что газетную рекламу делает себе не просто священник, но служитель военного ведомства, что совсем уж было бы из ряда вон выходящей дерзостью!

Однако спустя десять дней отношение Победоносцева к священнику «не без греха» неожиданно меняется.

«Победоносцев – Ненарокомову:

Прошу Вас написать или дать знать от моего имени настоятелю Андреевского собора, чтобы не тревожил отца Иоанна по поводу публикации, ибо по точном исследовании я убедился, что сам он нисколько в ней не участвовал и не знал об ней, а сделана она по неведению последствий простыми людьми, желавшими засвидетельствовать священнику свою благодарность.

Константин Победоносцев

30 декабря 1883».

Что же произошло за эти десять дней?

Можно предположить, что тогда-то и состоялась первая легендарная встреча Иоанна Кронштадтского с Победоносцевым, о которой нет документальных свидетельств, но есть

предание. Будто бы Победоносцев вызвал к себе отца Иоанна и сказал: «Ну, вот вы там молитесь, больных принимаете, говорят: чудеса творите; многие так начинали, как вы, а вот чем-то вы кончите?» На что Иоанн Кронштадтский будто бы возражал: «Не извольте беспокоиться, потрудитесь дождаться конца».

Но это очень зыбкое предположение. Такой ответ вряд ли успокоил бы осторожного и мнительного Победоносцева. Указание в записке секретарю на «точное исследование» говорит о том, что он отнесся к публикации со всей возможной серьезностью и провел расследование.

Из этой записки также следует другой несомненный факт, а именно: непосредственное начальство отца Иоанна в лице настоятеля собора Трачевского было крайне недовольно появлением «Заявления». Это лишний раз свидетельствует о тех трениях, которые происходили между отцом Иоанном и настоятелем собора.

3 января 1884 года Ненарокомов посылает Трачевскому письмо:

«Конфиденциально.

Ваше Высокопреподобие, Милостивый Государь.

Вам, без сомнения, известно, что в газете «Новое Время» появилась публикация с выражением благодарности Протоиерею Кронштадтского Андреевского Собора Иоанну Сергиеву нескольких лиц, получивших исцеление от разных недугов по молитвам Сергиева.

Публикация эта, как неуместная, не могла не обратить на себя внимание со стороны духовного начальства. Но по точном дознании, проведенном по распоряжению Господина Обер-Прокурора Святейшего Синода, Его Превосходительство вполне убедился, что сам о. Иоанн нисколько не участвовал в составлении означенной публикации и даже не знал о ней и что она сделана по неведению неблагоприятных последствий простыми людьми, искренне желавшими засвидетельствовать чтимому ими протоиерею Сергиеву свою благодарность.

По поручению Господина Обер-Прокурора долгом поставляю сообщить Вам, Ваше Высокопреподобие, с тою целию, чтобы предупредить возможность каких-либо неприятностей и тревог о. Иоанна по поводу означенной публикации.

Примите и проч.

Ив. Ненарокомов».

Незадолго до этого в скандал вокруг публикации вмешивается также начальник Главного управления по делам печати Е.М.Феоктистов. Он пишет Победоносцеву:

«Милостивый Государь, Константин Петрович.

Очень благодарю Ваше Превосходительство за то, что Вы дали мне возможность ознакомиться с прилагаемой запиской (текст записки неизвестен. – *П.Б.*). Это весьма трогательная история, и дай Бог, чтобы было у нас побольше таких священнослужителей. Я написал генералу Грессеру, чтобы он оставил дело без последствий».

Генерал-адъютант П.А.Грессер в то время был градоначальником Петербурга. Таким образом, в «дело» о кронштадтском батюшке были вовлечены три высоких государственных лица: обер-прокурор, главный цензор и столичный градоначальник. Это означало, что письмо в газету оказалось настоящей бомбой, которая при ином отношении к ней высших должностных лиц могла бы грозить отцу Иоанну довольно серьезными неприятностями. Но руководство по неизвестной нам причине делает выбор в пользу кронштадтского священника. С этого момента его положение в Кронштадте становится прочным как никогда.

Показательно при этом, что хотя появление письма руководством явно воспринимается отрицательно, тем не менее от священника не требуют ни опровержения, ни какого-то публичного разъяснения по этому поводу. Больше того, Феоктистов называет эту историю «трогательной», а Победоносцев вдруг проявляет отеческую заботу о том, чтобы отца Иоанна не стали преследовать в Кронштадте. И это тот же Победоносцев, который два года назад отказался передавать письмо Льва Толстого Александру III с просьбой помиловать цареубийцу, еще и ответив знаменитому писателю весьма жестким по тональности письмом:

«...Прочитав письмо Ваше, я увидел, что Ваша вера одна, а моя и церковная другая, и что наш Христос – не Ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а в Вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления. Вот почему я по своей вере не мог исполнить Ваше поручение».

В то же время почти невозможно заподозрить Победоносцева в искренней вере в «чудеса» обычного кронштадтского священника, в то, что он в буквальном смысле «исцелял расслабленных», как Христос. Для этого обер-прокурор был слишком недоверчив. Он отрицательно относился ко всяким проявлениям самодеятельности со стороны священства.

«Есть что-то призрачное и загадочное во всем духовном облике Победоносцева... – писал Георгий Флоровский. – Он был очень скрытен, в словах и в действиях, и в его “пергаментных речах” было трудно расслышать его подлинный голос. Он всегда говорил точно за кого-то другого, укрывался в условном благозвучии и благообразии очень и очень размеренных слов. Свои книжечки и книги он имел обыкновение издавать безымянно, точно он их издает или составляет, точно в них он передает или излагает чьи-то чужие мнения и мысли. Эта условная псевдонимность для него очень характерна. Он был врагом личного творчества...»

А вот как вспоминал о Победоносцеве близко знавший его цензор Евгений Михайлович Феоктистов:

«Несомненно, что он обладал умом недюжинным, живым и отзывчивым, всё его интересовало, ни к чему он не относился безучастно; образование его было многостороннее и основательное, не говоря уже об юридических и церковных вопросах, занимавших его издавна, и в литературе, и в науке, и даже в искусстве обнаруживал он солидные сведения. Он всё мог понять и о многом судил верно. Если бы не случай, из него вышел бы замечательный деятель на ученом или литературном поприще, но судьба сблизила его с государем, когда еще тот был наследником престола, и это открыло ему такое поприще, которое едва ли было ему по силам...

От К.П.Победоносцева можно было досыта насыщаться самых горьких пиеремиад по поводу прискорбного положения России, никто не умел так ярко изобразить все политические и общественные наши неудачи, но стоило лишь заикнуться, что нельзя же сидеть сложа руки, необходимо принимать меры, которые вывели бы нас из мрака к свету, и он тотчас же приходил в ужас, его невыразимо устрасала мысль о чем-либо подобном...

Следует заметить, что в этом отношении он был одинаково беспристрастен и к своим единомышленникам, и к противникам, ко всем безразлично относился он с недоверием...»

Если бы Победоносцев дознался, что письмо было делом рук самого отца Иоанна, кронштадтский протоиерей, несомненно, был бы серьезно наказан. Как проводилось дознание? Были ли опрошены подписанты письма, чьи адреса были точно указаны? Несомненно одно: только убедившись, что письмо было их собственной инициативой, Победоносцев сменил гнев на милость. Возможно, ему понравился сам пафос народной (городской, а все же народной) веры в простого священника. Это отвечало его пониманию народа как «наивной» массы, которая верит не рассуждая и не подвергая веру анализу, как это делали Толстой и Соловьев.

«Он верил в простой народ, – признает Георгий Флоровский, – в силу народной простоты и первобытности, и не хотел разлагать эту наивную целостность чувства ядовитой прививкой рассудочной западной цивилизации. “Народ чувствует душой”. И это чутье воплощается в преданиях и обрядах. К ним Победоносцев не хотел бы прикасаться испытующим сомнением».

Но всё это лишь наши догадки. Достоверно известно другое: Победоносцев *знал* об отце Иоанне еще до появления в «Новом времени» скандального письма.

Ровно за год, 20 декабря 1882 года, протоиерей Андреевского собора Иоанн Сергиев отправил ему письмо с отчетом об «учреждении в Кронштадте Дома Трудолюбия в память в Бозе почившего Императора Александра II» с просьбой «ходатайства пред г-ном Министром финансов о даровании ежегодной правительственной субсидии в размере 1000 рублей на

содержание Дома Трудолюбия». Аналогичные письма были отправлены министру финансов Н.Х.Бунге и великому князю Константину Николаевичу, брату Александра II. К тому времени устройство в Кронштадте Дома трудолюбия было уже поддержано женой великого князя Анной Иосифовной. Обер-прокурор также поддержал это ходатайство, и правительственная субсидия была выделена. За прошедший год он, вероятно, забыл об энергичном кронштадтском батюшке, но после расследования обстоятельств появления письма в «Новом времени», несомненно, вспомнил. Таким образом, искренне или нет, Победоносцев был просто вынужден отвести стрелы и молнии от священника, которого однажды уже поддерживали члены императорской фамилии. Наказывать его и обвинять в ереси после этого было бы просто немыслимо.

Так или иначе, но и Толстой в 1881 году, и отец Иоанн в 1883-м прошли по лезвию бритвы. В обоих случаях риск был очень велик, а последствия – самые непредсказуемые. В результате же вышло, что в начале восьмидесятых годов имперское руководство в лице прежде всего обер-прокурора К.П.Победоносцева делает прозрачный выбор – против Толстого и в пользу Кронштадтского. Практическое христианство Толстого, призывавшего следовать точным словам Евангелия о милосердии и всепрощении, высшей властью воспринимается как признак слабости, которая грозит подорвать основы империи, а «чудеса» простого кронштадтского батюшки трогают и вызывают умиление. Во всяком случае, они не представляются опасными, в отличие от проповеди *непротивления злу*.

В дальнейшем Иоанн Кронштадтский не раз будет пробуждать серьезные сомнения и опасения у Победоносцева как фигура слишком яркая и непредсказуемая. Но выбор был сделан, вектор определен. Толстой – это враг государства, Кронштадтский, хотя и вызывающий какую-то тревогу, – его верный союзник. А самое главное – его любит *простой народ*.

НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО

На самом деле ответ на вопрос, был ли причастен отец Иоанн к публикации в газете, не так прост. Возможно, что инициатором этого письма был человек, близкий к отцу Иоанну. Имя этого человека – Параскева Ивановна Ковригина.

В 1904 году в беседе с пастырями Сарапульского викариатства Вятской епархии отец Иоанн рассказал:

«В Кронштадте жила благочестивая, прекрасной души женщина, Параскева Ивановна Ковригина (родом костромичка), отдавшая себя на служение ближним. Она стала убедительно просить меня помолиться за того или иного страждущего, уверяя меня, что молитва моя за них будет действенна и для них полезна. Я же всё время отказывался, совершенно не считая себя достойным быть особенным посредником между людьми, нуждающимися в помощи Божьей, и Богом. Но неотступные просьбы и уверения Параскевы Ивановны в помощи Божьей наконец победили меня, и я с твердым упованием и надеждой стал обращаться с мольбой к Богу об исцелении болящих и расслабленных душой и телом. Господь слышал мои, хотя и недостойные, молитвы и исполнял их: больные и расслабленные исцелялись. Это меня ободрило и укрепило. Я всё чаще и чаще стал обращаться к Богу по просьбе тех или других лиц, и Господь за молитвы наши общие творил и творит доселе многие дивные дела. Много чудес очевидных совершилось и ныне совершается».

Однако в действительности всё было не совсем так. О том, что его молитвы обладают чудесным целительным влиянием на людей, Иоанн Сергиев догадался гораздо раньше появления в Кронштадте «благочестивой женщины». Так, в дневнике конца 1859 года уже появляется первая запись о воскрешении младенца:

«27-го числа декабря в 10 часов пополудни позвали меня крестить младенца к кронштадтскому купцу Алексею Коновалову и при этом объявили, что младенец очень слаб. Собравшись как можно скорее, я сел с причетником в извозчичьи сани и отправился в дом

означенного купца. Здесь приказал поскорее приготовить воду и вынести младенца. Когда младенец был вынесен, я тотчас же осмотрел его и нашел, что он был чрезвычайно слаб и жизнь в нем быстро потухала: на лице была уже смертная бледность, глаза, закатившиеся под лоб, не имели блеску и жизни – младенец засыпал сном смертным, и всё тело начинало холодеть. Видя, что над ним можно совершить только краткое крещение, я возгласил: *Благословенно Царство ...* и затем, прочитав молитву и влив в воду елей крестообразно, я помазал его, а затем взял на руки, чтобы погрузить в воду. Тут я окончательно убедился, что младенец живет последние часы, если не последние минуты: он был весь как кусок мяса – никакой плотности в частях тела. Я боялся, как бы он не скончался у меня на руках, но, надеясь на силу Таинства, в котором Дух Животворящий оживляет наши души, умерщвленные грехом и дьяволом, тем более силен оживить и тело – служебное орудие души, я погрузил его три раза в воду – во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вынув из воды и положив его на руки восприемнику, я услышал, что он закричал; взглянув ему в лицо, я увидел, что глаза, взгляд его стали видимо проясняться и в теле показалась некоторая живость; затем, когда я помазал его святым миром, младенца уже нельзя было узнать: глаза его загорелись и заблестели, лицо оживилось и расцвело, во всем теле, во всех его членах явилась необыкновенная живость».

Это было первое чудо отца Иоанна. С начала шестидесятых годов подобные записи начинают появляться всё чаще и чаще. Сам автор дневника смотрит на эти чудеса с некоторой опаской, но как бы вынужден их признать: «Младенцы Павел и Ольга по беспредельному милосердию Владыки и по молитве моего непотребства также исцелились от обдержавшего их духа немощи. У Павла малютки немощь разрешилась сном. Малютка Ольга получила спокойствие духа, и личико из темного сделалось ясным. Девять раз ходил молиться с дерзновенным упованием, надеясь, что упование не посрамит, что толкущему отверзется, что хотя за неотступность даст мне Владыка просимое, что если неправедный судия удовлетворил наконец утруждавшую его женщину (Лк 18:2–7), то тем более Судия всех праведнейший удовлетворит мою грешную молитву о невинных детях, что Он призрит на труд мой, на ходьбу мою, на молитвенные слова и коленопреклонения мои, на дерзновение мое, на упование мое. Прихожу в десятый раз – младенцы здоровы. Поблагодарил Владыку и пребыструю Заступницу. Мая 13-го дня 1862 г.»

Если для спасения детей требовалась девятикратная молитва, то для выздоровления взрослого человека бывало довольно одной, поскольку он сам участвовал в молитвах вместе со священником. «Брандмейстер Василий Иванович, бывши смертельно болен воспалением желудка девять дней и не получивши ни малейшего облегчения от медицинских пособий, лишь только причастился в девятый день поутру животворящих Таин – к вечеру стал здоров и встал с одра болезненного. Причастил с твердою верою. Я молился об нем ко Господу, чтоб исцелил его. Господи, говорил я, исцели раба Твоего от болезни его. Достоин есть, ему же даси сие: любит бо священников Твоих и дары своя присылает им. Молился и в церкви у престола Господня за литургией во время молитвы: *Иже общия сия и согласныя даровавый нам молитвы...* и пред самыми Тайнами. Я молился, между прочим, так: Господи! Животе наш! Как мне помыслить легко об исцелении, так Тебе исцелить легко всякую болезнь; как мне помыслить легко о воскресении из мертвых, так Тебе легко воскресить всякого мертвеца. Исцели убо раба Твоего Василия от лютой болезни и не допусти ему умереть, да не предадутся рыданию жена и дети его. – И благопослушливый Владыка помиловал. А то был на волосок от смерти. Сам признался уже на девятый день пред причастием, что нисколько нет ему лучше от пиявок и клистира. Слава всемогуществу, благодати и благопослушеству Господа!»

Наконец, в дневнике отца Иоанна начала шестидесятых годов появляется свидетельство о спасении по его молитвам одновременно целой группы людей, которые, возможно, даже ничего не знали о существовании необыкновенного священника.

«Сегодня один светский человек (Иван Кириллович Гречухин) по внушению Божию напомнил мне и вразумил меня, чтобы я помолился пред престолом Божиим за бедствующих

до смерти во льду морском. Я молился, несмотря на препятствия врага, на огненное неверие, сомнение. Бедствовавшие три дня в море спаслись во время обедни в то самое время, когда я молился. Благодарю Тебя, благопослушливый Владыко, яко внял еси недостойной молитве моей и исполнил ее. Благодарю Тебя, яко научил еси мя Духом Твоим, как подобает молиться Тебе о спасении погибающих. Несколько раз я повторял дерзновенные молитвы – до пресуществления Святых Даров, во время и после пресуществления».

В конце 60-х годов отец Иоанн еще раз убеждается в том, что может управлять природными стихиями: «30. VII. 1869. Воззвал я ко Господу с полным упованием о прекращении дождевого ливня, и чрез 5 мин. небо просияло».

Когда в Кронштадт пришла Параскева Ковригина, отец Иоанн уже обладал, хотя и в скромных пределах своего города, славой необыкновенного священника с даром исцеления болящих людей. Любопытно, что эта известность распространялась в том числе и на священнические семьи. И даже порой именно в семьях других священников к нему относились с большим почтением, нежели в собственной семье.

В воспоминаниях дочери священника, законоучителя кронштадтского штурманского училища отца Александра Лебедева Е.А.Лебедевой, относящихся к шестидесятым годам, когда она была еще ребенком, рассказывается такой факт:

«Отец Иоанн Ильич Сергиев был не намного старше отца моего по академии и по службе; он был близко и дружественно знаком с отцом моим, заходил к нам по пути на свои уроки в мужской гимназии, бывшей рядом с Штурманским Училищем за мостом, – и мать моя даже угощала его иногда завтраком. Помню, я лежала раз, кажется нездоровая, в гостиной на диване, а отец мой с отцом Иоанном ходили в беседе взад и вперед по диагонали комнаты, – и мне почему-то рисовалась среди них фигура ходящего с ними Христа Спасителя в белом одеянии, – как рисуют Его иногда среди Эммаусских путников... Мать моя и тогда уже чтит отца Иоанна, не имевшего позднейшей известности, и раз, помню, была я больная, в детской моей кровати, – отец Иоанн, случайно зашедший к нам, благословил меня и положил мне руку на голову. По уходе его мать сказала отцу: “Теперь я спокойна, Катя выздоровеет – отец Иоанн благословил ее”».

Примерно в эти же годы в семье самого отца Иоанна происходили другие сцены. Однажды он жалуется в дневнике:

«Великая ссора из-за племянника моего (Иван Фиделин, сын сестры отца Иоанна, который некоторое время проживал на его квартире в Кронштадте. – П.Б.), коего письмо похитила Анна Константиновна (младшая сестра жены отца Иоанна, также проживавшая на его квартире. – П.Б.) и жена моя Елисавета, – ссора из-за того, что я послал в Верколу второму племяннику Александру, крестному, одежду на 38 рублей. Об этом она прочитала в письме старшего племянника Ивана, живущего у меня. Сильно набросились на меня жена и Анна Константиновна, и ругательств было немало с их стороны; племянника называли рожей безобразной, мужиком, пьяницей, и мне досталось слов ругательных и довольно горячих, и я не напомнил ясно о моих благодеяниях им, паче же Божиих, а не моих... Горько мне было, смутился я... бросил их и пошел на свежий воздух гулять да молиться».

В другой раз он пишет: «Вечером сегодня вышла крупная неприятность с женою из-за того, что я обличил ее в подделке ключа к моему письменному столу и к внутренним ящикам и во взятии некоторых вещей и денег. Как лъвица разъяренная она <налетела> на меня и готова была растерзать; от злости ревела, выла, как бешеная; грозила ударить по щеке при детях (Анны Константиновны. – П.Б.); корила бабами, т. е. благочестивыми женщинами, имеющими со мною духовное общение в молитвах, таинствах, духовных беседах и чтениях, поносила самым бесчестным образом, а себя возвышала. Господи! Отпусти ей, не вест бо что говорит и творит. Вразуми ее всю омраченную житейскими суетами и сластями, утолсте и расшире и забы Бога...»

Среди этих «благочестивых женщин» была и Параскева Ивановна Ковригина.

Трудно сказать, как сложилась бы судьба Иоанна Кронштадтского, не появившись в ней – именно в самый зыбкий и неопределенный момент его жизни – эта женщина. Но точно так

же мы можем только гадать, что было бы со Львом Толстым после его «переворота», если бы в его жизнь в 1883 году не вошел Владимир Григорьевич Чертков. И пусть церковного человека, вероятно, оскорбит такое сравнение, а поклонники Толстого, возможно, над ним посмеются, но в популяризации идей позднего Толстого В.Г.Чертков сыграл примерно такую же роль, какую П.И.Ковригина сыграла в популяризации чудес отца Иоанна.

Но есть и более важный, глубоко интимный момент в их появлении в жизни этих людей. Чертков приходит к Толстому, объявляя себя его вернейшим учеником, в то время, когда новые идеи Толстого не приняты обществом, когда над ними смеются собраты-писатели (Фет и Тургенев), когда их отрицает семья и когда его всерьез грозят объявить сумасшедшим. Недаром именно в конце семидесятых годов он пишет «Записки сумасшедшего», которые уже самим названием как бы перекликаются с более поздними «Записками христианина». Ковригина тоже становится верной спутницей и пропагандистом отца Иоанна в то время, когда он болезненно сомневается в своем особом Божьем даре, когда его нередко травят в собственной семье и когда многие жители Кронштадта всё еще продолжают считать его ненормальным.

Но какая же гигантская социальная пропасть пролегает между этими людьми! Чертков – родом из великосветской княжеской семьи. Он – блестящий конногвардейский офицер с заведомо обеспеченной военной карьерой. Он богат и любим в среде своих товарищей. Наконец, его обожают мать и отец, ибо он единственный ребенок в семье после смерти двух своих братьев.

Вот как описывает первое появление Черткова сын Толстого Лев Львович:

«Блестящий конногвардеец, в каске с двуглавым орлом, красавец собой, сын богатейшей и знатной семьи, Владимир Григорьевич приехал к Толстому сказать ему, что он разделяет его взгляды и навсегда хочет посвятить им свою жизнь».

О появлении в Кронштадте Параскевы Ковригиной мы знаем только из книги об Иоанне Кронштадтском 1910 года, написанной его страстным поклонником и издателем газеты «Кронштадтский маяк» Николаем Большаковым. Однако манера его книги такова, что доверять ей приходится с большой осторожностью. С такой же осторожностью надо относиться и к биографии самой Ковригиной, изложенной Большаковым в житийном ключе.

Параскева Ивановна Ковригина, пишет Большаков, родилась 14 октября 1816 года в Костромской губернии, Чухломского уезда, Глазуново-Бушневской волости, Соборовского прихода, села Тушевино, в деревне Фалагино, отстоявшей от города Галича в двенадцати верстах. Семья состояла из благочестивых родителей Ивана Ивановича и Иулиании Филимоновны, четырех сыновей – Ивана, Косьмы, Иулиана и Андрея, и двух дочерей – Ксении и Параскевы. Все были крепостными князя Долгорукова.

Самая младшая из семьи, Параскева не отличалась красотой, зато была кроткой, смиренной и сострадательной к другим людям. С восемнадцати лет она вела в доме хозяйство, при этом любила принимать странников, что не очень нравилось даже благочестивым родителям. Большаков пишет, что, несмотря на отсутствие телесной красоты, у юной Параскевы не было отбоя от женихов, которых она привлекала своим характером, так что отцу пришлось выкупить ее из крепостных во избежание насильного замужества. Сама же она с молодых лет решила оставаться девственницей и посвятить жизнь Господу. Она была грамотной, но любила только религиозные книги, особенно жития святых.

Ее паломничества в монастыри и то, что она не пропускала ни одной воскресной и праздничной службы, хотя церковь находилась в семи верстах, также смущало ее родных. Некоторые деревенские люди издевались над ее набожностью и привязанностью подруг, сопровождавших ее в церковь и монастыри. Их называли раскольниками и хлыстовками.

Особенно полюбились Параскеве Решминская обитель, где подвизался благочестивый старец иеромонах Илларион, которого Большаков называет учеником преподобного Серафима Саровского. И вот будто бы старец Илларион перед смертью завещал Параскеве отправиться в Кронштадт, где живет «светило церкви Христовой» отец Иоанн, и служить при нем.

Известно, что у Серафима Саровского не было учеников. Отец Вениамин (Федченков) пишет, что единственным Илларионом, который жил рядом с отцом Серафимом, был саровский духовник отец Илларион, родившийся в 1770 году и скончавшийся в 1841-м. «Если именно он был окормителем Параскевы, то указанное завещание его было на 25 году ее жизни: в эти годы она и ходила по богомольям; тогда отцу Иоанну было лишь 12 лет...» Если речь идет об этом Илларионе, то или мы должны поверить в какую-то особую прозорливость старца, или признать, что был какой-то другой Илларион. Но тогда разрушается весьма популярный в агиографиях отца Иоанна миф о непосредственном преемстве его святости от святости Серафима Саровского.

Между тем, когда в конце шестидесятых годов Параскева Ковригина приехала в Кронштадт, там уже обосновались два ее брата. Один был зажиточен и скуп, второй – беден, но добр. У второго брата она и жила чаще. Но главной целью ее приезда, пишет Большаков, были не братья, а отец Иоанн. Во время первой же исповеди у него она попросила уделить ей время для духовной беседы, после которой священник привел ее к бедной женщине – Евлампии Петровне Шляпниковой, прося принять Параскеву как родную мать. Тогда Ковригиной было за пятьдесят, она была старше отца Иоанна на тринадцать лет. Сразу вслед за этим происходит ее отъезд в костромскую деревню, где она проводит еще три с половиной года. В 1872 году Параскева возвращается в Кронштадт и остается в нем навсегда.

Она становится неотлучной спутницей отца Иоанна во время его прогулок по городу и посещений районов, где жила городская нищета. Это не могло не броситься в глаза жителям Кронштадта, особенно женщинам. Именно женщины первыми стали обращаться к ней с просьбами разъяснить странности поведения этого необычного священника. Здесь был довольно тонкий и деликатный момент. Многие женщины просто стеснялись обращаться к священнику-мужчине со своими женскими вопросами и проблемами. Параскева, с ее прямым и открытым характером, стала идеальной посредницей между набиравшим популярность батюшкой и женским населением Кронштадта.

Нужно заметить, что в жизни отца Иоанна, в отличие от Льва Толстого, женщины вообще играли колоссальную роль. Среди его страстных последователей женщин было в значительной мере больше, чем мужчин. Все-таки толстовское движение всегда определялось мужчинами. Его лидерами становились Бирюков, Трегубов, Горбунов-Посадов, Попов, Хилков, Новоселов, Гусев и другие. Главным толстовцем был Чертков. Зато секта иоаннитов, доставлявшая отцу Иоанну немало хлопот, состояла в основном из женщин и возглавлялась женщиной – Порфирией Киселевой. Начиная с Ковригиной, свою жизнь отцу Иоанну посвящали почти исключительно женщины: монахини Таисия и Ангелина, светские дамы Верховцева и Духонина, не говоря уже об множестве насельниц женских монастырей, которые основал отец Иоанн.

На это обстоятельство многие обращали внимание, и оно вряд ли было случайным. Иррациональная, безрассудочная, но «теплая» вера отца Иоанна оказалась куда ближе женщинам, нежели рациональная, «книжная» и в то же самое время идущая скорее от пахаря-мужика, чем от хлопочущей по домашнему хозяйству деревенской Марфы, вера Толстого.

Однако Ковригина не ограничилась ролью только последовательницы отца Иоанна.

Николай Большаков считает, что именно она «убедила почтеннейшего отца протоиерея Иоанна устроить духовные беседы в достойных домах для жаждущих душевного спасения и просвещения и, получив на это благоплодное дело согласие и благословение отца протоиерея, оповестила знакомых о месте и времени беседы, предупреждая приглашать на нее только верующих».

Это утверждение Большакова сомнительно, потому что духовные беседы вне храма, на квартирах и даже на открытом воздухе отец Иоанн практиковал и до появления Ковригиной. Но в цитате из Большакова бросается в глаза сочетание «достойные дома». Что это значило? Отец Иоанн в начале своего служения отнюдь не выбирал «достойные дома», предпочитая проповедовать как раз среди крайней бедноты. Тем более ему не пришло бы в голову

отправиться с проповедями в Петербург, где его никто не ждал. Но благодарственное письмо в «Новом времени» было подписано исключительно столичными жителями. Нетрудно также заметить, что многие из них проживали компактно, то есть попросту были соседями. Предположить, что отец Иоанн по собственной инициативе выбрал себе определенный район Петербурга, чтобы там окормлять людей из другого прихода, невозможно. Это было бы вопиющим нарушением церковной дисциплины, на что он никогда бы не решился. Ковригина же, пишет Большаков, была человеком инициативным и считала, что место, которое отец Иоанн занимает в Кронштадте, скромнее его возможностей. Поэтому можно допустить, что именно она стала посредником не только между отцом Иоанном и женским населением Кронштадта, но и между кронштадтским священником и «достойными домами» Санкт-Петербурга. Иначе трудно объяснить, как в отдельном районе столицы вдруг образовалась целая группа его поклонников.

В 1880 году отец Иоанн отмечает двадцатипятилетие своего священнического служения. По этому поводу ему подносят в подарок наперсный крест из золота и драгоценных камней стоимостью 800 рублей – огромные по тем временам деньги!

Большаков утверждает, что инициатором сбора этих 800 рублей также была Ковригина. Между тем к тому времени еще даже не был возведен Дом трудолюбия в его окончательном виде, еще не было письменных сношений отца Иоанна с царской семьей и Победоносцевым. Он был обычным кронштадтским протоиереем. Конечно, такой подарок был вызывающим актом. Не случайно в своей благодарственной речи отец Иоанн сказал: «Но как я вложу его (драгоценный крест. – П.Б.) на перси, когда Пастыреначальник наш Господь Иисус нес деревянный крест на рамена Своих для принятия несправедливой казни за нас, изнемогая под тяжестью его?» Тем не менее крест был принят, как и другой, ценой уже в 2000 рублей, подаренный ему на тридцатилетие его служения, в 1885 году. Это случилось уже после публикации в «Новом времени» благодарственного письма. И если сбор денег на первый крест, как пишет Большаков, оказался для Ковригиной достаточно трудным делом, то во втором случае в Кронштадте возникли две «противоположные партии: одна вызвалась на сбор сама, другую же наметила для сбора старица Параскева». В результате «первая партия, зараженная самолюбием, не имела вовсе успеха; зато у второй – доброхотные жертвы дарствующих, благодарных превзошли всякие смелые ожидания».

Однако с поднесением второго креста возник неприятный инцидент, связанный с Ковригиной. Приветственную речь юбиляру произносил известный в Санкт-Петербурге проповедник, магистр богословия и протоиерей Вознесенской церкви В.Я.Михайловский. Большаков считает, что с просьбой написать и произнести речь обратилась к нему именно Параскева. Так это или не так, но в своей речи Михайловский упомянул имя старицы. Это вызвало у некоторых граждан негодование: «Ослепленные духом презорства к низшим себя по положению, находили несовместным ставить рядом имя столь высокопочитаемого, ученого пастыря с именем худородной и неученой старицы», – пишет Большаков.

Наконец, Ковригина, как утверждает Большаков, была инициатором письма в «Новое время». Этому нет ни одного документального подтверждения (книга Большакова не является документом), но, зная механизм составления любых коллективных писем в газеты, невозможно допустить, что это письмо родилось случайно и произвольно и у него не было вдохновителя и организатора. И весьма вероятно, что этим организатором была Параскева, которая, судя по речи Михайловского, опубликованной в «Кронштадтском маяке», в то время уже была известна в Петербурге.

Параскева Ивановна Ковригина скончалась в Кронштадте в 1886 году. На отпевании в церкви Александра Невского при Доме трудолюбия отец Иоанн произнес надгробное слово, в котором процитировал слова апостола Луки: «Не умре девица, но спит». Затем над ее могилой была возведена часовня.

Ее роль в судьбе отца Иоанна, конечно, во многом была легендарной. Не случайно эта роль подвергается сомнению некоторыми исследователями (например, Надеждой Киценко). Но если это отчасти и легенда, то она имела под собой реальные основания. Во всяком

случае, без нее трудно объяснить многие метаморфозы, которые происходят с отцом Иоанном в начале восьмидесятых годов, когда начинается его новая жизнь, полная не только великих свершений, но и серьезных конфликтов.

ОДИН НА ВСЕХ

С 1883 года жизнь отца Иоанна круто меняется. Если в первые двадцать пять – тридцать лет его служения перед ним стояла проблема *поиска* нуждавшихся в его помощи, для чего он отправлялся в бедные районы Кронштадта, а также обретения средств для устройства Дома трудолюбия, то в последующую четверть века его проблема была принципиально другой: *как помогать, чтобы не отказать в помощи всем, кто обращался к нему за ней?* Ведь счет алчущих спасения шел уже не на десятки и сотни, а тысячи и тысячи.

Надежда Киценко пишет, что одних только сохранившихся писем к отцу Иоанну с просьбами об исцелении себя или своих родственников, написанных с 1883 года по 1908 год, существует не меньше четырех тысяч. На самом деле не только подсчитать, но и представить себе их реальное количество невозможно. Известно лишь, что в какой-то момент почта Кронштадта была вынуждена открыть особое отделение для приема писем и телеграмм отцу Иоанну. Каждый день их доставляли на его квартиру мешками. В конце концов священник был вынужден создать штат людей, которые разбирали эти письма, а ответы на них печатались по единому образцу литографическим способом, куда отец Иоанн своей рукой вписывал имена просителей и ставил внизу свою подпись.

Но одними письменными просьбами об исцелении дело не ограничивалось. В Кронштадт хлынули тысячи паломников, желавших лично побеседовать с прославленным священником, получить его благословение, что-нибудь из его рук или хотя бы прикоснуться к его рясе. Из обычного или даже необычного протоиерея он превращается в объект культа, становится «Всенародным Батюшкой». Современник напишет о нем: «Вся Россия – это приход отца Иоанна».

Он начинает много ездить по стране. Вятка, Самара, Вологда, Саратов, Киев, Харьков и другие города. В Петербурге он бывает почти каждый день, когда живет в Кронштадте. Этот день как бы распадается надвое. Он встает в четыре часа утра, служит литургию в соборе, затем пересекает Финский залив по воде или по льду и посещает столичные дома, куда его наперебой зовут, возвращается в Кронштадт поздно вечером или ночью, молится в садике возле своей квартиры и ложится спать не раньше двух часов. Непонятно, чем и когда он питается. Во всех обеспеченных домах Петербурга, куда он приезжает служить молебны, для него, разумеется, накрываются столы, порой весьма обильные, но он успевает только съесть печенье или кусочек рыбы и отпить немного чая, редко – вина, чтобы помчаться в новый дом, где его ждут с последней надеждой.

Когда он отдыхает? В поездках. Когда он пересекает Финский залив на катере или в санях, у него есть час-другой для сна. Но и на катере, в каюте или на палубе его чаще видят молящимся, ибо молитва, по его убеждению, это «дыхание души». Молиться значит дышать. На посторонний взгляд, это жизнь на износ. Но при этом он всегда бодр и свеж и до самой глубокой старости выглядит гораздо моложе своих лет. На старика он становится похож буквально в последние три-четыре года своей долгой жизни.

Начиная с 1883 года феномен Иоанна Кронштадтского невозможно разумно анализировать. В него можно только верить или не верить. В этом главная проблема любого биографа, который не желает создавать очередное «житие» этого человека, когда каждый его поступок и всё, что происходило вокруг него, объясняется исключительно его святостью и Промыслом Божиим.

Определенно сказать можно только одно: с какого-то момента жизни отец Иоанн перестает быть просто человеком и священником. Он превращается в средоточие последних надежд миллионов «разнообразно» страдающих людей, каждый из которых непосредственно

обращает свое горе и свои страдания к единственной личности и просит и даже требует от нее скорейшей помощи. Мало кто идет к нему за советом «как жить?». Подавляющее большинство видит в нем источник буквального и мгновенного «чуда», нечто вроде ожившей чудотворной иконы, нечто вроде живых святых мощей. И конечно, мало кто задумывается над тем, что переживает внутри себя эта «икона», которая тем не менее состоит из плоти и крови, нервов и мозга, которая сама может переживать и страдать.

В книге иеромонаха Михаила (Семенова) описан обычный день отца Иоанна в Кронштадте:

«Начинают звонить к заутрене.

У дверей отца Иоанна ждут. Пестра и разнообразна толпа богомольцев: здесь важный барин, забывший свою чопорную спесь, а рядом больная старушка, шепчущая молитву и вся проникнутая верою в благодатную силу молитвы отца Иоанна. Тут же тоскливо задумчиво стоит, прижавшись к стене, бледная, худая женщина, в рваном пальтишке, плохо защищающем ее от порывов сильного ветра. Скорбное выражение горькой безвыходной нужды и горя отпечатлелось на ее посиневшем лице и ясно отразилось в ее глазах, с надеждой устремленных на дом отца Иоанна. Она терпеливо ожидает появления батюшки, чтобы взглянуть на лицо его, полное сострадания; одного ее взгляда на него достаточно кажется ей, чтобы утешить ее скорбящую душу, успокоить, согреть, спасти.

Вот он показался в дверях... Его быстро проводят и сажают в экипаж. Иначе ему не добраться до церкви через толпы “чающих движения воды”. Народ бросается за экипажем, его хватают за колеса. Тут и там крики: “Батюшка, благослови! Батюшка, помолись!”, и вся толпа, как один человек, бросается бежать вслед за его экипажем, повторяя свои возгласы и ловя на лету благословляющую руку. Народ бежит вплоть до калитки, устроенной позади собора, через которую отец Иоанн и входит прямо в алтарь...»

Если бы он входил в храм через главный вход, он не смог бы добраться до алтаря. Пытались вдоль стены храма решетками огородить проход для священника, но это мало помогало. «Рассказывали, был однажды такой случай: отец Иоанн хотел кого-то благословить через решетку, когда проходил в алтарь этим местом. Тотчас же схватили его руку и начали ее покрывать поцелуями, передавая друг другу.

– Передай мне, передай, – слышалось везде в народе».

В воспоминаниях очевидца событий Ивана Щеглова рассказывается о том, что происходило, когда Иоанн Кронштадтский попытался выйти из собора «через народ», а не служебной дверью.

«...Одна из боковых алтарных дверей приотворилась, и на пороге показался отец Иоанн. Что тут произошло – трудно даже себе и представить! Лишь только показался любимый пастырь, как весь народ неудержимой волной, тесня и давя друг друга, хлынул в его сторону, а стоявшие за решеткою (перед амвоном) вмиг очутились на амвоне и чуть не сбили отца Иоанна с ног.

При помощи псаломщика и двух сторожей Батюшка быстро перебрался на левый клирос и сделал шаг вперед, чтобы пройти с этой стороны. В одно мгновение та же толпа, точно ее толкнула какая-то стихийная сила, стремительно шарахнулась влево и, простирая вперед руки, перебивая друг друга, крича и плача, настойчиво скучилась у церковной решетки. О чем кричали, о чем молили – трудно было разобрать, потому что эти крики и мольбы сливались в один неясный, оглушительный вопль...

Отец Иоанн, затиснутый в угол, стоял покорно, прижавшись к стене. Пройти от алтаря до паперти оказалось делом долгим и даже небезопасным. Предвидя трудности этого пути, двое городских, два сторожа и несколько человек из именитых купцов стали по обе стороны намеченного пути и протянули толстую веревку, за которую крепко уцепились руками.

Но лишь только отец Иоанн двинулся вперед, эта веревка с треском лопнула, городские и купцы в одну минуту были отброшены в сторону, и толпа, смешавшись и сбивая с ног друг друга, плотной стеной окружила Батюшку. Теперь отец Иоанн вдруг как бы исчез, и некоторое время его было вовсе не видно. На минуту, когда кричащая и волнующаяся

толпа колыхнулась в сторону, я увидел отца Иоанна. Смертельно бледный, сосредоточенно печальный, медленно, шаг за шагом, точно в безжалостных тисках подвигался он вперед, видимо с трудом освобождая руку для благословения. Чем ближе подвигался он к выходу, тем толпа становилась настойчивее, беспощаднее, крикливее. У меня дух захватило от этого зрелища, и я невольно закрыл глаза.

Когда я открыл их снова – отца Иоанна не было в церкви, да и народу тоже почти не было. На полу там и сям валялись обрывки веревки, перчатки, клочок вязаной косынки и другие следы недавнего урагана.

Глаза мои сочувственно встретились со взглядом старика сторожа.

– Господи, что же это такое? Неужели это всегда так?

Сторож вздохнул.

– Эх, милый барин! Ежели бы всегда так... А то вот намедни, на Успение, нашло народу так, что как есть сшибли с ног Батюшку.

– Как сшибли?

– А так, сронили наземь и пошли по нем...

– А он что?

– Известно, агнец Божий, встал, перекрестился и пошел, не промолвив ни словечка».

Подобные сцены могли произойти везде. Православный писатель Владимир Ильинский вспоминал, как Иоанн Кронштадтский приезжал в столицу:

«Из Дома Трудолюбия отец Иоанн отправился на пароходную пристань и здесь сел на пароход, идущий в Петербург. Он занял отдельную каюту и не выходил из нее до самой остановки парохода... В Петербурге на берегу его также ждала большая толпа народа и, как только он ступил на землю, сейчас же, по обыкновению, охватила его тесным кольцом.

Провожавший отца Иоанна полицейский чин был оттерт, и отцу Иоанну пришлось прокладывать себе дорогу к карете собственными усилиями. И это было нелегко для него. Его не только давили люди своими телами, иные, быть может, поневоле стесняя его движения, но другие, особенно женщины, хватились за полы его рясы, цеплялись за рукава и таким образом намеренно удерживали его на месте. Я видел развевающиеся над головами окружавших его лиц то правый, то левый рукав его рясы. Это он вырывался из цепких рук излишне восторженных почитателей и – особенно – почитательниц. Можно было думать, что на небольшом пространстве, отделявшем пароход от кареты, он более уставал, чем за десять часов служения, бесед и благотворительности».

Вера женщин в отца Иоанна была исключительной не только в силу особенности женской психологии или отношения к религии. Женщины были меньше защищены в социальном плане, а с другой стороны – подвержены всевозможным женским болезням, которые или не могла лечить медицина того времени, или же она просто не доходила до низших социальных слоев, где эти болезни и были наиболее распространены.

Наконец, большинство из этих женщин были женами и матерями, страдающими за (или от) своих мужей, вынужденными растить детей, которые, в свою очередь, часто болели, а порой становились калеками от рождения или с раннего детства. Надежда Киценко приводит женские письма, которые нельзя цитировать без смущения, но без них невозможно и оценить до конца то чудовищное напряжение массового (но в каждом отдельном случае – индивидуального) горя, которое свалилось на отца Иоанна с началом его так называемой «всемирной славы».

Мать одиннадцатилетней девочки пишет о том, как ее дочь обезумела от страха, когда на нее в темноте напал пятнадцатилетний подросток. Она умоляет отца Иоанна: «Теперь она проводит день и ночь у меня на коленях и не дает мне отступить на шаг; другим не допускает подойти. Помолитесь, батюшка, хоть бы один конец ей или хоть она притихла и меня отпускала от себя хоть на часик, бывают же в семьях идиоты, я смирюсь с этим и не ропщу на Бога, согласна, Батюшка, каждый труд нести, но только не так».

Другая женская история в послании к отцу Иоанну гораздо более типична:

«Нахожусь я в несчастном семейном положении прибегаю к вашему покровительству и

со слезами припадаю к Вашим стопам смиренная раба Александра Тимоф. Конашкина прося Вашей всемогущей молитвы наставления и вразумления моего заблудшего мужа... <который> ужасно пьянствует напившись водки всегда начинает ругаться скверными срамными и матерными словами не стыдясь ни малых своих детей ни жены ни старых людей и даже на своих родных наприим. на сестер и братьев часто ругается скверными матерными словами. Моя же супружеская жизнь самая невыносимая, от пьяного я терплю всегда оскорбления и насилия оскверняя свое супружеское ложе не сознавая ни праздников ни постов ни меры времени. На пути кабаков он никогда не минает, *как будто его тянет какая невидимая сила*, когда же приезжает домой всегда пускается в брань в скверные песни в пляски работники часто скрываются не ужинавши детишки малые как птицы от хищного коршуна стараются скрыться куда либо в угол и льют слезы видя отцовские беспорядки».

К батюшке обращаются с проблемами, о которых было бы немислимо написать к другому священнику:

«Лицо дочери моей Эмилии от золотухи очистилось, но меня беспокоит то, что у нее очень много выходит мокроты носом и низом, хотя ей еще только в мае будет 13 лет...»

В воспоминаниях художника С.В.Животовского, однажды сопровождавшего Иоанна Кронштадтского на пути в родную Суру, приводится совершенно пронзительная история:

«В одном месте во время нашей остановки у небольшого поселка, где мы брали дрова, вместе с другими крестьянами вошла к нам на пароход женщина, неся на спине какое-то странное существо, плотно прижимавшееся к ней. Обезьянка – не обезьянка, но и на человека походит мало. Сгорбившееся туловище на длинных кривых ногах и с такими же длинными и тонкими руками плотно прижималось к спине матери. Большая продолговатая голова с впалыми щеками свесилась вперед и, казалось, готова была оторваться от тонкой с огромным кадыком шеи. Оказалось, этому странному существу 19 лет. Мать опустила его на палубу парохода у ног отца Иоанна.

– Помолись, родимый, о нем. Давно он к тебе просится. Так ничего не понимает, потому – убогий он, но к тебе вот давно всё просится, – обратилась она к Батюшке.

Маленькое убогое существо подняло свои безумные глаза кверху и улыбнулось отцу Иоанну.

Батюшка взял в руки его голову и начал гладить и ласкать его.

– С испугу это с ним приключилось, – пояснила мать. – Мальчиком, по пятому годку, испугали его на пожаре. С тех пор вот и захирел, и поглупел...

После благословения отца Иоанна маленькое существо заметно оживилось. Оно радовалось. Радовалось, смутно понимая, что его приласкал тот самый, всегда и со всеми добрый кронштадтский Батюшка, отец Иоанн, о котором в его селе и в его семье с детства так часто упоминали.

Когда наш пароход отчалил от берега, за толпою баб, вошедших по колена в воду, я видел сидящего на берегу Степушку – так звали испуганного мальчика, – совсем веселого. Он подбрасывал кверху камешки и радовался, как радуются маленькие дети. Бабы окружили его и с любопытством смотрели то на него, то на наш удаляющийся пароход. Очевидно, со Степушкой произошло нечто, чего обыкновенно с ним не бывает».

Трудно и даже невозможно рационально анализировать эти письма и встречи, которых в жизни отца Иоанна были тысячи. Ясно, что ничего подобного не могло случиться в жизни Льва Толстого, хотя культ вокруг его имени возникает в те же восьмидесятые годы и существует при его жизни примерно те же самые двадцать пять лет. Если писателю и приходили такие письма, то мы не знаем ответов на них. Философия и религия Толстого были рассчитаны на разумных и духовно сильных людей, а не на матерей с «испуганными мальчиками». Что мог он сказать им? «Творите добро?» «Любите ближнего?» «Не противьтесь злу силою»?

Но и что мог Иоанн Кронштадтский – один на всех? Нам известны множество фактов исцелений по его молитвам, даже заочным. В книге И.К.Сурского собрано огромное количество свидетельств женщин, жен и матерей, чья жизнь и жизнь их семей существенно

менялись после встречи или хотя бы переписки с «великим священником земли русской», как называл отца Иоанна публицист и общественный деятель М.О.Меньшиков. Но мы ничего не знаем о тех, чья жизнь *не изменилась* после этого и таким образом, возможно, была утрачена последняя надежда. Мы ничего не знаем о жизни тех простых людей, которым *не удалось* лично добраться до священника, ибо в какой-то момент, по словам Надежды Киценко, «спрос на него превысил предложение». В воспоминаниях Владимира Ильинского о приезде отца Иоанна в столицу описан символический случай:

«Когда отец Иоанн сел наконец в карету и поехал, толпа и тут некоторое время двигалась следом за ним; а одна женщина бежала за каретой, когда лошади увозили отца Иоанна полной рысью. Мне хорошо была видна с парохода ее фигура. Высокая, с вытянутыми вперед руками, она бежала длинными шагами. Платье на ней далеко отдавалось назад. Платок развевался сзади. Вся ее внешность выражала стремительный порыв. Трудно было решить, чего тут больше: болезненной ли истеричности, когда человек теряет способность правильно расценивать впечатления, тяжелых ли душевных мук, оставшихся неисцеленными, или – быть может – глубоких нравственных запросов, для которых наконец найдена точка опоры? Над женщиной смеялись, но мне она казалась типичным выражением состояния, переживаемого сотнями тысяч и миллионами людей нашего времени, нравственно растерянных, страдающих и ищущих то с надеждой, а то и без всякой надежды, с одной мукою отчаяния...»

ЦЕНА СЛАВЫ

Примерно с середины восьмидесятых годов на религиозной карте России появляется новое место православного паломничества, вполне сопоставимое по своей притягательности и многочисленности людских потоков с такими святыми местами, как Киевско-Печерский монастырь, Троице-Сергиева лавра и Оптиная пустынь.

С началом популярности отца Иоанна начинается и «охота» за ним, в которой паломникам и жителям тех городов, куда он приезжал, приходилось прибегать к немалому искусству и всевозможным ухищрениям. Сам священник был повинен в этом не больше, чем Лев Толстой в том, что не мог часами беседовать с людьми, которые приезжали в Ясную Поляну не столько за смыслом жизни, сколько из праздного любопытства. Но количество обиженных и обойденных «исключительным» вниманием святого священника постоянно росло, создавая ему теневую репутацию человека, сверх всякой меры о себе возомнившего, взявшего на себя миссию, которая ему не по силам. Как следствие стали расти слухи о том, что дело здесь нечисто, что за образом народного «идола» скрываются вполне меркантильные интересы и тщеславие – жажда славы земной.

Мало кто задумывался над тем, что этот отважный человек ежедневно подвергался смертельной опасности, оказываясь в плотной толпе людей, среди которых находились не только жаждущие духовного спасения, но и обычные сумасшедшие, и больные заразными болезнями, не исключая проказу. Известно, что однажды отец Иоанн посетил петербургский лепрозорий, где провел долгое время, беседуя с больными и молясь вместе с ними.

Весной 1887 года в петербургских газетах появилось первое известие о покушении на отца Иоанна.

Матвей Иванович Теканов, артельщик кронштадтского пивоваренного завода, пригласил священника для беседы в квартиру, которую он снимал в доходном доме купца Быкова. Сразу по приходу отца Иоанна он начал на него кричать, потом молился по-раскольничьи на его глазах. Священник стал увещевать артельщика. «Тогда он вскочил на ноги и обхватил обеими руками кольцом вокруг туловища отца Иоанна, стал давить его с такой силою, что последний едва мог вскрикнуть», – писала газета «Новое время». Когда отца Иоанна освободили от покушавшегося, Теканов вышел на улицу, где его «узнали и указали на него собравшейся у дома Быкова толпе, которая бросилась на него и сбила с ног. У него вырвали бороду и ему нанесли тяжкие удары», – сообщала газета «Новости». Дело

получило такую широкую огласку, что о нем написал Н.С.Лесков, не любивший Иоанна Кронштадтского, но следивший за его деятельностью с предвзятым интересом. Тем не менее даже Лесков не мог не отозваться одобрительно о том, что отец Иоанн отказался возбуждать уголовное дело против Теканова. Но при этом писатель заметил: «Случай же с Текановым должен послужить мало знающим о простом народе городским священникам напоминанием о том, о чем хорошо знают самые обыкновенные священники сельские, т. е. об осторожности, необходимой в присутствии экстатиков, на которых всегда ужасно действует теснота, спертый воздух, дым курений и необыкновенное чтение...»

Вместе с переменой образа жизни отца Иоанна меняется и жизнь всего города Кронштадта. Из военной и портовой крепости он превращается как бы в центр духовного туризма, с соответствующей инфраструктурой и характерными особенностями туристического города. На отце Иоанне стали зарабатывать. И не все эти деньги затем шли на благотворительность.

Священник Иоанн Попов вспоминал, как в январе 1892 года он впервые приехал в город Кронштадт:

«Переночевавши в Петербурге, спешу в Кронштадт. За тридцать три копейки доехал по железной дороге до Ораниенбаума; здесь за сорок копеек нанял извозчика. Что за торжественный поезд был до Кронштадта по морю! Дорога по льду ровная и прямая, со столбами, с будками, и по этой линии гуськом, от самого Ораниенбаума и до Кронштадта, на протяжении восьми верст, почти непрерывно вытянулись подводы извозчиков с пассажирами: едут в одну лошадь, едут парой, тройкою, сани всевозможных сортов, равно как и сами извозчики – русские, чухонцы, как и сами лошади – русской и чухонской породы. Сотни подвод едут в Кронштадт, обгоняют друг друга, и все «к батюшке». Едут изредка и обратно: вот летит резвая пара лошадей с санками, а в них сидят какой-то военный и рядом с ним женщина, и платочком последняя закрыла лицо: “Верно, плачет”, – подумалось мне...

При самом въезде в город встречают гостей услужливые хозяйки квартир, “к нам, к нам пожалуйте: у нас батюшка бывает каждый день”, даже извозчик предлагает подобного же рода услугу, но я, запасшись раньше адресом покойной квартиры, строго приказываю извозчику везти меня на Андреевскую улицу²⁵, в квартиру против ворот отца Иоанна... Вхожу в квартиру: хозяйка радушно встречает и предлагает за недорогую цену комнатку. Осматриваю новое временное жилище. Всё говорит о дорогом батюшке: во всех комнатах, кроме икон с горящими лампадами, висят на стенах в хороших рамах портреты отца Иоанна с собственноручными его надписями; на столах, под иконами, – фарфоровые вазы с водой – для водосвятного молебствия. Приезжие прибывают и размещаются кто в общей комнате, кто – в особых».

Но и особые комнаты не гарантировали встречи со знаменитым священником. Повидать его лично, лицом к лицу – это большая удача или «знак Божий», как это расценивали многие. Маршрут отца Иоанна по городу был непредсказуем и никогда не подчинялся точному расписанию. Тот же отец Иоанн Попов, при всей бесконечной любви к батюшке, тем не менее рисует нам и сцены обманутых надежд:

«И вот мы ждем его посещения. Проходит одиннадцатый час, проходит двенадцатый и первый часы в томительном ожидании отца Иоанна для молебствия. Всё приготовлено для этого: лампадки все зажжены, на столе, в “общей” комнате, сложены поминальные записочки, а на тарелочке – жертвы (серебряные монеты), даже ваза с водой открыта... Вдруг мимо наших окон промчалась пара лошадей с извозчиком в санках... “Отца Иоанна увозят! Отец Иоанн уезжает в Петербург!” – пронеслась между нами печальная весть... Меня просит хозяйка сопутствовать ей в соседний дом с просьбой к отцу Иоанну посетить и нас. Идем. Меня пропускают в дом и дверь входную – на запор, так как на улице уже собралась толпа, которая окружила санки и напирает в двери дома. Стою я в выходном

²⁵ Вероятно, ошибка памяти. Иоанн Кронштадтский жил на Михайловской улице, бывшей Посадской.

коридоре, прислушиваюсь и наблюдаю: кратко и поспешно совершается молебен в комнате одной, потом в другой; замечаю большую суету в доме, особенно самой хозяйки: то быстро подойдет она к выходным дверям и прикажет, чтобы заперли и никого не пускали в дом; в самом доме те двери отворит, другие затворит; сами же квартиранты чуть не буквально бегают из одной комнаты в другую, очевидно, за батюшкой...

Быстро растворяется дверь, и отец Иоанн быстро идет к выходу; какая-то старушка накидывает на него его теплую рясу, и не заметил я, как моментально он надел ее, на ноги калоши, взял шапку и уже очутился совсем у выходной двери, а тут и сани; его преследует толпа, в коей замешался и я; со всех сторон слышатся просьбы: «Батюшка! Зайдите к нам! Благословите! Болящая! Батюшка! Батюшка!..» У выходных дверей, несмотря на все старания молодого псаломщика, так стиснули отца Иоанна, что он немного поморщился, но не сказал ни слова; прорвался он через толпу, сел в сани; но толпа устремляется к саням, хватая за рясу; отец Иоанн возлагает руку, на все стороны, раз даже назад подал руку, и всё так быстро, что едва успеваешь уследить; просьбы своей я, оттесненный толпой, не успел высказать... Сани скоро скрыли отца Иоанна из вида толпы».

Сам Иоанн Попов мог не беспокоиться на свой счет. Любой приезжий священник, городской или сельский, белый или монах, имел право не только бесплатно разместиться в гостинице Дома трудолюбия, но и сослужить отцу Иоанну на литургии. Однако светские лица, чтобы попасть в алтарь, где собиралось до ста человек, должны были получить у церковного старосты «билет». Эти билеты в том числе и – продавались.

Несомненно, сам того не желая, отец Иоанн превратился в объект не только религиозного поклонения, но и спекуляции. Это была неизбежная обратная сторона положения, в которое он поставил себя, отказавшись от всякого контроля над стихией народного поклонения, перераставшей в идолопоклонство.

Вот чего сумел избежать Лев Толстой. Он в корне пресек все попытки использовать себя в качестве «бренда».

Все-таки Ясная Поляна не обростала мелкими частными гостиницами, и на вход в имение Толстого не нужно было покупать билетов. Однако справедливости ради скажем, что и масштабы паломничества в Ясную Поляну и Кронштадт были разными.

Чтобы представить себе, что произошло бы с Ясной Поляной, если бы размеры народного паломничества к Льву Толстому приближались к кронштадтским, достаточно прочитать воспоминания С.И.Цветкова о посещении отцом Иоанном имения Рыжовка под Харьковом, куда он приехал летом 1890 года по приглашению хозяина имения, богатого купца Рыжова, с намерением отдохнуть.

«На ближайшей от Харькова станции Рыжово вагон был отцеплен, и отец Иоанн, сопровождаемый несметной толпой народа, отправился в имение Рыжовка, где для него был приготовлен в саду домик-особняк на все время его пребывания в Харькове.

В первые дни отцу Иоанну жилось в Рыжовке относительно тихо и спокойно, но что началось через два-три дня – описать невозможно... Первым результатом его пребывания было то, что цветы и клумбы в саду имения были потоптаны и стерты с лица земли, красноречиво указывая на громадное стечение публики.

И вот, вместо отдыха, для отца Иоанна начались трудовые дни, какие он проводит в Кронштадте и Петербурге...

За время пребывания отца Иоанна в имении Рыжовка перебивало народу примерно до 100 тысяч человек. Бывали дни, когда под благословение его подходило по 7–8 тысяч человек в день. После первых двух дней Рыжовка очутилась буквально в осадном положении. Тысячи народа располагались лагерем около имения. Тут и чай пили, и закусывали, и спали; некоторые ожидали очереди по нескольку суток. Рыжовка находится в 10 верстах от Харькова. Каждый почти поезд привозил туда не менее 500 человек, так что, как мы слышали от администрации дороги, на каждый поезд выдавалось билетов столько, сколько в другое время не продается и за два месяца. Благодаря необыкновенному скоплению пассажиров к поезду прицеплялось по 10–12 добавочных вагонов. Для

поддержания порядка был откомандирован усиленный наряд полиции».

Когда в 1910 году Толстой возвращался в Ясную Поляну из Москвы, на Курском вокзале были погнуты фонарные столбы, на которых висели зеваки. Во время проводов отца Иоанна в Харьков на том же Курском вокзале на груди священника погнули его наперсный крест. Известно, что Толстой страдал от своей славы, и одной из причин его ухода из Ясной Поляны была невозможность одиночества, которого он в последние годы жизни страстно желал. Но мы ничего не знаем об отношении к своей славе Иоанна Кронштадтского. Несомненно, он страдал, но никогда ни словом об этом не обмолвился. У отца Иоанна было принципиально иное отношение к «толпе», чем у Льва Толстого.

Во-первых, у него не было прививки аристократизма, который всегда отличал Толстого, даже во время «опрощения», о чем писал его сын Илья Львович. Отец Иоанн крепко помнил о своем происхождении и о своей бедной родне. Во-вторых, та миссия, которую взял на себя отец Иоанн, исключала какие бы то ни было ограничения в непосредственных, именно физических контактах с толпой. Отказавшись от ухода в монастырь, но став олицетворением святости еще при жизни, он попадал в двусмысленное положение, ибо на святыню имеют равные права все жаждущие спасения. Наконец, объявляя себя посредником между Богом и людьми, от чего в самой категорической форме отказывался Толстой, он брал на себя обязанность никому не отказывать в общении с Богом; больше того, он должен был стремиться к максимальному расширению этого общения, без всяких скидок на свои проблемы. В отличие от Толстого, у него не могло быть на этот счет оправданий – личных или семейных.

ОБЩИЕ ИСПОВЕДИ

Рост популярности кронштадтского священника неизбежно вносит изменения в атмосферу служб в Андреевском соборе. Все приезжающие в Кронштадт стремятся если не лично поговорить с отцом Иоанном, то во всяком случае исповедаться у него и причаститься из его рук. Некоторое время он пытается вести службы обычным порядком, исповедуя каждого нуждающегося в покаянии лично. Вот как описывает это Николай Большаков:

«Отец Иоанн исповедует без ширм у аналоя, поставленного у царских врат одного из приделов собора. Несмотря на то что исповедь продолжается более полусуток, несмотря на спертый воздух в соборе, труженик-пастырь никогда не имеет обыкновения садиться. Всё время стоя, облокотившись на аналой, он, со свойственной ему терпеливостью, выслушивает каждого, побуждая его заглянуть в самые отдаленные тайники сердца, и часто проливает слезы вместе с кающимся. Выслушав от кого-нибудь признание в каком-нибудь особенном грехе, он оставляет исповедующегося, обращается к иконе Спасителя и прочитывает вслух ряд покаянных молитв ко Господу и Божией Матери, Царице Небесной. Иногда он удаляется в алтарь и там, упав на колени пред престолом Всевышнего, молится тайно со слезами.

В течение всего дня он почти ничего не ест, если не считать самого малого количества пищи (два-три соленых грибка и стакан миндального молока). Часов в одиннадцать вечера, сильно утомленный, он обыкновенно обращается к исповедникам со словами:

– Друзья, я оставляю вас на полчаса, поеду подышать воздухом.

И действительно, проехавшись по городу, через полчаса он опять возвращается. Об усталости отца Иоанна очевидцы могут судить по тому, как он иногда при входе в алтарь с усилием разгибает усталые члены, шепча про себя слова молитвы.

Исповедь начинается снова...»

Наконец, за недостатком времени и полной невозможностью исповедать каждого пришедшего на исповедь отдельно, отец Иоанн начинает практиковать свои знаменитые *общие исповеди*, которые вызывали весьма неоднозначную реакцию у современников, в том числе и со стороны русского духовенства.

Их сравнивали с подобием Страшного суда, с природными стихиями, вроде бури или землетрясения, а злые языки утверждали, что они очень похожи на хлыстовские радения. Так

или иначе, но без общих исповедей невозможно понять феномен Иоанна Кронштадтского, поскольку в них «градус» народного поклонения этому священнику и внеразумной веры в силу его молитвы достигал как бы точки кипения, уничтожая в молящейся толпе всякие индивидуальные различия и превращая ее в единое покаянное «тело». Вернее всего было бы сравнить это с некой духовной «баней», где все равны в своей нечистоте и все желают одного: очищения.

В начале общей исповеди отец Иоанн обычно произносил проповедь на сюжет библейской истории. Затем говорил несколько слов о покаянии и громко на весь собор призывал собравшихся: «Кайтесь!»

«Тут стало твориться что-то невероятное, – пишет протоиерей Василий Шустин. – Вопли, крики, устное исповедание тайных грехов. Некоторые стремились – особенно женщины – кричать как можно громче, чтобы Батюшка услышал и помолился за них. А Батюшка в это время преклонил колени пред престолом, положил голову на престол и молился. Постепенно крики превратились в плач и рыдания. Продолжалось так минут пятнадцать. Потом Батюшка поднялся, пот катился по его лицу, и вышел на амвон. Поднялись просьбы помолиться, но другие голоса стали унимать эти голоса: собор стих. А Батюшка поднял одной рукой епитрахиль, прочитал разрешительную молитву и обвел епитрахилью сначала полукругом на амвоне, а потом в алтаре, и началась литургия. За престолом служило двенадцать священников, и на престоле стояло двенадцать огромных чаш и дисковосов. Батюшка служил нервно, как бы выкрикивая некоторые слова, являя как бы особое дерзновение. Ведь сколько душ кающихся он брал на себя! Долго читали предпричастные молитвы: надо было много приготовить частиц. Для Чаши поставили особую подставку около решетки. Батюшка вышел примерно около 9 часов утра и стал приобщать».

Василий Шустин вспоминает, что из-за многочисленности людей причастие продолжалось до двух с половиной часов пополудни. Служба же начиналась в пять утра. Таким образом, даже существенно сократив время службы за счет общих исповедей, отец Иоанн вынужден был служить в соборе девять-десять часов – ежедневно.

Василий Шустин, как человек, влюбленный в отца Иоанна и направленный им на путь священства, пишет об общих исповедях предельно осторожно, обходя вниманием всевозможные эксцессы, неизбежные во время массового и мгновенного покаяния многотысячной толпы. По разным сведениям, на общие исповеди в Андреевском соборе собиралось от пяти до десяти тысяч человек, хотя сам храм был не слишком велик и при обычном течении службы был рассчитан одновременно на полторы-две тысячи прихожан, не больше. Люди во весь голос каялись друг другу не только в повседневных грехах, но и в уголовных преступлениях – воровстве, избиении родственников и даже убийствах, в том числе и детей. Поэтому миссионер В.А.Коновалов, например, пишет, что во время общей исповеди ему казалось, что он находится в Содоме и Гоморре – столь велика была концентрация вслух выкрикиваемых грехов и преступлений. Еще один очевидец вспоминает, как во время общей исповеди буквально по головам тесно стоявших людей побежал человек с криком: «Я убил! Убил!»

Есть свидетельства (между прочим, и духовной дочери отца Иоанна Екатерины Духониной), что во время исповедей из-за тесноты и неконтролируемости толпы не только случались обмороки, но и погибали люди. Однажды в начале причастия хлынувшая к отцу Иоанну толпа насмерть раздавила женщину. Вот как описывает этот страшный случай иеромонах Василий Мещерский:

«Народа набралось в храме до пяти тысяч человек, и, когда почтенный пастырь вышел со Святыми Дарами, чтобы приобщить всё это множество людей, принесших покаяние среди общей исповеди, толпа хлынула вперед и стеснилась с такой неудержимой силой, произвела такой ужасный переполох, что в одно мгновение из благообразно и молитвенно настроенной обратилась в нечто поражающее. Лица, за минуту красные, покрытые потом, вдруг побледнели, исказились; раздались отчаянные крики страдания и испуга – призывы к

спасению... Духота сделалась невообразимая, одежда на людях обратилась в клочья, многие, особенно женщины и дети, падали, и тела их топтали навалившиеся вперед задние ряды. Железная решетка солеи едва выдерживала этот страшный натиск. К счастью, случившаяся вблизи военная команда под начальством пристава успела явиться на помощь: изувеченных стали выносить из церкви в ограду. Там происходили потрясающие сцены страданий: одних, в полубесчувственном состоянии, приобщали священники, сослужившие отцу Иоанну; другим – искалеченным и изуродованным – подавалась первая медицинская помощь; одна женщина, задавленная насмерть еще в соборе, была вынесена сюда – уже трупом».

Получив известие о смерти женщины, отец Иоанн, тем не менее, не прекратил службу, а только обратился к обезумевшей толпе с такими словами: «Знаете ли вы, что, может быть, покаяние нескольких тысяч вас не исправят греха этой одной смерти! Молитесь же!» Но Екатерина Духонина отмечает в дневнике, что «этот случай страшно его мучает и не дает покоя...»

И СНОВА НЕПРОСТО

Не удивительно, что многие, как Н.С.Лесков, осуждали отца Иоанна за «потворство» массовому поклонению его личности, объявляя это идолопоклонством. На самом деле всё было гораздо сложнее. Законы массового психоза одинаковы в любом месте и во все времена. Бессмысленно осуждать футбол за драки футбольных фанатов (хотя любопытно, что старец Оптиной пустыни отец Амвросий уже в начале XX века называл футбол «дьявольской игрой»). Слава отца Иоанна питалась не только его чудесами, но и бесконечным доверием со стороны самых простых и не искушенных в глубинах христианства людей. В своих приходах они не получали того духовного утешения, которое бывает особенно необходимо людям, чья повседневная жизнь, наполненная тяжелым физическим трудом, бесконечными заботами о пропитании семьи, болезнями своими и своих родных, бесправием перед сильными мира сего, лишена высшего смысла и даже вообще какого-нибудь смысла. В отце Иоанне они видели героя-праведника, который не скрылся в затвор, спасая душу от мира, но сделал свою праведную жизнь как бы частью жизни темной массы, кстати, вполне осознававшей свою темноту. Проанализировав письма к отцу Иоанну, Надежда Киценко пишет, что в подавляющем большинстве просьбы об исцелении сопровождались ясным пониманием того, что болезни посланы им «за грехи», а не являются простым следствием несправедливости судьбы. Но как избавиться от грехов, когда сама жизнь ежедневно толкает к ним и нет ни сил, ни времени, ни образования, чтобы всё это как-то осмыслить и исправить?

Есть множество свидетельств о том, как общие исповеди отца Иоанна оказывались мощным толчком к преобразению людей, отвращая их от пьянства, от воровства, от любодеений, возвращая волю к жизни и спасая от самоубийства.

Не случайно перед отцом Иоанном благоговела не только «темная» толпа. С огромным уважением к необычному священнику относились и просвещенные люди, далекие от фанатизма, – отец и сын Сикорские²⁶, врач Боткин, художник Репин. Из рук отца Иоанна получил благословение перед отправкой на Японскую войну адмирал Макаров, назначенный командующим Тихоокеанской эскадрой, – легендарный мореход, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель.

К духовной помощи Иоанна Кронштадтского порой прибегали люди самые неожиданные. Например, поэт-декадент Константин Фофанов, которого за стихотворение

²⁶ Иван Алексеевич Сикорский (1842–1919) – врач душевных и нервных болезней, преподаватель Киевского университета. Сопровождал отца Иоанна во время его посещения Киева в 1893 году. Оставил воспоминания «Психологический феномен отца Иоанна». Игорь Иванович Сикорский (1889–1972) – сын И.А.Сикорского, гениальный авиаконструктор, изобретатель вертолетов. В 1919 году вынужденно покинул Россию и жил в Америке. Материально помогал И.К.Сурскому в издании его книги об Иоанне Кронштадтском.

«Таинство любви» (1885, опубликовано в 1888 году) Святейший Синод грозил отлучить от церкви задолго до отлучения Толстого. Фофанов страдал от алкоголизма и психического расстройства. Его невеста служила гувернанткой в доме кронштадтского купца. Фофанов писал в своих воспоминаниях: «Моя жена, воспитанная с детства в строгих церковных началах, в девушках часто подумывала пойти в монастырь. За советом, между прочим, она обратилась и к отцу Иоанну Кронштадтскому.

Батюшка не одобрил ее намерения.

– Не в монастыре надо спасаться, – строго заметил он ей, – а в миру надо спасаться!

Когда же через несколько времени его духовная дочь была помолвлена за меня, она снова обратилась за советом к своему глубоко чтимому духовнику.

Теперь он одобрил ее намерение.

– Женщина спасется чадородием, – сказал он ей убедительно.

Жена моя еще колебалась в выборе жениха и, слыша обо мне нелестные сплетни, сообщила и об этом кронштадтскому Батюшке.

– Всё равно – пусть хоть и пьёт, – выходи за него! Это твое назначение.

И еще раз повторил, что женщина спасется чадородием».

Сам Константин Фофанов дважды встречался с отцом Иоанном. Первый раз это случилось в 1882 году. Отец Иоанн еще не был «Всенародным Батюшкой».

«Мне надо было быть тогда летом по одному личному делу в Кронштадте. Но лица, к которому я приезжал, я не застал дома. Пароход ушел, и меня застала ночь под открытым небом. В досаде и горе я присел на скамье бульвара и задремал. Всё уже было тихо и пустынно; должно быть, приближался рассвет. Вдруг я заметил: поспешной походкой пробирается по тихому бульвару невысокого роста человек в темной, коричневой рясе.

– Что ты? – строго и отрывисто спросил он меня. Я опешил: необыкновенная участливость прохожего дьякона или священника удивила меня.

Он стоял минуты две, поговорил со мной, хотел выразить свое участие денежной помощью. Я отказался. Он нервно зашагал вперед».

Вторая встреча состоялась в 1901 году. Один знакомый поэту священник представил его отцу Иоанну. Тот провел его в алтарь на исповедь.

«После нескольких незначительных фраз, к моему удивлению, отец Иоанн сказал вкрадчиво:

– Говорят, что ты пьешь... но ты не пьяница!.. Бросить можешь! Только враг тебе завидует, потому что твой дар от Бога! У тебя большой дар! – глядя утвердительно и странно, повторил он – продолжал, волнуясь и повышая голос: – А враг завидует и вот так и хочет тебя в бездну!.. в бездну!.. в бездну бросить!.. вот так и крутит, потому что завидует Божьему дарованию».

Во время этой встречи отец Иоанн произнес странные слова:

«– А я ведь могу сделать всё! Что бы ты хотел? Я могу!

Этого я уже вовсе не ожидал; я был и так счастлив, что вижу с глазу на глаз великого пастыря и беседую с ним, что слезы едва не подступили к горлу, и я ответил:

– Батюшка, ничего не надо!..

При этих словах отец Иоанн обнял меня и, целуя, сказал:

– Господь благословит тебя!»

Любопытно, что в воспоминаниях поэта общая исповедь Иоанна Кронштадтского рисуется в ином освещении, нежели в вышеописанном случае с гибелью женщины. Мы видим уже не взрыв народной стихии, но, напротив, ее умиротворение и нравственное обновление:

«Перед выносом Чаши с Дарами отец Иоанн обратился к толпе со следующими словами:

– Вот вы теперь примите Тела и Крови Самого Христа – и Он войдет в вас, и вы будете близки Ему, как родные. И если Господь Бог возлюбил Сына Своего, то и вас возлюбит и простит все ваши грехи... Только искренне покайтесь... припомните ваши грехи...

помолитесь... и Бог простит вас.

И когда через некоторое время отец Иоанн вынес Чашу с Дарами, толпа благоговейно молчала.

При десяти тысячной толпе такое молчание было поразительно; даже кликуши смолкли, только пестрело море голов, слегка преклоненных. Многие пали на колени. Мне показалось, что от тысяч сдержанных вздохов в храме пронеслась волна ветра. И отрывисто и особенно отчетливо раздалось: “Верую, Господи...”»

«ВЕРИШЬ ЛИ?»

Особенностью Иоанна Кронштадтского было то, что люди разных взглядов при встрече с ним видели в нем абсолютно разных людей. Для одних эта встреча оказывалась судьбоносной, меняющей весь строй их жизни, другим представлялась забавным или, напротив, пугающим казусом, который еще более убеждал их в своих антицерковных убеждениях. Чудеса его были столь же очевидны для одних, сколь сомнительны для других.

Василий Шустин вспоминает, как Иоанн Кронштадтский вылечил от «горловой чахотки» его отца, когда профессор Военно-медицинской академии Н.П.Симановский²⁷ заявил, что «ему осталось жить дней десять, а если увезти с большими предосторожностями в Крым, то он, может быть, еще протянет месяца два».

«В это время как раз вернулся в Кронштадт из одной своей поездки отец Иоанн. Послали ему телеграмму. Дней через пять он приехал к нам. Прошел к отцу в спальню, взглянул на него и сразу воскликнул: “Что же вы мне не сообщили, что он так серьезно болен?! Я бы привез Святые Дары и приобщил бы его”. Мой отец умоляюще смотрел на Батюшку и хрипел. Тогда Батюшка углубился в себя и, обращаясь к отцу, спрашивает: “Веришь ли ты, что я силою Божией могу помочь тебе?” Отец сделал знак головой. Тогда отец Иоанн велел открыть ему рот и трижды крестообразно дунул. Потом, размахнувшись, ударил по маленькому столику, на котором стояли разные полоскания и прижигания. Столик опрокинулся, и все склянки разбились. “Брось всё это, – резко сказал отец Иоанн, – больше ничего не нужно. Приезжай завтра ко мне в Кронштадт, и я тебя приобщу Святых Таин. Слышишь, я буду ждать”. И Батюшка уехал. Вечером приехал Симановский, а вместе с ним доктор Окунев, тоже специалист по горловым болезням. Им сказали об отце Иоанне и что завтра повезут моего отца в Кронштадт. Симановский сказал, что это безумие, что он умрет дорогой. (Нужно было из Ораниенбаума ехать на санях по морю, а была ветреная, морозная погода.) Но отец верил Батюшке, и на следующий день закутали его хорошенько и повезли в Кронштадт.

Батюшка приехал на квартиру, где остановился отец, и приобщил его Святых Таин. Еще два дня прожил отец в Кронштадте, каждый день видясь с Батюшкой. Когда он вернулся домой, Симановский был поражен: в горле все раны оказались затянуты; только голос отца был еще слаб. Симановский во всеуслышание заявил: “Это невиданно, это прямо чудо!” Так совершилось дивное исцеление отца по молитвам Батюшки. Отец прожил после этого 25 лет».

Нет оснований не доверять воспоминаниям Шустина, ибо придумать подобную историю с участием знаменитого врача было бы невозможно. К тому же и во многих других свидетельствах приводится эта характерная деталь: отец Иоанн именно трижды крестообразно дул на больного человека, после чего наступало исцеление.

Иным был результат попытки исцеления отцом Иоанном смертельно больного М.Е.Салтыкова-Щедрина, описанный в книге его сына К.М.Салтыкова «Интимный Щедрин». За два месяца до смерти писателя его жена настояла на том, что следует пригласить отца Иоанна.

²⁷ Выдающийся русский врач, основоположник оториноларингологии как научной дисциплины в России.

«Моего отца нельзя было назвать верующим. Он ждал исцеления своих недугов больше от врачей, чем от Бога». Тем не менее он согласился с женой, но «строго-настрого наказал, чтобы об этом не было известно Боткину, из боязни, что профессор обидится, что его заменяют, как врача, хотя бы временно, священнослужителем. Был отдан приказ швейцару, чтобы он Боткина во время пребывания отца Иоанна не принимал под тем предлогом, что отец отдыхает...»

Приезд отца Иоанна сын писателя описывает не без иронии: «В назначенные женщиной, всегда возившей священника и бравшей за это известную мзду, час и день, у нас появился прославленный как исцелитель отец Иоанн, одетый в атласную рясу. Лицо его, как сейчас помню, было какое-то грустное, имел он усталый вид, что объяснялось тем, что во время приездов его в Петербурге возили из дома в дом, собирая, как говорят, и чему я охотно верю, без его ведома обильную дань с близких больных... Глаза отца Иоанна были замечательны, они как бы пронизывали насквозь людей, и возможно, что он был гипнотизером, благодаря чему, действительно, он мог внушать людям то, что желал. Благословив отца, отец Иоанн поставил его пред собой и, будучи отделен от него столиком, на котором лежали икона, крест и Евангелие, прочел свою знаменитую молитву, начав ее шепотом, усиливая постоянно голос и окончив ее в повелительном тоне, как бы требуя от Бога исполнения этой молитвы. Произнесена она была так, что когда затем спросили отца – понял ли он ее, – он отвечал отрицательно, зато похвалил рясу священника».

Однако развести отца Иоанна и Сергея Петровича Боткина не удалось. Проходя случайно мимо дома писателя именно в это время, знаменитый врач был привлечен видом толпы, сопровождавшей священника в Петербурге и стоявшей возле подъезда дома Щедрина. «Можно себе представить, какое замешательство произошло среди нас при виде плотной фигуры С.П., вдруг неожиданно появившейся в комнате, – пишет Константин Михайлович. – Но Боткин, добродушно улыбаясь, положил конец замешательству, пожурив последнего за то, что он захотел скрыть от него отца Иоанна, с которым он был давно знаком.

– Батюшка и я – коллеги, – пошутил Боткин, – только я врачую тело, а он душу».

Через два месяца писатель скончался. Его сын вспоминал, что «уезжая, Батюшка поцеловал отца в уста. Как нам потом объяснили, поступал он всегда так, когда видел, что помощь его бесполезна».

В этой истории много неясного, но встреча отца Иоанна с самым знаменитым медиком своего времени в доме одного из самых известных писателей прекрасно передает атмосферу в лучшем случае иронического, но куда чаще – неприязненного отношения к «Всенародному Батюшке» со стороны художественной интеллигенции. С огромным уважением относились к кронштадтскому священнику врачи, инженеры, военные и морские офицеры. Но только не писатели! Фофанов – скорее исключение, а не правило в этой закономерности.

ЛЕСКОВ И ПЕРЖАН

«А слава его (отца Иоанна. – П.Б.) и глупость общества всё растут, как известный столб под отхожим местом двухэтажного трактира в уездном городе. Зимой на морозе это даже блестит, и кто не знает, что это такое, – тот принимает это совсем не за то, что есть. Но мерило одурению – это верное». Именно в таких выражениях пишет об отце Иоанне Толстому Лесков в декабре 1890 года. Для Лескова Иоанн Кронштадтский не только не герой русской Церкви, историю и жизнь которой, в отличие от большинства писателей-современников, Лесков как раз хорошо знал, но – показатель общественной деградации. Лесков не сомневался, что все чудеса с исцелениями по молитвам отца Иоанна – обычное шарлатанство.

«...Зачем он всё над кем-нибудь одиноко бормочет, по приглашению, а не помолится по усердию о всех сразу», – пишет он Толстому. «На днях он исцелял одну мою знакомую, молодую даму Жукову, и живущего надо мною попа: оба умерли, и он их не хоронил».

Почему Иоанн Кронштадтский должен был отказывать в индивидуальном посещении больным, молясь непременно «о всех сразу»? Откуда писатель мог знать, что священник никогда не молился «о всех сразу»? Зачем он должен был присутствовать на похоронах тех, которые не исцелились по его молитве? Нет ответа.

Причина жгучей и какой-то болезненной ненависти Лескова к Иоанну Кронштадтскому – тоже своего рода загадка, потому что отец Иоанн относился к писателю скорее с уважением. «Я уважаю Николая Семеновича...» – как-то признался он.

Лесков ненавидел Иоанна Кронштадтского и боготворил Толстого. Настолько, что Толстой этого даже несколько стеснялся. И вот кроме целого ряда ехидных статей об Иоанне Кронштадтском и его окружении, кроме повести «Полуночники», где он высмеял нравы гостиницы для паломников при Доме трудолюбия, начиная с 1891 года и до конца своих дней Лесков буквально бомбардировал Толстого письмами, в которых язвительно высмеивал отца Иоанна, называя попеременно то *Иваном Ильичом*, то *Пержаном* ²⁸.

«Пержан что ни спакостит, то всё “свято”», – вот примерный тон его писем об Иоанне Кронштадтском.

Крупный американский исследователь жизни и творчества Николая Лескова, автор книги «Nikolai Leskov. The Man and His Art» («Николай Лесков. Жизнь и творчество»), а также автор единственной статьи на тему «Лесков и Иоанн Кронштадтский» Hugh McLean на наш вопрос о причинах ненависти несомненно близкого к Церкви писателя, автора «Соборян», к самому по меньшей мере заметному священнику своего времени ответил, что причина эта кроется «в неприятии Лесковым ортодоксального православия». Но в начале девяностых отец Иоанн еще не отождествлялся с церковным официозом.

К сожалению, в письмах к Толстому Лесков, конечно, же сам того не замечая, нередко опускается до откровенного доноительства. Только адресатом доносов является не власть, а Толстой, главный враг власти. Лесков посылает Толстому копии чужих писем в газеты против отца Иоанна; он специально приводит случаи неудачных исцелений, после которых люди не выздоравливали, а умирали; он называет даже имена врачей, которые, позабыв о профессиональной совести, верят в Иоанна Кронштадтского, описывает карикатуры неизвестных художников на Иоанна Кронштадтского.

Любопытно, что Толстой не реагировал на эти выпады Лескова. Он отвечал неизменно вежливо, но всегда по другому поводу. Создается впечатление, что Толстой в этих местах как бы делал «глухое ухо», как будто Иоанн Кронштадтский его совсем не интересовал. Еще меньше ему были интересны какие-то репортерские слухи о «проделках» кронштадтского священника, которыми изобилуют письма Лескова. В результате получалась картина: Лесков постоянно пасует, Толстой не видит мяч.

Проблема была в том, что Лесков-то как раз был близок к русской Церкви. Автор «Соборян» и «Запечатленного ангела» искренне страдал за ее судьбу. Начиная с первой будто бы антицерковной статьи «Поповская чехарда и приходская прихоть», напечатанной в журнале «Исторический вестник» в 1883 году, и до последнего периода жизни, когда Лесков окончательно расходится с Церковью, писатель всегда искал способы не разрушения Церкви, но ее обновления. При этом он понимал, насколько это сложная задача: «Человек, который решился бы от одного своего высокоумия объявить, что он знает такие меры, – пишет он в “Поповской чехарде...”», – огласил бы этим свое дерзкое посягновение на права Церкви и тем самым подверг бы себя справедливому церковному осуждению. По духу православия это – д е л о с о б о р н о е». Под этими словами подписался бы и Кронштадтский.

Толстой же, начиная с 1881 года, то есть с момента написания статьи «Исследование догматического богословия» (более позднее название «Критика догматического богословия»), именно отрицает Церковь, и не только в ее «плохом» современном состоянии, но как многовековой институт.

²⁸ От франц. Père Jean – отец Иван.

Что же так неистово раздражало Лескова в Иоанне Кронштадтском и почему, пытаясь обрести в этой ненависти союзника, он обращался к Толстому? Для Лескова чрезвычайно важным было понятие *искренности*. В понимании Лескова Толстой – вождь не просто новой религии, но – искреннего христианства.

«Вихляется он (Толстой. – П.Б.) – несомненно, – пишет Лесков А.С.Суворину в 1883 году, – но точку он видит верную: христианство есть учение *жизненное*, а не отвлеченное, и испорчено оно тем, что его делали отвлеченностью. “Все религии хороши, пока их не испортили жрецы”. У нас византизм, а не христианство, и Толстой против этого бьется с достоинством, желая указать в Евангелии не столько “путь к небу”, сколько *смысл жизни*».

А вот Иоанн Кронштадтский, в глазах Лескова, – не просто жрец, но еще и жрец-шарлатан, хитро использующий популярность в народе церковных преданий о «чудесах» в своих, в том числе и корыстных, целях. И он сумел «одурачить» часть образованного общества, что Лескова совсем уж возмущает!

«Там (в прессе. – П.Б.) везде сквозит кронштадтский “Иван Ильич”. Он один и творит чудеса... На днях моряки с ним открыли читальню, из которой по его требованию исключены Ваши сочинения. На что он был нужен господам морякам? “Кое им общение?” “Свиньем прут” все в одно болото», – пишет он Толстому. Но Толстой и к этому равнодушен. Толстой молчит.

Лескова распирает изнутри от ненависти к Пержану. Он не может молчать! А Толстого Пержан нисколько не волнует. В самом конце жизни на письменный вопрос одной неизвестной женщины, как ей относиться к покойному Иоанну Кронштадтскому, Толстой признался, что не прочитал ни единой его строки.

В глазах Лескова Пержан – это враг по сердцу. А для Толстого – это просто недоразумение.

Отличие положения Лескова от Толстого еще и в том, что Лесков-то знает, каким образом из тихих семинарских мальчиков получались важные протоиереи. Но он ничего не знает об истинных истоках сложной личности отца Иоанна, о том, как вызревало это зерно. В печати выходят первые «жития» отца Иоанна, но Лесков (и совершенно справедливо!) не доверяет им.

Лесков скончался в 1895 году. В это время отец Иоанн находился на пике славы: после встречи с императором Александром III в Ливадии он был уже неуязвим ни для светских, ни для духовных оппонентов, ни для подцензурной печати. Его публичная травля начнется с 1905 года – с объявлением свободы слова и свободы совести. Его имя соединят с самой реакционной частью русского общества, и вся либеральная интеллигенция окончательно отвернется от него. И это будет посмертная победа Лескова.

Но кто и кого здесь победил? Подавляющее большинство поклонников Иоанна Кронштадтского никогда не читали Лескова и уж точно не знали о его письмах к Толстому. Литературное окружение Лескова, за редчайшими исключениями, не интересовалось отцом Иоанном – по крайней мере до тех пор, пока он незадолго до смерти, уже слабый и больной, не освятил хоругви Союза русского народа и не был принят в члены Святейшего Синода, отлучившего Толстого. И вот тогда-то его запредизирали со всей энергией, на которую в таких случаях способна прогрессивная интеллигенция.

Но что выиграли от этого и Церковь, и русская литература? Наконец, что выиграла от этого вся Россия?

ДЕНЬГИ ОТЦА ИОАННА

Одним из самых серьезных пунктов обвинения против отца Иоанна, выдвигаемых Н.С.Лесковым, как и почти всеми критиками кронштадтского батюшки, были *деньги*.

В самом деле, по мере роста популярности Иоанна Кронштадтского он, по словам Надежды Киценко, из «объекта поклонения» стал превращаться в «объект индустрии». В частности, это касалось издания проповедей, которые расходились по России огромными

тиражами.

В заметке «О книжках о<тца> Сергиева», опубликованной в «Петербургской газете» 27 марта 1887 года, Лесков писал о книге «Бесед» отца Иоанна, изданной А.П.Руденко и продаваемой по 25 копеек, что было, конечно, высокой ценой для «народного» издания. Автор статьи напоминал, что книги Толстого издательства «Посредник» продаются по 3 копейки и даже «по пятак за пару». К тому же Лев Толстой «*ничего не берет* за свое авторское право с издателями его народных рассказов». «Стоит только Сергиеву поступить как Л.Н.Толстой, т. е. сделать известным, что он считает несовместным с христианскими целями удерживать за собой права литературной собственности на христианскую книгу <...>, нет никакого сомнения, что сверх меры дорогое и притом плохое издание г. Руденко сейчас же падет в цене, ибо непременно явится несколько издателей, которые станут издавать эти “Беседы” лучше и дешевле».

Фактически Лесков подталкивал отца Иоанна пойти по пути Толстого и отказаться от прав на свои сочинения. Притом *на все* сочинения, потому что никакой литературы, кроме христианской, отец Иоанн не создавал. В то же время Лесков хорошо знал, что, владея несколькими имениями в Тульской и Самарской губерниях, семья Толстого лишилась прав только *на часть* литературного наследия писателя, создаваемую после 1881 года, со времени духовного переворота Толстого. Всё, что было написано им до этого времени (а это автобиографическая трилогия, «Севастопольские рассказы», «Казачи», «Война и мир», «Анна Каренина» и другие сочинения), по доверенности, выданной Толстым жене, продолжало переиздаваться не в народном издательстве «Посредник», а непосредственно Софьей Андреевной, и продаваться по весьма высоким ценам. Этот компромисс, на который Толстой пошел под давлением жены, был одним из серьезных моментов разногласия между ним и толстовцами, к которым в то время принадлежал Лесков. Так что сравнение отца Иоанна с Толстым в этой части было по меньшей мере странным.

Тем не менее проблема эта существовала, и она преследовала отца Иоанна всю жизнь и даже после его смерти, когда в газетах подняли вопрос о его наследстве. Став самым знаменитым священником России, отец Иоанн действительно превратился в одного из богатейших людей своего времени, потому что, по свидетельству М.О.Меньшикова, через его руки ежегодно проходило около миллиона рублей.

Впрочем, и эта цифра была условной, ибо подсчитать доходы отца Иоанна не представлялось возможным. Никакая бухгалтерия, если бы она и существовала, не могла бы контролировать этот гигантский финансовый оборот, потому что он осуществлялся по старой схеме, озвученной отцом Иоанном в раннем дневнике: отдав бедной вдове три рубля, он в тот же день получил три рубля за исповедь. Только теперь схема работала наоборот: получая деньги от многочисленных жертвователей, порой очень богатых людей, отец Иоанн немедленно их раздавал нуждающимся, отдавал на поддержание Дома трудолюбия и устройство монастырей.

На деньги Иоанна Кронштадтского, полученные им от богатых жертвователей, было построено шесть (!) женских монастырей в Петербургской, Архангельской, Новгородской и Ярославской губерниях. В то же время отец Иоанн непрерывно посылал деньги на поддержание уже существовавших монастырей, например, знаменитой Пюхтицкой женской обители. Это был факт даже не исключительный, а просто невозможный для приходского священника за всё время существования Церкви.

Но был ли отец Иоанн в действительности богатым человеком? Он продолжал жить всё в той же служебной квартире на Михайловской улице, занимая второй этаж обычного дома. Он питался скудно, не ел мяса, работая под двадцать часов в сутки. За всю жизнь он только один раз побывал за границей, в Берлине, вызванный для исцеления русского посла. Из двух пароходов, принадлежавших ему, первый, «Любезный», был необходим для ежедневных путешествий в Петербург, а второй, «Николай Чудотворец», был рабочим кораблем Сурского женского монастыря, устроенного отцом Иоанном на своей родине. Пресловутая карета, в которой священник разъезжал по Кронштадту, была «доброхотной», т. е.

подаренной. Без нее, в открытой коляске, знаменитый чудотворец рисковал быть разорванным на части фанатичными поклонниками, особенно поклонницами, среди которых были и иоаннитки, которые стремились приобщиться крови самого батюшки, считая его Иисусом Христом. Бывали случаи, когда во время причастия они кусали священника за палец. В столице он пользовался каретами, предоставляемыми богатыми людьми, которые приглашали отца Иоанна в свои дома. Нам неизвестно также, чтобы кто-нибудь из родственников отца Иоанна, включая его семью, стал богатым человеком. Пережив своего мужа всего на полгода, Елизавета Константиновна скончалась в той же казенной квартире. В последние месяцы она ложилась спать в подрыснике своего супруга. Все деньги, которые остались после смерти отца Иоанна, были завещаны Иоаннову женскому монастырю в Петербурге. И всех этих денег оказалось 53 000 рублей...

Поэтому вопрос надо поставить иначе. Какое отношение к деньгам – Толстого или Иоанна Кронштадтского – было ближе к христианскому пониманию? Ведь совершенно очевидно, что отношение это было диаметрально противоположным. Толстой отказался иметь дело с деньгами (переложив это «зло» на плечи своей жены), отец Иоанн никогда не отказывался от денег и непрерывно имел с ними дело, в буквальном смысле слова пропуская через свои руки миллионные потоки. Вопрос принципиальный!

«Деньги – зло», – считал Толстой. «Деньги – пыль», – писал в раннем дневнике отец Иоанн. Казалось бы, налицо сходство позиций. Но это не так. Отношение этих людей к деньгам во многом диктовалось не столько сознательной христианской позицией, сколько их происхождением, воспитанием и условиями жизни. Все-таки Толстой никогда не знал, что такое настоящая нужда, а тем более нищета. Он мог видеть это, искренне страдая за братьев во Христе, но личного опыта в этом плане у него никогда не было. Иван Сергиев с детства знал, что такое крайняя нужда, на опыте своего отца, который не мог оплатить обучение двух сыновей в Архангельской духовной семинарии (это стоило порядка 40 рублей в год, по 13 рублей за каждый триместр). До середины семидесятых годов, когда отец Иоанн вступил в должность ключаря, он, как и все простые священники собора Андрея Первозванного, по ведомости, «Высочайше утвержденной 24 мая 1806 года», получал жалования 85 руб. 77 коп. в месяц. В сане протоиерея он стал получать 128 руб. 70 коп. – ежемесячно.

Зять отца Иоанна Василий Иванович Фиделин, псаломщик в селе Суре, а затем в Верколе, имел в браке с его сестрой Анной Ильиничной пятерых сыновей и семь дочерей, получая при этом жалования 40 рублей. Но ему, как сельскому жителю, полагалось 15 десятин пахотной и сенокосной земли. Кроме службы он занимался земледелием, рыболовством, разведением овец и коней. Городской же священник мог рассчитывать только на требы. Но эти деньги, как мы уже знаем, отец Иоанн немедленно раздавал нищим. Неудивительно, что в семье постоянно вспыхивали скандалы.

После ранней смерти гатчинского священника Г.И.Цветкова его вдова, свояченица отца Иоанна Анна Константиновна, с двумя дочерьми вынуждена была жить в доме своей сестры Елизаветы Константиновны на полном иждивении отца Иоанна. Затем Сергиевы фактически удочерили младшую девочку Анны Константиновны Руфину Цветкову. Некоторое время в их доме проживали и не нашедшие себе места трое старших братьев Елизаветы Константиновны. При этом отец Иоанн постоянно посылал деньги на обучение в духовной семинарии своих племянников.

Толстой, до момента отказа от собственности и прав на сочинения, все-таки был состоятельным человеком. После смерти братьев Николая и Дмитрия он стал владельцем имений Никольское и Щербачёвка. В семидесятые годы он расширил свои владения за счет недорогих самарских земель, которые в будущем намеревался с выгодой продать.

«В 1881 году финансовые дела нашей семьи были в блестящем состоянии... – писал старший сын Льва Толстого Сергей Львович. – В то время у него (отца. – П.Б.) скопилось много денег. Он продал мельницу в Никольском-Вяземском за 9500 рублей, продал часть леса (Заказа) в Ясной Поляне, не помню за сколько, и получил за Полное собрание своих сочинений 25 000 рублей от бр. Салаевых».

В этом году Толстой с семьей переехал в Москву. В 1882 году старший нотариус Московского окружного суда подписал купчую крепость на покупку Толстым за 27 000 рублей дома в Долго-Хамовническом переулке, который стал московской усадьбой Толстых.

Но положение существенно меняется в начале девяностых годов, когда Толстой после долгих колебаний и конфликтов с супругой все-таки публично отказывается от прав на свои новые сочинения и переписывает свое недвижимое состояние равными долями на членов семьи. Распыление имущества почти всегда равносильно его утрате. К тому же дети Толстого никогда не отличались хозяйской жилкой. В результате в собственности жены Толстого Софьи Андреевны была одна Ясная Поляна, не приносящая никакого дохода, а на ее плечах кроме мужа – шестеро сыновей и две дочери. При этом старшие дети, будучи собственниками отцовских долей имущества, продолжали постоянно обращаться к матери за денежной помощью.

В дневнике А.В.Жиркевича этого времени приводится любопытный разговор с Фетом, частым гостем в имении Толстых: «Фет в восторге от графини Толстой и считает ее “идеалом женщины”. Графиня была у него недавно и говорила, что они, Толстые, сидя в деревне, проживают 18 тысяч в год благодаря жизни Льва Николаевича и необходимости выдавать пособие детям. Когда я заметил, что у Толстого есть средства, Фет возразил: “Никаких! Я очень дружен с графиней. Она мне всё рассказывает... Ясная Поляна не приносит дохода, а капитал Толстых ничтожен!” – “Но сочинения Льва Николаевича приносят же доход!” – возразил я. “Никакого! Их перепечатают, издадут как хотят у нас и за границей без разрешения Толстого. А Лев Николаевич не хочет в это вмешиваться. Прокормить одну ораву толстовцев чего стоит. Толстые прямо терпят нужду и только не отказывают себе в необходимом”».

С начала девяностых годов Толстой и Иоанн Кронштадтский оказываются в почти зеркально перевернутых положениях.

Для Толстого проблема денег становится проблемой семейной «нужды», ибо семья, оставшись без средств, которые могли бы приносить новые сочинения ее главы, тем не менее вынуждена поддерживать статус аристократической фамилии со всеми свойственными ей привычками и расходами. Нельзя сказать, чтобы эти расходы были велики (18 000 рублей в год), но и они едва покрываются за счет переиздания сочинений Толстого, которые по законам издательского рынка приносят всё меньше дохода; на новых же его сочинениях наживаются все кому не лень. И это вносит страшную нервозность в семейную жизнь, подготавливая уход писателя из Ясной Поляны.

Финансовая проблема отца Иоанна заключается уже в другом: как справедливо *раздать* огромные средства, которые шли непосредственно к нему, но которые он не мог считать своими, потому что это были деньги, пожертвованные на Церковь? При этом надо учесть, что значительная часть этого потока складывалась из жертв бедных людей, присылавших свои рубли в конвертах одновременно с просьбами молиться о здравии подчас смертельно больных родственников. Когда после смерти отца Иоанна описывали его имущество, на рабочем столе обнаружили 13 000 рублей, причем, как пишет судебный пристав, присутствовавший при описи, эти деньги «были буквально разбросаны на письменном столе под разными письмами, конвертами и почтовой бумагой». Это были последние денежные ручейки, притекшие из разных уголков России.

Для Толстого, за вычетом пятнадцатилетнего периода его семейной жизни с 1862 по 1877 годы, когда он видел себя в роли богатого помещика и успешного писателя, деньги всегда являлись источником страданий. Он страдал от них в молодости, проигрывая в карты и пребывая в постоянных долгах. Так, он проиграл в штосс родовой дом в Ясной Поляне. Ради возмещения долга, проигранного в китайский бильярд, он вынужден был продать М.Н.Каткову повесть «Казачья». Это безусловно унижало его гордость. После духовного переворота он опять страдал из-за денег, испытывая нравственное давление и со стороны семьи, нуждавшейся в них, и со стороны толстовцев и прессы, осуждавших его за «барскую» жизнь в Ясной Поляне. Наконец, он страдал от непрерывно одолевавших его просителей,

начиная с собственных мужиков до паломников.

Однако нельзя сказать, чтобы подобное чувство когда-либо испытывал Иоанн Кронштадтский. Как и Толстой, он никогда не был алчен и сребролюбив, но его, если можно так выразиться, *понимание денег* серьезно отличалось от толстовского. Все-таки неправильно считать, как это часто пишется в биографиях кронштадтского пастыря, что он был совсем равнодушен к деньгам. Выходец из беднейших слоев населения, где каждый утраченный или приобретенный рубль становился источником страдания или радости, не мог быть к ним равнодушен. Скорее всего, когда он получил возможность не считать деньги и в буквальном смысле слова раздавать их налево и направо (левая рука не знает, что творит правая), он испытывал чувство *радости* от этого.

Интересное свидетельство этой радости приводится в мемуарах Илариона Княгиницкого, опубликованных в журнале «Исторический вестник» как «Впечатления провинциала».

В конце службы прямо в алтаре к отцу Иоанну «подходит юноша лет шестнадцати в гимназической одежде и робко протягивает какую-то бумагу.

– Скажите так, на словах, чего вы просите, – сказал Батюшка, продолжая свое дело со свойственной ему поспешностью.

– За право учения... не имею... – слышатся отрывистые слова, произносимые шепотом.

– Сколько с вас требуют?

– Пятьдесят рублей.

Батюшка опускает руку в карман, вынимает оттуда деньги. Отделив часть их, он готовится передать просителю, опять-таки делая это между прочим, не прерывая прежней работы. Теперь он в первый раз внимательно взглянул на стоявшего перед ним юношу, по щекам которого текли невольно выступавшие слезы, а на лице подергивались от волнения мускулы. Кто знает? Быть может, он уже не в одном месте робко и напрасно подавал свою просьбу и пришел сюда с последней надеждой, при неосуществлении которой должны были разбиться все его мечты о светлой будущности! Если бы ему отказали здесь, то он ушел бы в полном отчаянии. Но его просьбе внемлют без всяких оскорбительных расспросов, без унижения личности, дают ему якорь спасения так просто, как будто он попросил какой-нибудь пустяк. Слезы благодарности хлынули из глаз юноши. О, как счастлив тот, кто может исторгать у людей такие слезы!

– Успокойтесь, успокойтесь, голубчик! Я очень рад, что могу помочь вам.

Батюшка гладит по голове наклонившегося юношу. Глазам его невольно бросаются короткие рукава гимназического пальто, расплзающиеся швы, – и рука, готовая было уже передать просимую сумму просителю, быстро опять опускается в карман и уже после этого удовлетворяет просьбу.

Радостный ушел юноша, но вскоре вернулся. Его возвратила боязнь ошибки. В смущении он опять подходит к Батюшке, держа еще в руке поданное.

– Батюшка! Вы не ошиблись: тут гораздо больше?

– Нет, не ошибся, – отвечает ему тихо Батюшка, – то вам на пальто... на книги».

Можно ли сомневаться в том, что бывший ученик духовного училища в Архангельске, который, возвращаясь на каникулы в Суру, шел босой и нес на плече казенные сапоги, чтобы их не испортить, испытывал радость от такой милостыни?

Любопытно, что чаще всего в воспоминаниях о милостынях отца Иоанна фигурируют одна, две и три тысячи рублей. Вероятно, в представлении мемуаристов это и были те самые круглые суммы, необходимые для спасения человека в самой критической ситуации.

«Раз при мне пришли к Батюшке две просительницы... – пишет жительница Кронштадта О.И.Малченко. – Одна из них была, видно, богатая дама, другая – просто одетая. Обе, когда он вышел к ним, упали на колени, и обе протянули ему конверты. Батюшка взял в каждую руку свою по конверту, немного подержал их так и потом, скрестив руки, подал им же эти конверты, то есть переменяв только. Дама сразу вскрикнула: “Батюшка, что вы делаете, там же три тысячи, это же я для вас!” Батюшка говорит: “Если для меня, то не всё ли

тебе равно, что я с ними сделаю, знаете же, что мне самому ничего не надо. Ты лучше посмотри, что у тебя-то в конверте...” – А в том конверте было письмо сына рядом стоящей женщины, где он ей писал, что у него по службе (в государственном учреждении он служил) произошел просчет и, если он не достанет три тысячи рублей, ему ничего не останется, как покончить с собой, – просил мать спасти его...

“Вот видишь, – когда она прочла, сказал ей Батюшка, – ведь ты душу спасла! Какая же ты счастливая!”»

Этот рассказ можно было бы считать легендой, если бы такие свидетельства не повторялись в воспоминаниях многих очевидцев. И вновь речь велась о круглых суммах.

«Как-то бедно одетая женщина со слезами просила у него помощи. Батюшка сейчас же достает из кармана подрясника большой пакет и подает его женщине. Через минуту женщина подбегает к отцу Иоанну и взволнованно говорит ему:

– Батюшка, вы, верно, ошиблись: ведь тут тысяча рублей!

– Ну, что же такое, – отвечает ей отец Иоанн, – твое счастье: иди, благодари Господа».

«Один раз, – рассказывал репортер А.А.Плещеев, – отец Иоанн посетил одного богатого больного купца.

Провожая отца Иоанна, при выходе из квартиры купец сунул отцу Иоанну в руку конверт. У подъезда дома пал к ногам отца Иоанна, прося милостыни, старик. Отец Иоанн без колебаний подал ему только что полученный конверт...

Купец остолбенел.

– Батюшка, что вы сделали, ведь там было 2 тысячи рублей!

– Это его счастье, – ответил равнодушно отец Иоанн».

Эта странная «лотерея» в раздаче денег могла бы показаться капризом избалованного своей популярностью священника, если бы не одно важное обстоятельство. Даже недоброжелатели отца Иоанна всегда признавали, что он был очень глубоким психологом, физиономистом. Он видел людей насквозь. Это было итогом ежедневного общения с людьми из самых разных социальных слоев, которые на исповедях и в личных беседах выворачивали наизнанку души, рассказывая о всех грехах, сомнениях, тайных пороках и так далее. Очевидцы посещений отцом Иоанном гостиницы для паломников в Доме трудолюбия свидетельствовали, что для батюшки не было труда с первого взгляда на исповедника распознать его главную проблему: пьянство (свое или мужа), несчастный брак или невозможность выйти замуж, измена жены или мужа, болезнь ребенка, денежный долг и так далее. Для того чтобы распознать горе, ему не было необходимости выслушивать человека. Если он делал это, то скорее по обязанности исповедника. По-видимому, типические страдания накладывали и типические отпечатки на лица людей.

Но за этим встает неприятный вопрос. Если Иоанн Кронштадтский так разбирался в людях, то почему одним из результатов его деятельности стали финансовые махинации, связанные с его именем? Тот же Иларион Княгиницкий, который восторженно писал о милостыне, оказанной нищему студенту, вспоминал и совсем другие вещи. Его неприятно поразило, как некий «субъект, невысокого роста, с несимпатичной, угреватой физиономией» «резким, отрывистым и крайне неприятным голосом» вымогал у него шесть рублей за одну ночь в комнате в доходной квартире прямо напротив дома кронштадтского священника. Это была немыслимая цена за ночлег, но «страшный субъект» тоже оказался тонким психологом. «Он знает, что если вам действительно желательно видеть уважаемого пастыря, то вы дадите шесть, даже десять рублей, как дали, быть может, несколько десятков приезжих сюда паломников».

Сам отец Иоанн никогда не просил денег за свои посещения больных в Кронштадте, Петербурге или других городах. Но есть много свидетельств, что эти деньги взимались людьми, в основном женщинами, из окружения отца Иоанна. Спекуляция на его имени, по-видимому, существовала нешуточная, если даже такой пламенный сторонник кронштадтского пастыря, как М.О.Меньшиков (кстати, родившийся и долгое время живший в Кронштадте), признает это в некрологе, посвященном отцу Иоанну: «Весьма возможно, что

его обманывали и около него наживались».

В оправдание своего любимого пастыря Меньшиков замечает, что он «был скромнен до наивности». «Скромность его доходила до того, что, например, он не позволял в бане мыть себя и сам скорехонько мылся, когда никого не было, и уходил. И это в то время, когда в ванну, из которой он вышел, считал за великое счастье сесть один бывший губернский предводитель дворянства. Я сам видел, как к недопитому “батюшкой” стакану чаю устремлялись женщины и, крестясь, благоговейно допивали».

Но есть свидетельства, что отец Иоанн не был так уж наивен. Да и странно было бы предположить, чтобы такой нравственно чуткий человек не замечал, что его имя используют в корыстных целях. В воспоминаниях А.И.Плотицы, посетившего Кронштадт юношей и оказавшегося с батюшкой на катере на обратном пути в Петербург, приводится интересный ответ пастыря на вопрос о том, как он относится к торговле своим именем: «Хорошо, я откажу тем, которые теперь меня окружают. Я их прогоню, что ж, я лучше сделаю, думаешь? Конечно, нет, – ответил он сам себе. – Ведь эти уже нажились благодаря моему имени, как ты говоришь, а те, которые начнут торговать, они будут беднее этих и им придется с народа еще больше таскать. Вот видишь, мой милый мальчик, совсем не так легко решать проблемы этики, на одной ноге стоя...»

Этот ответ любопытен еще и тем, что он без всякого перехода завершался вопросом отца Иоанна, что думает этот юноша о Льве Толстом: «...А лучше скажи мне, какого ты мнения о *льве в овечьей шкуре* ?» Это косвенно говорит о том, что этика Льва Толстого в отношении денег была известна священнику, как этика Иоанна Кронштадтского не оставляла равнодушным яснополянского проповедника. Это был спор, на который не могло быть умозрительного ответа. Он решался только практикой.

Так, «опрощение» аристократа Льва Толстого, в котором многие видели и продолжают видеть элемент лицемерия, в случае с выходцем из низов Иоанном Кронштадтским обернулось своей опять же зеркальной противоположностью.

Начиная с золотого наперсного креста, подаренного отцу Иоанну на двадцатипятилетие его церковного служения, он с ростом своей популярности начинает обрастать дорогими вещами и облачениями, которым позавидовали бы и архиереи.

«В храме Дома трудолюбия особенно поразила нас ризница, – пишет в своих воспоминаниях отец Василий Мещерский. – Св<я>тых</> сосудов мы насчитали более десяти. Все они отличались ценностью и изяществом работы... Я, вероятно, не ошибусь, если скажу, что едва ли есть еще какая другая домовая церковь в целой России, где была бы такая ризница. Ризы были парчовые, бархатные и шелковые. Нам показывали такие ризы, из которых каждая по стоимости превышала тысячу рублей. Были, кажется, в три тысячи и более. Оплечья одних были богато расшиты золотом, других – убраны жемчугом и камнями, третьих – ценными иконами, четвертых – художественно разрисованы. Одна риза была сделана в Японии из тончайшего шелка, отделанная чудными и дорогими кружевами вместо парчовых гасов. Это – дар бывшего моряка, несколько раз объехавшего всю землю.

В ризнице показали нам громадных размеров сундук, наполненный ценными подношениями о. Иоанну. Это были не церковные всё предметы, а предметы или роскоши, или вещи, необходимые в домашнем употреблении. Какая их была масса! Они сложены были без всякого порядка и без особенной бережливости. Об употреблении их не могло быть и речи. Под церковью в небольшой комнате, где после богослужений переодевался о. Иоанн, нам показали много самого тонкого, дорогого, разнообразного белья. Всё это были щедрые дары его почитателей. Нам говорили, что у о. Иоанна так много ряс, что он мог бы каждый день надевать новую рясу. Некоторые из его почитателей умоляют его хотя однажды надеть на себя их щедрый дар...»

Не меньшее впечатление на мемуариста произвел кабинет отца Иоанна в Доме трудолюбия, которым он, кстати, практически не пользовался: «Мрамор, бронза, дорогие картины, роскошные портьеры, чудная мебель, прекрасные зеркала, великолепные ковры».

При публикации воспоминаний Василия Мещерского это место, как правило, опускают, чтобы не порочить образ святого священника. С одной стороны, это описание действительно выдает нескромный и даже несколько завистливый взгляд самого мемуариста. Но с другой стороны, шила в мешке не утаишь. На многочисленных фотографиях позднего периода отец Иоанн Кронштадтский предстает перед нами в великолепных церковных облачениях, с дорогими крестами и важными государственными орденами. Это было именно то, за что Толстой и критиковал верхние эшелоны православной иерархии.

Но весьма интересное объяснение этому поведению дает М.О.Меньшиков, который, кстати, любил Толстого не меньше, чем Иоанна Кронштадтского. В том, что отец Иоанн не отказался от внешней роскоши, он увидел как раз факт смирения, а не гордости.

«Сам он ходил в последние десятилетия в роскошных подаренных ему шубах и рясах, снимался в орденах и митре, но, я думаю, он делал это не для своего удовольствия, а чтобы не обидеть тех, кому это было приятно. Роскошь одежды иным резала глаза: какой же это святой – не в рубище? Но, может быть, тут было больше смирения, чем спеси. Помните слова Сократа цинику Антисфену: “Твоя гордость смотрит из дыр плаща”? Подобно Христу, отец Иоанн ел и пил с грешниками, может быть, с блудниками, ел иногда тонкие блюда. Он, сын дьячка, выросший в крайней бедности, пил тонкие вина, но на моих, например, глазах он едва притрагивался ко всему этому. Веточка винограда, глоток вина – не более. Дома же ему почти не приходилось бывать, и в мое время обстановка его квартиры была очень скромная. Наконец, разве в этих пустяках человек?..»

По-видимому, как и Толстой, Иоанн Кронштадтский нашел для себя единственную «форму», которая бы наиболее соответствовала его «содержанию». А это «содержание» не предполагало нравственной воли в выборе одежды, что было необходимо Толстому для преодоления своего аристократизма. Отец Иоанн носил то, что ему дарили, и не видел противоречия между своей святостью и дорогими облачениями. Ибо «разве в этих пустяках человек?»

ДЕРЖАВНЫЙ БОЛЬНОЙ

История поездки Иоанна Кронштадтского в Ливадию к умирающему императору Александру III в октябре 1894 года остается одним из самых загадочных эпизодов его биографии. И хотя все обстоятельства этой поездки в принципе хорошо известны, эта история сразу же обросла всевозможными мифами.

Главный миф, тиражируемый благочестивыми биографами отца Иоанна, заключается в том, что в Крым его пригласил будто бы *сам царь*. Но поскольку это было не так, биографы стараются придать приглашению как бы внеличностный характер: «был приглашен к умирающему...»

Но – кем приглашен?

Неужели самим императором?

Если бы отца Иоанна действительно призвал сам Александр III, это было бы серьезным свидетельством того, что Александр III или на самом деле верил в отца Иоанна как чудотворца, или остро нуждался перед смертью в его духовном утешении. Собственно, так эта история и была впоследствии представлена поклонниками кронштадтского батюшки. И он этой легенде не только не воспротивился, но и сам участвовал в ее создании, опубликовав в газете «Новое время» воспоминания о встрече с императором²⁹.

Что это было – элемент личного тщеславия? Вряд ли. Видимо, отец Иоанн действительно увидел в своей единственной встрече с царем какой-то «знак свыше». С этого

²⁹ Против этой публикации был поначалу даже издатель газеты А.С.Суворин, что следует из его письма к члену редколлегии А.М.Жемчужникову, которое приводит в своей книге Надежда Киценко. Он счел ее слишком фамильярной и тем не менее опубликовал, предварительно согласовав с царской семьей.

времени его публичная деятельность всё более и более приобретает «державный» характер. В конце концов он освятил своим именем рождение ультраправых партий – «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела», что окончательно погубило его репутацию в либеральной среде, уже подорванную проповедями против Льва Толстого.

Но при этом нельзя упускать очень важный момент. Одну из главных задач конца своей жизни отец Иоанн Кронштадтский видел в устроении по России новых женских монастырей, а для этого были нужны не только денежные средства, но и элементарные разрешения от местных владык, от Синода. После поездки в Крым и участия в похоронах Александра III положение отца Иоанна в верхах настолько упрочилось, что он мог смело обращаться за поддержкой своих инициатив к любым вышестоящим лицам. Никто не посмел бы отказать человеку, с которым лично говорил перед кончиной государь.

Детали их беседы нам известны только со слов отца Иоанна. Вот как он сам рассказал об этом: «...Государь император выразил желание, чтобы я возложил мои руки на главу его, и, когда я держал, его величество сказал мне: “Вас любит народ”. “Да, – сказал я, – ваше величество, ваш народ любит меня”. Тогда он изволил сказать: “Да – потому что он знает, кто вы и что вы”».

Скорее всего, отец Иоанн изложил разговор с императором точно. При более внимательном прочтении здесь легко обнаружить не только почтение Александра к Кронштадтскому, но и непреодолимую дистанцию, которую он держит между батюшкой и собой. И это несмотря на то, что в этот момент происходит своего рода священнодействие – возложение рук знаменитого чудотворца на голову державного больного. Именно таким образом отец Иоанн, по многим свидетельствам, исцелял больных. Да, но в каких случаях? В тех, когда, по причине отсутствия Святых Даров, он не имел возможности *причастить* больного у него на дому. Однако в Крыму такая возможность – была.

На свою вторую встречу с императором 17 октября отец Иоанн, по свидетельству его спутника, причетника Андреевского собора И.П.Киселева, отправился со Святými Дарами. Александр перед смертью причащался не один раз, и из рук не только отца Иоанна (Сергиева), но и своего духовника отца Иоанна (Янышева). Он же, конечно, и исповедовал царя. Но в таком случае какая роль в этой истории была отведена Иоанну Кронштадтскому? Зачем в Крым, где была своя домовая церковь и где вместе с царской семьей находился их неизменный духовник, был призван еще и священник из Кронштадта?

Духовник царской семьи с 1883 года и до своей кончины в 1910 году протопресвитер Иоанн Янышев одновременно замещал должность протопресвитера всего придворного духовенства. До этого на протяжении семнадцати лет Иоанн Янышев был ректором Санкт-Петербургской духовной академии. Он же был основателем журнала «Церковный вестник», который выходил с 1875 года в качестве официального органа Святейшего Синода. Несмотря на то что Иоанн Янышев был почти ровесником Иоанна Кронштадтского (он родился в 1826 году, а Иван Сергиев – в 1829-м) и, как и отец Иоанн, выходцем из семьи сельского дьякона, его путь сильно отличался от судьбы кронштадтского батюшки.

Он был рукоположен в 1851 году и назначен клириком русской церкви в Висбадене. С 1856 года преподавал богословие и философию в Петербургском университете. С 1858 года стал священником русской церкви в Берлине; с 1859 вновь оказался в Висбадене. В 1864 году был назначен законоучителем принцессы Дагмары (будущей императрицы Марии Федоровны), тогда невесты великого князя Николая Александровича, в то время престолонаследника. Скоропостижная смерть Николая в 1865 году привела к тому, что она стала невестой, а затем и женой Александра III. Под духовным руководством Янышева принцесса перешла в православие.

Иоанн Янышев служил протопресвитером Большого собора Зимнего дворца и Благовещенского в Московском Кремле. Преподавал цесаревичу Николаю Александровичу историю русской церкви. В 1894 году, после согласия императора Александра III на помолвку цесаревича с принцессой Гессенской Алисой (затем ставшей императрицей Александрой Федоровной), он был определен также и ее законоучителем для перехода в

православие.

Между Иоанном Янышевым и Иоанном Кронштадтским – огромная дистанция с точки зрения их положения и в Церкви, и в обществе. Первый – известный богослов, университетский и академический преподаватель, но главное – духовник царской семьи. Второй – «всего лишь» всенародный батюшка.

«Народ любит вас», – говорит царь, ни слова ни говоря о себе, о своем отношении к Кронштадтскому. «Ваш народ любит меня», – отвечает священник, не только выражая свое смирение, но и напоминая царю, что это *его*, а не какой-то чужой народ любит Кронштадтского. «Да – потому что он знает, кто вы и что вы», – соглашается государь, и ситуация возвращается на круги своя. Да, император признает за отцом Иоанном выдающиеся заслуги как всенародного священника, вполне по формуле К.П.Победоносцева: «Народ чует душой». Но холодок между ними остается, потому что Александр III – это все-таки аристократ, а Иоанн Кронштадтский – только народный батюшка. И он «не свой» при дворе.

Александр III имел самые расхожие и приблизительные представления о Кронштадтском, которые он мог почерпнуть из газет или из донесений Победоносцева. Поэтому как Победоносцев не слишком любил отца Иоанна, ибо тот не укладывался в его понимание роли приходского батюшки, так и император, как считает его личный врач И.А.Вельяминов, был недоволен слишком «вызывающим» поведением Иоанна Кронштадтского.

«Я думаю, – писал в своих воспоминаниях о Ливадии Вельяминов, – что Государь подозревал у отца Иоанна желание выдвинуться и бить на популярность, а “популярничание” Государь ненавидел и искренне презирал». По словам великого князя Николая Михайловича, отец Иоанн был приглашен по желанию великой княгини Александры Иосифовны, жены двоюродного брата императора. Такой инициативы ни со стороны самого царя, ни со стороны его ближайших родственников не было. И это безусловно подтверждается тем фактом, что отец Иоанн прибыл в Ливадию (вместе с Александрой Иосифовной и королевой Греческой Ольгой Константиновной, племянницей Александра II) днем 8 октября, но впервые был принят императором только 11 октября. Вполне возможно, что Александр III узнал о приезде священника только после его прибытия.

Тем не менее поведение Иоанна Кронштадтского в Крыму было и в самом деле «вызывающим».

Его, очевидно, привезли в Ливадию с вполне определенной целью, которую очень точно озвучила Надежда Киценко: «Его пригласили... к умирающему императору... скорее от отчаяния, нежели в знак доверия». Иными словами, часть родственников царя надеялась на чудо. В этой довольно сложной и щепетильной ситуации священник должен был бы постоянно находиться вблизи царских покоев в ожидании вызова. Но отец Иоанн и здесь продолжает тот бурный образ жизни, которым он отличался всегда.

Он не сидит на месте. Сначала служит в малой дворцовой церкви, читая при этом особо составленную им молитву об исцелении императора. Затем служит молебен в казармах конвоя. Затем оказывается в Ялте. 10 декабря дом причта ливадийской церкви, где жил Иоанн Кронштадтский, осаждается толпой народа, где не только русские, но и много татар. Даже 11 октября, когда его впервые призвали к царю, он служит литургию в ялтинском соборе при огромном стечении людей и получает депешу из Ливадии прямо во время службы. 12 октября он едет в имение великого князя Александра Михайловича Ай-Тодор, оттуда отправляется в имение князя Юсупова и в тот же день совершает поездку в Алупку, во дворец князя Воронцова. 13 октября служит в Ореанде и посещает водопад Учан-Су. В тот же день в доме дворцового причта принимает еврейскую депутацию Крыма в составе шести человек, которые благодарят его за 200 рублей, пожертвованные на еврейскую общину. 14 октября он в Массандре, откуда едет в богатейшее имение Селям графа Орлова-Давыдова. 15 октября служит в церкви села Аутка, где на глазах толпы исцеляет парализованного татарина. 16 октября он в Гурзуфе, 17-го – опять в Ореанде, откуда его уже

второй раз вызывают к царю. 18 октября посещает знаменитый Никитский сад, основанный в 1812 году герцогом Ришелье. 19-го отмечает (весьма скромно) свои именины, получив в связи с этим 289 поздравительных телеграмм. В этот же день он в третий раз оказывается в покоях царя, где, по свидетельству врача Вельяминова, исповедует и причащает Александра.

Однако на следующий день император скончался, что вроде должно было служить свидетельством краха идеи пригласить Кронштадтского в Крым. «Сделал ли Царь это по собственному почину или нет? – задавался вопросом великий князь Николай Михайлович. – Я почти смело могу сказать, что нет».

В таком случае, казалось бы, приезд Иоанна Кронштадтского в Крым должен был выглядеть настоящим конфузом. Императора не исцелил, а больного татарина исцелил. Но странным образом это поражение отца Иоанна обернулось в его пользу, если можно считать пользой тот факт, что с этого момента имя Иоанна Кронштадтского стало прочно связываться с «державными» интересами России. Как это случилось – непонятно.

Как и в случае с гибелью Александра II, смерть Александра III была использована отцом Иоанном для упрочения своего положения и в Церкви, и при дворе. В этом, возможно, отразился его стратегический ум – ум человека, не искушенного ни в дворцовых, ни в политических, ни даже в церковных интригах, но обладающего какой-то глубокой народной интуицией, а самое главное – твердо знающего настоящую цену своей уникальной личности. Ему не было нужды пресмыкаться перед властью имущими. Он прекрасно понимал, что за ним стоит громадная масса верующего народа, который, как в воздухе, нуждается в батюшке, искренне и от души ему доверяя. Вот чего не было в царской семье.

Ведь если искренне верить в чудотворство Иоанна Кронштадтского, то исцеления императора не могло быть по определению. Главным условием этого исцеления было абсолютное доверие, вера в то, что в этот момент отец Иоанн действительно предстоит *один* перед Богом и молит Его об исцелении.

Но этого-то *доверия* и не было.

Глава девятая БИТВА ГИГАНТОВ

Вам, по Писанию, нужно бы повесить камень на шею и опустить с ним в глубину морскую, вам не должно быть места на земле.

Иоанн Кронштадтский о Толстом

...Добрый старичок.

Толстой об Иоанне Кронштадтском

ВЕРА И ЦЕРКОВЬ

Пути отца Иоанна и Толстого должны были сойтись в одной точке. И этой «точкой» оказались люди, которые попадали под их влияние, порой доверяя им всю свою жизнь, все свои помыслы и надежды. Причем цена вопроса была страшно высока! На кону стояли спасение, жизнь вечная.

Об этом замечательно написал в своей брошюре 1877 года «Великосветский раскол» Н.С.Лесков, ссылаясь на послание священникам генерал-суперинтенданта в Берлине Бюксела: «Мы не должны от себя скрывать, что упадок церковной жизни необыкновенно велик. Он не вызван, а только обнаружен новейшими церковными законами. Многие церкви и алтари посещаются лишь немногими, и большинство народонаселения заботится исключительно о временном и земном. Молитва в домах замолкла. Слово Божие не читается и еще менее исполняется. Число некрещеных детей и невенчанных браков до ужаса велико. Преступления и безнравственность увеличиваются всё более и более, благочестие и

уважение к божественному и человеческому порядку сокрушаются, и суды Божии не принимаются в соображение и не понимаются... Теперь вопрос не о богословских разномыслиях, а о том: есть ли Бог, есть ли у человека бессмертная душа и предстоит ли вечный суд».

На каком пути веры человек обретает спасение и вечную жизнь: в Церкви или вне ее стен? Но отличие имперской России от современной как раз и состояло в том, что этот вроде бы глубоко личный вопрос, который каждый человек решает сам, в конце XIX – начале XX веков превратился, по словам одного исследователя, во «всероссийский плебисцит».

Вне имперского контекста мы никогда не поймем, почему два безусловно искренних и глубоко верующих человека, желавших добра, даже во многом похожих друг на друга – своей неотмирностью, своей совестливостью, своим бесребреничеством, равнодушием к земным благам и, наконец, огромной любовью к простому народу, – оказались не союзниками, но врагами? Почему возник духовный раскол в России, одним из итогов которого и стали русская революция и Гражданская война? Ведь гражданская война начинается сперва в умах и только потом на полях сражений.

Трагедия спора была в том, что оба они искали пути спасения веры в условиях кризиса самой веры, в котором отдавал себе отчет всякий здравомыслящий русский человек. И ответы их на главный вопрос этого спора были диаметрально противоположными. Толстой был уверен, что необходимо спасать веру от Церкви, переживающей, по его мнению, катастрофический кризис, но при этом продолжающей предъявлять на веру исключительные права. Кронштадтский же, как самый убежденный и, если можно так выразиться, *верующий священник* своего времени, не просто отстаивал исключительные церковные права, но и доказывал их на практике, заражая верой в Церковь своей уникальной практикой священнослужителя.

Но если позиция отца Иоанна понятна и не нуждается в комментариях, то антицерковность Толстого – это весьма сложный и, что самое главное, глубоко интимный вопрос. Это такой страшный вопрос, который перепахал всю жизнь писателя, начиная с конца семидесятых годов. И не только его, но его родных, его близких и учеников.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

В 1909 году Толстой в Ясной Поляне встретился с тульским епископом Парфением (Левицким). Встреча состоялась по инициативе владыки Парфения, который, готовясь к инспекции церковно-приходских школ Крапивенского уезда, где находилась Ясная Поляна, спросил директора Тульского военного завода генерала Куна, родственника семьи Чертковых: «А что, Толстой не прогонит меня, если я к нему приеду?» Но Толстой неожиданно с радостью согласился встретиться.

По неизвестной причине оба они приняли решение не предавать публичной огласке содержание их беседы, которая продолжалась несколько часов. И это прискорбно, потому что разговор этот был важен для России и многое бы разъяснил в конфликте Толстого и Церкви. Тем не менее некоторые интересные детали этой встречи были изложены Толстым и отцом Парфением в интервью корреспонденту газеты «Русское слово» С.П.Спиро. По словам отца Парфения, Толстой говорил с ним, «как всякий христианин говорит с пастырем на исповеди». Толстой сделал еще более важное заявление: «...Я сказал ему: одно мне неприятно, что все эти лица (авторы писем, убеждавшие Толстого покаяться перед Церковью. – *П.Б.*) упрекают меня в том, что я разрушаю верования людей. Здесь большое недоразумение, так как вся моя деятельность в этом отношении направлена только на избавление людей от неестественного пребывания в состоянии отсутствия всякой, какой бы там ни было, веры...»

По свидетельству Спиро, Толстой рассказал Парфению, как однажды он шел по деревне Ясная Поляна и заглянул в окно деревенской избы, где старая женщина стояла на коленях перед иконой и била поклоны. Это была Матрена, имевшая в молодости репутацию

«одной из самых порочных баб в деревне». Возвращаясь поздно вечером, Толстой вновь заглянул в окно. Старуха продолжала молиться на том же месте. «Вот это – молитва! – воскликнул Толстой. – Дай Бог нам всем молиться так же, то есть сознавать так же свою зависимость от Бога, – и нарушить ту веру, которая вызывает такую молитву, я счел бы величайшим преступлением. Не то с людьми нашего образованного сословия – в них или нет веры, или, что еще хуже, притворство веры, которая играет роль только известного приличия».

В «Исповеди» он писал, что *завидовал* мужикам, которые ходят в церковь, не испытывая противоречия со своими религиозными чувствами, как это происходит с ним, человеком из образованного слоя. Но если он и допускал такого рода толерантность, то она была крайне обидной для Церкви, потому что закрывала всякую перспективу. Получалось, что ее удел – пасти людей наивных и невежественных, но только до тех пор, пока они не избавятся от своего невежества. В одном из писем к тетушке А.А.Толстой, которая была женщиной убежденно-церковной, но при этом и высокообразованной, Толстой сделал и еще одно любопытное допущение. Он был готов согласиться, что Церковь нужна «образованным женщинам». Но только – не «мужчинам»! Понятно, что на таких неприемлемых условиях никакого плодотворного диалога Льва Толстого с Церковью быть не могло. И это прекрасно понимали обе стороны.

Но все же отношение Толстого к Церкви менялось на протяжении его жизни. И то, что во время ухода он в первую очередь отправился в Оптину пустынь, чтобы поговорить со старцами, конечно, говорит о многом. Да и кроме этого последнего поступка писателя можно выделить по крайней мере два момента в его жизни, когда он старался душевно примириться с Церковью. О первом мы писали. Это 1877 год – начало духовного переворота.

В письме к А.А.Толстой от 25 апреля 1877 года жена писателя Софья Андреевна так рассказала об этой важной перемене в жизни супруга: «...Léon, конечно, вам не писал, что наконец на Страстной неделе он говел, и говел спокойно, хорошо, без волнений и страха сомнений, который бывал прежде. Потом он ездил в церковь и теперь продолжает быть всё в том же расположении духа. С борьбой, с страшным нравственным трудом он достигает того, что другим дается легко, – то есть делается религиозен. Но ему в жизни ничего не давалось легко; этим нравственным, внутренним трудом выработал он и характер свой, и воззрение на мир, и даже талант».

Однако мы знаем, чем это закончилось: «Исповедью», «Критикой догматического богословия» и «переводом» Евангелия. Толстой вступает в страшный конфликт с Церковью.

О том, насколько серьезно он относился к этому конфликту, мы можем судить по двум неотправленным письмам к А.А.Толстой, с которой он всегда был наиболее откровенен в религиозных вопросах. То, что эти письма остались неотправленными, но сохранились в архиве писателя, конечно, свидетельствует о его мучительных колебаниях. Однако тон этих писем не оставляет сомнения, что в начале 80-х годов Толстой не просто отходит от Церкви, но и объявляет ей настоящую войну. Впрочем, это объявление не осталось безответным. «Исповедь» была запрещена к печати духовной цензурой – как и все важнейшие религиозные сочинения Толстого.

«И книга моя («Перевод и соединение четырех Евангелий». – Л.Б.), и я сам есмь обличение обманщиков, – пишет он Александре Андреевне 3 марта 1882 года, – тех лжепророков, к<от>орые<от> придут в овечьей шкуре и кот<от>орых<от> мы узнаем по плодам. – Стало быть, согласия между обличителем и обличаемым не может быть. Выхода для обвиняемых только два – оправдаться и доказать, что все мои обвинения несправедливы. (Этого нельзя сделать почерком пера. Для этого нужно изучение предмета, нужна свобода слова и, главное, сознание своей правоты. – А этого-то нет.) Обличаемые спрятались за цензуру и штыки и кричат: Г<оспо>ди помилуй, – и вы с ними... – Но говорить, как вы говорите и они: “Право, ей-Богу, мы не виноваты. Да побойся Бога, право, мы веруем в Христа” и т. п., – это то самое, что всегда говорят виноватые. – Надо оправдаться в насилиях всякого рода, в казнях, в убийствах, в скопище людей, собранных для человекоубийства и

называемых в насмешку над Богом – христолубивым воинством, во всех ужасах, творившихся и теперь творимых с благословенья вашей веры, или покаяться. И я знаю, что обманщики не станут ни оправдываться, ни раскаются. Раскаяться им и вам неохота, пот<ому>; что тогда нельзя служить мамону и уверять себя, что служишь Богу. Обманщики сделают, что всегда делали, будут молчать; но когда нельзя уже будет молчать, они убьют меня...»

Во втором письме к тетушке Толстой снова настаивает на том, что его непременно в будущем *убьют*. «А они будут молчать, пока можно, а когда нельзя уже будет, они убьют меня... И я могу погибнуть физически, но дело Христа не погибнет, и я не отступлюсь от него, потому что в этом только моя жизнь – сказать то, что я понял заблуждения<ми>; и страданиями целой жизни».

Категорическая убежденность Толстого в том, что его обязательно убьют, может показаться симптомом сумасшествия. Но на самом деле до сих пор остается загадкой, почему на протяжении всей жизни Толстого на него не было совершено ни одного покушения. Ведь письма с угрозами убийства писателя приходили в Ясную Поляну регулярно, как и спрятанные в посылки веревки с намеками, что он должен повеситься сам. Был случай, когда письма приходили от одного и того же анонимного лица с точным указанием числа, когда совершится «возмездие». При этом Толстой всегда отказывался от охраны и был так же доступен для религиозных фанатиков, как отец Иоанн.

И наконец, разве не убийством, только в фигуральном смысле, был тотальный цензурный запрет на религиозные сочинения Толстого? Если бы не активность В.Г.Черткова, издававшего эти сочинения на русском языке в Лондоне и Женеве, после чего они нелегально поступали в Россию, до 1905 года ни одно из значительных религиозных произведений Толстого вообще не увидело бы свет, за исключением 50 экземпляров книги «В чем моя вера?», которые Толстой еще до В.Г.Черткова напечатал в частной типографии для распространения в узком читательском кругу. Между тем в России открыто выходили сотни (!) статей и книг против взглядов Толстого. В этой кампании участвовали такие видные духовные авторитеты того времени, как ректор Московской духовной академии митрополит Антоний (Храповицкий), профессор апологетики христианства Казанской духовной академии А.Ф.Гусев, известный духовный писатель и автор первой биографии отца Иоанна Кронштадтского иеромонах Михаил (Семенов), наконец, сам Иоанн Кронштадтский и другие иерархи и священники. Поэтому несколько странно нынче читать современных обличителей «ереси» Толстого против православной Церкви, когда они пишут о *яростной* борьбе писателя с православием, при этом стыдливо замалчивая один важный факт: это была борьба нелегала с официозом.

Тем не менее в 1895 году в жизни Толстого был еще момент, когда его позиция в отношении Церкви, по-видимому, сильно смягчилась. 23 февраля в хамовническом доме в Москве от скарлатины скончался любимый сын Льва Николаевича и Софьи Андреевны Ванечка. Ему не исполнилось и семи лет.

Эта смерть случилась еще и на фоне очередного семейного конфликта, когда Толстой и его супруга попеременно пытались уйти из дома. И весьма возможно, что именно смерть Ванечки заставила Толстого надолго отказаться от обострения отношений с кем бы то ни было – в том числе и с Церковью.

В письме к А.А.Толстой в марте 1895 года Толстой пишет: «Последние эти дни Соня говела с детьми и Сашей (младшая дочь Толстых. – П.Б.), кот<орая>; умирительно серьезно молится, говеет и читает Евангелие. Она, бедная, очень больно была поражена этой смертью. Но думаю – хорошо. Нынче она причащалась, а Соня не могла, п<отому>; ч<то>; заболела. Вчера она исповедалась у очень умного священника Валентина (друг, наставник Машеньки, сестры), кот<орый>; сказал хорошо Соне, что матери, теряющие детей, всегда в первое время обращаются к Богу, но потом опять возвращаются к мирским заботам и опять удаляются от Бога, и предостерег ее от этого. И, кажется, с ней не случится этого».

Отец Валентин (Амфитеатров) был знаменитым московским священником, настоятелем Архангельского собора в Кремле, поставившим на духовный путь сестру Толстого Марию Николаевну. К нему с огромным почтением относился Иоанн Кронштадтский. Он даже сердился, если в Кронштадт приезжали москвичи: «Зачем вы едете ко мне?! В Москве есть отец Валентин!»

Так или иначе, но с 1895 по 1901 годы Толстой не написал ни одной статьи, в которой Церковь критиковалась бы с тем накалом страсти, какая есть в «Исповеди», «Исследовании догматического богословия», «Переводе и соединении четырех Евангелий», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», «Церковь и государство» и др.

В это же время прекращается и полемика Толстого с тетушкой А.А.Толстой. В последний раз она обратится к племяннику в 1903 году, незадолго до своей смерти. В этом письме Александра Андреевна будет сокрушаться об отпадении от Церкви его дочери Саши: «Точно так же, как вы неумышленно (и я верю, что вы сделали это неумышленно) отвратили ее от родной церкви, так же верно вы привьете к ней ваш взгляд на Христа... Напрасно вы думаете, что она со временем сама пробьет себе путь к религии; она пойдет по вашим стопам; это неизбежно, потому что оно так просто и естественно. Бросив несознательно это злое семя в ее сердце, считая его добрым, вы, вероятно, не рассчитали, что она, вышедши замуж, передаст его своим детям, и так пойдет из поколения в поколение, отнимая у всех самое святое и единственно необходимое и в жизни, и в смерти»³⁰. Но это будет уже не спор, а последний горький вздох тетушки, которая так и не смогла переубедить горячо любимого племянника.

С середины же 90-х годов до момента его «отлучения» от Церкви Толстой если и не смиряется в этом вопросе, то, по крайней мере, перестает писать о нем в своей публицистике. Что же касается его творчества, то мы почти не найдем в нем какого-то отрицательного, а тем более карикатурного образа священника. Это же касается и его дневников.

Единственным (но крайне важным!) исключением из этого правила являются печально знаменитые главы «Воскресения», где описывается служба в храме пересыльной тюрьмы. Сцена, где Катюша Маслова против воли идет на службу в церковь, вне сомнения, содержит кощунственные авторские высказывания о Евхаристии, которые и послужили последней каплей в чаше терпения православной Церкви, вынесшей в лице Святейшего Синода «Определение» от 20–22 февраля 1901 года об «Отпадении» Толстого.

При чтении этих глав (39-я и 40-я первой части романа) бросаются в глаза не только очевидно вульгарные высказывания писателя о таинстве причастия и всем ходе богослужения, но и то, как грубо и бесцеремонно вторгается голос автора в художественную ткань произведения. Возникает ощущение, что в этот момент Толстой, собственно, забывает о самой Масловой и в наиболее резких выражениях повторяет то, о чем неоднократно писал в своей публицистике 80-х – начала 90-х годов. В этих главах нет ничего принципиально нового, такого, чего Толстой не писал бы о Церкви и ее обрядах. По сути, нет ничего нового и в самом методе толстовской критики – всё тот же принцип «остраненного», по выражению Виктора Шкловского, взгляда, когда престол называется «столом», ризы – «мешком», а вынутая часть просфоры – «кусочком бога». Единственное, что поражает при чтении этих глав, – это тот злой педантизм, с которым Толстой переводит, по его мнению, на «нормальный» человеческий язык все детали церковной службы. И если бы не эта злость писателя, на самом деле прекрасно понимавшего, о чем идет речь, то это описание можно было бы принять за слова островного дикаря, рассказывающего своим соплеменникам о том, как он впервые побывал на православной службе.

«Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось, что вырезанные священником и положенные в вино кусочки при известных манипуляциях и молитвах

³⁰ А.А.Толстая ошиблась. Александра Львовна не выйдет замуж, вернется в лоно церкви и скончается в США в возрасте 95 лет глубоко православным человеком, но и не переставшим чтить память своего отца.

превращаются в тело и кровь бога. Манипуляции эти состояли в том, что священник равномерно, несмотря на то что этому мешал надетый на него парчовый мешок, поднимал обе руки кверху и держал их так, потом опускался на колени и целовал стол и то, что было на нем. Самое же главное действие было то, когда священник, взяв обеими руками салфетку, равномерно и плавно махал ею над блюдцем и золотой чашей. Предполагалось, что в это самое время из хлеба и вина делается тело и кровь, и потому это место богослужения было обставлено особенной торжественностью».

В истории написания, а главное – публикации этих глав много неясного. Известно, что Толстой торопился с окончанием и публикацией «Воскресения», потому что гонорар за роман, полученный от издателя А.Ф.Маркса, должен был пойти на помощь переселяющимся из России в Канаду сектантам-духоборам. Тот факт, что ради помощи духоборам (чьи взгляды он далеко не во всем разделял) писатель решил временно отказаться от своего принципа безгонорарного печатания всего, что он пишет, несомненно накладывал отпечаток на его настроение. Толстой не мог не задумываться не только над тем, ради кого он отказывается от своих принципов, но и над тем, *против кого* он в этом случае отказывается. Речь шла об официальной Церкви, которая преследовала духоборов, заставляя крестить своих детей, отнимая их у родителей и помещая в бедные монастыри.

10 мая 1897 года Толстой пишет письмо Николаю II, пытаясь донести до слуха императора безобразные события, которые происходили в Бузулукском уезде Самарской губернии, где у крестьян-молочан силой отнимали детей.

«...В дом крестьянина Чипелева, молочанина по вере, в 2 часа ночи вошел урядник с полицейскими и велел будить детей с тем, чтобы увезти их от родителей. Ничего не понимающих, испуганных мальчиков – одного 13-ти лет, другого 11-ти лет – одели и вывели на двор. Но когда урядник хотел взять двухлетнюю девочку, мать схватила дочь и не хотела отдать ее. Тогда урядник сказал, что велит связать мать, если она не пустит дочь. Отец уговорил жену отдать ребенка, потребовав от урядника расписку, в которой было бы объяснено, по чьему распоряжению взяты дети...

Через несколько дней после этого, в другой деревне – Антоновке, того же уезда, так же ночью, в дом крестьянина Болотина, тоже молочанина, так же пришли урядник с полицейскими и велели собирать в дорогу двух девочек, одну 12-ти, другую 10-ти лет. Хотя Болотин и слышал прежде этого от священника и пристава угрозы, что если он не обратится в православие, которое он оставил уже 13 лет тому назад, то у него отберут детей, он не мог поверить, чтобы такая странная мера была принята против него по распоряжению высшего начальства, и не дал детей. Но на другой день явился пристав с урядником и полицейскими и девочек взяли и увезли.

То же самое и в ту же ночь произошло в семье крестьянина той же деревни Самошкина. У него отняли единственного пятилетнего сына. Мальчик этот составлял радость и надежду семьи, так как после многих лет это был единственный сын, оставшийся в живых. Когда брали этого ребенка, он был болен и в жару. На дворе было свежо. Мать упрашивала оставить его на время. Но пристав не согласился и, сообразно с мнением доктора, решившего, что для жизни ребенка нет опасности в переезде, велел уряднику взять ребенка и везти его, но мать упросила пристава позволить ей самой ехать с сыном до города. Это было позволено, и она проводила его до города Бузулука. В городе же мальчика отняли от матери, и она больше уже не видала его. На все прошения, которые подавали эти крестьяне, они не получили ответа и не знают, где их дети.

Ведь это невероятно!

А между тем всё это совершенная правда...

Но что хуже всего, это то, что это не единичный пример, один из тысяч и тысяч таких же и еще более жестоких дел, совершаемых по всей России над людьми, виновными только в том, что они исповедуют ту веру, которую считают божеской истиной», – пишет Толстой.

В том же 1897 году за свои убеждения, но главным образом за свою активность в распространении запрещенных произведений Льва Толстого, был выслан в Англию

В.Г.Чертков. Разумеется, в Англии он не страдал и не нуждался, получая солидные ежегодные денежные отчисления от своей матери, а его высылка за границу только способствовала тому, что толстовские запретные вещи стали переводиться на иностранные языки и огромными тиражами печататься во всем мире. Тем не менее эта высылка больно была по совести Толстого, ибо она была лишь наиболее ярким и публичным образчиком той коварной политики, которую проводил К.П.Победоносцев при поддержке двух царей – Александра III и Николая II. Политика эта заключалась в следующем: толстовцев преследовать, Толстого не трогать. Таким образом, неприкасаемый Учитель становился морально ответственным за преследование учеников.

Можно привести и немало других поводов, по которым у Толстого не могло быть оснований любить православную Церковь в лице ее митрополитов и лично обер-секретаря Синода. Но это, конечно же, не давало ему права глумиться над таинством.

Нет сведений о каком-то «специальном» отношении Толстого к этим злосчастным главам «Воскресения». Но не может быть сомнения, что они были написаны в состоянии крайнего раздражения на Церковь. Именно на Церковь как институт, а не на ее конкретных священников, тем более простых, каким был батюшка тюремного храма. Недаром у этого батюшки в романе совершенно нет лица. Это какая-то условная фигура, механически исполняющая «известные манипуляции». Этот образ карикатурен, но написан без злости.

В повседневном общении с людьми Толстой не любил, когда при нем начинали ругать «попов». По свидетельству писателя П.А.Сергеенко, он не выносил самого этого слова, считая оскорбительным. И как-то его возмущение вылилось таким образом:

«Однажды известный художественный критик В.В.Стасов заговорил в присутствии Льва Николаевича об Иоанне Кронштадтском и о том, будто Л.Н. в какой-то своей статье высказался о нем: “Этот поп, который” и т. д. Л.Н. прервал Стасова:

– Я никогда ничего подобного не говорил об Иоанне Кронштадтском. И это совсем не мое слово: “поп”. Я терпеть не могу этого слова в применении к известному лицу...»

Изначально роман «Воскресение» печатался главами в иллюстрированном еженедельнике издателя А.Ф.Маркса «Нива», рассчитанном на массового читателя. Нужно ли говорить, что обе антицерковные главы при публикации были изъяты цензурой? Не было этих глав и ни в одном переиздании романа в России вплоть до 1906 года. Зато эти главы (и, вероятно, с великой радостью!) были восстановлены В.Г.Чертковым в английском издании романа на русском языке. Это издание выдержало пять тиражей и достаточно широко, хотя все-таки нелегально, распространялось в России.

Поэтому отец Георгий Ореханов не совсем справедлив, когда пишет об «огромных тиражах» «Воскресения» и о том, что «Россия действительно была потрясена небывалым глумлением над православной верой». Были и огромные тиражи (русские и зарубежные), было и потрясение. Но это потрясение все-таки не могло коснуться обычных российских читателей и уж тем более людей из простонародья. Интересно, что даже такой книголюб и всезнайка, как Василий Розанов, в одной из статей о Толстом признался, что и он не читал этих крамольных глав. По-видимому, он, как и подавляющее большинство русских читателей, познакомился с романом в обычном «марксовском» исполнении, а не в нелегальных изданиях лондонского «Свободного слова» В.Г.Черткова.

Судя по дневнику зятя Толстого М.С.Сухотина, история с публикацией этих глав получилась скандальной и расколола общество, потому что и многие сочувствовавшие взглядам Толстого люди были раздражены этим. Раскол прошел и по семье писателя, где только младшая дочь Саша, как и отец, безусловно любила Черткова. Но даже Сухотин, человек вполне либеральных и уж точно не ортодоксальных взглядов на религию, был возмущен поступком Черткова.

«Поразительно, как этот сын Зеведеев³¹ забрал в руки учителя, – пишет Сухотин в

³¹ Сыновья Зеведеевы – братья Иаков и Иоанн, святые апостолы, ученики Иисуса Христа.

своем интересном, полном метких наблюдений дневнике. – Ему одному разрешены les petites entrées, т. е. ему дозволяется входить, когда ему угодно, ко Л.Н., несмотря на затворенные двери, несмотря на часы, отдаваемые Л.Н.-м работе. Ему дозволено читать всё то, что пишет Л.Н., и по его настоянию Л.Н. поступает со своими писаниями так или иначе. То заявление, которое Л.Н. давно (в 1891 году) сделал о том, что его писания принадлежат всем, собственно говоря, ради Черткова потеряло всякий смысл. В действительности писания Л.Н. принадлежат Черткову. Он их у него отбирает, продает их, кому находит это более удобным, за границу для перевода, настаивает, чтобы Л.Н. поправил то, что ему, Черткову, не нравится, печатает в России там, где находит более подходящим, и лишь после того, как они из рук Черткова увидят свет, они становятся достоянием всеобщим... Если бы я стал припоминать все те поступки Л.Н., которые вызывали наибольшее раздражение в людях, то оказалось бы, что они были совершены под давлением Черткова. Например, помещение в “Воскресении” главы с издевательством над обедней».

Мышиная возня вокруг публикации романа одновременно в России и в Англии Толстого только раздражала. Это был редкий случай, когда писатель был недоволен напористостью любимого ученика в отстаивании его права на публикацию рукописи за рубежом параллельно с изданием Маркса. Издательскому магнату, заплатившему Толстому свыше 30 000 рублей, разумеется, не было дела ни до проблем русских духоборов, ни до амбиций Черткова. Его волновало только одно: как бы текст золотоносной рукописи раньше времени не уплыл из его рук. В этом случае его право сталкивалось с правом всех издателей печатать новые тексты Толстого помимо авторского права. В свою очередь Чертков требовал от Толстого представления ему рукописи не позже, чем она будет опубликована Марксом. Ведь в ином случае он терял возможность заключения контрактов с зарубежными издателями и переводчиками – по той же самой причине: после появления романа в любом виде они в его услугах больше не нуждались. Эта тревожная ситуация заставляла Черткова нервничать и атаковать Толстого письмами с жалобами на Маркса, не желавшего отдавать ему рукопись до полной публикации в «Ниве». В результате Толстой записывает в дневнике 1899 года: «Тяжелые отношения из-за печатания и переводов “Воскресения”. Но большей частью спокоен», – имея в виду недоразумения между Марксом и Чертковым.

Так или иначе, но бесцензурное издание романа не принесло писателю большой радости. И кто был в этом больше всех виноват? Толстой? Чертков? Или православная цензура?

ЧЕЛОВЕК И ЕРЕТИК

Проще всего понять поведение Черткова. Фанатичный приверженец взглядов Толстого, он был убежден, что каждая строчка Учителя не просто обладает вечной ценностью, но и должна быть как можно скорее опубликована, потому что это важно для духовного развития всего прогрессивного человечества. Толстой так не считал, но забота ученика о публикации его запрещенных в России произведений была ему, разумеется, приятна. И – очень удобна с той точки зрения, что сам он мог об этом уже не заботиться.

Сложнее понять Толстого. То, что с начала 80-х годов и до конца своих дней он оставался *убежденным противником церковной веры*, – неоспоримый факт. Всякого рода попытки на основании встречи с отцом Парфением или последней поездки в Оптину пустынь, заочно «вернуть» Толстого в православие будут оставаться в лучшем случае добрыми помыслами благочестивых людей, «жалеющих» его как великого русского писателя. Но с не меньшим и даже бóльшим правом можно «прописать» Толстого в буддизм, в мусульманство, в протестантизм. Однако всё это будет только посмертным насилием над религиозной волей Толстого, многократно и страстно взывавшего к индивидуальной духовной свободе вне каких бы то ни было церковных стен. Наконец, необходимо просто признать, что Толстой, как и его дед, его мать, его отец, его старшие братья, был наследником века Просвещения, и в его глазах Церковь представлялась все-таки

отживающей свое время религиозной структурой.

Но между взглядами и живой жизнью всегда существует конфликт. Толстой не был сектантом, как Чертков. Его глубоко волновало то, что и любимый им русский народ, и некоторые горячо любимые им родственники, и близкие люди продолжали оставаться православными. И это не только не вносило в их жизнь и веру в Бога никакого противоречия, но очевидным образом укрепляло их на пути жизни и веры. Толстой совершенно искренне страдал, когда эти люди считали его религиозный опыт отступничеством от веры. Если бы это было иначе, не было бы его взволнованной переписки с А.А.Толстой, не было бы нежной дружбы с его сестрой-монахиней, которую он несколько раз посещал в Шамординском монастыре и к которой в конце концов и ушел поздней осенью 1910 года. Не было бы совета старшему брату Сергею исповедаться и причаститься перед смертью. Не было бы внимательного прочтения житийной литературы и любви к народным духовным легендам – некоторые их переложения, вроде рассказа «Два старца», принадлежат к шедеврам его прозы. Толстой мог отрицать православие как формальный институт, но не мог не чувствовать, до какой степени православием пронизана вся русская жизнь – и народная, и части его родственного окружения. Не мог не переживать, и переживать мучительно, своего, если можно так выразиться, «отщепенства» в этом вопросе.

Поэтому для нас остается величайшей загадкой, почему так часто в своей публицистике Толстой бывал жестокосерд в отношении православной веры? Почему старик, бесконечно деликатный в своем повседневном поведении, не позволявший себе задеть неосторожным словом чужие привычки и предрассудки, чем влюблял в себя всех, впервые посещавших Ясную Поляну, мог позволить себе откровенно глумиться над тысячелетними религиозными преданиями, которые составляли веру и надежду миллионов людей?

Выразительный пример противоречия между Толстым-человеком и Толстым-еретиком приводится в дневнике А.В.Жиркевича, который побывал в гостях у Толстого в ноябре 1903 года:

«...Лев Николаевич, Абрикосов, доктор Беркенгейм и домашний врач Толстых (фамилию его не помню)³² сидели и беседовали. В столовой этой, как я уже, кажется, ранее упоминал в записках, висят фамильные портреты предков Л.Н.Толстого – графов Толстых, князей Волконских и других. Между ними, посередине, выделяется своей величиной, а не художественными качествами, портрет, масляными красками, в натуральную величину, старика, кажется, князя Горчакова, слепого. Портрет вставлен в старинную массивную раму с гербом Горчаковых (или тех, к роду которых принадлежал оригинал), а в состав герба входит крест... Не знаю, каким образом, но, пока я жил в Ясной Поляне, герб этот отломился и упал на пол. Тогда домашний врач Толстых, молодой человек живого веселого нрава, поднимает крест и в насмешку начинает осеять им Льва Николаевича, как это делают архиереи, при общем хохоте присутствующих, в том числе и самого Льва Николаевича, не остановившего глупую выходку доктора. Не смеялся только я, так как на самом деле ничего смешного не было. Признаться, эта шутка показалась мне не только плоской, но унижающей прежде всего самого Льва Николаевича. Надо заметить, что, не зная моих религиозных убеждений, он до сих пор никогда не позволял себе в присутствии моем никаких глумлений над православием, религией и т. п., хотя он и отозвался о них один раз резко».

Порой возникает чувство, что еретичество Толстого одерживало верх не только над его душой, но и над его разумом.

В 1882 году А.А.Толстая была приглашена в Москву графиней Е.И.Шуваловой, урожденной Чертковой, родной теткой Владимира Григорьевича по отцу. Так вышло, что в гостях она повстречалась и с любимым племянником, который пришел к Шуваловым в дом.

«...Он осыпал меня, точно градом, своими невообразимыми взглядами на религию и церковь, издеваясь вообще над всем, что нам дорого и свято... Мне казалось, что я слышу

³² Вероятно, речь шла о Д.В.Никитине, домашнем враче Толстых в 1902–1904 годах.

бред сумасшедшего. Не могу и не хочу передавать всё, что было им тогда сказано; от его речей щеки мои пылали, но возражать ему я не сочла нужным. Вероятно, мое молчание раздражало его еще более; наконец, когда он сам утомился своим бешеным пароксизмом и взглянул на меня вопросительно, как будто вызывая на ответ, я сказала ему:

– Je n’ai rien à vous répondre, et vous dirai seulement que pendant que vous parliez, je vous voyais aux prises avec quelqu’un qui se tien en ce moment debout derrière votre chais³³.

Он живо обернулся.

– Qui cela?³⁴ – почти вскрикнул он.

– Lucifer en personne, l’incarnation de l’orgueil³⁵, – отвечала я.

Он вскочил с своего места, пораженный этим словом; затем старался успокоиться и сейчас же прибавил:

– Certainement je suis fier d’être le seul qui aie mis enfin la main sur la vérité³⁶.

Господи! и это он называл *правдой*.

Вечером я отправилась к ним и нашла так недавно разъяренного Льва кротким ягненокм. Кроме многочисленной семьи, были тут еще посторонние, и разговор был общий; но Лев направлял его, видимо, так, чтобы ничто неприятное не могло задеть меня; он смотрел на меня умильными глазами, как будто прося прощения, и весь вечер ухаживал за мной с той обаятельной добротой, которая составляла отличительную черту его прекрасной натуры».

Во время этой встречи по просьбе мужа Софья Андреевна рассказала всем о символическом сне, который приснился ей незадолго до духовного переворота Толстого.

«Она видела себя стоящей у храма Спасителя, тогда еще неоконченного³⁷; перед дверьми храма возвышался громадный крест, а на нем живой распятый Христос... Вдруг этот крест стал двигаться и, обошед три раза вокруг храма, остановился перед нею... Спаситель взглянул на нее – и, подняв руку вверх, указал ей на золотой крест, который уже сиял на куполе храма».

То, что Софья Андреевна действительно видела такой сон, подтверждается ее письмом мужу от 7 марта 1878 года, причем в этом письме она рассказывает такие подробности: «...Я увидела распятого Спасителя, черного с ног до головы. Какой-то человек обтирал полотенцем Спасителя, и Спаситель вдруг весь побелел, открыл правый глаз, поднял, отставив от креста, правую руку и указал на небо. Потом мы будто пошли с Лёлей и Машей (Лев и Мария, младшие дети Толстых. – П.Б.) по шоссе, и покатилося крымское яблоко по траве, и я говорю: “Не берите его, оно мое”».

Этот сон так поразил бедную Софью Андреевну, что, проснувшись, она дрожала, как в лихорадке, и рыдала. «Во сне еще я сказала себе: “Это мне Бог посылает к р е с т – т е р п е н и е, и от меня откатится яблочко какое-нибудь...”»

На следующий день она заказала молебен с водосвятием в яснополянском доме, о чем также сообщила мужу, который был в Петербурге, где едва не встретился с Достоевским. Интересно, как она объясняла этот свой поступок:

³³ Мне нечего вам ответить и скажу вам только, что пока вы говорили, я видела вас во власти кого-то, стоящего еще и теперь за вашим стулом (*франц.*)

³⁴ Кто же это? (*франц.*)

³⁵ Сам Люцифер, олицетворение гордости (*франц.*)

³⁶ Конечно, я горжусь тем, что только я один приблизился к правде (*франц.*).

³⁷ Храм Христа Спасителя в Москве, возводившийся по проекту архитектора К. А Тона, был заложен в 1839 году. Его освящение и открытие состоялось в 1883 году.

«Сделала я это отчасти от моей трусости (которую я в себе так ненавижу) перед судьбой; отчасти от чувства религиозного и от недоумения перед странным явлением мне (во сне) Спасителя на кресте, да еще и ожившего...»

КОГО СОБЛАЗНЯЛ ТОЛСТОЙ?

Согласимся, что Толстой воевал с Церковью только словом. Осуждать его за то, что он выносил это слово на публичное обсуждение и тем самым *соблазнял малых сих*, в чем его обвиняли и обвиняют до сих пор, – значит придавать этой проблеме какой-то призрак характер. Что же получается? Толстой не должен был в «Исповеди» писать о своем неудачном опыте причащения? О том, что христианство несовместимо с войной? Наконец, о том, что церковные обряды представляются ему лишними в общении человека с Богом? Толстой должен был об этом молчать? Или кому он мог об этом говорить, чтобы не *соблазнять малых сих*? Своей жене? Тетушке Александре Андреевне? Черткову? Где проходила граница между той публикой, перед которой Толстой мог выступать и перед которой не мог? До какой степени могла простираться свобода его слова?

Но всё это вопросы риторические, ибо в России конца XIX века властвовала строжайшая духовная цензура, контролируемая Победоносцевым. Однако любопытно, что логика Победоносцева, основанная прежде всего на страхе перед свободным высказыванием, продолжает действовать до сих пор. И снова и снова мы слышим, что Толстой не должен был говорить того, что он говорил, и не должен был придавать огласке того, что он думал. Потому очень важно понять, на чем строилась логика обер-прокурора Синода в его личной войне с Толстым.

И вот оказывается, что первым из «малых сих», кого мог соблазнить Толстой, но кого он не соблазнил из-за оперативных действий обер-прокурора, был – государь император.

Знаменитая история с письмом Толстого Александру III является первым фактом цензуры Победоносцева по отношению к Толстому. И больше того – первым фактом его цензуры вообще в качестве влиятельного лица в государстве. На этом поступке он отрабатывал свою будущую стратегию «тайного правителя России».

Если судить по письму Победоносцева к Толстому, где он объясняет причины своего поступка, то можно подумать, что обер-прокурор просто не счел нужным передавать послание «расслабленного» умом человека царю. Тем не менее почему-то сразу после отказа передавать письмо «расслабленного» он сам пишет к государю:

«Ваше императорское величество. Простите ради Бога, что так часто тревожу Вас и беспокою.

Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни. Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить Вашему величеству извращенные мысли и убедить Вас к помилованию преступников. Слух этот дошел до старика гр. Строганова, который приехал ко мне сегодня в волнении.

Может ли это случиться? Нет, нет и тысячу раз нет – этого быть не может, чтобы Вы перед лицом всего народа русского, в такую минуту простили убийц отца Вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется.

Если бы это могло случиться, верьте мне, государь, это будет принято за грех великий и поколеблет сердца всех Ваших подданных. Я русский человек, живу посреди русских и знаю, что чувствует народ и чего требует. В эту минуту все жаждут возмездия».

На записке рукой императора написано: «Будьте спокойны, с подобными предложениями ко мне не посмеет прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за что я ручаюсь».

В этом письме к новому царю, который, не будем забывать, был воспитанником Победоносцева, отразился прообраз всей его будущей идеологии, вся его натура и весь

почерк его правления. Письмо написано 30 марта 1881 года. Каким образом в течение одного месяца после убийства Александра II обер-прокурор Синода (обычная министерская должность, не сопоставимая с постом министра внутренних дел или даже министра финансов) успел выяснить мнение «всего народа русского», который будто бы «жаждет возмездия»? На каком основании сын профессора Московского университета считает именно себя тем «русским человеком», который живет «посреди русских» и один знает, «что чувствует народ и чего требует»? Почему этого не знают боевой офицер, помещик Лев Толстой или сын великого русского историка Владимир Соловьев?

Впервые понятие «народ» (который думает так, а не иначе) возникло в письме Победоносцева Александру III уже 3 марта 1881 года, через день после события 1 марта.

«С этого времени, – пишет историк Ю.В.Готье, – до самого конца жизни Александра III Победоносцев, подсказывая императору те или иные мнения и планы и стремясь эти мнения и планы внедрить в его сознание, постоянно говорит о “народе”, который думает именно так, как думает сам Победоносцев».

В том же письме от 3 марта 1881 года возникает и еще одна важная формула: «...Ибо так благоволит Бог», «...Богу угодно». Но Бог у Победоносцева тоже почему-то всегда «благоволит» и думает, как думает Победоносцев.

«Бог велел нам переживать нынешний страшный день... Любя Вас, как человека, хотелось бы, как человека, спасти Вас от тяготы в привольную жизнь; но нет на то силы человеческой, ибо так благоволил Бог...» – пишет он своему воспитаннику всего через день после кончины его отца императора.

Да, в какой-то степени он видел в этом волю Божию. Но проблема заключалась в том, что он *не любил* Александра II и считал время его правления величайшей бедой для России.

Победоносцев был страшно оскорблен, когда Александр II запретил своему сыну поехать в Москву в 1867 году на похороны митрополита Филарета (Дроздова). Туда уже отправился великий князь Владимир, и император посчитал, что присутствия одного великого князя вполне достаточно. Это был сильный удар не только по самолюбию Победоносцева, который лично просил своего воспитанника быть на погребении Филарета, но и по всем его представлениям об отношениях царской власти и духовенства. Внук священника, Победоносцев действительно любил православие. И не только умом, но всем сердцем. В период его правления число церковно-приходских школ выросло почти до 50 000, и в них учились ежегодно до 2 млн детей. Между прочим, это было мощным образовательным фактором, потому что в церковно-приходские школы принимали учеников из низших социальных слоев.

Победоносцев по своим взглядам принадлежал к московской партии славянофилов. Он дружил с Иваном Аксаковым, переписывался с сестрами Тютчевыми – Анной и Екатериной, дочерьми великого русского поэта. (На последней едва не женился в свое время Толстой, но что-то остановило его от родственной связи с наиболее любимым им поэтом.) В известном душевном выборе между Москвой и Петербургом сердце Победоносцева склонялось в пользу Москвы. Петербург он не любил и всегда чувствовал себя там чужим.

Уже став воспитателем великих князей – цесаревичей Николая и Александра, Победоносцев в интимной переписке с Тютчевыми не боялся сообщать о своей нелюбви к правящему царю.

«Нам здесь, не поверите, как надоели преобразования, – пишет он Анне Тютчевой 14 декабря 1864 года, имея в виду, конечно, либеральные законы Александра II: освобождение крестьян, земскую, судебную реформы, – как мы в них изверились, как хотелось бы на чем-нибудь твердом остановиться, чтоб знать наконец, какое колесо у нас вертится и на каком месте какой работник стоит...»

Спустя тринадцать лет в письме Екатерине Тютчевой он выражает недовольство уже кадровой политикой царя во время русско-турецкой войны: «И на кого рассчитывать? От кого требуется решение? Государь, по-видимому, впал в пассивное состояние; решится ли он почти вопреки себя взять метлу в руки, вымести прежних, взять новых людей. Во всю свою

жизнь он как бы по природе боялся способных людей, избегал их, искал ничтожества, потому что на ничтожестве легче было ему успокоиться...»

Сначала Победоносцев возлагал надежды на цесаревича Николая Александровича, но тот рано скончался, в 1865 году. Это стало сильным потрясением для его учителя. Ведь он, безусловно, провидел в своем воспитаннике будущего императора, который повернет Русь в иное русло развития – конечно, на основании тех уроков, которые ему преподавал Победоносцев.

«На него была надежда, – пишет он Анне Тютчевой после смерти великого князя Николая, – мы в нем видели противодействие, в нем искали другого полюса. Эту надежду Бог взял у нас. Что с нами будет? Да будет Его святая воля...»

И опять в этом письме обнажается странная метаморфоза политического и религиозного самосознания Победоносцева. Кто эти «мы»? От имени кого выступает в общем-то скромный учитель царской семьи? До его назначения на должность обер-прокурора Синода остается еще пятнадцать лет. Однако и эта должность не давала ему возможности говорить не только от лица какой-то серьезной политической силы, но даже и от лица русского духовенства, для которого синодальное управление Церковью, введенное Петром Первым, было скорее оскорбительным, – сковывая Церковь по рукам и ногам, превращало ее в еще одно министерство.

Тем не менее, будто бы полагаясь на волю Божию, Победоносцев начинает усиленно воспитывать нового цесаревича, в которого он на самом деле еще не верит, не видит в нем державного стержня и лишь после его женитьбы и участия в боях за Плевну начинает возлагать на него большие надежды.

Смерть Александра II была ему выгодна. Только с этого дня он получил возможность непосредственного участия в государственной политике на основании преданности его бывшего воспитанника. Поэтому скорейшая казнь преступников стала для него принципиальным решением. Если бы Александр III хоть на секунду дрогнул в этом вопросе, ни о какой дальнейшей политике укрепления монархической власти и свертывания реформ не могло быть и речи, а Победоносцеву в этой политике просто не нашлось бы места. Потому-то вмешательство Толстого, обладавшего в России известностью и авторитетом, конечно, не сопоставимыми с положением без году неделя обер-прокурора, стало серьезным моральным ударом для Константина Петровича. В тот момент, когда он готовился к торжеству над «ничтожествами» из либерального кабинета министров (прежде всего Лорис-Меликовым, Милютиним и Абазой), когда он уже видел перспективы возрождения русского православного государства, как он его понимал, в дело вмешался Толстой, да еще и с какими-то своими «христианскими» воззрениями!

Не удивительно, что вся дальнейшая стратегия Победоносцева по отношению к Толстому сводилась не только к запретам, но и к сознательному его унижению. И вновь камнем преткновения в этой войне оказывался государь.

Победоносцев был умным и глубоко нравственным человеком, что признавали даже его враги. Он умел отделять личные интересы от государственных задач. Но в том-то и дело, что с самого начала его правления государственные задачи в его глазах были неотделимы от его убеждений и личной, притом весьма одинокой, воли. И всё это хрупкое здание покоилось исключительно на доверии к нему нового императора. Нельзя сказать, что Победоносцев всю жизнь мстил Толстому. Если бы это было так, то именно он должен был бы стать инициатором отлучения Толстого от церкви после того, как в романе «Воскресение» появились не только кощунственные главы о Евхаристии, но и карикатурный образ бюрократа Топорова, списанный с Победоносцева. Но это, как мы еще увидим, было совсем не так. Нет, это была не месть, но сложное психологическое противостояние двух авторитетов.

Каждый из них по-своему понимал Бога, христианство и русский народ. Каждый из них искал не личной выгоды, а блага для людей. И каждый из них был абсолютно непримирим к позиции своего оппонента.

Горечь положения Победоносцева заключалась в том, что Толстого любила и даже обожествляла почти вся читающая Россия и почти весь образованный мир. Между тем Победоносцев был высокообразованным человеком, следил за всеми новейшими тенденциями в русской и европейской мысли, а в своем фундаментальном духовном образовании, конечно же, превосходил Толстого. Но Толстого любили, а его не любило даже духовенство, для которого он вроде сделал так много, заботясь о сельских приходах и развивая систему начального церковного образования.

Можно только догадываться, что испытывал Победоносцев, получая письма такого рода: «...У Вас нет друзей (искренних по крайней мере) ни в одном лагере, ни в одном сословии, ни в одной общественной группе. Вам льстят, Вас ненавидят. Дворянство ненавидит Вас как дьяконского внука, стремящегося передать духовенству оставшееся за дворянством право руководства народной школой в лице предводителей как председателей училищных советов. Дворянство боится, что духовенство издавна, Бог весть по каким причинам, озлобленное на всё дворянское сословие, воспользуется предоставляемым ему исключительным правом заведования начальной школой, чтобы передать свою ненависть к дворянскому сословию и будущему поколению крестьян...

Бюрократия средней руки тоже недовольна Вами за предпочтение, которое Вы оказываете духовенству. Она высказывает убеждение, что духовные учебные заведения больше всех других доставляют атеистов, нигилистов и динамитчиков...

Духовенство проклинает Вас за учреждение дьяконов, отнявших у причта значительную часть доходов. Оно ненавидит Вас еще за то, что по Вашему приказу архиереи велят им под угрозой лишения места заводить школы во что бы то ни стало, несмотря ни на что, – за то, что теперь кроме взяток благочинным и консистории приходится платить взятки и отцам-наблюдателям».

Толстого любили, а в распоряжении Победоносцева был только один моральный ресурс – доверие к нему государя, его воспитанника. Поэтому он так болезненно относился ко всякой, даже и призрачной угрозе личного общения Толстого с императором – через письма ли, или, например, через супругу.

Победоносцев был взбешен, когда весной 1891 года Софья Андреевна Толстая с целью добиться разрешения напечатать «Крейцерову сонату» в тринадцатом томе собрания сочинений своего мужа, которое издавала лично она, напросилась на аудиенцию к Александру III, минуя церемониальные законы и воспользовавшись тем, что государь находился в Гатчине, куда и было передано ее письмо:

«Ваше императорское величество, принимаю на себя смелость всеподданнейше просить ваше величество о назначении мне всемилостивейшего приема для принесения личного перед вашим величеством ходатайства ради моего мужа...»

Шесть лет назад, в 1885 году, С.А.Толстая была куда скромнее и смогла добиться приема только у Победоносцева, чтобы просить *его* разрешения на публикацию в очередном томе собрания сочинений Толстого запрещенных сочинений «В чем моя вера?» и «Так что же нам делать?». Тогда Победоносцев не только ей отказал, но и говорил с женой писателя весьма бесцеремонно:

– Я должен вам сказать, что мне очень вас жаль; я знал вас в детстве, очень любил и уважал вашего отца и считаю несчастьем быть женой такого человека...

– Вот это для меня ново, – отвечала Толстая. – Не только я считаю себя счастливой, но мне все завидуют, что я жена такого талантливого и умного человека...

– Должен вам сказать, – возразил ей Победоносцев, – что я в супруге вашем и ума не признаю. Ум есть гармония, в вашем же муже всюду крайности и углы.

Сочинение Толстого «В чем моя вера?» запретил к печати лично Победоносцев. По крайней мере, со стороны духовного цензурного комитета такой инициативы не было. «...Книгу твою новую цензура светская передала в цензуру духовную... – писала Толстая мужу 29 января 1884 года, – архимандрит, председатель цензурного комитета, ее прочел и сказал, что в этой книге столько высоких истин, что нельзя не признать их, и что он с своей

стороны не видит причины не пропустить ее. – Но я думаю, что Победоносцев с своей бестактностью и педантизмом опять запретит».

Разумеется, она была права.

Толстого в то время не могло не волновать отношение духовенства России к его религиозным произведениям. «Известие твое... о мнении архимандрита мне очень приятно, – отвечает он жене. – Если оно справедливо. Ничье одобрение мне не дорого бы было, как духовных. Но боюсь, что оно невозможно».

Однако оно не только было возможным, но и породило вскоре серьезную проблему для православной Церкви. Взгляды Толстого неожиданно стали разделять некоторые священники. Имена одних из этих «малых сих» мы знаем: Георгий Гапон и Григорий Петров. Но это слишком радикальные примеры, чтобы считать их типическими. Куда более интересный случай – признание Толстого со стороны самого обыкновенного священника, деда толстовца М.А.Новоселова. Михаил Васильевич Зашигранский был священником «на покое». Летом 1887 года Новоселов жил на хуторе деда при селе Поддубье Вышневолоцкого уезда. В то время Новоселов переписывал «Евангелие» Толстого, находя там неточности и указывая на них писателю. При этом он сообщает:

«Нечего говорить, что в общем и в массе частных Евангелие (Толстого. – *П.Б.*) так хорошо, что лучшего нельзя желать. Я то и дело отрываюсь от переписки, бегу к деду и с криком “слушай, слушай” начинаю читать поразившие меня места. Дед в восторге, особенно от главы о богопочитании». Дед также поинтересовался у внука, откуда взял Толстой для одной из своих статей фразу: «Были попы золотые и чаши деревянные; стали чаши золотые – попы деревянные». Это была старообрядческая поговорка.

Кого же еще из «малых сих» соблазнял Толстой? Вероятно, народ, крестьянство – основное население российской империи? Но тут мы имеем дело с одним примечательным фактом. В России во времена Толстого существовало невероятное количество народных квазихристианских сект, исследованием которых занимались сектоведы от А.С.Пругавина до В.Д.Бонч-Бруевича, будущего советского государственного деятеля. Заинтересовавшись этим вопросом, умная и любознательная писательница Л.И.Веселитская пишет в воспоминаниях о Толстом: «Я узнала о существовании немоляков, отрицанцев, Любушкина согласия, нетовщины, скопчества; узнала биографии Кульмана, Тверитинова, Данилы Филиппова, Ивана Суслова, Савицкого, Радаева, Селиванова; узнала и о новохлыстовстве, о шалапутях, молоканах, субботниках, воскресниках, о скакунах, штундистах, баптистах, белоризцах, серафимовцах, медальщиках, секачах, варсоновцах, дыропеках, дырниках, никодимцах, обнищеванцах, адвентистах, о Маликове, малеванщине и сютаевщине».

Но «толстовщины» в России официально не было. Во время ухода Толстого директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий А.Н.Харузин 2 ноября 1910 года заявил корреспонденту газеты «Русское слово»: «Толстовцев как секту мы не знаем. Мы признаем сектантами лишь такие религиозные сообщества, которые представляют известные догматические особенности. Синодские сферы толкуют этот вопрос гораздо шире, рассматривая его с точки зрения канонической. И в сущности, вопрос о том, что следует называть сектой, – вопрос очень спорный. На киевском съезде долго и ожесточенно спорили о том, следует признавать иоаннитов сектантами или нет. Решили, что нет, но все-таки, ввиду широкого распространения иоаннитского учения, за ними учрежден надзор, сосредоточенный в Департаменте духовных дел. О толстовцах в нашем ведомстве даже никогда не поднимался вопрос. Сектантами они не являются, так как догматы учения их не выражены определенно и представляют скорее выражение мирозозерцания отдельных лиц. Для нас толстовцы представляются скорее социальной организацией, чем религиозной, и потому, конечно, они не могут подлежать надзору Департамента духовных дел, ибо если стать на точку зрения признания толстовцев сектой, то нам пришлось бы искать сектантов среди нашей интеллигенции, выслушивать религиозное мнение каждого, и, конечно, это был бы путь неправильный, не соответствующий закону и, наконец, даже не могущий принести реальной пользы».

Но что имел в виду А.Н.Харузин, говоря, что «синодские сферы толкуют этот вопрос гораздо шире»?

Дело в том, что иоаннитов, фанатичных поклонников отца Иоанна Кронштадтского, на Всероссийском миссионерском съезде в Киеве 23 августа 1909 года православная Церковь 112-ю голосами против 44-х все-таки признала сектой. Это случилось уже после смерти отца Иоанна и даже частичного, если можно так выразиться, признания его как святого с учреждением ежегодного 20 декабря дня его памяти во всех православных церквях по Указу Его Императорского Величества. Но кому, кроме самых ярких противников отца Иоанна, придет в голову, что он соблазнял «малых сих»?

Между тем влияние отца Иоанна в народной среде было, конечно, несравненно шире толстовского. Портреты Толстого не висели в каждой крестьянской избе наравне с иконами. Крестьяне не поклонялись ему как чудотворцу и не видели в нем последнюю инстанцию в поисках земной и небесной справедливости. В толстовскую «секту» крестьяне не отдавали своих детей, что повсеместно происходило с сектой иоаннитов и вызвало после 1905 года грандиозный газетный скандал, результатом которого было прямое вмешательство полиции и разгром колоний иоаннитов в Петербурге, когда несовершеннолетних детей из разных губерний России изымали из общежитий иоаннитов и отправляли в детские приюты.

Ошибка нашего зрения, особенно современного, в отношении толстовцев происходит от того, что слишком уж крупной величиной представляется сам Толстой, чтобы допустить, что его прямое влияние на массы населения до революции было, по сути, ничтожным. Толстовство как таковое было явлением индивидуального выбора и поведения в интеллигентной среде. При этом надо учесть, что и в этой среде такой выбор представлялся исключительно экстравагантным, своего рода поветрием среди молодых людей, к которому или жестко отрицательно, или снисходительно, но в любом случае скептически относилось старшее поколение. Молодых толстовцев того времени можно сравнить с движением хиппи в США и Европе 60-х годов или с движением молодых романтиков в СССР того же времени, которые спорили с отцами, рубили дедовскими шашками дорогую мебель, как в пьесе Виктора Розова, или отправлялись на комсомольские стройки без рубля в кармане.

Толстовство было именно молодежным поветрием в интеллигентных семьях. Это, в частности, замечательно показано в повести Н.С.Лескова «Зимний день». Кстати, такой прекрасный знаток русской жизни во всех ее проявлениях, как Лесков, будучи сам убежденным сторонником взглядов Толстого, тем не менее относился к моде на толстовство скептически.

Если же говорить о действительно серьезных толстовцах, таких как В.Г.Чертков, П.И.Бирюков, И.М.Трегубов, И.И.Горбунов-Посадов, Е.И.Попов, М.А.Новоселов, Д.А.Хилков, А.М.Хирьяков и др., то вот один кричащий факт.

Биограф Черткова М.В.Муратов пишет: «Несмотря на то, что в конце восьмидесятых и в начале девяностых годов в обществе и в печати немало уделяется внимания так называемому толстовскому движению, оно не привлекает сколько-нибудь значительного количества последователей. В бумагах Черткова сохранился составленный им в 1890 или 1891 году перечень, озаглавленный “Список лиц, иногда ошибочно именуемых «толстовцами», чем привыкли обозначать людей несуществующих или по крайней мере не долженствующих существовать”. В список этот включены единомышленники Толстого, живущие в Петербурге, в Москве и по всей стране, и, однако, он насчитывает всего около шестидесяти имен, причем некоторые внесены туда без достаточных оснований».

Разумеется, это не значит, что влияние Толстого на русские умы ограничивалось несколькими десятками человек. Ведь именно в 90-е годы в российском обществе две самые популярные темы были: кто прав – марксисты или народники?; и что хотел сказать Толстой «Крейцеровой сонатой»?

На рубеже XIX–XX веков Россия представляла собой кипящий религиозный и идеологический бульон, в который толстовские взгляды упали как щепоть соли, проявив и усилив вкус некоторых его ингредиентов. Но говорить, что именно Толстой этот бульон

заварил, – значит просто подменять явления и понятия. И особенно это касается народной среды.

В 1897 году на миссионерском съезде в Казани по инициативе тайного советника и правой руки К.П.Победоносцева, известного миссионера В.М.Скворцова толстовство все-таки было объявлено «особой сектой». Это решение утвердил Синод. Но что значит «особой»? Может ли быть не особая секта? Оказывается, как пишет В.М.Скворцов, «символическим изложением учения толстовства как секты тогда признан был “катехизис Иисусова братства по Евангелию (штунды)”». Иными словами, речь шла о так называемых младоштундистах, в начале 80-х годов отколовшихся от основной части «штунды», этой крупнейшей в России секты протестантского направления, которая религиозно сотрясала Украину и Поволжье начиная с середины XIX столетия, а пришла в Россию из Германии и того раньше. В начале 80-х годов, когда Толстой только писал первые религиозные статьи, штунда (от нем. Stunde – час для чтения и толкования Библии) в основной своей части слилась с баптистами, но малая ее часть пошла в развитии своего рационалистического прочтения Евангелия еще дальше и стала отрицать все церковные таинства, включая крещение. И опять-таки только часть младоштундистов впоследствии приняла воззрения духовоборов и толстовцев. Так возникло течение штундо-толстовцев, о котором, видимо, главным образом и шла речь на миссионерском съезде в Казани 1897 года.

Это один из характерных примеров того, как толстовское «лжеучение» (по выражению Синода) проникало в народные секты, где оно причудливо видоизменялось. Вероятно, именно это имел в виду К.П.Победоносцев, когда в своих ежегодных отчетах государю о состоянии религии в России писал, что учение Толстого «начинает уже становиться достоянием народной массы». По его словам, толстовство наблюдается в целом ряде российских губерний: Харьковской, Воронежской, Курской, Полтавской, Киевской, Екатеринославской... (Заметим, что именно в тех, где было наиболее мощным влияние немецкой «штунды».) Что же касается страхов Победоносцева, которыми он пугал царя, что толстовство наблюдается уже и на Кавказе, и в Сибири, то это был вопиющий образец государственного лицемерия, потому что Кавказ и Сибирь стали традиционным местом высылки духовоборов и толстовцев, что, конечно же, способствовало распространению этих учений в отдаленных краях Российской империи.

Течение толстовства внимательно изучал видный русский историк и этнограф А.С.Пругавин, лично знавший Льва Толстого. В его книге «О Льве Толстом и о толстовцах» рассказывается о встречах с представителями толстовства из народной среды и напечатаны письма одного из них. Из этих рассказов и этих писем вырисовывается любопытная картина. Никакой самостоятельной секты толстовцев в народной среде не было. Да и странно было бы предположить, чтобы даже образованные крестьяне могли всерьез уяснить учение Толстого, которое даже князь А.Д.Хилков (бывший толстовец, вернувшийся в православие) в своих поздних покаянных письмах называл слишком *аристократическим*.

В самом деле, достаточно просто заглянуть в любое публицистическое сочинение Толстого, чтобы понять, что адресным читателем является здесь не крестьянин, но интеллигент, у которого, по крайней мере, есть время, чтобы задуматься о своем положении в мире, основанном на труде тысяч «рабов» (любимое выражение Толстого), и изменить это положение.

В книге А.С.Пругавина замечательно сказано, что «из Толстого, как из моря, разные люди почерпают различные моральные и религиозные ценности. Каждый берет то, что ему более сродно, что отвечает его наклонностям, его духовным запросам». Например, крестьяне Лев и Сергей, пришедшие к Пругавину и назвавшие себя толстовцами, конечно, никакими настоящими толстовцами не были. Это были обычные бродяги, «диолены XX века», как выражается о них Пругавин, которые «немало сожалеют о том, что у нас, в России, нельзя, как в Афинах, жить в бочке, а необходимо иметь если не комнату, то хотя угол». Их главный принцип: «Богат не тот, у кого много, а тот, кому ничего не надо», – вполне совпадал не только с толстовским взглядом на «роскошь», но и с буддийским отрицанием всякого

«желания». «Лев (один из толстовцев. – *П.Б.*) богаче нас всех, – говорил Сергей. – Мы все рабы своих потребностей, своих привычек. Я, например, не могу обойтись без шапки и лаптей, а потому являюсь рабом этих вещей. Лев же свободен от всего этого».

Даже полицейские в селах и городах, куда приходили Лев и Сергей и где их по закону арестовывали как бродяг, понимали, что совершают глупость, преследуя этих людей.

Странно, что они называли себя именно толстовцами. В их котомках сочинения Толстого лежали вместе с книгами об индийских йогах. «Все сложные проблемы государственной, социальной и политической жизни наши толстовцы разрешают тремя-четырьмя словами: “все люди – братья”, “все – дети одного Отца”. Рядом с этими афоризмами стоит положение, что “весь мир есть дом Божий”», – пишет Пругавин и задается законным вопросом: насколько справедливы были утверждения Победоносцева, что эти «вредные» мысли проникли в народную среду «не без влияния весьма опасного религиозно-социального учения графа Толстого, практически примененного к понятиям и жизни народа»?

Видимо, Победоносцев читал тексты Толстого каким-то особым зрением. Иначе трудно объяснить тот факт, что преследованию с его стороны подвергались не только религиозные сочинения писателя, но и некоторые художественные произведения, например, «Крейцера соната» и «Власть тьмы».

Первую Софье Андреевне Толстой удалось напечатать в тринадцатом томе собрания сочинений мужа, лишь обманув Победоносцева и передав через своего знакомого письмо в Гатчину с просьбой о встрече с государем. Эта встреча прошла в самой любезной атмосфере, в конце которой супругу Толстого представили также императрице. Государь выражал восторг перед художественным талантом ее мужа («Как он пишет! как он пишет!») и сокрушался по поводу того, что Толстой распространяет свои взгляды в народе (кто ему это сказал? лично Победоносцев?). Софья Андреевна оказалась в сложном положении. Ей пришлось одновременно и говорить правду, и лукавить: «Могу уверить, ваше величество, что муж мой никогда ни в народе, ни где-либо не проповедует ничего; он ни слова не говорил никогда мужикам и не только не распространяет ничего из своих рукописей, но часто в отчаянии, что их распространяют». Толстой действительно не проповедовал среди своих мужиков. В результате сложилась странная ситуация: толстовство наблюдалось в разных уездах России, но не в окрестностях Ясной Поляны. Однако от распространения своих сочинений, в том числе и нелегальных, он, конечно, не был в отчаянии.

Встреча Александра III с графиней проявила ненормальность положения, когда между первым лицом империи и ее первым писателем не может быть прямого общения. Только – через посредников, которыми оказываются люди, заинтересованные в «правильном» понимании императором личности Толстого. При этом из самых благих побуждений царя обманывают и Толстая, и Победоносцев. Победоносцев своими ежегодными отчетами убеждает его, насколько опасен Толстой для России; супруга писателя доказывает, что ее муж не лев, а кроткая овечка. Государь принимает соломоново решение: напечатать «Крейцерову сонату», но только в составе собрания сочинений Толстого. (Проблема еще и в том, что повесть не понравилась императрице.) Однако «благодаря» изначальному запрещению Победоносцева интерес к повести у широкой публики особенно высок, и Софья Андреевна, как практичный издатель, допечатывает отдельное издание тринадцатого тома, да еще и в сокращенном виде. А это уже является нарушением монаршей воли, о чем Победоносцев, конечно же, спешит доложить государю. «Толстая – лгунья!» – говорит царь по версии Победоносцева. «Если она солгала, то я больше не верю в существование правдивых людей!» – говорит он по версии Софьи Андреевны. А где при этом Толстой? А Толстой работает на голоде в селе Бегичевка Рязанской губернии, открывает бесплатные столовые и спасает детей и взрослых от голодной смерти.

Случай с «Крейцеровой сонатой» не единственный, когда Победоносцев пытался помешать распространению в России не только религиозных, но и художественных вещей недружественного ему графа. В 1887 году в обществе пронесся слух, что драму Толстого

«Власть тьмы» собираются поставить на императорских театрах. Будто бы директор императорских театров И.А.Всеволожский уже распределяет роли между артистами и будто бы разрешение поставить пьесу исходит от самого государя. (Известно, что Александр III присутствовал на художественной читке пьесы Толстого и вроде бы даже плакал во время ее чтения.) При этом удивительно, что слухи эти стали неожиданностью и для самого Победоносцева, и для назначенного лично им главным цензором Е.М.Феоктистова.

Феоктистов пишет тревожное письмо Победоносцеву, где просит того ознакомиться с пьесой, которую он, Феоктистов, уже запретил к постановке. Победоносцев пишет письмо царю, в котором узнается весь его идеологический почерк и характерная манера запугивать царя: «Я только что прочел новую драму гр. Т<олстого> и не могу прийти в себя от ужаса. Его усиливает еще слух, будто бы готовятся давать ее на им<ператорских> театрах...»

В этом письме видна всё та же отработанная тактика влияния на царя. Вокруг возможности постановки пьесы искусственно нагнетается атмосфера страха и слухов, как и в 1881 году вокруг возможности помиловать цареубийц. И опять Победоносцев пишет в письме о «расслабленном сознании без воли». И опять он эксплуатирует тему народа, и опять на основании слухов: «Сказывают, что когда Толстой собрал крестьян и дворовых и читал им свою драму, чтобы дознать производимое ею впечатление, один из лакеев отвечал на вопрос о Никите (действующее лицо «Власти тьмы». – П.Б.): “Всё хорошо шло, да под конец с п л о х о в а л”».

Разве может быть император глупее лакея?! Ответ Александра III поражает даже не тем, что он соглашается с Победоносцевым, но абсолютной покорностью перед его мнением и какой-то извиняющейся интонацией, с которой царь высказывает свое решение: «Всё, что Вы пишете, совершенно справедливо, и могу Вас успокоить, что давать ее на императорских театрах не собирались, а были толки о пробном представлении без публики, чтобы решить, возможно ли ее давать, или совершенно запретить. Мое мнение и убеждение, что эту драму на сцене давать невозможно, она слишком реальна и ужасна по сюжету. Грустно очень, что столь талантливый Толстой ничего лучшего не мог выбрать для своей драмы, как этот отвратительный сюжет, но написана вся пьеса мастерски и интересно».

И вот «мастерски и интересно» написанную пьесу запрещают к постановке. Потому что «страшно»!

На самом деле канва всей этой «страшной» истории была такова. Сам Толстой совсем не стремился к тому, чтобы его пьеса была поставлена на императорских театрах. Он хотел, чтобы она была поставлена в Москве в народном театре М.В.Лентовского «Скоморох». Но в конце декабря 1886 года актриса петербургского Александринского театра М.Г.Савина попросила у Толстого эту пьесу для своего бенефиса. Толстой ответил согласием, однако пьеса была запрещена цензорским комитетом. Тогда друзья Толстого В.Г.Чертков и А.А.Стахович организовали чтение «Власти тьмы» в известных частных домах и придворных кругах, чтобы популяризировать драму и добиться отмены цензурного запрета. Постановки этой пьесы добивались И.Е.Репин, В.В.Стасов, Г.И.Успенский, В.Г.Короленко, В.М.Гаршин, В.И.Немирович-Данченко. Стахович устроил ее художественное чтение у министра императорского двора и уделов в присутствии Александра III. Пьеса царю понравилась, он даже пожелал быть на генеральной репетиции. В феврале – марте 1887 года в Александринском театре всю шла подготовка к спектаклю. Уже были распределены роли, театр готовился к генеральной репетиции...

После вмешательства Победоносцева «Власть тьмы» была запрещена к постановке на протяжении без малого десяти лет. За это время ее успели поставить в Париже и Берлине, в театрах Италии, Швейцарии и Голландии. По этому поводу известный журналист В.А.Гиляровский сочинил иронические стихи:

В России две напасти:
Внизу – власть тьмы,

А наверху – тьма власти.

ОТЛУЧЕНИЕ ИЛИ ОТПАДЕНИЕ?

Вспышка напряжения в отношениях между Толстым и православием происходит в 1901 году, и это, безусловно, связано с отлучением Толстого от Церкви. Именно после этого из-под пера писателя выходит самая резкая и неприятная по тону антицерковная статья «К духовенству», написанная в форме открытого письма к церковникам мира, а не только к православным священникам. Как мы увидим, эта статья и послужила поводом к настоящей проповеднической войне отца Иоанна против Толстого.

В истории отлучения Толстого все еще много неясного. Популярная точка зрения, что Толстого от церкви «не отлучили», что он сам отпал от нее, а церковь всего лишь вынуждена была этот факт констатировать, является исключительно современным взглядом на этот непростой вопрос. Правда, что в отношении Толстого церковь не провозглашала анафемы. Но в начале XX века в российских церквях не анафематствовали никого, этот средневековый акт был де-факто упразднен. Последний раз анафеме предавали гетмана Мазепу, и это случилось в XVIII веке. С 1801 года имена еретиков вообще не упоминались в церковных службах, а с 1869 года из списка проклинаемых священниками убрали даже Гришку Отрепьева. Поэтому странно было бы, если бы на его место встал Толстой!

Тем не менее, читая тексты начала XX века, подразумевая под этим словом не только статьи и книги, но дневники и частную переписку, в том числе и священников, и высших церковных иерархов, мы крайне редко встречаем в них слово «отпадение». Все, буквально все писали именно об отлучении! Почему? Да потому что все прекрасно понимали, о чем идет речь. «Определение» Святейшего Синода от 20–22 февраля 1901 года было актом *отлучения* подданного православной империи от православной Церкви со всеми вытекающими из этого и каноническими, и юридическими, и просто человеческими последствиями. Другое дело, что канонические последствия Толстой для себя не признавал, а юридические последствия ему тогда не грозили из-за его исключительного положения в стране.

Это прекрасно понимали все люди в России начала XX века, от простого мужика до обер-прокурора Синода, от социалистов до черносотенцев, от писателей и журналистов до батюшек и митрополитов. А именно: этим «Определением» Толстой был объявлен *персоной нон гра* в пределах православного государства до того момента, пока он не раскается в своих убеждениях.

Но ведь Толстого никто не казнил, не сажал в тюрьму, не отправлял в Сибирь и даже не высылал в Англию, как его друга В.Г.Черткова. Он сидел в своей Ясной Поляне и продолжал писать о Церкви в еще более резких выражениях, чем до «Определения». Так говорит современный человек, опять-таки не понимая того, что понимали почти все люди в начале XX века. Самого Толстого не казнили, не сажали и не ссылали. Но сажали в тюрьмы и ссылали на Кавказ и в Сибирь тех, кто разделял его взгляды. И это было худшей казнью для Толстого, которая была придумана Победоносцевым, с его иезуитским мышлением, но которая принесла совсем не те плоды, на какие он, вероятно, рассчитывал. Запрещение религиозных (и не только религиозных) произведений Толстого к публикации в России и преследование тех, кто эти вещи распространял, способствовали широкой популяризации идей Толстого, в которых видели скрываемую от народа государством и официальной Церковью правду.

Настоящим популяризатором Толстого был не Чертков, а Победоносцев. Только благодаря ему достаточно сомнительные и уж, во всяком случае, не характерные для эстетики Толстого «Крейцера соната» и «Власть тьмы», которые вполне искренне не понравились многим почитателям толстовского художественного гения, оказались наиболее обсуждаемыми. Только благодаря тому, что на религиозные произведения писателя, начиная

с его еще довольно невинной «Исповеди», был наложен цензурный запрет, эти крайне многословные, тяжеловесные, а порой и просто невыносимые на художественный взгляд сочинения становились модными.

Видные церковные лица – архимандрит Антоний (Храповицкий), архиепископ Херсонский и Одесский Никанор (Бровкович), архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев), архиепископ Казанский и Свияжский Павел (Лебедев), известные священники, преподаватели духовных академий спорили со взглядами Толстого начиная уже с 1883 года, когда еще ни одно из его религиозных сочинений не было напечатано даже за границей. Библиография статей и книг, написанных о «религии Толстого» еще до 1901 года, насчитывает порядка двухсот наименований.

После публикации в журнале «Церковные ведомости» от 24 февраля 1901 года «Определения» об отпадении Толстого от церкви поток церковной публицистики не только не уменьшился, чего вроде бы следовало ожидать (о чем говорить, если человек отпал?), но вырос в геометрической прогрессии, потому что появился повод говорить еще и об «отпадении», которое почему-то упорно называли «отлучением». Эта характерная ошибка вкралась даже в третье издание сборника статей «Миссионерского обозрения», составленного советником В.М.Скворцовым, «По поводу отпадения от церкви гр. Л.Н.Толстого», где в разделе «Содержание» книга названа «Сборником статей по поводу отлучения гр. Толстого».

При этом ни о какой публичной защите воззрений Толстого до 1905 года не могло быть речи.

Поэтому уже в 1883 году, полемизируя с брошюрой К.Н.Леонтьева «Наши новые христиане Ф.М.Достоевский и гр. Лев Толстой...», где была раскритикована «религия любви» Толстого в связи с рассказом «Чем люди живы?», Н.С.Лесков в статье «Граф Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский как ересиархи», опубликованной в «Новостях и Биржевой газете», вынужден был сделать интересную оговорку: «Конечно, в настоящее время из-за брошюры г-на Леонтьева не предадут посмертной анафеме Достоевского, а также не сожгут на костре и даже не отправят в ссылку гр. Толстого, но зато сам г-н Леонтьев ровно ничем не рискует и притом имеет перед обвиняемыми большие шансы удерживать за собою последнее, победоносное слово. Достоевский уже мертв и ничего не ответит, а граф Лев Николаевич, хотя благодаря Бога и жив, но и он, конечно, не может отвечать на подобное обвинение тем же печатным путем. Или, по крайней мере, он не может исполнить этого со всем тем чистосердечием, которого требуют серьезность вопроса и личное достоинство искреннего человека. Известный эпизод с религиозною статьею графа в *“Русской мысли”* вполне г-на Леонтьева на этот счет обеспечивает». Лесков, разумеется, имел в виду запрещение к печати «Исповеди» Толстого и уничтожение набранных с ней номеров журнала.

Таким образом, спор Толстого с Церковью или Церкви с Толстым с самого начала представлял пример нарушенной коммуникации или испорченного телефона. Толстой, как мы уже писали, видел себя в роли обвинителя Церкви, которая должна покаяться в своих грехах: в инквизиции, оправдании войн, смертных казней и т. д. Но в итоге он сам оказался в роли обвиняемого, да еще и без права свободного голоса. В результате о «вредном» учении Толстого широкая публика узнавала в первую очередь со стороны обвинения.

Это породило хаос проблем, который Синод в конце концов и вынужден был рассеять своим «Определением». Ему необходимо было перед лицом всей России (но прежде всего православного духовенства, которое на уровне приходских батюшек терялось в догадках: что это за новая религия такая? вроде бы в нравственном отношении она хорошая, а на самом деле?) обозначить непримиримое расхождение Церкви с Толстым в фундаментальных вопросах веры. И хотя расхождение это было уже многократно обозначено и церковными публицистами, и миссионерским съездом в Казани 1897 года, и различными «поучениями» и проповедями известных церковных лиц, включая отца Иоанна Кронштадтского, в том искаженном с самого начала пространстве, в котором циркулировали по всей России идеи

Толстого, для «малых сих» (среди которых были, увы, не слишком образованные батюшки) всё еще оставалось много неясного.

Процесс отлучения Толстого от православной Церкви был непрост и занимал несколько этапов. Впервые этот вопрос возник в 1888 году, когда архиепископ Херсонский и Одесский Никанор (Бровкович) в письме к основателю журнала «Вопросы философии и психологии» Н.Я.Гроту сообщил о том, что в Синоде готовится проект провозглашения анафемы Толстому. При этом из текста письма следовало, что Толстой был не единственным кандидатом на анафему. В этот список попали поэт Константин Фофанов и знаменитый сектант В.А.Пашков, муж родной сестры матери В.Г.Черткова. Однако текст этого проекта нам неизвестен.

В 1891 году протоиерей харьковского собора Буткевич в десятую годовщину царствования императора Александра III, которая отмечалась 2 марта, произнес слово «О лжеучении графа Л.Н.Толстого», где процитировал апостола Павла: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Но сама по себе эта проповедь не имела бы серьезного значения, если бы ее не растащили на цитаты газеты. Церковные проповеди против «лжи» Толстого к тому времени были уже нередким явлением. Так, А.В.Жиркевич в дневнике от 10 декабря 1891 года пишет: «Невероятно! М-те Крестовская говорила мне, что будто бы отец Иоанн Кронштадтский во время “глухой исповеди” проклял Толстого, его учение и его последователей. Впрочем, наши священники способны и на такую нелепость; но как-то не верится, чтобы о. Иоанн, о доброте и милосердии которого ходят легенды, сказал подобную нехристианскую пошлость».

В феврале 1892 года разразился скандал в связи с публикацией в английской газете “Daily Telegraph” статьи Толстого «О голоде», которая была запрещена в России, о чем мы уже писали. В этот раз Александр III приказал «не трогать» Толстого. Но в обществе упорно ходили слухи, что Толстого хотят сослать в крепость Суздальского монастыря «без права писать». Об этом сообщает в дневнике С.А.Толстая: «...Наконец я стала получать письма из Петербурга, что надо мне спешить предпринять что-нибудь для нашего спасения, что нас хотят сослать и т. д.» Эти слухи доносились даже до Прибалтики. А.В.Жиркевич, в то время помощник прокурора в Вильно, пишет в дневнике: «Про Льва Толстого ходят в обществе самые безобразные слухи... вроде того, что он заключен в Соловки».

Мысль, что писателя хотели заточить в монастырь, современным людям может показаться нелепостью. Но на самом деле с 1766 года суздальский Спасо-Евфимиевский монастырь служил местом заточения *религиозных* преступников. В XIX веке там, в частности, отбывали наказание старообрядческие епископы Аркадий, Конон и Геннадий, о чем Толстой в 1879 году писал своей тетушке А.А.Толстой с просьбой поговорить о них с императрицей: «Просьба через нее к Государю за трех стариков, раскольничьих архиереев (одному 90 лет, двум около 60, четвертый умер в заточении), которые 23 года сидят в заточении в Суздальском монастыре».

Однако всё это были только слухи и мнения. Вообще церковная среда, даже на уровне своих высших иерархов, никогда не была единодушна в отношении Толстого. Во-первых, здесь работала модель «голуби и ястребы», которая свойственна всякой государственной идеологии, а православие было государственной идеологией России. Кто-то считал, что с Толстым нужно поступить предельно жестко (вплоть до заточения его в монастырскую тюрьму), кто-то искал более мягкого варианта воздействия на него. Во-вторых, нельзя не согласиться с отцом Георгием Орехановым, что православная Церковь не была равнодушна к Толстому и несколько раз пыталась наладить диалог с ним, «вразумить» его как «блудного сына». В своем «Ответе» Синоду по поводу своего отлучения Толстой обнаружил весьма странную забывчивость, когда писал, что «оно («Определение». – П.Б.) содержит в себе явную неправду, так как в нем сказано, что со стороны Церкви были сделаны относительно меня не увенчавшиеся успехом попытки вразумления. Ничего подобного никогда не было». Такие попытки были, и они хорошо известны.

Так, в марте 1892 года Толстого в Хамовниках посещает архимандрит Антоний (Храповицкий), наиболее глубокий и последовательный оппонент Толстого в печати.

Архимандрит Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий, 1863–1936) был известным церковным деятелем и духовным писателем, ректором Московской духовной академии (с 1890 года), затем Казанской духовной академии (с 1895 года) и архиепископом Волынским (с 1902 года). В 1886–87 годах он служил преподавателем гомилетики, литургии и каноники в Холмской духовной семинарии. В 1887 году стал доцентом Петербургской духовной академии, где защитил диссертацию по теме «Психологические данные в пользу свободы воли и нравственной ответственности». Известный историк русской церкви А.В.Карташев писал, что «он поднял знамя борьбы с инославной богословской эрудицией и призвал к созданию оригинального восточного богословия на основе текстов святых отцов и богослужебных книг». Это был, несомненно, сильный для Толстого оппонент, который спорил с его взглядами с 1886 года, еще на основании «народных» рассказов писателя. Однако надо признать, что время для этой встречи было им выбрано крайне неудачно.

Толстой недавно вернулся с голода в Рязанской губернии, где со своими дочерьми Татьяной и Марией открыл несколько сотен бесплатных столовых для крестьян. Между тем, как затем вспоминала в разговоре с А.В.Жиркевичем дочь писателя Мария Львовна, когда Толстой и его семья приехали в Бегичевку помогать голодающим, какой-то священник на станции произносил перед народом речь, в которой предупреждал не принимать помощи от Толстого, называя его антихристом. По словам Марии Львовны, в первое время ей очень часто приходилось выслушивать такие фразы: «Иди, иди, матушка, со своим хлебом, не надо нам антихристовой подавния». Только потом, когда народ убедился в искренности и плодотворности помощи семьи Толстого, те же люди расспрашивали Татьяну Львовну: ну отчего отца ее «духовенство зовет антихристом»? Вряд ли могли способствовать душевному диалогу Толстого с архимандритом и уже ходившие в марте 1892 года слухи о заточении писателя в монастырь. И наконец, Антоний Храповицкий приехал к Толстому в Хамовники буквально накануне выхода в Женеве первого издания толстовского «Соединения и перевода четырех Евангелий», что, возможно, стало одной из причин новых разговоров в высших церковных сферах об отлучении.

В апреле 1892 года Софья Андреевна пишет мужу: «...Вчера Грот принес письмо Антония (Храповицкого. – *П.Б.*), в котором он пишет, что митрополит здешний хочет тебя торжественно отлучить от церкви. – Вот еще мало презирают Россию за границей, а тут, я воображаю, какой бы смех поднялся! Сам Антоний хвалит очень “Первую ступень” (статья Толстого о вегетарианстве, которая была напечатана в «Вопросах философии и психологии». – *П.Б.*), и умно и остроумно отзываясь о ней и об отношении к этой статье митрополита и духовенства». Это письмо лишний раз доказывает, что в духовенстве не было единой точки зрения на Толстого.

Встреча с Антонием Храповицким не произвела на Толстого сильного впечатления, но как человек тот ему понравился. В письме к студенту Московской духовной академии, будущему толстовцу И.М.Трегубову он пишет: «Очень бы желал быть в единении с вами и с милым Антонием Храповицким, но не могу не признавать всего, что у вас делается и пишется, и очень глупым, и очень вредным. И, кроме того, делая свое дело, не могу, к несчастью оставаться вполне, как бы мне хотелось, индифферентным к этой всей деятельности, потому что всё это губит самое драгоценное в людях – их разумное сознание...» В письме к своему последователю князю Д.А.Хилкову Толстой высказывается еще более определенно: «Он (отец Антоний. – *П.Б.*) в Москве приходил ко мне. И он жалок. Он находится под одним из самых страшных соблазнов людских – учительства. По своему положению всякий священник, монах, тем более чиновный монах, архимандрит, да еще ректор, должен быть учителем, и учителем христианства, того христианства, в котором сказано, чтобы никто не был учителем. Как же тут быть? А вместе с тем человек по характеру добрый, воздержанный и желающий быть христианином...»

При этом сам писатель нередко закусывал удила и бывал очевидно несправедлив в

отношении некоторых священников, которые искали встречи с ним или, по крайней мере, сочувственно относились к его общественной деятельности. Так, близкий знакомый Толстого, прозаик и драматург П.А.Сергеенко пишет в своих воспоминаниях, что до определенного момента Иоанн Кронштадтский «относился к великому писателю довольно терпимо и не выступал против него с гневными обличениями – напротив, от времени до времени присылал иногда Льву Николаевичу через общих друзей просфору, как знак своего благоволения». Но если эти воспоминания ничем документально не подтверждены, то другой факт несомненен. Когда во время работы мужа на голоде в Бегичевке жена писателя обратилась через газеты к обществу с просьбой оказать финансовую помощь голодающим, отец Иоанн Кронштадтский был одним из тех священников, кто на этот призыв откликнулся и прислал Софье Андреевне 200 рублей вместе с запиской: «Ваше сиятельство Софья Андреевна. Позвольте через Ваше посредство обратиться с посильною помощью голодающим соотечественникам тех местностей, в коих деятелями являются Ваши дорогие дети». Об этом С.А.Толстая сообщила мужу в письме от 13 ноября 1891 года. Тем не менее, когда в апреле 1892 года она написала ему в Бегичевку, что Н.Я.Грот, желая заинтересовать духовенство статьей «Первая ступень», дал ее прочитать отцу Иоанну Кронштадтскому, Толстой оказался этим страшно недоволен. «Какая глупая история с Кронштадтским Иваном! – пишет он жене 1 мая. – Зачем Гроту было его спрашивать?»

В 1897 и 1898 годах Толстого навещает тульский протоиерей Дмитрий (Троицкий), настоятель тюремной церкви. Супруга писателя пишет в дневнике 29 сентября 1897 года: «Приезжал из Тулы к Льву Николаевичу тюремный священник, болезненный, кроткий и наивный; говорил, что находит много общего с Львом Николаевичем в своих мыслях и хотел с ним побеседовать. Но меня удивило то, что для того, чтоб поехать к нам, надо было священнику просить разрешения у архиерея. Неужели до такой степени Льва Николаевича считают еретиком?»

Это восклицание жены писателя прекрасно иллюстрирует нашу мысль о нарушенной коммуникации. Две стороны, Церковь и Толстой, по-разному воспринимали одни и те же события. Для протоиерея церкви тульской тюрьмы проезд к Толстому был событием, конечно, важным и знаковым, как и для его начальства. В сознании же самого Толстого и его семьи приезды священников в Ясную Поляну до отлучения не были таким уж громким событием (в отличие, скажем, от приезда епископа Парфения в 1909 году или, тем более, приезда самого Толстого в Оптину пустынь в 1910-м). Тогда для них это были, в общем, рядовые события, учитывая, что с 90-х годов и до конца жизни Толстого усадьба Ясная Поляна становится настоящим центром мирового культурного паломничества. Если мы станем перечислять имена всех писателей, философов, артистов, режиссеров, художников и т. д., которые перебивали за это время в гостях у Толстых, то этот список будет насчитывать десятки знаменитых имен. Ну, например, незадолго до посещения Ясной Поляны Дмитрием Троицким в ней побывал Чезаре Ломброзо, известный итальянский психиатр, родоначальник антропологического направления в криминалистике и уголовном праве. В том же году Толстой встречался с художником Ильей Репиным, критиком Владимиром Стасовым, философом Сергеем Булгаковым, писателем Антоном Чеховым, композитором Александром Скрябиным, судебным деятелем Анатолием Кони, скульптором Ильей Гинцбургом, купцом-меценатом Кузьмой Солдатенковым, английским переводчиком и издателем Эльмером Моодом, режиссером Леопольдом Сулержицким и другими.

Наконец, в 1897 году в жизни Толстого происходит немало событий частного плана. Он ревнует свою жену к С.И.Танееву, его дочь Мария выходит замуж за князя Николая Оболенского, умирает близкий друг – князь С.С.Урусов.

Поэтому вполне возможно, что в 1901 году, отвечая Синоду, Толстой действительно мог позабыть о посещении Ясной Поляны тюремным священником, как и о более раннем приезде архимандрита Антония (Храповицкого). Тем более что до февраля 1901 года все события вокруг отлучения Толстого продолжали развиваться по тому же принципу испорченного телефона.

26 апреля 1896 года К.П.Победоносцев сообщает в письме известному педагогу С.А.Рачинскому: «Есть предположение в Синоде объявить его (Толстого. – П.Б.) отлученным от Церкви во избежание всяких сомнений и недоразумений в народе, который видит и слышит, что вся интеллигенция поклоняется Толстому».

И опять характерный почерк принятия решений Победоносцевым – уклончивый, внеличностный, в чем-то исходящий из пилатовского принципа умывания рук. Впоследствии помощник В.М.Скворцов напишет, что его патрон «был против известного синодального акта и после его опубликования остался при том же мнении. Он лишь уступил или, вернее, допустил и не воспротивился, как он это умел делать в других случаях, осуществить эту идею...» Разве не встает здесь призрак Понтия Пилата?

При этом очень важно обратить внимание на другую фразу из письма Победоносцева к Рачинскому: «Вероятно, после коронации возбудится вопрос: что делать с Толстым?» Николай II, как и его отец, был воспитанником Победоносцева, но, в отличие от отца, его ничто не связывало с Толстым.

Все при дворе, в том числе и Победоносцев, понимали, что при жизни Александра III отлучение от церкви Толстого невозможно. И потому, что император с юных лет любил его как писателя. И потому, что оставался верен своему обещанию Толстого «не трогать», чтобы «не прибавлять к славе Толстого мученического венца». Больше того, до кончины Александра III и до вступления на престол его сына «не трогали» и В.Г.Черткова, мать которого, Елизавета Ивановна Черткова, урожденная графиня Чернышева-Кругликова, была заметной фигурой при дворе во времена Николая I, а с двумя Александрями, отцом и сыном, находилась в дружеских отношениях: они просто, без чинов, по-приятельски приезжали к ней в гости. Отец В.Г.Черткова служил флигель-адъютантом при Николае I и генерал-адъютантом при Александре II и Александре III. Наконец, сам Александр III в ранней юности находился в дружеских отношениях с Чертковым. Поэтому когда С.А.Толстая встречалась с императором в 1891 году, тот добродушно спрашивал ее: зачем ее муж «обратил» Черткова в свою веру? Софья Андреевна отметила замечательный факт: Александр III даже внешне походил на Черткова.

Смерть императора развязывала руки противникам Толстого и его ближайшего ученика. Когда в 1897 году Черткова выслали в Англию, Толстой приехал в Петербург на его проводы, уже понимая, что над ним самим висит дамоклов меч. Он сочувственно отнесся к смерти Александра III, написав Гроту, что жалеет его, «как человека, страдающего и умирающего в таких тяжелых для души условиях». Впрочем, эта жалость не заставила писателя переменить свое мнение «о плачевных итогах его царствования».

Толстой подозревал, что со смертью Александра III в его отношениях с государством и Церковью начинается какой-то новый этап. Прочитав в газетах речь Николая II перед представителями дворянства и земства от 17 января 1895 года, где новый царь объявил о «бессмысленных мечтаниях об участии представителей земства в делах внутреннего управления» и о том, что он будет «охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно», как и его отец, Толстой отмечает это в дневнике как «важное событие» – «дерзкая речь государя»; «боюсь, для меня не останется без последствий».

Между тем в речи Николая II не было ничего принципиально нового по сравнению с политикой его отца. Но Толстой не мог не понимать, что при сохранении государственного status quo его личное положение все-таки существенно меняется, потому что в его отношениях с властью исчезает личный фактор.

В этой неопределенной ситуации громадное значение приобретала позиция Победоносцева, ибо он и был той самой крупной личностью, через которую осуществлялась идеологическая преемственность власти. От его твердого решения в ту или иную сторону зависело, как развивались бы отношения Толстого и Церкви дальше: переросли бы они в официально объявленную войну или продолжали оставаться в пределах печатных споров с возможным постепенным смягчением цензуры. Но Победоносцев, как мы видим из письма к Рачинскому, занял выжидательную позицию, оставив решение проблемы самой Церкви.

Впрочем, и Победоносцева тоже нужно понять. Обер-прокурор был глубоко православным человеком и не мог относиться к Церкви сухо и формально. Во всяком случае, не мог навязывать ей свое решение. Если верить его помощнику В.М.Скворцову (хотя и с большой осторожностью, потому что он сам выступил инициатором осуждения толстовства на миссионерском съезде 1897 года), то Победоносцев не только был против громкого отлучения Толстого, но и не хотел вообще никаких ответных мер со стороны церковной власти по отношению к «еретику», исходя из своего, надо признать, весьма мудрого мнения: «Глядишь, старик одумается, ведь он, колобродник, и сам никогда не знает, куда придет и на чем остановится». Во всяком случае, когда незадолго до февральских событий 1901 года Толстой серьезно заболел и Скворцов доложил Победоносцеву о письме московского священника с вопросом, петь ли в храме «Со святыми упокой», если Толстого не станет, – Победоносцев хладнокровно сказал: «Ведь ежели эдаким-то манером рассуждать, то по ком тогда и петь его (священника) “Со святыми упокой”. Мало еще шуму-то около имени Толстого, а ежели теперь, как он хочет, запретить служить панихиды и отпевать Толстого, то ведь какая поднимется смута умов, сколько соблазну будет и греха с этой смутой? А по-моему, тут лучше держаться известной поговорки: не тронь...»

Но позиция «Не тронь» была весьма двусмысленной для чиновника с таким уровнем ответственности, как Победоносцев. Государство не могло бесконечно делать вид, что Толстого не существует, и при этом преследовать его сторонников. Высылка В.Г.Черткова в 1897 году наглядно проявила бессилие власти, ибо полагать, что Чертков с его колоссальными связями в Англии, с его безупречным знанием английского языка и фантастической издательской активностью окажется менее вреден за границей, нежели вблизи Толстого, было, конечно, абсолютной глупостью.

Так или иначе, но Победоносцев, выражаясь современным языком, подставлял Церковь, оставляя вопрос с Толстым исключительно на ее совести. В конце концов, Церковь могла принять только каноническое решение о Толстом, объявив его взгляды несовместимыми с православием, что она в конечном итоге и сделала. Но православие лежало в основании государственной идеологии, и с этой точки зрения Толстой являлся государственным преступником. Однако государство умывало руки, а Церковь была вынуждена взять неприятную миссию отлучения на себя.

Не случайно не только лично Победоносцев, но и Синод достаточно долго уклонялся от принятия окончательного решения. Наконец в ноябре 1899 года один из наиболее радикальных оппонентов Толстого архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев) напечатал в журнале «Вера и Церковь» проект отлучения Толстого. В предисловии к публикации говорилось, что после выхода романа «Воскресение» Амвросия посетил первенствующий член Святейшего Синода митрополит Киевский Иоанникий (Руднев). По его совету было решено, что Амвросий возбудит в Синоде «вопрос о Толстом». Но, как пишет Георгий Ореханов, никаких следов обсуждения этого вопроса в Синоде не имеется, и потому проект Амвросия носил характер обычной журнальной публикации.

В марте 1900 года, в начале Великого поста, когда Церковь отмечает Неделю Торжества Православия (в этот день традиционно осуждали еретиков), от митрополита Иоанникия всем епископам было отправлено «циркулярное письмо» по поводу возможной смерти Л.Н.Толстого в связи с участвовавшими разговорами о тяжелой болезни писателя. В письме говорилось, что так как многие почитатели Толстого знакомы с его взглядами только по слухам, они, возможно, будут просить священников в случае смерти Толстого служить панихиды по нему, а между тем он заявил себя как враг Церкви. «Таковых людей Православная Церковь торжественно, в присутствии верных своих чад, в Неделю Православия объявляет чуждыми церковного общения», и поэтому совершение заупокойных литургий и поминовений Толстого Святейший Синод категорически воспрещает. Однако никакого официального решения Синода о Толстом напечатано не было. Запрещение отпевать Толстого, может быть, и совершенно правильное канонически, было тем не менее произнесено подспудно, а не «в присутствии верных чад». И это породило новую проблему.

Если Толстой умрет, а его нельзя будет отпевать, нельзя за него в храме молиться, – то на каком основании? Циркулярного письма?

Но Толстой остался жив. В июне 1900 года скончался сам престарелый митрополит Иоанникий. На место первенствующего члена Синода заступил еще сравнительно молодой и энергичный митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский). Именно ему история уготовила роль стать инициатором окончательного отлучения Толстого от Церкви. Парадокс же в том, что именно он меньше всего этой роли заслуживал.

Митрополит Антоний (в миру Александр Вадковский) был человеком непростой судьбы. Он родился в 1846 году в селе Царёвка (Гремячка) Кирсановского уезда Тамбовской губернии в семье священника Василия Иовлевича Вадковского. В 1848–1858 годах семья проживала в селе Матчерка Моршанского уезда. Однажды приход отца Василия посетил монах Феофан (Говоров), в будущем известный как Феофан Затворник. Ему были представлены все дети Василия Иовлевича, но он обратил внимание только на Александра, благословив его и возложив руку на его голову.

Александр Вадковский учился в Тамбовском духовном училище, затем окончил Тамбовскую духовную семинарию, в 1870 году – Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия и был оставлен при академии в качестве доцента на кафедре пастырского богословия и гомилетики. В 1872 году 26-летний доцент Александр Вадковский вступил в брак с Елизаветой Пеньковской, хотя невеста была тяжело больна туберкулезом, и жених знал, что она обречена. У них родилось двое детей. В 1879 году Вадковский овдовел, а через три года потерял и детей. Он мог вступить в брак во второй раз, вместо этого в 1883 году он постригся в монахи.

В 1884 году он был назначен инспектором Казанской духовной академии, где его заметил К.П. Победоносцев, переместив инспектором сначала в Московскую, а затем Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1887 году он был хиротонисан во епископа Выборгского, викария Санкт-Петербургской епархии. В 1892 году возведен в сан архиепископа и назначен на новооткрытую Выборгско-Финляндскую кафедру и тогда же стал членом Синода. С 1893 по 1898 годы возглавлял образованную в связи со стремлением старокатоликов к соединению с православием Синодальную комиссию по старокатолическому вопросу. Архиепископ Антоний стал первым русским иерархом, посетившим Англию, где представлял Святейший Синод на торжествах по случаю празднования 60-летнего юбилея королевы Виктории, имея также поручение наладить сношения с Церковью Англии. Миссия была им успешно выполнена, и владыка вернулся обладателем почетных степеней доктора богословия и права Оксфордского и Кембриджского университетов. 25 декабря 1898 года Антоний Вадковский был назначен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, архимандритом Свято-Троицкой Александро-Невской лавры и пожалован белым клобуком и крестом из драгоценных камней. С 9 июня 1900 года по смерти митрополита Киевского Иоанникия (Руднева) стал первенствующим членом Синода.

Митрополит Антоний в церковных и околоцерковных кругах слыл либералом. Он некоторое время покровительствовал священникам-толстовцам Георгию Гапону и Григорию Петрову, а вот с Иоанном Кронштадтским у него сложились весьма непростые отношения, особенно с того момента, когда отец Иоанн торжественно освятил хоругви «Союза русского народа», которые митрополит Антоний освящать отказался: он был категорическим противником сращения Церкви и государственной власти.

Невозможно представить, чтобы он искренне хотел отлучения Толстого. Но именно он оказался в этой истории крайним. В феврале 1901 года, всего за две недели до публикации «Определения», он пишет Победоносцеву: «Теперь в Синоде все пришли к мысли о необходимости обнародования в “Церковных Ведомостях” синодального суждения о графе Толстом. Надо бы поскорее это сделать. Хорошо было бы напечатать в хорошо составленной редакции синодальное суждение о Толстом в номере “Церковных Ведомостей” будущей субботы, 17 марта, накануне Недели Православия. Это не будет уже суд над мертвым, как

говорят о секретном распоряжении (речь идет о письме Иоанникия. – П.Б.), и не обвинение без выслушания оправдания, а “предостережение” живому...»

В этом письме буквально каждая строка нуждается в комментарии. По существу, митрополит Антоний уже получил в наследство от предшественника готовое отлучение Толстого. Но – вынесенное секретно. К тому же отлучение было произнесено над больным стариком и в ожидании его скорой смерти. Возможно, именно этот момент, имеющий сомнительную нравственную сторону, митрополита Антония как раз и не устраивал. Он поспешил сделать тайное явным: открыть наконец перед всем русским обществом, в том числе и всеми священниками, то, что медленно и подспудно вызревало в недрах Синода, заметим, без прямого участия самого Антония Вадковского. Нельзя не обратить внимания и на выражение «в хорошо составленной редакции». Дело в том, что первая редакция отлучения Толстого уже была, и это было письмо Иоанникия епископам. В этом письме объявлялись те самые враждебные Церкви религиозные взгляды Толстого, которые были приведены и в «Определении». Достаточно сравнить его текст с соответствующим местом из письма Иоанникия: «Единого Бога в трех лицах он не признает, второе лицо Святой Троицы – Сына Божия – называет просто человеком, кощунственно относится к тайне воплощения Бога Слова, искажает священный текст Евангелия, Святую Церковь порицает, называя Ее человеческим установлением, церковную иерархию отрицает и глумится над Святыми Таинствами и обрядами святой Православной Церкви», – чтобы увидеть, что ничего принципиально нового в этом плане в «Определении» не было. Но, видимо, митрополита Антония не устраивала заключительная часть письма Иоанникия, где «проблема с Толстым» сводилась не к его жизни, а только к его смерти: «Посему совершение панихиды или заупокойной литургии по графе Льве Толстом, в случае его смерти без покаяния и примирения с церковью, несомненно смутит совесть верных чад Святой Церкви и вызовет соблазн, который должен быть предупрежден».

Любопытно, что это было именно то, против чего, если верить Сковрцову, выступал Победоносцев, полагая, что «смуту» породят не панихиды по Толстому, а наоборот, отказы их служить. Весьма вероятно, что точки зрения государственника Победоносцева и ревнителя церковных устоев Иоанникия в этом вопросе кардинально разошлись, и митрополит Антоний в этой ситуации оказался заложником «недоразумения», возникшего между государством и наиболее радикальной частью церковной иерархии.

Так или иначе, поступок Антония Вадковского не может не вызывать уважения. Он был единственным человеком, кто взял на себя ответственность за решение этого затянувшегося вопроса и осмелился предать гласности то, что происходило в Синоде тайно и за закрытыми дверями. Но самое главное, он поспешил вывести этот вопрос из неприятного контекста заочного «суда над мертвым». Если бы Толстой действительно тогда умер, секретное письмо осталось бы единственным церковным документом, который бы навеки зафиксировал последнее слово Церкви о Толстом: не отпевать, не молиться!

Нельзя не обратить внимание на последнюю фразу «Определения», составленного под редакцией Антония: «Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние и разум истины. Молим ти ся милосердный Господи, не хотяй смерти грешных, услыши и помилуй, и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь».

Реакция Победоносцева на письмо Антония была достаточно неожиданной. Обер-прокурор собственноручно написал весьма жесткий проект отлучения Толстого от Церкви, который фактически равнялся анафеме. Этот проект и был тщательно отредактирован священниками во главе с Антонием. Из него не только убрали термин «отлучение», заменив его «отпадением», но придали всему документу совершенно иной, если можно так выразиться, эмоциональный характер. Церковь не просто констатировала, а *скорбела* об отпадении от нее ее члена, великого русского писателя, и объявляла, что она молится за его душу в надежде на раскаяние и возвращение. Митрополит Антоний сделал решительно всё возможное, чтобы перевести этот вопрос в ситуацию «прерванного

общения». Это был очень важный момент, который, увы, не смогли оценить ни общество, ни сам Толстой. И это – обидно!

Тем не менее все равно остается тайной, почему именно митрополит Антоний (Вадковский) стал инициатором отлучения. В.М.Скворцов загадочно намекал, что на него оказывали давление «рясоносцы», называя Антония (Храповицкого) (что весьма странно!), Сергия (Страгородского) (будущий патриарх, вынужденный признать советскую власть во главе со Сталиным), Иннокентия (Беляева), Антонина (Грановского) и Михаила (Семенова) – первого биографа Иоанна Кронштадтского. Какую-то роль сыграл и молодой священник из Москвы отец Иосиф (Фудель), издатель и биограф К.Н.Леонтьева, который обратился с вопросом к Скворцову, можно ли петь «Со святыми упокой» в случае смерти Толстого? «Моя иерейская совесть смущается...» – писал он, выражая сомнение не только свое, но и всей московской партии религиозных интеллектуалов, сгруппировавшихся вокруг писателя и философа Константина Леонтьева незадолго до его смерти в 1891 году в Троице-Сергиеве Посаде. За год до смерти, когда Леонтьев жил в Оптиной пустыни, с ним встречался Толстой. Между ними состоялся резкий (со стороны Леонтьева) разговор. «Вы безнадежны», – сказал Леонтьев. «А вы, напротив, очень надежны», – сказал Толстой.

Вообще, не стоит недооценивать влияние на Синод в решении вопроса о Толстом право-религиозной интеллектуальной элиты России. К тому времени от толстовского движения отошел целый ряд людей, которых уже не устраивал чрезмерный рационализм веры Толстого и диктатура В.Г.Черткова внутри этого движения. Отпали, например, такие в прошлом пламенные толстовцы, как М.А.Новоселов, князь Д.А.Хилков и М.А.Сопочко. Все они жестоко пострадали за свое увлечение Толстым: Хилков был лишен родительских прав, а Новоселов и Сопочко побывали в ссылке. Серьезным противником Толстого стал и бывший народоволец Лев Тихомиров, который тоже вернулся в православие, но не утратил своего радикализма: скажем, его очень возмутил факт посещения Толстого архимандритом Антонием (Храповицким). Конечно, они не могли оказать прямого влияния на Синод, но как бы подсказывали, что и в среде просвещенных и даже передовых людей взгляды Толстого разделяются вовсе не всеми.

Наконец, в Синоде знали, что толстовство не приветствуется частью самого близкого окружения писателя – прежде всего женой Софьей Андреевной. Например, из редактируемого текста синодального «Определения» сначала было вычеркнуто слово «глумление», которое в окончательный текст все-таки вошло. «...Это свидетельствует о сложном процессе подготовки документа и возможных противоречиях между иерархами, которые в этой подготовке участвовали», – пишет Георгий Ореханов. Но для Софьи Андреевны не было сомнения в том, что ее муж над Церковью именно глумится. Незадолго до публикации синодального «Определения» она пишет в дневнике: «Лев Николаевич глумился и грубо выражал свое негодование перед Церковью». Выслушав в Ясной Поляне чтение вслух своим мужем его сказки «Разрушение ада и восстановление его», что случилось после тяжелой болезни Толстого в Крыму, она записывает еще более суровые слова: «Стоило оставаться жить ради т а к о й работы!» Вообще же многие замечания Софьи Андреевны о религиозных взглядах мужа были порой поразительно точны и умны. Приведем здесь одно из них: «Думала о том, что Л.Н., находя в церкви много лишнего, суеверного, даже вредного, отверг и в с ю церковь. Так же в музыке, слушая разную чепуху, встречающуюся в последнее время у новых музыкантов, он отверг в с ю музыку. Это большая ошибка...»

В целом, если смотреть на вещи спокойно, исторический и психологический контекст вынесения «Определения» более или менее понятен. В этом акте не было ничего «жестокоего» и «средневекового». Больше того, это был принципиально новый и неожиданный поступок православной Церкви в отношении еретика такого масштаба, который был ей чрезвычайно опасен. И, может быть, в первую очередь не потому, что смущал народ, а потому, что смущал священников. Все признавали, что «Определение» написано «умно». В нем не было даже намека на какую-то «расправу» с Толстым. Наконец, в нем не было ни единой строчки, которая была бы неправдой по отношению к его взглядам.

Именно мягкость «Определения» ошеломила Толстого. Первый вопрос, который он задал: была ли провозглашена анафема? Узнав, что нет, Толстой был удивлен и, скорее всего, недоволен. В его окружении прекрасно понимали, что Толстой мечтал пострадать за свои убеждения. Так, разговаривая с К.Н.Леонтьевым незадолго до его смерти, Толстой просил: «Напишите, ради Бога, чтоб меня сослали. Это моя мечта». Но «Определение» не обещало ему страданий на земле, только – посмертно. В этом был заключен смысл отлучения, потому что с церковной точки зрения молитвы за отлученного не только невозможны, но, что гораздо важнее, недействительны. Вот что писал об этом священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский и Галицкий, в книге «Об анафеме, или церковном отлучении»: «Внутренняя сущность последнего (отлучения. – П.Б.) состоит в том, что оно подвергает грешника, и без того разобщенного с Богом, еще большей опасности и к одному его несчастью прилагает новое несчастье. Ибо оно лишает человека той помощи и благодати, которые Церковь предлагает всем своим собратям. Оно отнимает у него те блага и преимущества, которые приобретены им в Таинстве святого Крещения. Оно совсем отсекает его от церковного организма. Для отлученного чужды и недействительны уже заслуги и ходатайства святых, молитвы и добрые дела верующих... Он исключительно предоставлен самому себе и, лишенный благодатных средств, всегда присущих Церкви, без опоры и помощи, без защиты и обороны, предан во власть лукавого. Таково по своему свойству наказание отлучения, наказание поистине тяжкое и страшное. Будучи наложено на земле, оно не слагается и на небе; начавшись во времени, оно продолжается вечно».

Но ведь Толстой не признавал таких последствий ни для себя, ни для кого бы то ни было. В его глазах Церковь оставалась земным институтом. В ответе Синоду это хорошо чувствуется: Толстой недоволен не столько «двусмысленностью» «Определения», сколько его «незаконностью», тем, что он не отлучен по всем правилам, а фактически только назван *блудным сыном*. Он болезненно переживал этот момент *одиначества*. Одно из его главных возражений: почему Синод «обвиняет одного меня в неверии во все пункты, выписанные в постановлении, тогда как не только многие, но почти все образованные люди в России разделяют такое неверие и беспрестанно выражали и выражают его и в разговорах, и в чтении, и в брошюрах и книгах...»

Ответ Толстого на «Определение» Синода по-настоящему не прочитан. Это не просто возражение на официальный документ, с которым он согласен или не согласен, но сильное и глубоко личное высказывание о вопросе, который был для него главным, – *вопросе о смерти*. В отличие от широкой публики, которая просто смеялась над «Определением», рукоплескала Толстому, осыпала букетами его репинский портрет на XXIV передвижной выставке в марте 1901 года, Толстой прекрасно понимал, что поставлено на кон в его споре с Церковью. «Мои верования, – писал он в ответе, – я так же мало могу изменить, как свое тело. Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть (и очень скоро), и потому я не могу никак иначе верить, как так, как я верю, готовясь идти к тому Богу, от Которого изошел. Я не говорю, чтобы моя вера была одна несомненно на все времена истинна, но я не вижу другой – более простой, ясной и отвечающей всем требованиям моего ума и сердца; если я узнаю такую, я сейчас же приму ее, потому что Богу ничего, кроме истины, не нужно. Вернуться же к тому, от чего я с такими страданиями только что вышел, я уже никак не могу, как не может летающая птица войти в скорлупу того яйца, из которого она вышла».

Эту проблему одиночества чувствовала и Софья Андреевна. Ее не могла обмануть громкая публичная поддержка, оказанная Толстому просвещенным обществом и особенно молодежью. «Несколько дней продолжается у нас в доме какое-то праздничное настроение, – пишет она в дневнике 6 марта 1901 года, находясь с мужем в Москве, – посетителей с утра до вечера – целые толпы...» И здесь же она вспоминает о том, как в день публикации «Определения» 24 февраля Толстой вместе с другом семьи директором московского банка А.Н.Дунаевым шел по Лубянской площади. «Кто-то, увидав Л.Н., сказал: “Вот он, дьявол в образе человека”. Многие оглянулись, узнали Л.Н., и начались крики: “Ура, Л.Н.,

здравствуйте, Л.Н.! Привет великому человеку! Ура!» Но супругу писателя это почему-то не радовало. Софья Андреевна, и как мать, и как жена, прекрасно понимала все последствия «Определения», которые будут касаться и ее лично.

Она не была глубоко церковным человеком, но твердо держалась православной веры и вела свою «войну» с мужем. Прежде всего за детей, которые под влиянием отца отпадали от православия. Именно после публикации «Определения» прозвучал первый протест со стороны шестнадцатилетней дочери Толстых Саши, которая вдруг отказалась пойти с матерью ко всенощной в конце Великого Поста, хотя до этого говела. «Я даже заплакала, – пишет Софья Андреевна в дневнике. – Она пошла к отцу советоваться, он сказал ей: “Разумеется, иди и, главное, не огорчай мать”».

Между тем огорчений хватало. 25 декабря 1900 года умер первенец их сына Льва Львовича и его жены шведки Доры. Младенец, которому не было и двух лет, тоже носил имя Лев – Лев Третий, как шутливо называли его. 27 декабря дочь Татьяна родила мертвую девочку, а через месяц уже вторая дочь, Мария, почувствовала, что ее ребенок умер в ней до рождения.

И в это же время начинается новая череда болезней самого Толстого. «Л.Н. болен, то зябнет, то живот болит, уныл и скучен ужасно, – пишет Софья Андреевна 8 января 1901 года. – Умирать ему не хочется, и когда он себе это представит, то видно, что это его ужасно огорчает и пугает». Через несколько дней она опять записывает: «Л.Н. худеет и слабеет нынешний год очень очевидно, это меня сильно огорчает, ничего не хочется делать, всё не важно, не нужно...»

В это время Софья Андреевна не могла не задумываться над тем, по какому обряду будет похоронен ее муж. И здесь мы имеем дело с одним крайне важным обстоятельством.

Широко известно, что Толстой завещал хоронить себя без церковного обряда на том месте, где брат Николенька в детстве спрятал «зеленую палочку». Но не всем известно, что это распоряжение сделано Толстым в самом конце его жизни, уже после синодального «Определения». В 1901 году все еще оставалось в силе его завещание 1895 года, в котором он просил похоронить себя «на самом дешевом кладбище, если это в городе, и в самом дешевом гробу – как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священника и отпеванья. *Но если это неприятно тем, кто будет хоронить, то пускай похоронят и как обыкновенно с отпеванием* (курсив мой. – П.Б.), но как можно подешевле и попроще». А вот в завещании 1908 года Толстой уже прямо настаивает на том, чтобы «никаких не совершали обрядов при закреплении в землю моего тела. Деревянный гроб, и кто хочет, снесет или сvezет его в Заказ против оврага».

Это заставляет несколько тоньше взглянуть на знаменитое место из письма С.А.Толстой митрополиту Антонию, которое ставят ей в упрек как образец непонимания того, что такое Церковь: «Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или “непорядочного”, которого я подкуплю большими деньгами для этой цели?» Ответ митрополита супруге писателя был действительно абсолютно верным: «...Я не думаю, чтобы нашелся какой-нибудь, даже непорядочный, священник, который бы решился совершить над графом христианское погребение, а если бы и совершил, то такое погребение над неверующим было бы преступной профанацией священного обряда. Да и зачем творить насилие над мужем Вашим? Ведь, без сомнения, он сам не желает совершения над ним христианского погребения».

Митрополит Антоний был прав во всем, что касалось Церкви и Толстого. Но в этой истории была и третья сторона. Своим завещанием 1895 года Толстой все-таки оставлял семье возможность похоронить его по православному обряду, как хоронили всех его предков и всех его умерших детей. Письмо Иоанникия епископам (о котором Софья Андреевна знала, о чем она пишет в начале письма Антонию) этой возможности семью лишало. «Определение» Синода при всей своей мягкости это положение закрепляло – до покаяния Толстого.

Но Софья Андреевна прекрасно знала упрямый характер супруга. Поэтому, прочитав письмо Антония, она записывает в своем дневнике: «Всё правильно, и всё бездушно».

КРЫМСКИЙ ЭКЗАМЕН

Есть что-то глубоко символическое в том, что после отлучения от Церкви Толстого его взгляды были подвергнуты самому суровому из возможных экзаменов. Летом 1901 года ввиду ухудшающегося здоровья он вместе с семьей переезжает в Крым, в Гаспру, на виллу, предоставленную поклонницей писателя графиней Паниной. Однако этот переезд не улучшил состояние Толстого.

26 января 1902 года Софья Андреевна записывает в дневнике: «Мой Лёвочка умирает...»

Дневник Софьи Андреевны зимы и весны 1902 года представляет собой хронику несостоявшейся смерти Толстого, которая ничуть не меньше важна для понимания его мировоззрения, чем хроника ухода из Ясной Поляны и смерти в Астапове в 1910 году. Зимой 1902 года бывали дни, когда Толстой и его семья были почти полностью уверены, что он умирает.

Оставался ли он стойким в своих взглядах на Бога и церковь вот в эти *последние дни* ?

По-видимому – да. Во всяком случае, в дневнике Софьи Андреевны, заинтересованной в возвращении мужа в лоно православия, – хотя бы формально, хотя бы «на всякий случай», хотя бы ради ее спокойствия, поскольку она, в отличие от Черткова, отнюдь не мечтала, чтобы ее муж ушел из жизни религиозным диссидентом, – мы не находим ни одного свидетельства его серьезных колебаний в этом ключевом вопросе.

Впрочем, иногда, заговариваясь, Толстой говорил загадочные слова: «ошибся», «не поняли», но едва приходил в сознание, как начинал править свои статьи «О веротерпимости» и «Что такое религия и в чем сущность ее?».

Толстой «умирал» тяжело. Между физическими муками (со спазмами, с задыханиями, с перебоями сердца, с инъекциями то морфия, то камфары) он испытывал то, что называется смертной тоской. «Он не жалуется никогда, но тоскует и мечется ужасно», – пишет Софья Андреевна. Он потерял чувство времени. В бреду ему привиделся горящий Севастополь.

Однако дневниковые записи Толстого не оставляют никакого сомнения, что в Крыму он «умирал» как Сократ, для которого истина важнее иллюзии. «Ценность старческой мудрости возвышается, как брильянты, каратами: самое важное на самом конце, перед смертью. Надо дорожить ими, выражать и давать на пользу людям».

Вот что диктовал в дневник «умирающий» Толстой: «Говорят: будущая жизнь. Если человек верит в Бога и закон Его, то он верит и в то, что он живет в мире по Его закону. А если так, то и смерть происходит по тому же закону и есть только возвращение к Нему».

«Ничто духовное не приобретается духовным путем: ни религиозность, ни любовь, ничто. Духовное всё творится матерьяльной жизнью, в пространстве и времени. Духовное творится делом».

Мысли о загробной жизни постоянно тревожили его: «Если эта жизнь благо, то и всякая другая тоже. И наоборот... И потому, чтобы не бояться смерти, нужно уметь видеть только благо этой жизни».

Нередко он обращается к евангельским сюжетам, причем некоторые начинает осмыслять как-то иначе: «Как мало я ценил глубочайшую притчу о насыщении пятью хлебами, раздавая хлеб, но не поглощая его», – просит записать он. Но едва ли из этих слов можно сделать вывод, что перед смертью Толстой поверил в чудо преумножения хлебов. Все-таки он продолжал видеть в этом философскую притчу о преумножении духа через любовь к людям – то есть через «дело любви»:

«Лежат рассыпанные по миру тлеющие угли, – дух Божий живет их по мере силы жизненности, развиваемой в каждом угле и сообщаемой другим. В этом для человека и цель, и смысл жизни. Только это».

Толстой страдает от смертных мук, но в минуты ясного сознания он не боится смерти. Для него смерть – это окончательное освобождение от своего эгоистического «я». Но это освобождение для него возможно и в жизни. И потому Толстой, в сущности, не разделяет жизнь и смерть какой-то глухой стеной. «Единственное спасение от отчаяния жизни – вынесение из себя своего “я”. И человек естественно стремится к этому посредством любви. Но любовь к смертным тварям не освобождает. Одно освобождение – любовь к Богу. Возможна ли она? Да, если признавать жизнь всегда благом, наивысшим благом, тогда естественна благодарность к источнику истины, любовь к Нему и потому любовь безразлично ко всем, ко всему, как лучи солнца...» – говорит он.

Толстой «умирает» как религиозный человек. Но в нем нет никаких признаков примирения с Церковью. Никаких! «Спокойные смерти под влиянием церковных обрядов подобны смерти под морфином», – говорит он. И это страшные слова, если учесть, что ему самому в это время делают инъекции морфия, чтобы снять физические боли. «Очнитесь от гипноза, – говорит он о духовенстве. – Задайте себе вопрос: что бы вы думали, если <бы> родились в другой вере? Побойтесь Бога, который дал вам разум не для затемнения, а выяснения истины».

И в это же время митрополит Антоний (Вадковский) отправляет в Крым письмо Софье Андреевне. На этот раз не она обращается к владыке, а он к ней.

«Неужели, графиня, не употребите Вы всех сил своих, всей любви своей к тому, чтобы воротить ко Христу горячо любимого Вами, всю жизнь лелеянного, мужа Вашего? Неужели допустите умереть ему без примирения с Церковью, без напутствования Таинственной трапезой тела и крови Христовых, дающего верующей душе мир, радость и жизнь? О, графиня! Умолите графа, убедите, упросите сделать это! Его примирение с Церковью будет праздником светлым для всей Русской земли, всего народа русского, православного, радостью на небе и на земле...»

Митрополит Антоний был тонкий психолог. В этот раз его письмо к графине было написано не только «правильно», но и не «бездушно». Во всяком случае, в нем не было той плохо скрываемой иронии, какая присутствовала в его ответе на отчаянное письмо жены Толстого сразу же после отлучения. Антоний не скрывает, что окончательная потеря Толстого является болезненной для Церкви. Фактически он просит жену *уговорить* мужа на смертном одре даже не раскаяться, а только *примириться* с Церковью. И хотя в среде толстовцев письмо было воспринято исключительно как церковная провокация, задуманная Победоносцевым, и в Гаспре ходили слухи, что Победоносцев будто бы отдал приказ местному священнику после смерти Толстого войти в дом, а выйдя, объявить, что Толстой раскаялся и вернулся в Церковь, то есть солгать, – Софья Андреевна, как чуткая женщина, правильно оценила жест митрополита Антония. Она рассказала мужу о письме.

«Я сказала Лёвочке об этом письме, и он мне сказал, было, написать Антонию, что его дело теперь с Богом, напиши ему, что моя последняя молитва такова: “От Тебя изошел, к Тебе иду. Да будет воля Твоя”. А когда я сказала, что если Бог пошлет смерть, то надо умирать, примирившись со всем земным, и с церковью тоже, на это Л.Н. мне сказал: “О примирении речи быть не может. Я умираю без всякой вражды или зла, а что такое церковь? Какое может быть примирение с таким неопределенным предметом?” Потом Л.Н. прислал мне Таню (дочь. – П.Б.) сказать, чтоб я ничего не писала Антонию».

Этот последний жест Толстого (не отвечать совсем!) нельзя объяснить иначе, как его нежеланием накануне смерти вести с Церковью какой бы то ни было разговор. Случилось то, что предчувствовала его жена. Вынесение «Определения» не только не подвигло его к сомнениям в своей антицерковной позиции, но, напротив, усилило это настроение. Поэтому он и не хотел, чтобы его ответ Антонию был истолкован как минута предсмертной слабости. А заложницей в этой битве духовных гигантов опять же оказывалась Софья Андреевна.

В конце концов взорвалась и она, получив письмо от Марии Михайловны Дондуковой-Корсаковой, дочери вице-президента Академии наук князя М.А.Дондукова-Корсакова, с той же просьбой: вернуть Толстого в православие.

Софья Андреевна не могла не знать, что на одной из племянниц Дондукова-Корсакова в свое время пыталась женить Толстого его сестра Мария Николаевна. Софья Андреевна крайне болезненно реагировала на подобные истории из прошлого своего мужа. Она пишет в дневнике: «Получила и я письмо от княжны Марии Дондуковой-Корсаковой, чтоб я обратила Л.Н. к церкви и причастила. Вывели, помогли выйти Л.Н. из церкви эти владыки духовные, а теперь ко мне подсылают, чтобы я его вернула. Какое недомыслие!»

На этом и завершился крымский сюжет с попыткой вернуть Толстого в православие с помощью жены. Впрочем, в октябре 1902 года, когда Толстой выздоравливал, к нему в Крым приехал из Тулы отец Дмитрий (Троицкий), который не раз навещал Толстого в Ясной Поляне. Он вновь попытался его вразумить. Но это уже не имело никакого смысла.

КРОНШТАДТСКИЙ ПРОТИВ ТОЛСТОГО

Священник Филипп Ильашенко пишет, что поводом к «публичному знакомству» отца Иоанна и Толстого «послужило широко известное “Определение” Святейшего Синода». Это не совсем верно. Если бы это было так, то начало борьбы Иоанна Кронштадтского против Льва Толстого носило бы совсем уж сомнительный характер. Это было бы выступление кронштадтского протоиерея против Толстого уже после того, как о его отпадении от Церкви официально объявил Синод. На самом деле первое публичное выступление отца Иоанна против Толстого состоялось еще в 1896 году, когда в газете «Пастырский собеседник» (№ 49, от 7 декабря) появилось «Слово» И.И.Сергиева «О слепоте духовной».

В 1898 году в Москве была издана брошюра за именем Иоанна Кронштадтского «Несколько слов в обличение лжеучения графа Льва Толстого». А в 1903 году (на обложке стоял 1902 год) книга вышла уже вторым изданием.

Таким образом, Иоанн Кронштадтский выступил обличителем Толстого задолго до вынесения синодального «Определения», когда в самом Синоде еще только возникали первые мнения о необходимости отлучения писателя. В своих же устных проповедях он стал выступать против Толстого еще раньше – по-видимому, в начале 90-х годов. Это следует из дневника А.В.Жиркевича 1891 года. Поэтому, скорее всего, именно 1891 год надо считать началом «публичного знакомства» отца Иоанна Кронштадтского и Толстого.

Но здесь мы должны сделать паузу. То, что говорил и писал Иоанн Кронштадтский о Толстом, на первый взгляд, не может подлежать серьезному анализу. Не без причины биографы отца Иоанна стараются избегать цитировать наиболее горячие места из этих выступлений. Это не полемика, а брань, недостойная не только священника, но и просто христианина.

Конечно, многое объясняется личными особенностями отца Иоанна. Он был неважным полемистом. Он не знал или не желал знать о главном принципе любой полемики: прежде чем спорить, нужно попытаться встать на точку зрения оппонента, понять его внутреннюю логику. В случае с отцом Иоанном этого быть не могло. Он не мог даже временно принять точку зрения, что Христос – не Бог, что Мария – не непорочная Дева, что Воскресения не было, что Искупление – вымысел. Наконец, человек, посвятивший всю свою жизнь Церкви и растворивший свою личность в торжестве литургии, не мог даже на секунду допустить, что Толстой может быть прав, отрицая таинство причастия.

Но и это не может оправдать невероятный накал *личной ненависти* отца Иоанна к Толстому. Исходящая от самого выдающегося белого священника не только своего времени, но и всей истории православной Церкви, эта ненависть невольно дискредитирует и Церковь также. Не случайно высказывания отца Иоанна против Толстого (а это более двадцати печатных проповедей и несколько брошюр, выходивших многими переизданиями и при жизни Кронштадтского, и после его смерти) не принимались и не принимаются наиболее просвещенной частью русского духовенства. С ними категорически не согласен, например, протодьякон Андрей Кураев.

Но зададим себе вопрос: а можно ли вообще считать эти выступления полемикой? И

можно ли считать это проповедями в чистом виде? Тем более – *статьями* ?

Уже в первом публичном 1896 года выступлении отца Иоанна против Толстого, вошедшем в его сборник «Против графа Л.Н.Толстого, других еретиков и сектантов нашего времени» (СПб., 1902) под названием «О слепоте духовной яснополянского слепца», заметно, что это не полемика и даже не проповедь, а какое-то страстное личное высказывание одного человека о другом – при, если можно так выразиться, третьейском посредничестве Господа Бога. Отец Иоанн не спорит с Толстым и не объясняет «малым сим» его неправоту. И даже не осуждает его в строгом смысле. Кронштадтский перед лицом Бога, как Судья неба и земли, бросает Толстому обвинение в желании отвратить людей от Бога, от вечного спасения и ввергнуть их в «геенну огненную» на вечные муки. Это столь страшное обвинение, что оно, по мнению отца Иоанна, исключает возможность полемики, как немыслима она с преступником, который совратил и растлил пятилетнего ребенка. Но можно задуматься над тем, каким образом возникло это «нравственное чудовище» (одно из определений Толстого Кронштадтским).

«На святой Руси родился, вырос и стал мудрецом и писателем один граф, по фамилии всем известный, новый книжник и фарисей, – начинает «проповедь» отец Иоанн, – возгордился он своим умом и ученостью – ибо знает много, но не знает существенного, самого необходимого, возгордился своим умением писать о светских делах и суетах и задумал испытать себя в писательстве о Божеских делах, в которых ничего не видит и не понимает, как сущий слепец, и написал столько нелепого и безумного, что раньше его никому и в голову не приходила такая нелепость... Держи бы он эту нелепицу про себя и не омрачай, не морочь ею других, так нет – надо было всему свету показать свой выживший ум или свое безумство и свою гордыню».

Если не замечать корявый слог – неизбежное следствие прямого переноса устного слова в печатное, то надо признать, что основной тезис обвинения от отца Иоанна разделяли и разделяют все противники позднего Толстого. Это «гордыня» и «соблазн малых сих».

Но дальше «полемика» отца Иоанна выходит на неожиданный уровень: «Утаил, совершенно утаил Господь Свою Божественную премудрость от этого безумца, гордого и предерзкого человека, как недостойного знать ее и воспользоваться ею для своего спасения, – и оставляет его в глубочайшей тьме среди дневного света, среди светлейшего сияния истины Божией в Церкви святой. Граф в своей Ясной Поляне окружен непроницаемой тьмой. Да будет ему Судья праведный Господь. Бог поругаем не бывает... и этот еретик новый до дна выпьет сам чашу яда, которую он приготовил себе и другим».

Самое поразительное, что эта картина повторяет начало «Исповеди» Толстого, где он как раз и пишет о том, как в зените своей жизни, имея все блага и преимущества богатого помещика и знаменитого писателя, вдруг очнулся в своей Ясной Поляне во тьме духовной, потеряв смысл жизни. Он сравнивает свое состояние с путником из восточной притчи, который среди белого дня оказался в глубоком колодце, держась за ветку, растущую из стены. Ветку подтачивают две мыши, белая и черная (день и ночь), а внизу – дракон с разинутой пастью (смерть). Толстой задается тем же вопросом, который, уже в качестве утверждения, звучит в «проповеди» Иоанна Кронштадтского: почему Бог утаил от него духовный свет? И что же Толстой делает в первую очередь? Идет в церковь!

И только не найдя в Церкви света истины, он начинает искать ее своим разумом, предполагая и даже твердо веруя, что недаром наделил Бог его этим разумом. Пусть он – выпавший из гнезда птенец, но где-то же есть породившая его мать... И это – Сам Бог.

«О, если бы этот слепец яснополянский прозрел! – восклицает дальше Иоанн Кронштадтский. – Но для этого нужна простота веры, подобная вере иерихонского слепца. А допустит ли гордость графа до этой святой простоты?»

Но ведь и этим вопросом задавался Толстой в «Исповеди»: как ему быть, если нет в нем наивной веры простых мужиков, которой он даже «завидовал»?

Мы не знаем, читал ли Иоанн Кронштадтский «Исповедь» Толстого, как не знаем, читал ли он «Войну и мир» и «Анну Каренину». Все его признания художественного таланта

Толстого были в общем-то весьма ритуальными и формальными, как, увы, ритуальны и формальны почти все подобные реверансы церковных оппонентов Толстого, которые не преминут поклониться его художественному гению, прежде чем начать обличение. Получается довольно странная картина: Господь наградил человека невероятным художественным гением, но скрыл от него духовный свет, сделал его «слепцом», который при этом поразительным образом видит насквозь людей, постигает их мысли и чувства, выражая это в выдающихся художественных творениях. Как это может быть?!

«И то правда, что Толстой – колосс, – пишет Иоанн Кронштадтский в одной из статей против «колосса», – но в своей сфере, в области литературы романтической и драматической, а в области религиозной он настоящий пигмей, ничего не смыслящий». На основании этих слов вряд ли можно согласиться с Филиппом Ильяшенко, что «отец Иоанн чтит Толстого как большого писателя». Конечно, не чтит, а всего лишь признавал, что где-то там, в области какой-то «романтической» литературы у Толстого есть какие-то особые заслуги, но всё это сушая ерунда для сферы религиозной. Весьма чувствительный к духовной трагедии Толстого, Иоанн Кронштадтский, по-видимому, был совершенно равнодушен к его художественным исканиям. Да это и неудивительно. Отец Иоанн почти не читал художественной литературы, имел самые приблизительные о ней представления и мог, например, всерьез пообещать Константину Фофанову, который лично ему понравился, славу Пушкина.

Иоанна Кронштадтского мало волнует, что Толстой – большой писатель. Но что его действительно сильно задевает, так то, что Толстой – граф! Почти во всех выступлениях отца Иоанна против Толстого звучит этот акцент: граф! граф!

В глазах отца Иоанна Толстой – самый дерзкий из среды «образованных» людей, которые смеются над невежеством простого народа, находящего в Церкви не только утешение, но и образование, и просвещение.

Отца Иоанна всерьез волнует то, что религиозное просвещение в России объективно отстает от просвещения светского, проигрывает ему, несмотря на все старания Церкви. «Ныне, с развитием светской письменности или литературы и крайнего умножения книг по разным житейским, мирским предметам и периодических или ежедневных журналов и летучих листков, слово Божие отошло на задний план и читается и слушается почти только в церквях да разве в некоторых благочестивых домах, несмотря на то что слово Божие печатается в сотнях тысяч экземпляров по самой дешевой цене...» – возмущается он.

Но ведь это возмущало и Толстого! Толстой также считал, что современное просвещение развивается уродливо: уделяется слишком большое внимание «специальным» предметам, но не затрагивается главное – вопросы о Боге и о вере.

В сущности, они были единомышленниками во многом. Толстой тоже не придавал большого значения художественной литературе и даже стыдился того, что написал «Войну и мир» и «Анну Каренину». Он смеялся над гордостью ученых, которые всю свою жизнь занимаются проблемой размножения инфузорий и папоротников, приходя к выводу, что они размножаются так же, как и люди. Он был категорическим антидарвинистом. Он тоже считал, что «единое есть на потребу», и это «единое» – Дух Божий.

Надежда Киценко в своей книге точно указывает на тот факт, что отец Иоанн в дневнике 1867 года «предвосхитил “Крейцерову сонату” Толстого, обвинив музыку, которая возбуждает мирские мысли и страсти, вместо того чтобы умиротворять, очищать и укреплять душу в благодати Божией». Она же обращает внимание на неожиданные параллели между высказываниями отца Иоанна о семье с произведениями Толстого «Семейное счастье» и «Анна Каренина» и совершенно справедливо замечает: «Некоторые выдержки из дневника отца Иоанна словно взяты со страниц “Что такое искусство?” и “Крейцеровой сонаты”; взгляды позднего Толстого почти совпадают с пастырскими».

И даже социальный комплекс отца Иоанна имел своим зеркальным отражением социальный комплекс Толстого. Все язвительные стрелы священника в сторону «графа» летели хотя и в цель, но самым безжалостным и бессмысленным образом, потому что этот

вопрос не в меньшей степени терзал и Льва Николаевича. Сам того не понимая, Кронштадтский добивал и без того раненного этой проблемой человека. «Именующие себя писателями, учеными, передовыми людьми, даже некоторые из бояр во главе с боярином Львом Толстым, праведно отлученным от Церкви, – по слову Апостола – *анафема да будет*». Вот уж в чем нельзя было упрекнуть Толстого, так это в том, что он во главе «бояр»!

«Новый Юлиан», «новый Арий», «Лев рыкающий», «распинатель Христа», «богоотступник», «барская спесь», «злонамеренный лжец», «дьявольская злоба», «кумир гнилой», «змий лукавый», «лживая лиса», «смеется над званием православного крестьянина, в насмешку копируя его». Просто – «свинья»...

Непостижимо, но все эти слова произнесены и даже напечатаны священником, который на протяжении всей жизни, по сути, не осудил ни одного человека, который отказался в суде свидетельствовать против своего прямого гонителя. Как это могло случиться? Что это было? Какое-то умопомрачение? Безумие?

Ценой их спора была ЦЕРКОВЬ. И это была такая «цена вопроса», когда Кронштадтский понимал: или он, или Толстой! Если возможен Толстой, то невозможен Кронштадтский. Если прав Кронштадтский (всей своей жизнью, отданной Церкви), Толстой – невозможен. Бог не должен терпеть его на земле. А если Бог терпит его на земле, значит, что-то нарушилось в общении неба и земли. Обратим внимание, как часто в «проповеди» Кронштадтского против Толстого вдруг врываются слова молитвы, обращенной то к святым угодникам, то к самому Христу с отчаянной просьбой, чтобы с неба прозвучал какой-то *ответ* Толстому:

«Святителю отче Николае, приди от высоты небесной и явлением твоим страшным обличи сего безумца, дерзающего не в сердце только своем, а явно и громко проповедовать, якобы Христос не есть Бог. Приди к нам с высоты небесной и обличи нынешних отступников – нас они слушать не хотят, да и самого Евангелия и Церкви Христовой, – они поставили сами себя выше самого Христа и Церкви».

Невозможно представить, но это опубликовано в 1902 году, когда Толстой смертельно болен, и за его состоянием, затаив дыхание, следит вся образованная Россия. Когда митрополит Антоний (Вадковский) пишет исполненное смирения письмо к Софье Андреевне в надежде, что она, земная женщина, сможет уговорить мужа примириться с Церковью.

Но для Иоанна Кронштадтского было невозможно никакое примирение Церкви с Толстым, как и Толстого с Церковью.

Спустя три года он снова обращается к небесам: «О, Христе Боже, доколе Лев Толстой будет ругаться над Тобою и Церковью Твоею? Доколе будет соблазнять Россию и Европу? Опять он пишет хулы на Церковь и служителей ее, опять клеветает на нас по всему миру! – Покажи, наконец, Владыко, всему миру адскую злобу его! Буди! Им увлечено в прелесть и пагубу пол-света!.. О, предтеча антихриста!»

А это было напечатано, когда уже сам отец Иоанн смертельно заболел (по некоторым свидетельствам – после тяжких увечий, нанесенных ему неизвестными фанатиками, заманившими его на квартиру в Петербурге и отбившими ему внутренние органы, порезавшими ему ножом область паха). Он не мог служить в церкви, таял на глазах. И с ним случилось то же чудо, что и с Толстым в 1901–1902 годах, – он выздоровел. Но не оправился до самой смерти...

В противостоянии Иоанна Кронштадтского и Толстого не было спора. Это была не богословская полемика, но вынесение вопроса на суд Божий. Вряд ли отца Иоанна устраивала и тональность «Определения», опубликованного Синодом.

В этом плане очень важным документом является дневник духовной дочери Иоанна Кронштадтского Екатерины Духониной. Он доказывает, что у отца Иоанна не было ни малейших сомнений в том, что Лев Толстой *никогда* не раскается и не вернется в лоно Церкви. Об этом он постоянно говорил в беседах с наиболее духовно близкими людьми: «...какая страшная ересь – толстовщина, сколько она уже принесла непоправимого вреда, и что всего грустнее – он сам так обольщен поклонением своих почитателей, что да, нет надежды

на то, чтобы он когда-нибудь образумился и покался; Господь его не простит и не миновать ему вечных мук»; «... должно считать Толстого еретиком, за которого и молиться не следует, так как он всё равно никогда не образумится, и можно думать, что его постигнет страшная и лютая кончина, какой никогда еще никто не видал»; «... лучше не иметь никаких сношений с людьми, открыто заявляющими себя толстовцами»; «... заблуждения его таковы, что его можно сравнить с Иудой»; «... Толстому мало плюнуть в глаза»; «... в тяжелые времена мы живем! и всё это зло наделал Толстой!»

Наиболее громким публичным выступлением Кронштадтского против Толстого стал его «Ответ пастыря Церкви Льву Толстому на его “Обращение к духовенству”», опубликованный в № 12 «Миссионерского обозрения» за 1903 год, затем изданный отдельной брошюрой и многократно переиздававшийся, в том числе и в наше время. Именно эта специально написанная священником статья (а не проповедь) вызвала наиболее бурную реакцию в прессе и обществе. В архиве Иоанна Кронштадтского в Санкт-Петербурге хранятся сотни писем, которые он получал в связи с этой статьей.

И в них, как и в случае отлучения Толстого, Россия раскололась надвое. Одни проклинали отца Иоанна, даже смеялись над ним, называя его «пигмеем», который борется с «колоссом», другие проклинали Толстого и благодарили кронштадтского пастыря. «Если представители “низов общества” в целом едины – они просят помолиться, спасти русский народ (матери – своих детей) от пагубных последствий увлечения сочинениями или учением Л.Н.Толстого, – то просвещенные адресаты, в том числе из духовного сословия, занимают другую позицию», – пишет Филипп Ильяшенко.

В истории написания и публикации «Ответа... Льву Толстому» была какая-то неясная интрига, в которой был замешан всё тот же вездесущий миссионер и тайный советник В.М.Скворцов. Дело в том, что отец Иоанн не был профессиональным духовным писателем. Почти все его книги, в том числе и самая знаменитая «Моя жизнь во Христе», представляют собой выдержки из его дневников и проповедей. Почему же в 1903 году батюшка решился выступить на не свойственном ему поприще журналистики? Весьма возможно, что эта идея была косвенно подсказана ему Скворцовым, который в мае 1903 года передал Кронштадтскому брошюру Толстого «Обращение к духовенству», изданную в Лондоне в начале ноября 1902 года и, конечно, запрещенную к распространению в России. Любопытно, что об этом рассказал сам же Скворцов в № 17 «Миссионерского обозрения» за 1903 год. Он пишет, что «в порыве “праведного гнева”, под впечатлением крайне дерзкого, вызывающего тона этого богохульного творения» отец Иоанн и решился написать статью.

В предисловии к публикации «Ответа...» Иоанн Кронштадтский также заявляет: «... странно было бы, если бы я, прочитав это сочинение, не захотел сказать своего слова в защиту веры христианской», то есть настаивает на собственной инициативе в написании статьи. Тем не менее роль Скворцова в этом вопросе не совсем ясна.

Невозможно подозревать отца Иоанна в том, что он выполнял чей-то заказ, тем более что к тому времени он уже неоднократно выступал против Толстого в печати своими проповедями. Смущает только непривычность жанра. В своем «Ответе...» отец Иоанн, по сути, в первый и в последний раз не только обличает Толстого, но и довольно подробно излагает его взгляды на Церковь, таким образом попадая в ту же ловушку, в которую попадали все публичные оппоненты Толстого.

Видимо, непривычность жанра тревожила и самого пастыря. 8 сентября 1903 года он пишет Скворцову: «Мне хочется знать от Вас: какое впечатление произвела моя отповедь на публику; черкните два-три слова; и как Вы сами ее находите?.. Ну уж лаятели!»

Мнение Скворцова было передано отцу Иоанну одним из сотрудников «Миссионерского обозрения» диаконом Иоанном Смоlichem: «Василий Михайлович ответ Ваш считает золотым украшением журнала». Диякон пишет, что и «сельские священники весьма утешены этим ответом и благодарят Бога, пославшего сильного защитника нашего упования в лице Вас, дорогой Батюшка. Причем иереи добавляют, что только Вам и можно так сильно и прямо обличать Толстого, ибо враг человечества и через либеральные газеты

боится огрызаться на Вас, тогда как если бы кто из рядовых писак попробовал так сильно обличать, то почитатели Толстого закидали бы грязью».

Это был очень важный момент, возможно, сознательно разыгранный Скворцовым и Синодом. В 1903 году отец Иоанн не только еще не был членом Святейшего Синода, но и вообще никак не отождествлялся с высшей церковной властью. И лишь во время революции 1905–1908 годов Иоанн Кронштадтский сделает громкий публичный выбор в пользу наиболее реакционного крыла русской власти, общества и духовенства. Это не значит, что в 1903 году он был либералом. Но в сознании и широкой публики, и особенно низового духовенства он представлялся фигурой исключительно независимой и самостоятельной. Не облеченный властью иерей, но Всенародный Батюшка, праведник и чудотворец. Именно такая фигура была необходима Синоду в ту пору, когда все средства воздействия на российское общество против Толстого были уже исчерпаны – и не оправдали себя.

В конечном итоге «Ответ...» отца Иоанна оказался вторым после «Определения» 1901 года словом Церкви (всей Церкви!) о Толстом. Но если «Определение» было написано, по крайней мере, умно, то этого никак нельзя сказать об «Ответе...».

Повторяем, он не был ни богословом, ни опытным полемистом, как Антоний Храповицкий или Антоний Вадковский. Он был «искренним священником». Только в этом заключалась его святость. Он был труженик и молитвенник, а не акула пера. Вольно или невольно втянутый в журнальную полемику с Толстым (Толстой, кстати, ни разу не сподобился ему ответить), отец Иоанн оказался в чужой среде обитания и стал задыхаться словами, которые лучше бы никогда не выходили ни из его уст, ни из-под его пера.

В конце концов он вынужден был отвечать на гневную реакцию просвещенного общества, которое увидело в статьях и брошюрах Иоанна Кронштадтского рупор церковного мракобесия. В 1905 году в издательстве «Миссионерского обозрения» вышла его книга «О душепагубном еретичестве графа Л.Н.Толстого», где отец Иоанн дал ответ своим оппонентам. И опять-таки лучше бы он этого не делал!

«...Ренаны, Бюхнеры, Шопенгауэры, Вольтеры – ничто в сравнении с нашим безбожным россиянином Толстым».

«...какой он Лев Николаевич? Он имени христианского не стоит».

«...он преднамеренный, злонамеренный лжец».

«...Вам (Толстому. – П.Б.), по Писанию, нужно бы повесить камень на шею и опустить с ним в глубину морскую, Вам не должно быть места на земле».

«...и Лев Толстой, как свинья (извините за слово), попирает всё это своими ногами, на глазах всех христиан».

«...он только и способен был писать “Войну и мир”, “Анну Каренину” и прочие подобные романы».

И наконец – крещендо: «Знай нашего Льва, вышедшего из логовища Ясной Поляны и крепко рыкающего не только на всю поляну (так! – П.Б.), но на весь мир. Крепкая пасть; могучие нервы. И это – на краю гроба-то! А за гробом что будет? Весь ад пробудится. Все фараоны встанут и Рафаилы проснутся; все Нероны, Калигулы, Деции, Домицианы, Юлианы – все гонители Христа и Христианства, и скажут: ай, русский Лев последних времен; ты и нас далеко превзошел: и из христиан вышел надменнейший и лукавейший гонитель воспитавшей тебя Матери Церкви. Присоединись же к нам навеки и пей чашу, которую ты себе приготовил, сгорай в огне неугасимом, уготованном отцу твоему, диаволу, которому ты усердно служил!»

Это была уже не полемика, не проповедь и не высказывание. Это было уже откровенное проклятие на веки веков.

Последними словами Иоанна Кронштадтского о Толстом можно считать его запись в предсмертном дневнике 1908 года, сделанную за три неполных месяца до собственной кончины.

«6 сентября . Господи, не допусти Льву Толстому, еретику, превзошедшему всех еретиков, достигнуть до праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Которую он похулил

ужасно и хулит. Возьми его с земли – этот труп зловонный, гордостью своею посмрадивший всю землю. Аминь. 9 вечера...»

Но куда больше поражает не эта запись, а та, что идет за ней: «Господи, крепко молит Тебя о исцелении своем тяжко больная Анна (Григорьева) чрез мое недостойнство. Исцели ее, Врачу душ и телес, и удиви на нас милость и славу Свою». Широкий русский человек!

ТОЛСТОЙ ПРОТИВ КРОНШТАДТСКОГО

В своей статье священник Филипп Ильяшенко утверждает, что Толстой был «яростным и последовательным противником» Иоанна Кронштадтского.

На самом деле нам неизвестно не только ни одной статьи Толстого против Кронштадтского, но и ни одного его «яростного» высказывания о нем. Единственная статья Толстого, в которой упоминается Иоанн Кронштадтский, – незаконченная и не опубликованная при жизни статья 1909 года «Номер газеты». Идея ее заключалась в том, чтобы на материале одного, случайно взятого номера газеты (это оказалась газета «Слово») показать всю абсурдность современной цивилизации. Затем эта незавершенная статья, уже в виде отрывка, вошла в статью Толстого «О безумии».

В статье «Номер газеты» Толстой использует свой обычный метод «остраненного» (странного, непривычного, «дурацкого») взгляда на жизнь. То, что большинству представляется абсолютно нормальным, видится ему «безумием».

Толстой разбирает целый ряд публикаций единственного номера «Слова», в которых говорится о международных событиях (война Австрии с сербами и болгарами) и о событиях внутренней жизни России (съезд криминалистов). В анализе пятой публикации «Слова» речь идет об Иоанне Кронштадтском, который скончался в конце декабря 1908 года и был как бы частично канонизирован Церковью по Указу императора.

«...Пятая статья включает в себе сведения о том, как человек, называющийся русским императором, выразил желание о том, чтобы умерший, живший в Кронштадте, добрый старичок был признан святым человеком, и как Синод, т. е. собрание людей, которые вполне уверены, что они имеют право и возможность предписывать миллионам народа ту веру, которую они должны исповедовать, решил всенародно праздновать годовщину смерти этого старичка с тем, чтобы сделать из трупа этого старичка предмет народного поклонения. Еще понятно, хотя и с большим усилием, то, что люди могут быть так обмануты, чтоб верить, что они не столько люди, сколько подданные известного государства, и во имя идола государства отступать от своих человеческих обязанностей, как это делается при принуждении людей к участию в солдате и войнах. Можно понять и то, как люди могут быть доведены до того, чтобы отдавать на заведомо дурные дела свои сбережения, как это делается при отбирании податей.

Как ни странно, но можно понять даже и то, как долгое и усиленное воспитание дурного чувства мести может довести людей до того, что они подчиняются требованиям совершения всякого рода насилий, даже убийств над братьями, под предлогом наказания. Но, казалось бы, невозможно уже заставить людей XX века, знающих Евангелие, понимать превратно назначение своей жизни, верить в необходимость и благотворность идолопоклоннического поклонения неодушевленным предметам».

Из этого отрывка невозможно понять истинное отношение Толстого к Кронштадтскому. Он явно уклоняется от прямого разговора о нем. Он даже не называет его по имени. При жизни это «добрый старичок», а после смерти – «неодушевленный предмет». Как первое, так и второе можно было бы счесть издевательством, если бы мы не знали, что, во-первых, Толстой и к собственному телу, каким он представлял его после смерти, относился как к чему-то малозначащему и просил отнести его в лес и закопать, «чтобы не воняло»; а во-вторых, отца Иоанна многие называли «добрым старичком» (например, премьер-министр С.Ю.Витте), совсем не вкладывая в это определение издевательского смысла.

О доброте и щедрости Иоанна Кронштадтского ходили легенды. И даже его действительно яростные оппоненты не могли не признать высокие нравственные качества кронштадтского протоиерея.

Именно по линии доброты и благородства сравнивал отца Иоанна и Толстого их обоюдный поклонник А.В.Жиркевич: «...Л. Толстой и Иоанн Кронштадтский – два полюса, между которыми бьется сейчас умственная и нравственная жизнь русского народа! И там и тут – нравственная сила, вера в Бога и дела́, жизнь по вере. Оба влияют на массы, оба добры, благородны, любят людей, Родину, живут, трудятся для общего блага».

Тем не менее в статье «Номер газеты» чувствуется неприязнь Толстого к Кронштадтскому. И то, что он ни разу не называет его по имени, – не случайно. Как не случайно и то, что Толстой готов понять «даже насилие», даже «чувство мести», даже «убийства над братьями», но только не массовое поклонение памяти Иоанна Кронштадтского. Это уже то, что находится за пределами его *разумения жизни*.

Кроме того, Толстой не мог не знать о том, как этот «добрый старичок» отзывался о нем в печати. В дневниках писателя разных лет мы встречаем весьма интересные высказывания о кронштадтском пастыре, которые не оставляют сомнения, что Толстой часто размышлял о нем. И очень важно, что в этих записях в качестве третьей стороны почти всегда присутствует простой народ, которого Толстой как бы не может поделить с отцом Иоанном, ревнует его к Кронштадтскому, сердится, но при этом старается себя сдерживать.

«Говорил с тетей Таней (какая-то неизвестная женщина. – П.Б.), – пишет он 13 сентября 1891 года в Ясной Поляне. – Она стала хвалить Иоанн<на> Кронштадт<ского>. Я возражал, потом вспомнил: благословляйте ненавидящих вас, и стал искать доброе в нем и стал хвалить его. И мне так весело, радостно стало: да, благословлять, творить добро врагам, любить их есть великое наслаждение – именно наслаждение, захватывающее, как любовь, влюбленье. Любовь врагов – ведь только на врагах-то и можно познать истинную любовь. Это наслаждение любви».

В этой записи не только четыре раза повторяется слово «любовь», но и три раза слово «враг».

Возникает чувство, что самым фактом своего существования Иоанн Кронштадтский как бы мешает Толстому «любить всех», предаваться «наслаждению любви». И дело тут не только в соперничестве за народ (что тоже немаловажно!), но и в том, что Толстой, конечно, знал о личной ненависти к нему Иоанна Кронштадтского. Знал, видимо, уже в 1891 году – отсюда это «благословляйте *ненавидящих* вас», – но не представлял, как на это реагировать. В лице Иоанна Кронштадтского он столкнулся с очевидно агрессивным отношением к нему уже не со стороны Церкви, а со стороны всенародного кумира. Сам Толстой никогда не чувствовал себя всенародным кумиром – он был кумиром русской интеллигенции. Вряд ли это его устраивало, поэтому он так мучительно старался выработать свою *стратегию отношения* к Кронштадтскому. В том же сентябре 1891 года он пишет в записной книжке: «Похвалил Иоанна Кроншт<адтского>. Как стало легко!» То есть до этого было тяжело?

Спустя пять лет в своей Ясной Поляне Толстой опять сталкивается с народным поклонением Иоанну Кронштадтскому. И снова пребывает в растерянности: как ему реагировать на это?

«Поутру беседовал с рабочими, пришедшими за книжками. Вспомнил бабу, просившую написать Иоанн<ну> Кроншт<адтскому>. Религия народа такова: есть Бог и боги и святые. (Христос пришел на землю, как нынче мне сказал мужик, затем, чтобы научить людей, как и кому молиться.) Бог и святые делают чудеса, имеют власть над плотью и делают подвиги и добрые дела. Людям же надо только молиться, знать, как, кому молить<ся>. А добрые дела люди не могут делать, они могут только молиться. Вот и вся вера».

Нет сомнения, что в этих словах присутствует обида и ревность писателя! Он прекрасно понимает, что наивная вера в Христа, в святых и чудеса, которую проповедует

отец Иоанн, ближе простым крестьянам, чем толстовское «разумение жизни».

Но и в среде народных сектантов и раскольников аристократическая философия Толстого имела меньше веса, нежели харизматичная личность кронштадтского «святого священника». Вокруг Иоанна Кронштадтского возникла целая секта иоаннитов, которые обожествляли его, чем, впрочем, доставляли батюшке немало хлопот и огорчений. Что же касается раскольников, тут мы имеем дело с вовсе поразительным фактом. Несмотря на то, что Толстой не раз заступался за них в своих письмах к тетке фрейлине, просил ее через императрицу помочь заключенным в Суздале раскольниковым епископам, в среде раскола Толстой воспринимался едва ли не более враждебно, чем в среде официального православия.

Толстой уважал раскольников, интересовался ими и встречался с представителями раскола и в Ясной Поляне, и в Москве. Однажды в Хамовниках его посетил старообрядческий архиепископ Савватий со своим помощником. Вот как вспоминал об этой встрече помощник: «Толстой совсем не церковный человек и в учениях св. отец вовсе не начитан. У него какая-то своя особенная вера, нехристианская, которую он и распространяет между простаками, не сведущими в Писании. Ничего хорошего я не нашел в нем. А владыка Савватий так отозвался о нем: “Дурит, говорит, барин. Возмечтал о себе, что он всё знает и лучше всех знает, а в самом христианства на вершок не хватает”». Интересна логика мысли помощника Савватия: «Коли Толстой всё знает и всякие книги читал, то почему же он ни разу не перекрестился, когда мы сели чай пить и обедать?»

Если такой умный, то почему не крестится? Той же логики держался и Иоанн Кронштадтский.

Хотя Иоанн Кронштадтский постоянно проповедовал против раскольников во время поездок по стране, они уважали его и даже любили. Правда, иногда посмеивались над ним – мол, слишком горяч!

В среде раскола отец Иоанн никогда не отождествлялся с православной церковной верхушкой. Это был «свой брат», священник, к тому же вышедший с русского Севера, где раскол был традиционно силен и, конечно, не мог не наложить определенной печати на личность самого батюшки. Больше того. В среде крайних старообрядцев, преследуемых правительством, фигура Иоанна Кронштадтского порой прямо представлялась святой еще при жизни.

В 1899 году Толстой получил письмо из сибирской ссылки от штундиста С.П.Чижова, где тот, в частности, писал о сосланных в Сибирь саратовских и астраханских старообрядцах: «Они не повинуются, свободно ходят, и за это <их> судят. Они высиживают и опять идут, проповедуют: “Илия, Энох, Иоанн Богослов на земле, а антихрист царствует”. Илией зовут Иоанна Кронштадтского, Энохом – священника Благовещенского, Иваном Богословом – старичка, который с ними строил монастырь, и его (видимо, монастырь. – П.Б.) власти запретили... Имеют со всех трех портреты, религиозно, по-православному, молятся перед ними и лобызают».

Толстой ответил ему: «О старообрядцах, которые живут с вами в одном месте, думаю, что они находятся во тьме, поклоняясь людям и их изображениям, вместо того чтобы служить Богу Духу, исполняя Его волю делами смирения и любви».

Личность Иоанна Кронштадтского волновала Толстого. В воспоминаниях людей, окружавших писателя, есть немало свидетельств, когда Толстой не скрывал своего горького чувства от того, что наиболее любимый в народе священник так резко и непримиримо отзывался о нем. «А мне грустно: почему он враждебно ко мне относится. Я не питаю к нему никакой неприязни...»

Так это было или иначе – судить трудно. Толстой занимал в этом вопросе не просто сдержанную позицию, но и очевидно *принуждал* себя высказываться о своем наиболее яростном критике как можно мягче, как можно уважительней. В отличие от Н.С.Лескова, который откровенно ненавидел Кронштадтского и говорил об этом всем и постоянно, Толстой, наоборот, искал всяческой возможности, чтобы оправдать отца Иоанна перед своими единомышленниками.

Его возмутили сатирические стихи, опубликованные в шестом номере газеты «Свободное слово» за 1903 год, издаваемой В.Г.Чертковым и П.И.Бирюковым в лондонской ссылке. Эта газета была органом толстовства, и Толстой чувствовал себя ответственным за ее материалы. «...Совсем не понравились стихи об Иоанн<не> Кронштадт<ском>, – пишет Толстой Черткову. – Это совсем недостойно и дурно».

Предыстория появления этих стихов была неприятной и получила широкую огласку. В 1903 году российское общество было потрясено еврейскими погромами в Кишиневе. Иоанн Кронштадтский выступил с гневной проповедью против погромщиков, опубликованной в майском номере «Миссионерского обозрения». Затем проповедь вышла брошюрой, разойдясь большими тиражами.

«И когда же оно свершилось? – восклицал отец Иоанн, имея в виду кишиневское злодеяние. – На Пасхальной неделе, когда вся тварь разумная небесная и земная, ангелы и верные христиане ликуют о воскресении Христа из мертвых как начатке общего воскресения всего рода человеческого. Какое недомыслие или непонимание величайшего праздника христианского, какое тупоумие русских людей! Какое неверие! Какое заблуждение! Вместо праздника христианского они устроили скверноубийственный праздник сатане – землю превратили как бы в ад. <...> Русский народ, братья наши! Что вы делаете? Зачем вы сделали варварами – громилами и разбойниками людей, живущих в одном с вами Отечестве, под сенью и властью одного русского царя и поставленных от него правителей?»

Когда сосед и знакомый Толстого помещик А.С.Буткевич обратился к писателю с просьбой каким-то образом откликнуться на кишиневские события, тот ответил ему так: «Дорогой Анатолий Степанович, Кишиневское злодеяние меня сильно поразило, и я высказал в прилагаемом письме мой взгляд на это ужасное событие. Высказал я то же в телеграмме в 30 слов в Филадельфию, в Америку, вкратце то же самое. Цензурно же писать об этом я, по крайней мере, ничего не могу... Иоанн Кроншта<д>тский прекрасно сказал то, что всякий не озверевший человек думает и чувствует...»

Это единственный, но очень выразительный пример, когда Толстой оказался солидарен с Кронштадтским во взгляде на важную общественную проблему и фактически подписался под его словами. Но скоро ситуация кардинально изменилась.

Сразу после появления в печати «Слова» Иоанна Кронштадтского о кишиневских событиях к нему в Кронштадт приехал его духовный ученик, будущий епископ Кишиневский Серафим (Чичагов). Он убедил священника, что газеты освещают события в Кишиневе неверно и что не менее пострадавшей стороной в этом погроме оказались христиане. Об этом разговоре откровенно написала газета «Котлин», издававшаяся в Кронштадте литературным вождем иоаннитов Н.И.Большаковым: «Когда собеседник описал тяжелое положение, в котором, благодаря погрому, очутились не только семьи лиц, арестованных по поводу погрома, но и сотни христианских ремесленников, лишившихся заработка у евреев, отец Иоанн прослезился и сказал с глубокой грустью: – Я собирался написать кишиневским христианам письмо... Я напишу сейчас. – Ему подали перо и чернила. И тут же в присутствии других посетителей он написал на почтовом листе малого формата “Письмо к возлюбленным братьям, кишиневским христианам”».

Вот что писал Иоанн Кронштадтский:

«Из последующих (за первыми) газетных известий о кишиневском погроме я достоверно убедился, что евреи сами были причиной того убийства, увечий и убийств, которые ознаменовали 6 и 7 числа апреля. Уверился я, что христиане, в конце концов, остались обиженными, а евреи за понесенные убытки и увечья – сугубо награжденными от своих и чужих собратий. Это я знаю и из частных писем, писанных ко мне самыми искренними, давно живущими в Кишиневе и основательно знающими дело людьми. А потому взываю к христианам кишиневским: простите исключительно только к вам обращенную мною укоризну в совершившихся безобразиях».

Это письмо, опубликованное в той же газете «Котлин», вызвало негодование просвещенного общества, и без того уже раздраженного резкими выступлениями Иоанна

Кронштадтского против Толстого. Чертков воспользовался этой ситуацией для того, чтобы «наказать» священника в своей газете «Свободное слово». Тогда и появилась на ее страницах стихотворная сатира на отца Иоанна. Любопытно, что сам Толстой инициативы своего помощника не поддержал.

Остается предположить, что Толстой с его безошибочной интуицией в оценке самых разных людей понял или почувствовал, что отец Иоанн Кронштадтский, конечно, никакой не антисемит. Прежде всего для этого у Ивана Сергиева никогда не было, если можно так выразиться, воспитательной и образовательной базы. Он вырос не на юге России, а на крайнем Севере, где «еврейского вопроса» не существовало. Единственные инородцы, с которыми сталкивался в детстве и отрочестве Ваня Сергиев, были архангельские немцы, компактно проживавшие в немецкой слободе и, надо признать, довольно высокомерно относившиеся к беднейшему и плохо организованному русскому населению. Бывало, на архангельском рынке случались стычки русских с немцами, когда последние, понаблюдав за торгом какого-нибудь русского бедняка из-за десятка яиц, смеясь, платили первоначально запрошенную цену и забирали на его глазах весь товар. Не случайно именно к немцам впоследствии у отца Иоанна было наиболее настороженное отношение. «...Я их боюсь, немцев, уж очень они вездесущие», – несколько странно выразился он в присутствии одного пытливого юноши на палубе своего катера по пути из Кронштадта в Петербург.

Ему же он изложил и свой взгляд на евреев: «Я не враг евреев, уже потому, что Христос из их среды, и если они гордятся, в своих молитвах произнося ежедневно: “О, Господи, благодарим Тебя, что выбрал нас из всех народов”, то им есть Кем гордиться, ведь Спаситель мира от них, и я в этом народе вижу совсем другое. Народ, переживший столько народов на земле, народ, родивший Истину, должен остаться живым свидетелем того, что Истина вечна, и равно как нельзя уничтожить Истину, так нельзя уничтожить тех, от кого эта Истина происходит. Кто только любит истинное искусство и кто в душе культурный человек, тот ведь не будет уничтожать старинных памятников. Согласись, мое дитя, что иудейский народ – это старый памятник...»

Это был, возможно, и односторонний взгляд на евреев православного священника, но увидеть в нем признаки антисемитизма, согласитесь, трудно.

С тем же самым юношей на корабле у священника состоялся разговор о кишиневском погроме:

«Да, но это уничтожали подонки нашего общества, – это делал *не русский народ*, а это делали преступники. Это делали несчастные люди, которые достойны наказания. Нет, нет, это не русский народ, а это убийцы, и они понесут законную кару. Я об этом говорил проповедь в соборе. Нельзя убивать, нельзя! – При этих словах он встал и начал ходить взад и вперед. – Жизнь человека есть святой сосуд Божественного Промысла. Надо не убивать, а учить; не обижать, а говорить! Наша матушка Русь велика и безгранична, народов много у нас, мы все сыны одного Отечества».

Кроме того, надо вспомнить об особенностях образования и, что еще более важно, самообразования Иоанна Кронштадтского. Его сознание, как губка, было пропитано ветхозаветными образами, которые он воспринимал не как литературных героев, но как абсолютно реальных людей. Он постоянно перевоплощался в эти образы в раннем дневнике, как бы ставил себя на их место. И вот вопрос: можно ли всерьез считать антисемитом православного священника, который убежден, что Христос был первым христианским священником «*по чину Мельхиседекову*»?

Но отношение отца Иоанна к евреям, по-видимому, сильно изменилось в самом конце его жизни. Во многом это было связано с тем, что после 1905 года и до конца жизни священника либеральные газеты, которые в дружественных отцу Иоанну периодических изданиях («Новое время», «Московские ведомости» и др.) назывались не иначе как «еврейские», подвергали его самой беспощадной травле, превратив искреннего священника, в сущности, всегда далекого от всякой политики, в какой-то отвратительный символ крайней общественно-политической реакции.

Почему же именно отец Иоанн был выбран на эту роль? Возможно, именно потому, что его авторитет в народе был невероятно высок, и в ситуации «всероссийского плебисцита» по законам любого плебисцита главной мишенью для битвы и должен был оказаться самый авторитетный в Церкви человек. Ну и, конечно, важную роль в этом сыграла жесткая позиция Иоанна Кронштадтского по отношению к Толстому, который, в свою очередь, и тоже против своей воли, был поднят на щит – уже революционным движением – как *враг самодержавия*.

Первая атака на отца Иоанна со стороны прессы и началась с того, что он сам бросил вызов Толстому. Однако Толстой этот вызов не принял, от войны уклонился. Зато его охотно приняло либеральное общество, грудью вставшее на защиту Толстого. Не исключено, что Толстой с его аристократической деликатностью понимал: Иоанн Кронштадтский – слишком слабый, слишком уязвимый для него враг на поле публицистики. Но самое главное – Толстой никогда не ставил перед собой задачи уничтожения конкретных врагов: он всегда боролся со взглядами, а не с людьми.

Так или иначе, но у Толстого после 1905 года, были все возможности, чтобы публично ответить Кронштадтскому, и нетрудно догадаться, кто победил бы в этом словесном поединке. Он этого не сделал.

Было ли это свидетельством его силы или его слабости? Это не такой простой вопрос. Толстой повел себя по отношению к Кронштадтскому благородно, но и со слишком заметным и выразительным «барским» отношением. Для Толстого ввязаться в войну с Кронштадтским означало прежде всего признать его громадный авторитет в народе. Но и не только в народе. Поклонницей отца Иоанна была родная сестра писателя Мария Николаевна Толстая, монахиня Шамординской женской обители, возникшей по инициативе оптинского схимонаха Амвросия. Толстой трижды приезжал в Оптину и трижды встречался с Амвросием. Возможно, он не знал, что в Оптиной пустыни царил настоящий культ Иоанна Кронштадтского, но, конечно, узнал бы об этом, если бы занялся вопросом всерьез.

Именно нежелание Толстого *серьезно* относиться к Иоанну Кронштадтскому представляется признаком его слабости, а не силы. В этом вопросе он умыл руки, почти как Победоносцев в вопросе с ним самим. Он сделал «глухое ухо» и промолчал.

Между тем его истинное отношение к Кронштадтскому как выразителю Церкви было, разумеется, далеко от всякой любви. Эту свою позицию он достаточно жестко высказал еще в дневнике 1890 года, когда получил от князя Хилкова письмо о том, как Иоанн Кронштадтский пытался вернуть Хилкова в православие. Это письмо было затем опубликовано В.Г.Чертковым за границей и распространялось по России в гектографическом и рукописном вариантах. Сделать это без разрешения Толстого Чертков, конечно, не мог. В этом письме Иоанн Кронштадтский предстает в самом конфузном освещении: он пытается вернуть князя в ту Церковь, которая его преследует и отнимает у него с женой дочерей. В ответе Хилкову Толстой пишет, что он «хохотал», читая это письмо. Но хохот был явно преждевременным, потому что князь Хилков в конце концов все-таки вернулся в православие и погиб добровольцем на русско-германской войне в 1914 году, а вот две его дочери, достигнув совершеннолетия, покончили с собой, не выдержав метаний отца.

В истории с князем Хилковым наглядно проявился *человеческий трагизм* противостояния Толстого и церкви, а значит, Толстого и Иоанна Кронштадтского. Почему самые искренние из толстовцев покидали своего учителя и возвращались в православие? Чего не хватало им в «религии Толстого»? Чего не хватало в ней его родной сестре? Софье Андреевне? Его младшей дочери Александре, в конце своей жизни вернувшейся в православие? Всё это были такие вопросы, на которые Толстой не хотел или даже боялся искать ответы. В дневнике 1890 года он пишет в связи с посланием князя Хилкова:

«...Как грубо я ошибаюсь, вступая в разговоры о христианстве с православными, или говорю о христианстве» по случаю деятельности священников, монахов, Синода и т. п. Православие и христианство имеют общего только название. Если церковники христиане, то я не христианин, и наоборот».

Глава десятая МОГИЛА В ЛЕСУ

Душно мне, душно...

Последние слова отца Иоанна

Я пойду куда-нибудь, чтобы меня никто не нашел... Оставьте меня в покое...

Последние слова Льва Толстого

КОЛЕБЛЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

После неудачи с исцелением Александра III в Ливадии (а нужно признать, что это была неудача, ибо царь скончался) с отцом Иоанном происходят странные метаморфозы. Его поражение воспринимается как его заслуга, а его образ всё больше и больше приобретает «державный» характер. На передний план, как справедливо пишет Надежда Киценко, выходит «пророческий аспект», до этого отцу Иоанну не очень свойственный. Именно тогда он становится неистовым обличителем Толстого и пророчит в связи с ним беды и катастрофы. И они не заставили себя ждать...

Несомненно, у отца Иоанна был пророческий дар. Но в той же мере пророком можно признать Толстого, который предвидел революцию еще в начале восьмидесятых годов в статье «Так что же нам делать?»: «Как ни стараемся мы скрыть от себя простую, самую очевидную опасность истощения терпения тех людей, которых мы душим, как ни стараемся мы противодействовать этой опасности всякими обманами, насилиями, задабриваниями, опасность эта растет с каждым днем, с каждым часом и давно уже угрожает нам, а теперь назрела так, что мы чуть держимся в своей лодочке над бушующим уже и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрет нас. Рабочая революция с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет 30 и только пока, кое-как разными хитростями на время отсрочиваем ее взрыв».

Пророком был Достоевский в «Бесах» и «Братьях Карамазовых». Пророческим даром обладал Александр Блок, а Велимир Хлебников даже предсказал 1917 год. Но на что не был способен ни один писатель или пророк России, так это на чудо, совершенное отцом Иоанном как раз в Крыму. На него не обратили особого внимания, потому что все мысли и взоры были прикованы к постели умирающего императора. 15 октября 1894 года в селе Аутка Иоанн Кронштадтский исцелил разбитого параличом татарина.

Сам по себе факт исцеления для отца Иоанна был вроде бы рядовым. Не рядовым было то, как он это совершил. Когда татарина принесли, парализованный спрашивал: «А что, бачка, лекарь-то Божий дома?» Вместе с татаринцем пришла его жена. Ее мужа оставили в носилках на дороге, а она умоляла пустить ее к «мулле Иоанну». Отец Иоанн сказал, чтобы ее пропустили. Он спросил ее: верует ли она в Бога? Получив утвердительный ответ, он неожиданно заявил: «Будем молиться вместе, ты молись по-своему, а я буду молиться по-своему». Закончив молитву, он благословил татарку и перекрестил ее. Когда они вышли из дома, муж татарки уже шел к ним навстречу. Об этом чуде рассказал генерал от кавалерии Дмитрий Константинович Абадиев, служивший в императорском конвое, а в Ливадии исполнявший должность флигель-адъютанта.

Этот факт говорит о характере отца Иоанна гораздо больше, чем его незапланированная встреча с царем. По сути, ради страдающего человека православный священник прилюдно позволил себе одновременную и параллельную молитву с мусульманкой. И в этом был весь отец Иоанн. Не грозный пророк, но именно добрый человек, в своей доброте, в милосердии и безграничной любви к несчастным возвысившийся

до святого еще при жизни.

...Отца Иоанна приближают ко двору. Он участвует в отпевании Александра III, в венчании и коронации его сына и крестинах наследника Алексея. Ему позволяют преобразовать петербургское подворье весьма отдаленного Сурского монастыря, основанного отцом Иоанном на своей малой родине, в грандиозный женский Иоанновский монастырь на реке Карповке, в строительство которого он, по некоторым сведениям, вложил миллион рублей. В его кабинетах в Доме трудолюбия и Иоанновском монастыре появляются дарственные портреты Николая II с личной подписью царя.

Впервые можно говорить о какой-то *карьере* отца Иоанна. После сорока лет служения он наконец-то становится настоятелем Андреевского храма. Повелением Их Императорских Величеств он назначен членом Комитета по устройству в России Домов трудолюбия. Он награжден палицей и митрой. Он дважды получает благодарность Святейшего Синода с занесением в личное дело. Это церковные награды. От двора он был пожалован золотым с драгоценными украшениями крестом из кабинета Его Величества. В знак присутствия на крестинах наследника его жалуют еще одним драгоценным крестом. В 1896 году в связи с приглашением на коронацию Николая в Москву награждают орденом Анны 1-й степени.

В 1899 году по просьбе прибывшего в Россию с официальным визитом болгарского князя Фердинанда отец Иоанн отслужил литургию в храме Христа Спасителя в Москве, за что был награжден болгарским орденом с бриллиантовым крестом на золотой цепочке. Это уже не просто «всенародный батюшка».

Нельзя сказать, чтобы он был равнодушен к этим почестям. Сын бедного сельского пономаря и к тому же искренний монархист, он не мог этому не радоваться.

Но вот Синод его скорее обидел. Он был введен в его состав лишь в 1907 году, незадолго до смерти. По болезни он ни разу не побывал в Синоде. Только во время похорон перед зданием Синода у гроба была отслужена панихида.

Он начинает серьезно болеть в то же время, что и Толстой. Когда Толстой едва не умирает в Крыму весной 1902 года, смертельная болезнь настигает и отца Иоанна. «Прихварывать дорогой Батюшка стал с 18 марта 1902 года», – вспоминал протоиерей Павел Виноградов, ставший после отца Иоанна настоятелем Андреевского собора. Эта точно указанная дата искушает нас заглянуть в «Летопись жизни и творчества Л.Н.Толстого», составленную Н.Н.Гусевым. 18 марта Толстому в Гаспре становится как раз лучше. Лежа в постели, он начинает обдумывать «Хаджи-Мурата» – вещь, которую он считал для себя «самой неинтересной», но которую писал до конца своих дней. 21 марта он задумывает то самое обращение «К духовенству», которое затем так возмутит Иоанна Кронштадтского, сделав Толстого его окончательным врагом, который уже не подлежит прощению. 23 марта Толстой впервые во время болезни пишет своей рукой – письма к Черткову и Бирюкову. 27 марта пишет предисловие ко второму изданию книги «Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий» (изд-во «Свободное слово», Лондон), где одновременно и выражает сожаление, что когда-то сгоряча взялся за этот перевод, и продолжает настаивать на том, что умные люди сами разберутся, что там разумно, а что – нет. 31 марта выздоравливающего Толстого навещает Чехов. Он встречает его в кресле-каталке. 4 апреля Толстой встает на ноги и делает несколько шагов.

Спустя два года болезнь отца Иоанна усилилась настолько, что он по слабости не смог служить в соборе. Это было для него сущей пыткой, потому что без ежедневной литургии из его жизни исчезал главный стержень. Положение столь серьезное, что с 28 ноября 1904 года по 6 февраля 1905 года газета «Котлин» печатает бюллетени о состоянии здоровья священника.

Перед началом болезни 13 сентября 1904 года в дневнике отца Иоанна появляется запись: «Сегодня утром, часа в четыре, во сне как наяву очутился я будто бы в Ясной Поляне; ко мне приходит от графа Толстого какой-то его родственник и говорит: “Граф Толстой очень болен и зовет Вас к себе помолиться”. Я с удивлением спрашиваю: “Неужели? Сейчас иду”. И думаю: как с ним встречусь и что буду говорить? Впрочем,

думаю, Бог научит, что говорить, на Него я надеюсь, Источника Премудрости. И стал собираться к нему. Но жаль, что проснулся. Что это значит?»

Это могло означать одно. В публичных выступлениях, письмах и даже дневниках он мог яростно ругать Толстого, называть Иудой и сатаной. Но в душе он не мог не чувствовать... нет-нет, не любви, конечно, но жалости и к этому человеку, которого считал своим личным врагом и врагом России № 1. Вспомним, какое значение отец Иоанн всегда придавал своим снам.

Любопытно, что как раз в эти дни сам Толстой записывает в дневнике: «Здоровье недурно...»

Но незадолго до этого 23 сентября 1904 года умирает его старший брат Сергей Николаевич. Перед его смертью происходит то самый случай с Львом Толстым, когда он сам идет за священником, чтобы тот исповедал и причастил его брата.

Реальная встреча отца Иоанна и Толстого, наверное, была невозможной. Но в обществе ходили упорные разговоры о возможности такой встречи. В 1895 году в газетах разнесся слух, что Толстой посетил отца Иоанна в Кронштадте.

В начале января 1905 года состояние здоровья отца Иоанна становится критическим. Он высказывает желание, чтобы его соборовали, и 2 января пишет ключарю Андреевского собора протоиерею Попову очень трогательную записку:

«Ваше Высокопреподобие! Достопочтеннейший собрат, отец Александр Петрович...

Пришло мне на мысль принять Святое Таинство Елеосвящения по чину святой Церкви, которое и прошу соборную братию совершить завтра, после поздней литургии, взяв из храма обеденные дары в потире. При этом моя покорная просьба ко всей братии совершить Святое Таинство, громко выговаривая всё, чтобы я мог слышать, чувствовать и молиться с вами».

3 января семь священников во главе с протоиереем Преображенским соборовали отца Иоанна в его домашнем кабинете. Здесь же были настоятельница Иоанновского монастыря игуменья Ангелина с начальствующими сестрами. На Михайловской улице перед окнами квартиры священника плотной стеной стоял народ и плакал. Час или два спустя после соборования, как пишет протоиерей П.П.Левицкий, «мы с женою приходили проститься с отцом Иоанном: он лежал на постели в подряснике, с закрытыми глазами и, казалось, сильно страдал. Все среди глубокой тишины по очереди подходили к нему, кланялись и целовали его руку, прощаясь с ним, может быть, навсегда, ибо надежды на выздоровление по человеческим соображениям почти не оставалось». Но в начале февраля отец Иоанн начинает выздоравливать, а 27 февраля, в Прощеное Воскресенье, служит первую за время недуга литургию.

Произошло чудо.

И вновь нельзя не обратить внимание на буквальное, хотя и заочное, пересечение судеб Толстого и отца Иоанна. Оба в начале XX века переносят смертельные болезни, которые, казалось бы, не должны были пропустить их в новое столетие, ни по каким критериям не отвечавшее тому, что они проповедовали.

Тем не менее оба вступают в XX век, наблюдая за тем, как нарастает в России социальная ненависть и как народ становится неподвластен никаким духовным внушениям. С отцом Иоанном происходит случай, который многое объясняет в его болезненно-непримиримой позиции по отношению к новым веяниям в обществе. Об этом он сам рассказал в 1905 году одной знакомой: «Однажды, когда я служил обедню в Андреевском соборе и вышел из Царских врат с Чашей, то увидел студента, который закуривал папиросу от лампы перед иконой Спасителя. Я сказал ему: “Что ты делаешь?” Студент, не отвечая, ударил меня по щеке, да так сильно, что Дары расплескались на каменный помост. Я перекрестился, подставил ему другую щеку и сказал: “Ударь еще раз”. Но народ схватил студента. Камни с помоста были потом вынуты и брошены в море».

После этого случая отец Иоанн стал плохо слышать и всегда просил говорить громче...

Кто был этот студент? Толстовец? Ни в коем случае! Для настоящих толстовцев не были характерны подобные жесты, поскольку они исповедовали «непротивление злу» и сами

готовы были подставлять свои вторые щеки.

Но возможно, это был бывший толстовец, перековавшийся в радикала. Такое происходило сплошь и рядом. Молодые люди, испытав увлечение Толстым, не находили в его учении возможности для выплеска своей агрессии, своей обиды на этот мир и ненависти к тем, кто пытается сохранить в этом мире порядок. В результате спора Толстого и Церкви молодежь не пошла ни за Церковью, ни за Толстым. Пошла за Максимом Горьким.

Чудесное выздоровление отца Иоанна совпало с началом русской революции. В январе, когда больного священника соборовали в его кабинете, в столице случилось страшное и бессмысленное Кровавое Воскресенье. Горький пишет жене Е.П.Пешковой: «Итак, началась русская революция, мой друг, с чем тебя искренно и серьезно поздравляю. Убитые да не смущают: история перекрашивается в новые цвета только кровью...»

Новая вера, новые вожди, новые моральные принципы... В этой кровавой мессе уже никому не было дела ни до кронштадтского, ни до яснополянского старцев.

23 октября 1905 года вспыхивает кронштадтский бунт. Начинается он с митинга матросов, переходит в погромы торговых лавок. 25 октября выступление приобретает массовый характер. Мятежники пытаются освободить заключенных. По городу слышны выстрелы, звон стекол и грохот ломаемых дверей и ставней. На Соборной улице громят татарские ряды и магазины. Пик событий приходится на ночь с 26 на 27 октября. Паническое бегство обывателей в Петергоф и Ораниенбаум... Отходящие пароходы переполнены пассажирами... Уехал из Кронштадта и отец Иоанн.

С этого момента начнется травля Иоанна Кронштадтского либеральной печатью, освобожденной от цензуры Манифестом 17 октября. Этого бегства из беснующегося города батюшке не простили. На одной из газетных карикатур отец Иоанн изображен верхом на ослике, пересекающем вброд Финский залив. Позади дымящийся Кронштадт, впереди – жандарм с распростертыми руками... Намек на несостоявшегося Иисуса Христа.

Но возникает вопрос: что мог сделать даже такой популярный священник в этой ситуации? Каким образом мог остановить погромы? Силой какого слова? Протоиерей Левицкий пишет, что в ту самую страшную ночь с 26 на 27 октября отец Иоанн находился в городе. Вечером 26-го к нему приходили за благословением морские офицеры. К утру 27-го часть мятежников была арестована, но выстрелы еще продолжались. Тем не менее около пяти часов утра духовенство Андреевского собора отправилось служить утрению, а отец Иоанн вместе с ключарем Поповым пешком направились к коменданту крепости просить разрешение на служение молебна по поводу происходящих событий. От коменданта отец Иоанн пошел в собор, где служил и утрению, и литургию. После этого он еще побывал на Песочной улице в морской Богоявленской церкви. И лишь в двенадцатом часу дня на обыкновенном извозчике приехал на пристань.

Этот день отца Иоанна ничем не отличался от других его дней, кроме того, что в условиях чрезвычайного положения ему пришлось просить разрешение на службу. Обычно после полудня он и уезжал в Петербург по своим делам.

Можно ли это считать бегством? К 28 октября мятеж был подавлен, Кронштадт объявлен на военном положении. Можно ли упрекать отца Иоанна, что он не совершил героический поступок, не отправился к мятежникам (разгромившим в том числе винные погреба) увещавать их словом Божиим? Что свою миссию настоятеля собора он просто выполнил, как обычно?

Непростой вопрос. Вероятно, многие ждали от Иоанна Кронштадтского более неординарных действий. Не того, что он, как всегда, отслужит литургию, а затем на три дня укроется в своем любимом Иоанновском монастыре. (Ходили даже слухи, что он уехал на Соловки.) Вероятно, от него ждали героизма его молодости, когда он один отправлялся в зланные районы города, возвращаясь домой глубокой ночью. В любом случае репутация героического священника, который не боится толпы, в этот момент была подорвана. Не случайно спустя всего лишь месяц отец Иоанн вынужден был отправить в местную газету «Котлин» «открытое письмо».

«По непонятной, невыразимой ненависти ко мне редакторов-издателей “Петербургского листка”, “Петербургской газеты” и недавно народившейся “Руси” молодого Суворина (сына знаменитого издателя А.С.Суворина. – П.Б.) эти три газеты помещают на своих страницах постоянные клеветы на меня, ложные известия и ругательства и ссылают меня то в Соловки, то в Сибирь, то увольняют на покой после Нового года, желая как-нибудь известить меня и совсем убрать с этого света. Пока Бог терпит по грехам моим, я спокойно остаюсь в Кронштадте и служу Богу и людям, хотя и выезжаю часто по просьбам верных и в Петербург, и в Москву, и в другие города. В отставку не выхожу, хотя и ветеран летами, но не дряхлый силами. Пишу и печатаю и всем правду говорю, и не с сегодняшнего дня, а давным-давно, и остаюсь неизменным в своей добропорядочной жизни, как ни клеветают на меня злые языки. Но они дадут ответ *Судящему право* всей вселенной. Протоиерей Иоанн Сергиев. 22 ноября 1905 года».

Сравнивая это письмо с ранними письмами отца Иоанна в газеты о необходимости учреждения в Кронштадте Дома трудолюбия, нельзя не обратить внимания на его усталый тон. В этом письме много обиды (и справедливой!), но нет той энергии, которая отличала отца Иоанна до его болезни и которая присутствовала даже в филиппиках против Толстого. Единственной настоящей его отрадой остаются ежедневные литургии, всё еще собирающие тысячи людей, а также труды по устройению в России женских монастырей, чем с неустанной и энергичной заботой отец Иоанн Кронштадтский продолжает заниматься до конца дней, ведя духовную и деловую переписку с игуменьями Сурского, Леушинского, Иоанновского монастырей и Пюхтицкой обители. Последней поездкой отца Иоанна стало посещение учрежденного им под Ярославлем Вауловского скита женского Иоанновского монастыря. Все близко знавшие отца Иоанна современники утверждают, что после болезни 1904–1905 годов он не оправился до конца жизни. Он, по-видимому, очень сильно страдал. Осмотревший его царский хирург Вельяминов говорил с ним о необходимости операции рака простаты. Но отец Иоанн не доверял докторам в еще большей степени, чем Лев Толстой. Единственное целебное средство, в которое он верил, были Святые Дары. В последние месяцы жизни он не принимал никакой пищи – только Святые Дары. На последней его фотографии мы видим человека, в котором, кажется, уже не осталось плоти. Одни глаза, неожиданно огромные, распахнутые, лучащиеся.

Но именно в конце жизни отец Иоанн совершает поступок, который после революции надолго определит его образ как «реакционера и черносотенца». Даже сегодня в именных указателях весьма серьезных научных книг Иоанна Кронштадтского называют не иначе как «черносотенным проповедником», хотя и непонятно, что при этом имеют в виду издатели.

В советские годы даже студенты духовных семинарий и академий не имели свободного доступа к произведениям Иоанна Кронштадтского. Они находились в «спецхране». О нем нельзя было писать богословские диссертации. Он и там был «вне закона».

26 ноября 1906 года, в день памяти св. Георгия Победоносца, отец Иоанн присутствовал на торжественном освящении хоругви и знамени «Союза русского народа» в Михайловском манеже. Он с благоговением поцеловал знамя и вручил его преклонившему колена главе «Союза» А.И.Дубровину. До этого 19 ноября он подал заявление о вступлении в «Союз». В октябре 1907 года решением Главного совета «Союза» отец Иоанн был избран его пожизненным почетным членом. Иоанн Кронштадтский и материально поддержал «Союз», передав в виде взноса большую сумму в 10 тысяч рублей.

Сам по себе этот факт ни о чем особенном не говорит. Во время смуты 1905–1908 годов в созданную тогда правомонархическую организацию «Союз русского народа» вступали разные люди. Среди его церковных членов были, в частности, будущие патриархи Тихон и Алексей I, священномученики епископы Гермоген, Макарий и протоиерей Иоанн (Восторгов), а также епископ Антоний (Храповицкий). Из известных светских деятелей членами «Союза» являлись ученые Д.И.Менделеев и К.С.Мережковский (брат писателя и философа Д.С.Мережковского), поэт М.А.Кузмин, поэт и переводчик Б.В.Никольский. Существование «Союза» оказалось непрочным. В 1908 году от него откололся «Союз

Михаила Архангела», который возглавил бывший заместитель А.И.Дубровина В.М.Пуришкевич.

Однако присутствие в «Союзе» главного белого священника России, конечно, имело громадный символический смысл. За отцом Иоанном стоял многомиллионный русский народ, верящий в него как в святого. И это было сознательным выбором отца Иоанна.

Любопытно, что одним из мотивов этого его решения была опять-таки его ненависть к Толстому. После освящения знамени «Союза» с отцом Иоанном встретился журналист английской газеты “The Guardian”. Дело в том, что имя отца Иоанна весьма почиталось в Великобритании после того, как перевод его книги «Моя жизнь во Христе» был с восхищением прочитан королевой Викторией.

Свое решение отец Иоанн объяснял двумя причинами. «Наш народ, – сказал он, – весьма невежествен и не способен сделать разумное избрание религии; поэтому гораздо бы лучше не давать ему повода сбиваться с истинного пути...» Затем он высказался об интеллигенции: «Наша интеллигенция ни к чему не годна, это безбожные анархисты, подобные Льву Толстому, которого они обожают, а я решительно осуждаю. Они меня поэтому страшно ненавидят и готовы стереть с лица земли. Но я не боюсь их и не обращаю на них ни малейшего внимания». «Я им бельмо на глазу...» – закончил он.

Таким образом, оба мотива были отрицательными. И отец Иоанн, конечно, не был искренен, говоря, что он абсолютно равнодушен к мнению интеллигенции. В его поздних письмах доверенным людям (например, к настоятельнице Леушинского монастыря игуменьи Таисии) часто звучат жалобы на общественную травлю.

«Дорогая, неоцененная Матушка Игуменья Таисия, красное солнышко! Спасибо тебе за письмо и за чувства соболезнования обо мне. В Господе моем Иисусе Христе я легко переношу все издевательства надо мною людей лукавых. Жалко, что они так низко сами падают, купаясь в злобе дьявольской, и марают свои души. Благодатию Божиею я – всё тот же Божий раб и не изменяюсь в лукавую сторону. Ты знаешь, как ко мне благодатию Божиею стремится народ – и старый, и малый; как дети меня везде встречают с радостью, подобно как некогда Христа еврейские дети встречали с радостью, с торжествующими лицами и песнями. Так и ныне везде простые люди и незлобивые дети встречают меня с радостью. Что́ это значит? Значит, что благодать Божия живет во мне и всех простых сердцами влечет ко мне, а через меня к Богу, Которому я служу».

Можно осторожно предположить, что своим вступлением в «Союз» отец Иоанн делал своего рода «послание» русским людям и держал в голове опять-таки Толстого, который в это время решительно осуждал монархию за насилие. Ведь, по словам Екатерины Духониной, даже причиной поражения России в русско-японской войне он тоже считал Толстого и толстовцев.

Вступлением в «Союз» Иоанн Кронштадтский бросал свой авторитет на другую чашу весов.

Но было уже поздно...

Последний раз он посещает Суру летом 1907 года. В 1908 году у него хватает сил только чтобы приехать в Ярославскую губернию, в основанный им Вауловский женский скит. Благодатная природа и службы в скитской церкви благотворно действуют на него. Однако и здесь его преследуют иоанниты.

«На одной из литургий... – пишет сопровождавший его будущий епископ Арсений (Жадановский), – у запертых входных дверей поднялся страшный шум и вопль. Кричали: “Батюшка, вели пустить – причасти нас!” Это ломившиеся так называемые иоанниты, которых пришедшая из Ярославля охрана решила не допускать в храм... Проходя по двору Вауловского скита, я был однажды задержан несколькими людьми, задававшими вопрос: “Разве вы не верите, что в отца Иоанна вселилась Святая Троица?”»

На закате жизни батюшка всё больше и больше начинает раздражаться на неистовую любовь к нему наиболее ревностных поклонников. У него всё меньше и меньше сил, чтобы отвечать на эту любовь, чтобы сдерживать ее и направлять в русло любви к Богу, а не к

батюшке Иоанну. После возвращения из Вауловского скита он служит обедню в Иоанновском монастыре, «худенький и слабенький», как замечает Екатерина Духонина.

«Народу набралось видимо-невидимо; трудно было пробраться вперед, и я встала сзади, против царских врат... После обедни мне удалось пройти в игуменскую и в батюшкин кабинет. Батюшка вышел, очень радушно приветствовал всех почитателей, собравшихся повидать его, и сказал матушке Ангелине: “Боже мой, какой сегодня страшный беспорядок устроили! Ведь у вас тут решительно невозможно служить. Я хотел всех приобщить; но, видя эту страшную давку, должен был поневоле уйти”».

Позвольте! В чем была виновата игуменья? Разве не из-за него была эта давка?

Епископ Вениамин (Федченков) вспоминал, как однажды, будучи еще молодым, возвращался из Кронштадта в Петербург на пароходе. На пароходе к нему обратился богомолец из народа:

«– Я слышал, Батюшка звал нас всех на обед, а обеда-то не было?! А-а?

Я понял наивность души этого посетителя и спокойно разъяснил ему, что под “пиром” Батюшка разумел Святое Причащение... Он понял и успокоился:

– Вот оно что! А я-то думал, он обедать позвал».

Едва ли к концу жизни Кронштадтского многие из толпы, которая его постоянно окружала и молилась, по сути, именно на него, понимали разницу между «пиром» и «обедом». В поклонении Кронштадтскому было много языческого. И он, как просвещенный иерей, не мог этого не понимать.

Последний раз отец Вениамин вместе с товарищем по духовной академии посетил батюшку незадолго до его смерти.

«Батюшка вышел к нам уже слабеньким. Пригласивши сесть, он устало заговорил:

– И чего вам от меня, старика, нужно?

– Батюшка, – ответил я, прости меня за это Господи! – если бы вы были простой “старик”, к вам Россия не ходила бы.

– Ну, ну! – махнул он рукою, не желая спорить...»

Вот что вспоминала о своем последнем посещении отца Иоанна на его квартире его духовная дочь Екатерина Духонина:

«Батюшка повернулся ко мне и с неописанною радостью сказал мне тихо на ухо: “Знаешь, дорогая моя, через три недели у вас наступит Рождество и торжество”. Я с удивлением посмотрела на него, не зная, как понять, и видела, что его лицо как-то необыкновенно сияет. Затем батюшка прибавил, смотря на меня всё тем же сияющим взглядом: “Поверишь ли, дорогая моя, что я ведь только и живу одними Святыми Тайнами. Если бы их не было, то я давно не существовал бы...” Вскоре батюшка вышел к одной больной и спросил, что ей нужно. Она стала что-то объяснять... Батюшка сказал: “Я ничего не слышу, говорите громче!” Тогда она сказала, что у нее болит нога и ей нужно с ним поговорить. Он ответил: “Вы видите, я сам еле живой, ничего не могу с вами говорить. Простите и прощайте!”»

...20 декабря 1908 года отца Иоанна не стало.

«Душно мне, душно...» – говорил он перед смертью. С медицинской точки зрения это была, вероятно, сердечная недостаточность. Так же задышался в Астапове перед смертью Толстой.

Но поклонники отца Иоанна увидели в этих словах символический смысл. Батюшке стало душно в храмине его тела. Душа искала последней свободы. Но, быть может, и душа Толстого искала последней свободы, когда в бреду он произнес свои последние слова, записанные доктором Маковицким: «Я пойду куда-нибудь, чтобы меня никто не нашел... Оставьте меня в покое...»

ПАРОХОД В ТУМАНЕ

В могилах двух великих антагонистов, Иоанна Кронштадтского и Льва Толстого, как

это ни странно, есть что-то общее. Хотя различий, разумеется, гораздо больше.

Оба похоронены не на родных погостах и не на обычных кладбищах, церковных или гражданских. Оба придумали для себя исключительные и загадочные места захоронения, к которым по сей день не зарастает «народная тропа».

Толстой, согласно его распоряжению, похоронен в лесу Старого Заказа, на краю оврага, далеко от фамильного погоста в селе Кочаки, где лежат его отец, мать и старший брат Дмитрий и где нашли упокоение жена, дети, внуки, правнуки.

Иоанн Кронштадтский похоронен под мраморным спудом в белом мраморном храме, заранее устроенном по его распоряжению в основании церкви Иоанновского монастыря.

Обе могилы стали местами культового поклонения людей, вот уже более ста лет совершающих туда своего рода паломничества, почти так же, как это происходило при жизни двух великих старцев. И сегодня на могилы отца Иоанна и Льва Толстого люди идут ежедневно, нескончаемым потоком, с разными целями, но все-таки движимые общим желанием как бы физического приобщения к останкам духовных гигантов. Приобщения, которое, по их вере и надеждам, может и даже обязано каким-то таинственным образом перерасти в духовное чудо собственного преображения. Интересно, что обе могилы в разное время подвергались осквернению, но не были уничтожены, хотя и такое вполне могло произойти. Усыпальница отца Иоанна была разорена во времена большевизма. Ее закатали бетоном, но самого тела батюшки почему-то не тронули. Во время фашистской оккупации возле могилы Толстого немцы разбили кладбище для своих офицеров. Однако уничтожить саму могилу они не решились.

Можно считать это исторической случайностью, а можно – волей Провидения. Так или иначе, магнетизм этих личностей, поражавший еще при их жизни, не только не иссяк после их смерти, но и обрел физическое воплощение в двух совершенно исключительных гробницах, которые по энергетической мощи можно сопоставить только с Тадж-Махалом и египетскими пирамидами.

Они словно отражаются друг в друге – но как странно отражаются! В них как бы присутствуют две загробные мысли, которые мы пытаемся понять, но никогда не постигнем. Одинокая могила Толстого на краю сырого и темного лесного оврага, покрытая одними еловыми ветками, вызываясь скромна и вопиюще безгласна. Над ней как будто царит дух вечного покоя и в то же время бунтарства и отрицания. Но и беломраморная, залитая ослепительным электрическим светом, озвученная хором поющих монахинь гробница Иоанна Кронштадтского вызывает ошеломление у всякого, кто приходит сюда впервые. В ней столько церковного торжества и великолепия! Но и столько теплоты и домашнего уюта!

И снова и снова встает вопрос: почему это *так* произошло? Почему и после своей смерти два великих русских человека словно продолжают спорить друг с другом, самым видом своих могил указывая на то, что истина может быть только одна и только они ее знали и даже теперь знают? А нам-то что делать? Нам, которые не согласны со словами Николая Лескова: «Нельзя одновременно любить Толстого и Иоанна Кронштадтского». Нам, тем, которые сомневаются и не знают, куда «приклонить главу». Разве нет ответа?

...На родине отца Иоанна в селе Сура существует предание, что в 1918 году гробик батюшки петербургские монашки тайно перевезли из разграбленного и оскверненного Иоанновского монастыря в лесной скит, который заложил сам батюшка и который он очень любил. Будто бы долгожитель дедушка Фрол видел это своими глазами. Дождливой осенней ночью к сурской пристани тихо причалил пароход «Святой Николай Чудотворец», когда-то подаренный батюшкой монастырю. Монашки из Иоанновского монастыря вынесли гроб и понесли в лес. А утром незаметно, в густом тумане «Николай Чудотворец» отплыл назад в Архангельск.

Красивая легенда! Но все-таки только легенда...

Приложение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА ОТ 20–22 ФЕВРАЛЯ 1901 ГОДА

Изначала Церковь Христова терпела хулы и нападения от многочисленных еретиков и лжеучителей, которые стремились ниспровергнуть ее и поколебать в существенных ее основаниях, утверждающихся на вере в Христа, Сына Бога Живого. Но все силы ада, по обетованию Господню, не могли одолеть Церкви святой, которая пребудет неодоленной во веки. И в наши дни Божиим попущением явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой. Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой в прельщении гордого ума своего дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно пред всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепка была Русь святая. В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он –

а) проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов Православной Церкви и –

б) самой сущности веры христианской:

1. отвергает личного живого Бога во Святой Троице славимого, Создателя и Промыслителя вселенной

2. отрицает Господа Иисуса Христа – Богочеловека

3. отрицает Иисуса Христа как Икупителя, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения

4. отрицает Иисуса Христа как Спасителя мира

5. отрицает воскресение Иисуса Христа из мертвых

6. отрицает бессеменное зачатие по человечеству Христа Господа

7. отрицает девство до рождества Пречистой Богородицы и Приснодевы Марии

8. отрицает девство по рождестве Пречистой Богородицы и Приснодевы Марии

9. не признает загробной жизни

10. не признает мздовоздаяния

11. отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святого Духа

12. ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнувшись подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию.

Все сие проповедует граф Толстой непрерывно, словом и писанием к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем не прикровенно, но явно перед всеми, сознательно и намеренно отторг себя от всякого общения с Церковью Православною. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Ныне о сем свидетельствуем перед всей Церковью к утверждению правостоящих и к вразумлению самого графа Толстого. Многие из ближних его, хранящих веру, со скорбью помышляют о том, что он на конце дней своих остается без веры в Бога и Господа Спасителя нашего, отвергшись от благословений и молитв Церкви и от всякого общения с нею.

Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние и разум истины. Молим ти ся милосердный Господи, не хотяй смерти грешных, услыши и помилуй и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь.

П о д л и н н о е п о д п и с а л и:

Смиренный Антоний,

*митрополит С.-Петербургский и Ладозжский
Смиренный Феогност,
митрополит Киевский и Галицкий
Смиренный Владимир,
митрополит Московский и Коломенский
Смиренный Иероним,
архиепископ Холмский и Варшавский
Смиренный Иаков,
епископ Кишиневский и Хотинский
Смиренный Маркел, епископ
Смиренный Борис, епископ*

Л.Н.ТОЛСТОЙ ОТВЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИНОДА ОТ 20–22 ФЕВРАЛЯ И НА ПОЛУЧЕННЫЕ МНОЮ ПО ЭТОМУ СЛУЧАЮ ПИСЬМА

He who begins by loving Christianity better than Truth will proceed by loving his own Sect or Church better than Christianity, and end in loving himself better than all.

Coleridge ³⁸

Я не хотел сначала отвечать на постановление обо мне Синода, но постановление это вызвало очень много писем, в которых неизвестные мне корреспонденты – одни бранят меня за то, что я отвергаю то, чего я не отвергаю, другие увещевают меня поверить в то, во что я не переставал верить, третьи выражают со мной единомыслие, которое едва ли в действительности существует, и сочувствие, на которое я едва ли имею право; и я решил ответить и на самое постановление, указав на то, что в нем несправедливо, и на обращения ко мне моих неизвестных корреспондентов.

Постановление Синода вообще имеет много недостатков. Оно незаконно или умышленно двусмысленно; оно произвольно, неосновательно, неправдиво и, кроме того, содержит в себе клевету и подстрекательство к дурным чувствам и поступкам.

Оно незаконно или умышленно двусмысленно потому, что если оно хочет быть отлучением от Церкви, то оно не удовлетворяет тем церковным правилам, по которым может произноситься такое отлучение; если же это есть заявление о том, что тот, кто не верит в Церковь и ее догматы, не принадлежит к ней, то это само собой разумеется, и такое заявление не может иметь никакой другой цели, как только ту, чтобы, не будучи в сущности отлучением, оно бы казалось таковым, что, собственно, и случилось, потому что оно так и было понято.

Оно произвольно, потому что обвиняет одного меня в неверии во все пункты, выписанные в постановлении, тогда как не только многие, но почти все образованные люди в России разделяют такое неверие и беспрестанно выражали и выражают его и в разговорах, и в чтении, и в брошюрах и книгах.

Оно неосновательно, потому что главным поводом своего появления выставляет большое распространение моего совращающего людей лжеучения, тогда как мне хорошо известно, что людей, разделяющих мои взгляды, едва ли есть сотня, и распространение моих писаний о религии, благодаря цензуре, так ничтожно, что большинство людей, прочитавших постановление Синода, не имеют ни малейшего понятия о том, что мною писано о религии, как это видно из получаемых мною писем.

Оно содержит в себе явную неправду, утверждая, что со стороны Церкви были сделаны

³⁸ Тот, кто начнет с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро полюбит свою Церковь или секту более, чем христианство, и кончит тем, что будет любить себя (свое спокойствие) больше всего на свете. Кольридж (англ.)

относительно меня не увенчавшиеся успехом попытки вразумления, тогда как ничего подобного никогда не было.

Оно представляет из себя то, что на юридическом языке называется клеветой, так как в нем заключаются заведомо несправедливые и клонящиеся к моему вреду утверждения.

Оно есть, наконец, подстрекательство к дурным чувствам и поступкам, так как вызвало, как и должно было ожидать, в людях непросвещенных и нерассуждающих озлобление и ненависть ко мне, доходящие до угроз убийства и высказываемые в получаемых мною письмах. «Теперь ты предан анафеме и пойдешь после смерти в вечное мучение и издохнешь как собака... анафема та, старый черт... будь проклят!» – пишет один. Другой делает упреки правительству за то, что я не заключен еще в монастырь, и наполняет письмо ругательствами. Третий пишет: «Если правительство не уберет тебя – мы сами заставим тебя замолчать». Письмо кончается проклятиями. «Чтобы уничтожить прохвоста тебя, – пишет четвертый, – у меня найдутся средства...» Следуют неприличные ругательства. Признаки такого же озлобления после постановления Синода я замечаю и при встречах с некоторыми людьми. В самый же день 25 февраля, когда было опубликовано постановление, я, проходя по площади, слышал обращенные ко мне слова: «Вот дьявол в образе человека», и если бы толпа была иначе составлена, очень может быть, что меня бы избили, как избили, несколько лет тому назад, человека у Пантелеймоновской часовни.

Так что постановление Синода вообще очень нехорошо; то, что в конце постановления сказано, что лица, подписавшие его, молятся, чтобы я стал таким же, как они, не делает его лучше.

Это так вообще; в частностях же постановление это несправедливо в следующем. В постановлении сказано: «Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно перед всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его матери, Церкви православной».

То, что я отрекся от Церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому, что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить Ему. Прежде чем отречься от Церкви и единения с народом, которое мне было невыразимо дорого, я, по некоторым признакам усумнившись в правоте Церкви, посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение Церкви: теоретически – я перечитал все, что мог, об учении Церкви, изучил и критически разобрал догматическое богословие; практически же – строго следовал, в продолжение более года, всем предписаниям Церкви, соблюдая все посты и посещая все церковные службы. И я убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения.

Стоит только почитать требник и проследить за теми обрядами, которые не переставая совершаются православным духовенством и считаются христианским богослужением, чтобы увидеть, что все эти обряды не что иное, как различные приемы колдовства, приспособленные ко всем возможным случаям жизни. Для того, чтобы ребенок, если умрет, пошел в рай, нужно успеть помазать его маслом и выкупать с произнесением известных слов; для того, чтобы родительница перестала быть нечистою, нужно произнести известные заклинания; чтобы был успех в деле или спокойное житье в новом доме, для того, чтобы хорошо родился хлеб, прекратилась засуха, для того, чтобы путешествие было благополучно, для того, чтобы излечиться от болезни, для того, чтобы облегчилось положение умершего на том свете, для всего этого и тысячи других обстоятельств есть известные заклинания, которые в известном месте и за известные приношения произносит священник.

И я действительно отрекся от Церкви, перестал исполнять ее обряды и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей и мертвое мое тело убрали бы поскорей, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым.

То же, что сказано, что я «посвятил свою литературную деятельность и данный мне от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви» и т. д., и что «я в своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых мною так же, как и учениками моими, по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, проповедую с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов православной Церкви и самой сущности веры христианской», – то это несправедливо. Я никогда не заботился о распространении своего учения. Правда, я сам для себя выразил в сочинениях свое понимание учения Христа и не скрывал эти сочинения от людей, желавших с ними познакомиться, но никогда сам не печатал их; говорил же людям о том, как я понимаю учение Христа, только тогда, когда меня об этом спрашивали. Таким людям я говорил то, что думаю, и давал, если они у меня были, мои книги.

Потом сказано, что я «отвергаю Бога, во Святой Троице славимого, Создателя и Промыслителя вселенной, отрицаю Господа Иисуса Христа, Богочеловека, Икупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых, отрицаю бессеменное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до рождения и по рождении Пречистой Богородицы».

То, что я отвергаю непонятную Троицу и не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о Боге, родившемся от Девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо. Бога же – духа, Бога – любовь, единого Бога – начало всего, не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, кроме Бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли Бога, выраженной в христианском учении.

Еще сказано: «Не признает загробной жизни и мздовоздаяния». Если разуместь жизнь загробную в смысле второго пришествия, ада с вечными мучениями, дьяволами, и рая – постоянного блаженства, то совершенно справедливо, что я не признаю такой загробной жизни; но жизнь вечную и возмездие здесь и везде, теперь и всегда, признаю до такой степени, что, стоя по своим годам на краю гроба, часто должен делать усилия, чтобы не желать плотской смерти, то есть рождения новой жизни, верю, что всякий добрый поступок увеличивает истинное благо моей вечной жизни, а всякий злой поступок уменьшает его.

Сказано также, что я отвергаю все таинства. Это совершенно справедливо. Все таинства я считаю низменным, грубым, не соответствующим понятию о Боге и христианскому учению колдовством и, кроме того, нарушением самых прямых указаний Евангелия. В крещении младенцев вижу явное извращение всего того смысла, который могло иметь крещение для взрослых, сознательно принимающих христианство; в совершении таинства брака над людьми, заведомо соединявшимися прежде, и в допущении разводов и в освящении браков разведенных вижу прямое нарушение и смысла, и буквы Евангельского учения. В периодическом прощении грехов на исповеди вижу вредный обман, только поощряющий безнравственность и уничтожающий опасение перед согрешением.

В елеосвящении так же, как и в миропомазании, вижу приемы грубого колдовства, как и в почитании икон и мощей, как и во всех тех обрядах, молитвах, заклинаниях, которыми наполнен требник. В причащении вижу обоготворение плоти и извращение христианского учения. В священстве, кроме явного приготовления к обману, вижу прямое нарушение слов Христа, – прямо запрещающего кого бы то ни было называть учителями, отцами, наставниками (Мф. XXIII:8–10).

Сказано, наконец, как последняя и высшая степень моей виновности, что я, «ругаясь над самыми священными предметами веры, не содрогнулся подвергнуть глумлению священнейшее из таинств – Евхаристию». То, что я не содрогнулся описать просто и объективно то, что священник делает для приготовлений этого так называемого таинства, то это совершенно справедливо; но то, что это, так называемое, таинство есть нечто священное и что описать его просто, как оно делается, есть кощунство, – это совершенно несправедливо. Кощунство не в том, чтобы назвать перегородку – перегородкой, а не иконостасом, и чашку – чашкой, а не потиром и т. п., а ужаснейшее, не перестающее,

возмутительное кощунство — в том, что люди, пользуясь всеми возможными средствами обмана и гипнотизации, уверяют детей и простодушный народ, что если нарезать известным способом и при произнесении известных слов кусочки хлеба и положить их в вино, то в кусочки эти входит Бог; и что тот, во имя кого живого вынется кусочек, тот будет здоров; во имя же кого умершего вынется такой кусочек, то тому на том свете будет лучше; и что тот, кто съест этот кусочек, в того войдет сам Бог.

Ведь это ужасно!

Как бы кто ни понимал личность Христа, то учение его, которое уничтожает зло мира и так просто, легко, несомненно дает благо людям, если только они не будут извращать его, это учение все скрыто, все переделано в грубое колдовство купанья, мазания маслом, телодвижений, заклинаний, проглатывания кусочков и т. п., так что от учения ничего не остается. И если когда какой человек попытается напомнить людям то, что не в этих волхвованиях, не в молебнах, обеднях, свечах, иконах учение Христа, а в том, чтобы люди любили друг друга, не платили злом за зло, не судили, не убивали друг друга, то поднимется стон негодования тех, которым выгодны эти обманы, и люди эти во всеуслышание, с непостижимой дерзостью говорят в церквях, печатают в книгах, газетах, катехизисах, что Христос никогда не запрещал клятву (присягу), никогда не запрещал убийство (казни, войны), что учение о непротивлении злу с сатанинской хитростью выдуманно врагами Христа (речь Амвросия, епископа Харьковского).

Ужасно, главное, то, что люди, которым это выгодно, обманывают не только взрослых, но, имея на то власть, и детей, тех самых, про которых Христос говорил, что горе тому, кто их обманет. Ужасно то, что люди эти для своих маленьких выгод делают такое ужасное зло, скрывая от людей истину, открытую Христом и дающую им благо, которое не уравнивается и в тысячной доле получаемой ими от того выгодой. Они поступают, как тот разбойник, который убивает целую семью, 5–6 человек, чтобы унести старую поддевку и 40 коп. денег. Ему охотно отдали бы всю одежду и все деньги, только бы он не убивал их. Но он не может поступить иначе. То же и с религиозными обманщиками. Можно бы согласиться в 10 раз лучше, в величайшей роскоши содержать их, только бы они не губили людей своим обманом. Но они не могут поступать иначе. Вот это-то и ужасно. И потому обличать их обманы не только можно, но должно. Если есть что священное, то никак уже не то, что они называют таинством, а именно эта обязанность обличать их религиозный обман, когда видишь его. Если чувашин мажет своего идола сметаной или сечет его, я могу равнодушно пройти мимо, потому что то, что он делает, он делает во имя чуждого мне своего суеверия и не касается того, что для меня священно; но когда люди, как бы много их ни было, как бы старо ни было их суеверие и как бы могущественны они ни были, во имя того Бога, Которым я живу, и того учения Христа, которое дало жизнь мне и может дать ее всем людям, проповедуют грубое колдовство, я не могу этого видеть спокойно. И если я называю по имени то, что они делают, то я делаю только то, что должен, чего не могу не делать, если я верую в Бога и христианское учение. Если же они вместо того, чтобы ужаснуться на свое кощунство, называют кощунством обличение их обмана, то это только доказывает силу их обмана и должно только увеличивать усилия людей, верующих в Бога и в учение Христа, для того, чтобы уничтожить этот обман, скрывающий от людей истинного Бога.

Про Христа, выгнавшего из храма быков, овец и продавцов, должны были говорить, что он кощунствует. Если бы он пришел теперь и увидел то, что делается его именем в Церкви, то еще с большим и более законным гневом наверно повыкидал бы все эти ужасные антимины, и копыя, и кресты, и чаши, и свечи, и иконы, и все то, посредством чего они, колдуя, скрывают от людей Бога и Его учение.

Так вот что справедливо и что несправедливо в постановлении обо мне Синода. Я действительно не верю в то, во что они говорят, что верят. Но я верю во многое, во что они хотят уверить людей, что я не верю.

Верю я в следующее: верю в Бога, Которого понимаю как дух, как любовь, как начало всего. Верю в то, что Он во мне и я в Нем. Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее всего

выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим кощунством. Верю в то, что истинное благо человека – в исполнении воли Бога, воля же Его в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними, как и сказано в Евангелии, что в этом весь закон и пророки. Верю в то, что смысл жизни каждого отдельного человека поэтому только в увеличении в себе любви, что это увеличение любви ведет отдельного человека в жизни этой ко все большему и большему благу, дает после смерти тем большее благо, чем больше будет в человеке любви, и вместе с тем и более всего другого содействует установлению в мире царства Божия, то есть такого строя жизни, при котором царствующие теперь раздор, обман и насилие будут заменены свободным согласием, правдой и братской любовью людей между собою. Верю, что для преуспевания в любви есть только одно средство: молитва, – не молитва общественная в храмах, прямо запрещенная Христом (Мф. VI:5–13), а молитва, образец которой дан нам Христом, – уединенная, состоящая в восстановлении и укреплении в своем сознании смысла своей жизни и своей зависимости только от воли Бога.

Оскорбляют, огорчают или соблазняют кого-либо, мешают чему-нибудь и кому-нибудь или не нравятся эти мои верования, – я так же мало могу их изменить, как свое тело. Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть (и очень скоро), и потому я не могу никак иначе верить, как так, как верю, готовясь идти к Тому Богу, от Которого изошел. Я не говорю, чтобы моя вера была одна несомненно на все времена истинна, но я не вижу другой – более простой, ясной и отвечающей всем требованиям моего ума и сердца; если я узнаю такую, я сейчас же приму ее, потому что Богу ничего, кроме истины, не нужно. Вернуться же к тому, от чего я с такими страданиями только что вышел, я уже никак не могу, как не может летающая птица войти в скорлупу того яйца, из которого она вышла. «Тот, кто начнет с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро полюбит свою Церковь или секту более, чем христианство, и кончит тем, что будет любить себя (свое спокойствие) больше всего на свете», – сказал Кольридж.

Я шел обратным путем. Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей Церкви, теперь же люблю истину более всего на свете. И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как я его понимаю. И я исповедую это христианство; и в той мере, в какой исповедую его, спокойно и радостно живу и спокойно и радостно приближаюсь к смерти.

4 апреля 1901 года. Москва

ПИСЬМО СОФЬИ АНДРЕЕВНЫ ТОЛСТОЙ ПЕРВЕНСТВУЮЩЕМУ ЧЛЕНУ СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА МИТРОПОЛИТУ АНТОНИЮ (ВАДКОВСКОМУ)

Ваше Высокопреосвященство!

Прочитав (вчера) в газетах жестокое определение Синода об отлучении от Церкви мужа моего, графа Льва Николаевича Толстого, и увидав в числе подписей пастырей Церкви и вашу подпись, я не могла остаться к этому вполне равнодушна. Горестному негодованию моему нет пределов. И не с точки зрения того, что от этой бумаги погибнет духовно муж мой: это не дело людей, а дело Божье. Жизнь души человеческой, с религиозной точки зрения, никому, кроме Бога, не ведома и, к счастью, не подвластна. Но с точки зрения той церкви, к которой я принадлежу и от которой никогда не отступлю, которая создана Христом для благословения именем Божиим всех значительнейших моментов человеческой жизни: рождений, браков, смертей, горестей и радостей людских... – которая громко должна провозглашать закон любви, всепрощения, любовь к врагам, к ненавидящим нас, молиться за всех, – с этой точки зрения для меня непостижимо распоряжение Синода.

Оно вызовет не сочувствие (разве только «Московских Ведомостей»), а негодование в

людях и большую любовь и сочувствие Льву Николаевичу. Уже мы получаем такие изъяснения, и им не будет конца, со всех концов мира.

Не могу не упомянуть еще о горе, испытанном мною от той бессмыслицы, о которой я слышала раньше, а именно: о секретном распоряжении Синода священникам не отпевать в церкви Льва Николаевича в случае его смерти.

Кого же хотят наказывать? – умершего, не чувствующего уже ничего человека или окружающих его, верующих и близких ему людей? Если это угроза, то кому и чему?

Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду – или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или непорядочного, которого я подкуплю большими деньгами для этой цели? Но мне этого и не нужно. Для меня Церковь есть понятие отвлеченное, и служителями ее я признаю только тех, кто истинно понимает значение Церкви.

Если же признать Церковью людей, дерзающих своей злобой нарушать высший закон любви Христа, то давно бы все мы, истинно верующие и посещающие церковь, ушли бы от нее.

И виновны в грешных отступлениях от Церкви не заблудившиеся, ищущие истины люди, а те, которые гордо признали себя во главе ее и, вместо любви, смирения и всепрощения, стали духовными палачами тех, кого вернее простит Бог за их смиренную, полную отречения от земных благ, любви и помощи людям жизнь, хотя и вне Церкви, чем носящих бриллиантовые митры и звезды, но карающих и отлучающих от Церкви – пастырей ее.

Опровергнуть мои слова лицемерными доводами – легко. Но глубокое понимание истины и настоящих намерений людей – никого не обманет.

26 февраля 1901 года

ОТВЕТ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ (ВАДКОВСКОГО)

Милостивая государыня, графиня София Андреевна!

Не то жестоко, что сделал Синод, объявив об отпадении от Церкви Вашего мужа, а жестоко то, что сам он с собой сделал, отрекшись от веры в Иисуса Христа, Сына Бога Живого, Икупителя и Спасителя нашего. На это-то отречение и следовало давно излиться Вашему горестному негодованию. И не от клочка, конечно, печатной бумаги гибнет муж Ваш, а от того, что отвратился от Источника жизни вечной.

Для христианина не мыслима жизнь без Христа, по словам Которого «верующий в Него имеет жизнь вечную и переходит от смерти в жизнь, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоанн III, 1. 16.36У, 24), и поэтому об отрекающемся от Христа одно только и можно сказать, что он перешел от жизни в смерть. В этом и состоит гибель Вашего мужа, но в этой гибели повинен только он сам один, а не кто-либо другой.

Из верующих во Христа состоит Церковь, к которой вы себя считаете принадлежащей, и – для верующих, для членов своих Церковь эта благословляет именем Божиим все значительнейшие моменты человеческой жизни: рождений, браков, смертей, горестей и радостей людских, но никогда не делает она этого и не может делать для неверующих, для язычников, для хулящих имя Божие, для отрекшихся от нее и не желающих получить от нее ни молитв, ни благословений, и вообще для всех тех, которые не суть члены ее. И потому с точки зрения этой Церкви распоряжение Синода постижимо, понятно и ясно, как Божий день. И закон любви и всепрощения этим ничуть не нарушается. Любовь Божия бесконечна, но и Она прощает не всех и не за все. Хула на Духа Святого не прощается ни в сей, ни в будущей жизни (Мф. XII, 32). Господь всегда ищет человека своею любовью, но человек иногда не хочет идти навстречу этой любви и бежит от Лица Божия, а потому и погибает. Христос молился на кресте за врагов Своих, но и Он в Своей первосвященнической молитве

изрек горькое для любви Его слово, что погиб сын погибельный (Иоанн, XVII, 12). О Вашем муже, пока жив он, нельзя еще сказать, что он погиб, но совершенная правда сказана о нем, что он от Церкви отпал и не состоит ее членом, пока не покается и не воссоединится с нею.

В своем послании, говоря об этом, Синод засвидетельствовал лишь существующий факт, и потому негодовать на него могут только те, которые не разумеют, что творят. Вы получаете выражения сочувствия от всего мира. Не удивляюсь сему, но думаю, что утешаться Вам тут нечем. Есть слава человеческая и есть слава Божия. «Слава человеческая как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал, но слово Господне пребывает вовек» (I Петра 1, 24, 25).

Когда в прошлом году газеты разнесли весть о болезни графа, то для священнослужителей во всей силе встал вопрос: следует ли его, отпавшего от веры и Церкви, удостоивать христианского погребения и молитв? Последовали обращения к Синоду, и он в руководство священнослужителям секретно дал и мог дать только один ответ: не следует, если умрет, не восстановив своего общения с Церковью. Никому тут никакой угрозы нет, и иного ответа быть не могло. И я не думаю, чтобы нашелся какой-нибудь, даже непорядочный, священник, который бы решился совершить над графом христианское погребение, а если бы и совершил, то такое погребение над неверующим было бы преступной профанацией священного обряда. Да и зачем творить насилие над мужем Вашим? Ведь, без сомнения, он сам не желает совершения над ним христианского погребения? Раз Вы – живой человек – хотите считать себя членом Церкви, и она действительно есть союз живых разумных существ во имя Бога живого, то уж падает само собою Ваше заявление, что Церковь для Вас есть понятие отвлеченное. И напрасно Вы упрекаете служителей Церкви в злобе и нарушении высшего закона любви, Христом заповеданной. В синодальном акте нарушения этого закона нет. Это, напротив, есть акт любви, акт призыва мужа Вашего к возврату в Церковь и верующих к молитве о нем.

Пастырей Церкви поставляет Господь, а не сами они гордо, как вы говорите, признали себя во главе ее. Носят они бриллиантовые митры и звезды, но это в их служении совсем не существенное. Оставались они пастырями, одеваясь и в рубище, гонимые и преследуемые, останутся таковыми и всегда, хотя бы и в рубище пришлось им опять одеться, как бы их ни хулили и какими бы презрительными словами ни обзывали.

В заключение прошу прощения, что не сразу Вам ответил. Я ожидал, пока пройдет первый острый порыв Вашего огорчения.

Благослови Вас Господь и храни, и графа – мужа Вашего – помилуй!

1901 года марта 16

Л.Н.ТОЛСТОЙ К ДУХОВЕНСТВУ

I

Кто бы вы ни были: папы, кардиналы, епископы, суперинтенданты, священники, пасторы, каких бы то ни было церковных исповеданий, оставьте на время свою уверенность в том, что вы, именно вы – единые истинные ученики Христа Бога, призванные проповедовать его единое истинное учение, а вспомните о том, что вы, прежде чем быть папами, кардиналами, епископами, суперинтендантами и. т. п., – прежде всего люди, т. е., по вашему же учению, существа, посланные в мир Богом для исполнения Его закона; вспомните это и подумайте о том, что вы делаете. Вся ваша жизнь посвящена тому, чтобы проповедовать, поддерживать и распространять среди людей учение, по вашим словам, открытое вам самим Богом и потому единое, истинное и спасительное.

В чем же состоит это проповедуемое вами единое, истинное и спасительное учение? К

какому бы из так называемых христианских исповеданий – католическому, православному, лютеранскому, англиканскому – вы ни принадлежали, учение ваше признается вами вполне точно выраженным в символе веры, установленном на Никейском соборе 1600 лет тому назад. Положения же этого символа следующие:

Первое: Есть Бог Отец (первое лицо Троицы), сотворивший небо и землю и всех ангелов, живущих на небе.

Второе: Есть единый Сын Бога Отца, не сотворенный, но рожденный (второе лицо Троицы). Через этого сына сотворен мир.

Третье: Сын этот для спасения людей от греха и смерти, которыми они были все наказаны за неповиновение их праотца Адама, сошел на землю, воплотился от Духа Святого и Марии Девы и стал человеком.

Четвертое: Сын этот был распят за грех людей.

Пятое: Он страдал, и был погребен, и воскрес в третий день, как это было предсказано в еврейских книгах.

Шестое: Войдя в небо, Сын этот воссел по правую сторону Отца.

Седьмое: Этот Сын Божий в свое время придет еще раз на землю судить живых и мертвых.

Восьмое: Есть Святой Дух (третье лицо Троицы), который равен Отцу и говорил через пророков.

Девятое (для некоторых, самых распространенных исповеданий): Есть единая, святая, непогрешимая Церковь (или, точнее, единой, святой и непогрешимой признается та Церковь, к которой принадлежит исповедующий). Церковь эта состоит из всех верующих в эту Церковь, живых и умерших.

Десятое (тоже для некоторых, самых распространенных исповеданий): Существует таинство крещения, посредством которого крещаемому сообщается сила Святого Духа.

Одиннадцатое: При втором пришествии Христа души умерших соединятся со своими телами, и тела эти будут бессмертны; – и –

Двенадцатое: После второго пришествия настанет вечная жизнь праведников в раю и вечная жизнь грешников в адских мучениях.

Не говоря о проповедуемых некоторыми из вас в самых распространенных верованиях – католическом и православном – в святых и в благодетельность поклонения телесным остаткам этих святых и их изображениям, так же как изображениям Христа, Богородицы, – в этих 12-ти пунктах состоят основные положения той истины, которая для спасения людей, как вы говорите, открыта вам самим Богом. Некоторые из вас проповедуют эти положения прямо так, как они выражены, другие стараются придать им иносказательный, более или менее согласный с современным знанием и здравым рассудком смысл, но все вы одинаково не можете не признать и признаете эти положения точным выражением той единой истины, которая открыта вам самим Богом и которую вы, для их блага, проповедуете людям.

II

Ну хорошо, вам открыта самим Богом единая спасительная для людей истина, людям свойственно стремиться к истине, и когда она ясно передана им, они всегда с радостью признают ее и руководятся ей.

И потому для сообщения людям вашей истины, открытой самим Богом и спасительной для людей, казалось бы, достаточно просто и ясно, устно и печатно, разумным убеждением передавать эту истину людям, способным принять ее. Как же вы проповедуете свою истину? С тех пор, как образовалось общество, называющее себя Церковью, ваши предшественники преподавали эту истину преимущественно насилием. Они предписывали эту истину и казнили тех, которые не принимали ее. (Миллионы и миллионы людей замучены, убиты, сожжены за то, что не хотели принять ее.)

Средство это, очевидно, не соответствующее своей цели, с течением времени стало

менее и менее употребляться и употребляется теперь из всех христианских стран, кажется, в одной только России.

Другим средством было внешнее воздействие на чувства людей посредством торжественности обстановки, картин, статуй, пения, музыки, драматических представлений и ораторского искусства. С течением времени и это средство стало менее и менее употребляться. В протестантских странах оно, кроме ораторского искусства, большей частью почти не применяется (исключение составляет только Армия спасения, придумавшая еще новые средства внешнего воздействия на чувства).

Но зато все силы духовенства направлены теперь на третье и самое могущественное средство, всегда употреблявшееся и теперь особенно ревниво удерживаемое вами. Средство это есть внушение церковного учения людям в том состоянии, в котором они не могут обсудить того, что им передается.

Находятся же в таком состоянии люди совершенно необразованные, рабочие, не имеющие времени думать, а главное, дети, которые принимают без разбора и навсегда запечатлевают в своей душе то, что им передается.

III

Так что в наше время главное ваше средство передачи людям открытой вам Богом истины состоит в преподавании этой истины необразованным взрослым людям и не рассуждающим и все принимающим детям.

Преподавание это начинается обыкновенно с так называемой священной истории, выбранных мест из Библии, еврейских книг Ветхого Завета, которые, по вашему учению, суть произведения Святого Духа и потому не только несомненно истинны, но и священны. По этой истории ваш ученик составляет себе первое понятие о мире, о жизни людей, о добре и зле, о Боге.

Священная история эта начинается с описания того, как Бог, живший вечно, сотворил 6000 лет тому назад из ничего небо и землю, как потом сотворил зверей, рыб, растения и наконец человека, Адама и его жену, сделанную из ребра Адама. Потом описывается, как, боясь того, чтобы человек с женой не съели яблока, имеющего волшебную силу давать могущество, Он запретил им это; как, несмотря на запрещение, первые люди съели яблоко и были за это выгнаны из рая и как за это же было проклято всё их потомство, и проклята земля, которая с тех пор стала рожать дурные травы. Потом описывается жизнь потомков Адама, которые так развратились, что Бог потопил не только их всех, но и всех зверей, и оставил в живых только одного Ноя с семейством и с взятыми в ковчег зверями.

Описывается потом, как из всех людей Бог избрал одного Авраама и заключил с ним условие, по которому Авраам должен почитать Бога за Бога и в знак этого совершить обрезание. Бог же обязуется дать за это Аврааму большое потомство, покровительствовать ему и всему потомству. Потом описывается, как Бог, покровительствуя Аврааму и его потомкам, совершает в пользу его и его потомства самые неестественные дела, называемые чудесами, и самые страшные жестокости. Так что вся история эта, за исключением наивных, как посещение Авраама Богом с двумя ангелами, женитьба Исаака, и других, иногда невинных, часто же безнравственных сказок, как мошенничество любимого Богом Якова, жестокости Самсона, хитрости Иосифа, – вся история эта, начиная от казней, посланных Моисеем на египтян, и убийства ангелом всех первенцев их, до огня, попавшего 250 заговорщиков, и провалившихся под землю Корея, Дафана и Авирона, и гибели в несколько минут 14 000 человек, и до распиливаемых пилами врагов, и казненных Ильей, улетевшим на небо, не согласных с ним жрецов, и Елисея, проклявшего смеявшихся над ним мальчиков, разорванных и съеденных за это двумя медведицами, – вся история эта есть ряд чудесных событий и страшных злодеяний, совершаемых еврейским народом, его предводителями и самим Богом.

Но этим не ограничивается ваше преподавание истории, которую вы называете

священной. Кроме истории Ветхого Завета, вы передаете еще детям и темным людям историю Нового Завета в таком толковании, при котором главное значение Нового Завета заключается не в нравственном учении, не в Нагорной проповеди, но в согласовании Евангелия с историей Ветхого Завета, в исполнении пророчеств и в чудесах: хождение звезды, пение с неба, разговор с дьяволом, превращение воды в вино, хождение по воде, исцеления, воскрешения людей и, наконец, воскрешение самого Христа и улетание Его на небо.

Если бы вся эта история и Ветхого, и Нового Завета передавалась как сказка, то иногда едва ли какой-либо воспитатель решился бы рассказать ее детям или взрослым людям, которых он желал бы просветить. Сказка же эта передается неспособным рассуждать людям как самое достоверное описание мира и его законов, как самое верное сведение о жизни прежде живших людей, о том, что должно считаться хорошим и дурным, о существе и свойствах Бога и об обязанностях человека.

Говорят о вредных книгах. Но есть ли в христианском мире книга, наделавшая больше вреда людям, чем это ужасная книга, называемая «священной историей» Ветхого и Нового Завета? А через преподавание этой священной истории проходят в своем детском возрасте все люди христианского мира, и эта же история преподается взрослым темным людям как первое, необходимое, основное знание, как единая, вечная божеская истина.

IV

В живой организм нельзя вложить чуждое ему вещество без того, чтобы организм этот не пострадал от усилий освободиться от вложенного в него чуждого вещества и иногда не погибал бы в этих усилиях. Какой же страшный вред должны производить в уме человека чуждые и современному знанию, и здравому смыслу, и нравственному чувству положения учения по Ветхому и Новому Завету, внушаемые ему в то время, когда он не может обсудить, а между тем воспринимает то, что ему передается.

Для человека, в уме которого вложено, как священная истина, верование в сотворение из ничего мира 6000 лет тому назад, в потоп и ковчег Ноя, вместивший всех зверей, в Троицу, в грехопадение Адама, в непорочное зачатие, в чудеса Христа и в искупительную для людей жертву Его смерти, – для такого человека требования разума уже не обязательны, и такой человек не может быть уверенным ни в какой истине. Если возможна Троица, непорочное зачатие, искупление рода человеческого кровью Христа, то всё возможно, и требования не обязательны.

Забейте клин между половицами закрома. Сколько бы мы ни сыпали в такой закром зерна, оно не удержится. Точно так и в голове, в которую вбит клин Троицы или Бога, сделавшегося человеком и своим страданием искупившего род человеческий и потом опять улетевшего на небо, не может уже воздержаться никакое разумное, твердое убеждение.

Что ни сыпь в закром с целью в полу, всё высыпается. Что ни вкладывай в ум, принявший за веру бессмысленное, – ничто не удержится в нем.

Такой человек, если он дорожит своими верованиями, неизбежно будет всю жизнь или остерегаться, как чего-то зловредного, всего того, что могло бы просветить его и разрушить его верования; или, уже раз навсегда признав (в чем всегда поощряют проповедники церковного учения), что разум есть источник заблуждения, – откажется от единственного света, который дан человеку для нахождения пути жизни; или, самое ужасное, – будет хитрыми рассуждениями стараться доказать разумность неразумного или, что хуже всего, отбросить не только те верования, которые внушены ему, но и сознание необходимости какой-либо веры.

Во всех трех случаях человек, которому в детстве внушены бессмысленные и противоречивые положения как религиозные истины, если он с большими усилиями и страданиями не освободится от них, есть человек умственно больной. Такой человек, видя вокруг себя явления постоянно движущейся жизни, не может уже не смотреть с отчаянием

на это движение, разрушающее его мирозерцание, не может не испытывать явленного или скрытого недоброжелательства к людям, содействующим этому разумному движению, не может не быть сознательным поборником мрака и лжи против света и истины.

Таково и есть в действительности большинство людей христианского человечества, с детства лишенное посредством внушения бессмысленных верований способности ясного и твердого мышления.

V

Таков вред для умственной деятельности человека, производимый внушением церковного учения. Но еще во много раз более вредно то нравственное извращение, которое производит в душе человека такое внушение. Всякий человек приходит в мир со знанием своей зависимости от таинственного, всемогущего начала, давшего ему жизнь, с сознанием своего равенства со всеми людьми и равенства всех людей между собою, с желанием любви к себе и от себя к людям и с потребностью совершенствованию, – и что же вы внушаете ему?

Вместо таинственного начала, о котором он мыслил с благоговением, вы рассказываете ему про сердящегося, несправедливого, казнящего, мучающего людей Бога.

Вместо того равенства всех людей, которое и ребенок, и неученый человек чувствует всем существом своим, вы говорите ему, что не только люди, но народы не равны, и одни не любимы, а другие любимы Богом, люди же одни призваны Богом властвовать, другие – подчиняться.

Вместо той любви от других к себе и от себя к другим, которая составляет самое сильное желание души всякого неиспорченного человека, вы внушаете ему, что отношения людей могут быть основаны только на насилии, на угрозах, на казнях, говорите ему, что убийства по суду и на войне совершаются не только с разрешения, но по велению Бога.

Вместо потребности совершенствования вы говорите, что спасение его в вере в искупление, а что совершенствование своими силами, без помощи молитв, таинств и веры в искупление есть грех гордости, а что для спасения своего человек должен верить не своему разуму, а велениям Церкви, и исполнять то, что она предписывает.

Страшно подумать о том извращении понятий и чувств, которое оставляет в душе ребенка и взрослого темного человека такое учение.

VI

Только подумать о том, что у меня на глазах делалось и делается в России во время моей 60-летней сознательной жизни.

В академиях и в среде архиереев, ученых монахов, миссионеров идут хитроумные рассуждения о сложных богословских вопросах, говорят о согласовании нравственного и догматического учения, спорят о развитии или неподвижности догмата и тому подобных и разных религиозных тонкостях. Стомиллионной же массе проповедуется одно: вера в иконы казанские, иверские, в мощи, в чертей, в спасительность вынимания частиц, становление свечей, поминания и т. п., и не только проповедуется и практикуется, но с особенной ревностью ограждается ненарушимость этой веры в народе от всякого на нее посягательства.

Стоит только крестьянину не праздновать престол, не пригласить к себе обходящую двory чудодейственную икону, не оставить работу в Ильинскую пятницу, – и на него доносы, его преследуют, ссылают. Не говоря уже о сектантах, не исполняющих обрядов: их судят за то, что они, собираясь, читают Евангелие, и наказывают за это. И результат такой деятельности тот, что десятки миллионов людей, почти все женщины из народа не то что не знают, а не слышали даже о том, что был Христос и кто Он такой. Трудно поверить этому, а между тем это факт, который каждый может проверить.

Послушайте, что говорят архиереи, академики в своих собраниях, прочитайте их журналы, и вы подумаете, что русское духовенство проповедует, хотя и отсталую, но

все-таки христианскую веру, в которой евангельские истины все-таки имеют место и сообщаются народу; посмотрите на деятельность духовенства в народе, и вы увидите, что проповедуется и усиленно внедряется одно идолопоклонство: поднятие икон, водосвятия, ношение по домам чудотворных икон, прославление мощей, ношение крестов и т. п.; всякая же попытка понимания христианства в его настоящем смысле усиленно преследуется. На моей памяти рабочий русский народ потерял в большей степени черты истинного христианства, которые прежде жили в нем и которые старательно изгоняются теперь духовенством.

В народе жили прежде (теперь остались только в глуши) христианские легенды, поговорки, изустно передаваемые из поколения к поколению, и эти легенды, как легенда о Христе, ходившем в виде нищего, об ангеле, усумнившемся в милосердии Бога, о юродивом, плясавшем у кабака, и поговорки, как “без Бога не до порога”, “не в силе Бог, а в правде”, “жить до вечера и до века” и т. п. легенды, поговорки составляли духовную пищу народа.

Кроме того, были обычаи христианские: пожалеть преступника, странника, подать из последнего нищему, просить прощения у обиженного.

Все это теперь забывается и оставляется. Все это заменяется теперь выучиванием наизусть катехизиса, троичного состава Бога, молитвы перед учением и за наставников, и за царя и т. п., так что на моей памяти народ становится все религиозно грубее и грубее.

Одна часть, большая часть, женщины, остаются так же суеверны, как они были 600 лет тому назад, только без того христианского духа, который прежде проникал в жизнь; другая часть, знающая наизусть катехизис, – совершенные атеисты. И всё это сознательно производится духовенством.

«Но так это у вас в России», – скажут на это европейские люди – католики, протестанты. Думаю, что то же самое, если не худшее, происходит в католичестве, с его запрещением чтения Евангелия, с его нотр-дамами, и в протестантстве с его святою праздностью дня субботного и библиолатрией, т. е. слепой верой в букву Библии. Думаю, что в той или другой форме то же и во всем квазихристианском мире.

Довольно вспомнить в доказательство этого о продолжающемся веками мошенничестве зажигаемого в Иерусалиме огня в день воскресенья, которое никто из церковных людей не опровергает, и о вере в искупление, с особенной энергией проповедуемой самыми последними формами христианского протестантства.

VII

Но мало того что церковное учение вредно своей неразумностью и безнравственностью, оно особенно вредно тем, что люди, исповедующие это учение, живя без всяких сдерживающих их нравственных требований, совершенно уверены в том, что они живут настоящей христианской жизнью.

Люди живут в безумной роскоши, составляя свое богатство из трудов униженных бедных и ограждая себя и свое богатство стражей, судами, казнями, – и духовенство во имя Христа одобряет, освящает, благословляет такую жизнь, советуя богатым только уделять малую часть награбленного тем, у кого они не переставая грабят. (Когда было рабство, духовенство всегда и везде оправдывало его, не считая его не согласным с христианством.)

Люди силою оружия, убийства стремятся к достижению своих личных и общественных, корыстных целей, и духовенство одобряет, благословляет во имя Христа военные приготовления и войны, не только одобряет, но часто поощряет их, находя, что войны, т. е. убийства, не противны христианству.

Люди, поверившие в это учение, не только вовлечены этим учением в дурную жизнь, но и вполне уверены, что их жизнь хорошая и им не нужно изменять ее.

Но и этого мало: главное зло этого учения состоит в том, что оно так искусно переплетено с внешними формами христианства, что, исповедуя его, люди думают, что ваше учение есть единое истинное христианство и другого нет никакого. Вы не то что отвели от

людей источник живой воды – если бы это было, люди все-таки могли бы найти его, – но вы отравили его своим учением, так что люди не могут принять иного христианства, как то, которое отравлено вашим толкованием его.

Христианство, проповедуемое вами, есть прививка ложного христианства, как прививка оспы или дифтерита, делающая того, кому она прививается, уже неспособным принять истинное христианство.

Люди, многими поколениями установившие свою жизнь на началах, противных истинному христианству, вполне уверенные, что они живут христианской жизнью, не могут уже вернуться к истинному христианству.

VIII

Так это для людей, исповедующих ваше учение, но кроме этих людей есть еще и освободившиеся от него, так называемые неверующие.

Люди эти – хотя в большинстве случаев и ведут жизнь более нравственную, чем люди, исповедующие церковное учение, – вследствие той душевной порчи, которой они подверглись в своем детстве, так же, как и все несчастные люди христианских обществ, в церковном обмане, до такой степени соединили в своем сознании церковное учение с христианским, что не могут отделить одно от другого и, откидывая ложное церковное учение, откидывают вместе с ним и то истинное христианское учение, которое оно скрывало.

Люди эти, возненавидя тот обман, от которого они так много пострадали, проповедуют не только бесполезность, но зловерность христианства и всякой религии.

Религия, по их понятиям, есть остаток суеверия, когда-то бывшего нужным людям, а теперь только вредного им. И потому, по их учению, чем скорее и полнее люди освободятся от всякого религиозного сознания, тем это будет лучше для них.

И, проповедуя такое освобождение от всякой религии, люди эти, наиболее образованные и ученые и потому пользующиеся наибольшим авторитетом среди людей, ищущих истину, делаются самыми вредными проповедниками нравственной распущенности.

Внушая людям, что то самое важное, духовное свойство разумных существ – установление своего отношения к началу всего, – из которого только и могут быть выведены твердые нравственные законы, есть пережитое людьми состояние, отрицатели религии невольно ставят себе в основу человеческой деятельности одно себялюбие и вытекающие из него плотские вожделения.

Среди этих-то людей и возникло то, прежде робко проявлявшееся, хотя и всегда скрытое, латентно присущее в мировоззрении материалистов учение эгоизма, зла и ненависти, которое в последнее время так ярко и сознательно выразилось в учении Ницше и так быстро распространяется, вызывая самые грубые животные и жестокие инстинкты в людях.

Так что, с одной стороны, так называемые верующие находят полное одобрение своей дурной жизни в вашем учении, признающем согласными с христианством все самые противные ему поступки и состояния; с другой стороны, люди неверующие, вследствие вашего учения, придя к отрицанию всякой религии, стирают всякое различие между добром и злом, проповедуют учение неравенства людей, эгоизма, борьбы и подавления слабых сильными как высшую доступную человеку истину.

IX

Вы, и никто другой, как вы, вашим учением, насильственно внушаемым людям, причиняете то страшное зло, от которого они так жестоко страдают.

Ужаснее же всего при этом то, что, производя такое зло, вы не верите в то учение, которое вы проповедуете, не верите не только во все те положения, из которых оно состоит, но часто не верите ни в одно из них.

Я знаю, что, повторяя знаменитое “credo quia absurdum” (верю, потому что нелепо), многие из вас думают, что, несмотря ни на что, они все-таки верят во все то, что проповедуют. Но то, что вы скажете, что верите, что Бог есть Троица, или что разверзлись небеса и глас Божий заговорил оттуда, или что Христос вознесся на небеса и сойдет с небес судить воскресших в своих телах всех людей, никак не доказывает того, чтобы вы верили в то, что было или что будет то, что вы говорите, вы верите, что надо говорить, что вы верите в это, но не верите, что было то, что вы говорите. Не верите вы, потому что утверждение, что Бог один и три, что Христос улетел на небо и придет оттуда судить воскресших, не имеет для вас никакого смысла. Можно произносить слова, не имеющие смысла, но нельзя верить в то, что не имеет смысла. Можно верить в то, что души умерших перейдут в другие формы жизни, перейдут в животных, или в то, что уничтожение страстей или любовь есть назначение человека, можно и верить просто в то, что Бог не велел убивать людей или даже что есть такую-то или иную пищу, и многому другому, не представляющему в себе внутреннего противоречия; но нельзя верить в то, что Бог в одно и то же время и один, и три, что разверзлись небеса, которых для нас уже нет, и т. п.

Прежние люди, установившие эти догматы, могли верить в них, но вы уже не можете. Если вы говорите, что верите в это, то вы говорите это только потому, что вы употребляете слово «вера» в одном значении, а приписываете ему другое. Одно значение слова «вера» есть установленное человеком такое отношение к Богу и миру, которое определяет смысл всей его жизни и руководит всеми его сознательными поступками. Другое же значение слова «вера» есть доверие тому, что передает известное лицо или лица.

В первом значении предмет веры, несмотря на то что определение отношения человека к Богу и миру большей частью берется уже установленное прежде жившими людьми, проверяется и воспринимается разумом.

Во втором же значении предмет веры не только принимается независимо от участия разума, но при непременно условии неупотребления разума для проверки переданного.

Но этом-то двояком значении слова «вера» и основывается то недоразумение, по которому люди говорят, что верят в положения, не имеющие смысла или заключающие в себе внутренние противоречия. И потому то, что вы слепо доверяете своим учителям, никак не доказывает того, что вы верите в то, что, не имея смысла и потому не представляя никакого значения ни для вашего воображения, ни для вашего разума, не может быть предметом веры.

Известный проповедник P  re Didon в предисловиях к своей “Vie de Jesus” заявляет, что он верит не как-либо иносказательно, а прямо, без объяснений, что Христос, воскресши, вознесся на небо и сидит одесную Отца. Знакомый же мне безграмотный самарский мужик, как мне рассказывал его духовник, на вопрос о том, верит ли он в Бога, прямо и решительно отвечал: грешен, не верю. Неверие свое в Бога мужик объяснил тем, что он не жил бы так, как живет, если бы верил в Бога: и изругаешься, и нищему пожалеешь, и завидуешь, и объедаешься, опиваешься – разве так стал бы делать, если бы верил в Бога.

P  re Didon утверждает, что он верит в Бога и в вознесение Христа, самарский же мужик говорит, что не верит в Бога, потому что не исполняет его веления.

Ясно, что P  re Didon даже не знает того, что такое вера, и только говорит, что он верит; самарский же мужик знает, что такое вера, и, хотя и говорит, что не верит в Бога, истинно верит в Него в том самом смысле, который составляет истинную веру.

Х

Но я знаю, что доводы, обращенные к уму, не убеждают, – убеждает только чувство, и потому, оставляя доводы, обращаюсь к вам, кто бы вы ни были: папы, епископы, архиереи, священники и др., – к вашему чувству, к вашей совести.

Ведь вы знаете, что неправда то, чему вы учите о сотворении мира, о боговдохновенности Библии и многое другое, так как же вы решаетесь учить этому

маленьких детей и взрослых необразованных людей, ждущих от вас истинного просвещения?

Положа руку на сердце, спросите себя, верите ли вы в то, что проповедуете? Если вы действительно, не перед людьми, а перед Богом, памятуя о своем смертном часе, спросите себя об этом, вы не можете не ответить себе, что нет, не верите. Не верите вы в боговдохновенность всего того писания, которое вы называете священным, не верите во все ужасы и чудеса Ветхого Завета, не верите в ад, не верите в беспорочное зачатие, в воскресенье, в вознесенье Христа, не верите в воскресенье мертвых, в троичность Бога, не верите не только во все члены того символа, который выражает сущность вашей веры, но часто не верите ни в один из них.

Неверие, хотя бы в один из догматов, включает в себя неверие в непогрешимость Церкви, установившей тот догмат, в который вы не верите. А если не верите в Церковь, то не верите ни в один из догматов, установленных ею.

Если же вы не верите, если хоть даже сомневаетесь, то подумайте о том, что вы делаете, проповедуя как Божескую, несомненную истину то, во что вы не верите, и проповедуя ее теми непрямыми, исключительными способами, которыми вы ее проповедуете. И не говорите, что вы не можете взять на себя ответственность за лишение людей тесного единения с большим или малым числом ваших единоверцев. Это несправедливо. Внушая им свою исключительную веру, вы делаете именно то, чего не хотите делать: лишаете людей единения со всем человечеством, заключаете их в узкие рамки одного своего исповедания, невольно и неизбежно ставя их этим если не во враждебное, то во всяком случае в отчужденное положение по отношению ко всем другим людям.

Я знаю, что вы не сознательно делаете это ужасное дело; знаю, что вы сами большей частью запутаны, обмануты, загипнотизированы, часто поставлены в такие условия, при которых для вас признать истину — значит осудить всю свою предшествующую деятельность, иногда многих десятилетий; знаю я, как трудно именно вам, с вашим воспитанием, в особенности с общей всем вам уверенностью в том, что вы непогрешимые наследники Христа Бога, перейти к трезвой действительности и признать себя заблудившимися грешниками, делающими одно из самых гадких дел, которое только может делать человек.

Знаю всю трудность вашего положения; но, вспоминая слова признаваемого вами Божественным Евангелием о том, что Богу приятнее один покающийся грешник, чем сотни праведников, думаю, что каждому из вас, какое бы он ни занимал положение, все-таки легче покаяться и перестать участвовать в том деле, которое вы делаете, чем, не веря, продолжать делать его.

Кто бы вы ни были: папы, кардиналы, митрополиты, архиереи, епископы, суперинтенданты, священники, пасторы, — подумайте об этом.

Если вы принадлежите к тем духовным лицам, каковых в наше время, к несчастью, очень много и становится всё больше и больше, которые ясно видят всю отсталость, неразумность и безнравственность церковного учения и, не веря в него, продолжают для своих личных видов — священнических, епископских окладов — проповедовать его, то не утешайтесь мыслью, что ваша деятельность оправдывается тем, что она может быть полезна толпе, народу, не понимающему еще того, что вы понимаете.

Ложь никому не может быть полезна. То, что вы знаете, что ложь есть ложь, знал бы точно так же и был бы свободен от нее тот человек из народа, которому вы внушили и внушаете ее. Мало того, что без вас он был бы свободен от лжи, он нашел бы ту истину, которая открыта ему Христом и которую вы своим учением скрываете от него, становясь между ним и Богом. То, что вы делаете, вы делаете не для пользы людей, а только ради своих честолюбивых, корыстных целей.

А потому, как бы величественны ни были те дворцы, в которых вы живете, и церкви, в которых вы служите и проповедуете, и те облачения, которыми вы себя украшаете, дело ваше от этого не становится лучше. Что велико перед людьми, то мерзость перед Богом.

Так это для тех, которые не верят и продолжают проповедовать ложь и поддерживать в ней людей. Но есть еще среди вас такие, и число их становится тоже все больше и больше, которые, хотя и видят несостоятельность в наше время положений церковной веры, не могут решиться критически обсудить ее.

Вера это так сильно была внушена им в детстве, так сильно поддерживалась в них окружающей средой и влиянием толпы, что они, даже и не пытаясь освободиться от нее, все силы своего ума и образования употребляют на то, чтобы хитроумными иносказаниями и ложными и запутанными рассуждениями оправдать все несообразности и противоречия исповедуемого ими учения.

Если вы принадлежите к этому разряду хотя и менее преступных, но зато еще более вредных, чем первые, духовных лиц, не думайте, чтобы ваши рассуждения успокоили вашу совесть и оправдали вас перед Богом. Вы в глубине души не можете не знать, что все, что бы вы ни придумывали и ни выдумывали, не может сделать того, чтобы безнравственные рассказы священной истории, ставшие в противоречие со знанием и пониманием людей, и положения Никейского символа стали нравственными, разумными, ясными и согласными с современным знанием и здравым смыслом.

Вы знаете, что убедить в истинности своей веры своими рассуждениями вы никого не можете, что ни один свежий, взрослый образованный человек, не воспитанный в детстве в вашей вере, не только не поверит вам, но или засмеется, или примет вас за душевнобольного, услышав ваши рассказы о начале мира, истории первых людей и грехе Адама и искуплении от него людей смертью сына Бога.

Единственное, что вы можете сделать своими мнимо-учеными рассуждениями, это то, чтобы на время, в особенности пользуясь своим авторитетом, удержать в гипнотическом подчинении ложной вере тех, которые просыпаются от ее внушения и готовятся освободиться от нее.

Вы это и делаете. И это очень дурное дело. Вместо того чтобы употреблять свои умственные силы на то, чтобы освобождать себя и других людей от того обмана, в котором вы вместе с другими находитесь и от которого страдаете и вы, и они, вы употребляете эти силы на то, чтобы запутывать еще больше себя и других людей.

Вам, духовным лицам этого разряда, нужно, не запутывая себя и других неясными, сложными рассуждениями, не стараться показать, что истина – то самое, что вы считаете истиной, а напротив, сделав усилие над собой, постараться узнать всю доступную вам истину и на основании этой истины проверить то, что по вашим верованиям принималось вами за истину.

И стоит вам только искренно поставить себе эту задачу, и вы тотчас же очнетесь от того гипноза, в котором находились, и вам ясно станет то ужасное заблуждение, в котором вы до сих пор находились.

Так это для второго, и в наше время очень большого разряда, умствующих, наиболее вредных духовных лиц.

Но есть еще самый распространенный, третий разряд простодушных духовных лиц, которые никогда не усумнились в истине той веры, которую они исповедуют и проповедуют.

Люди эти никогда не думали о значении и смысле тех положений, которые переданы им с детства, как священная Божеская истина, или если и думали, то так не привыкли самостоятельно мыслить, что не видят заключающихся в них несообразностей и противоречий, или, хотя и видят их, до такой степени подавлены авторитетом церковного предания, что не смеют думать об этом иначе, чем так, как верили прежде жившие и теперешние церковники. Люди эти успокаиваются обыкновенно мыслью, что церковное учение, вероятно, удовлетворительно объясняет кажущиеся им только по недостаточному богословскому образованию несообразности.

Если вы принадлежите к этому разряду людей, искренно и наивно верующих или еще не верующих, но готовых поверить и не видящих к этому препятствий, кто бы вы ни были: уже действующие духовные лица или еще готовящиеся к духовному званию молодые

люди, – остановитесь на время в своей деятельности или в своем приготовлении к этой деятельности и подумайте о том, что вы делаете или собираетесь делать.

Вы проповедуете или собираетесь проповедовать людям такое учение, которое определит для них смысл их жизни, определит цель ее, укажет признаки добра и зла и даст направление всей их деятельности. И проповедуете вы это учение не как всякое людское учение, несовершенное и могущее быть обсуживаемым, а как учение, открытое самим Богом и потому не подлежащее обсуждению; и проповедуете вы его не в книге или простой беседе, а непременно или детям в том возрасте, когда они не могут понимать значение всего того, что им передается, а между тем всё, передаваемое им, неизгладимо запечатлевается в их сознании, – или взрослым необразованным людям, не имеющим возможности обсудить того, что вы им преподаете.

В этом вся ваша деятельность, и к этой деятельности вы готовитесь.

А что, как то, что вы проповедуете или собираетесь проповедовать, неправда?

Неужели нельзя или не надо подумать об этом? А если вы подумаете об этом и сравните это учение с другими учениями, считающимися точно так же едиными, истинными, сравните его с вашими знаниями, с здравым смыслом, одним словом, без слепого доверия, а свободно обсудите его, то вы не можете не увидеть, что то, что выдается вами за священную истину, не только не есть священная истина, а есть только отсталое суеверное учение, которое, так же как и другие подобные учения, поддерживается и проповедуется людьми никак не для блага своих братьев, а для каких-то других целей. А как скоро вы поймете это, так все те из вас, которые серьезно смотрят на жизнь и прислушиваются к голосу своей совести, не будут уже в состоянии продолжать проповедовать это учение или готовиться к этому.

XI

– Но что будет с людьми, если они перестанут верить в церковное учение? И не будет ли от этого хуже? – слышу я обычное возражение.

– Что будет, если люди христианского мира перестанут верить в церковное учение?

Будет то, что людям христианского мира будут доступны, открыты не одни еврейские легенды, но религиозная мудрость всего мира. Будет то, что люди будут вырастать и развиваться с неизвращенными понятиями и чувствами. Будет то, что, откинув принятое по доверию учение, люди установят разумное и соответствующее их знаниям свое отношение к Богу и признают вытекающие из такого отношения нравственные обязанности.

– Не будет ли от этого хуже людям? – Если церковное учение не истина, то как же может быть хуже людям от того, что им не будет проповедоваться ложь как истина, да еще теми непрямыми способами, которые для этого употребляются.

Но люди народа грубы и необразованны, и то, что не нужно нам, образованным людям, – говорят еще, – может быть полезно и даже необходимо грубому народу.

Если все люди равны, то все и идут одним и тем же путем от мрака к свету, от невежества к знанию, от лжи к истине. Вы шли этим путем и пришли к сознанию неистинности той веры, в которой вы были воспитаны. По какому же праву вы хотите остановить других людей в таком же движении?

Вы говорите, что, хотя вам и не нужна уже эта пища, она нужна массам. Но ни один разумный человек не возьмет на себя определить телесную пищу других людей, как же решить и кто это может решить, какая духовная пища нужна массам, народу?

То же, что вы видите в народе потребность этого учения, никак не доказывает того, чтобы нужно было удовлетворять ей. Есть потребность к вину, табаку и еще другие, худшие потребности. Главное же то, что вы самыми сложными приемами гипнотизма возбуждаете ту потребность, существованием которой вы хотите оправдать свою деятельность. Только перестаньте возбуждать эту потребность, и ее не будет, потому что как у вас, так и у всех людей не может быть потребности ко лжи, а все люди всегда шли и идут от мрака к свету, и вам, стоящим ближе к свету, надо стараться сделать его доступным другим, а не заслонять

его.

– Но не будет ли хуже от того, что мы, люди образованные, нравственные, желающие добра народу, вследствие возникших в нашей душе сомнений, оставим нашу деятельность, и места наши займут грубые, безнравственные люди, равнодушные к народному благу? – слышу я последнее возражение.

Несомненно, что выход лучших людей из духовного сословия сделает то, что церковная деятельность, находясь в грубых, безнравственных руках, будет всё более разлагаться, обличая свою лживость и зловерность. Но от этого не будет хуже, потому что разложение церковной деятельности, совершающееся и теперь, есть одно из средств освобождения народа от того обмана, в котором он находится. И потому чем скорее это освобождение совершится через выход из духовного сословия просвещенных, добрых людей, тем это лучше.

Так что, с какой бы стороны вы ни смотрели на свою деятельность, деятельность эта – всегда вредная, и потому все те из вас, которые боятся Бога и не заглушили своей совести, не могут сделать ничего другого, как употребить все свои силы на то, чтобы освободиться от того ложного положения, в котором вы находитесь.

Знаю, что многие из вас связаны семьями или зависят от родителей, требующих от вас продолжения начатой деятельности; знаю, как трудно отказаться от почетного положения, от богатства или хотя от обеспечения себя и семьи средствами для продолжения привычной жизни и как больно идти против любящих семейных. Но все лучше, чем делать дело, губительное для своей души и вредное людям.

И чем скорее и решительнее вы покаетесь в своем грехе и прекратите свою деятельность, тем это лучше будет не только для людей, но и для вас самих.

Вот это-то я и хотел, находясь теперь на краю гроба и ясно видя главный источник бедствий людей, сказать вам, и сказать не для того, чтобы обличать и осуждать вас (я знаю, как незаметно вы сами были вовлечены в тот соблазн, который сделал вас тем, что вы есть), но для того, чтобы содействовать избавлению людей от того страшного зла, которое производит проповедь вашего учения, скрывающего истину, и вместе с тем помочь и вам проснуться от того гипноза, в котором вы находитесь, часто не понимая всей преступности своей деятельности.

И помощи вам в этом Бог, который видит сердца ваши.

*Ясная Поляна.
1 ноября 1902 года*

ОТВЕТ О. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО НА ОБРАЩЕНИЕ ГР. Л.Н.ТОЛСТОГО К ДУХОВЕНСТВУ

Русские люди!

Хочу я вам показать безбожную личность Льва Толстого по последнему его сочинению, изданному за границей, озаглавленному «Обращение к духовенству», т. е. вообще к православному, католическому, протестантскому и англиканскому, что видно из самого начала его сочинения. Не удивляйтесь моему намерению: странно было бы, если бы я, прочитав это сочинение, не захотел сказать своего слова в защиту веры христианской, которую он так злобно, несправедливо поносит вместе с духовенством всех христианских вероисповеданий. В настоящее время необходимо сказать это слово и представить наглядно эту безбожную личность, потому что весьма многие не знают ужасного богохульства Толстого, а знают его лишь как талантливого писателя по прежним его сочинениям: «Война и мир», «Анна Каренина» и пр. Толстой извратил свою нравственную личность до уродливости, до омерзения. Я не преувеличиваю. У меня в руках это сочинение, и вот вкратце его содержание.

* * *

С привычною развязностью писателя, с крайним самообольщением и высоко поднятою головою Лев Толстой обращается к духовенству всех вероисповеданий и ставит его пред своим судейским трибуналом, представляя себя их судьей. Тут сейчас же узнаешь Толстого, как по когтям льва (*ex ungue Leonem*). Но в чем же он обличает пастырей христианских Церквей и за что осуждает? В том, что представители этих христианских исповеданий принимают как выражение точной христианской истины Никейский Символ веры, которого Толстой не признает и в который не верит, как несогласный с его безбожием.

Потом обличает пастырей в том, что предшественники их преподавали эту истину преимущественно насилием (наоборот, христиан всячески гнали и насиловали язычники и иудеи, откуда и явилось множество мучеников), и даже предписывали эту истину (канцелярский слог), и казнили тех, которые не принимали ее (никогда не бывало этого с православным духовенством). Далее Толстой в скобках пишет: миллионы и миллионы людей замучены, убиты, сожжены за то, что не хотели принять ее (попутно достается и православному духовенству). В словах Толстого очевидны явная клевета и совершенное незнание истории христианской Церкви.

Слушайте дальше фальшивое словоизвержение его: средство это (т. е. принуждение к принятию христианской веры пытками) с течением времени стало менее и менее употребляться и употребляется теперь из всех христианских стран (кажется!) в одной только России.

Поднялась же рука Толстого написать такую гнусную клевету на Россию, на ее правительство!.. Да если бы это была правда, тогда Лев Толстой давно бы был казнен или повешен за свое безбожие, за хулу на Бога, на Церковь, за свои злонамеренные писания, за соблазн десятков тысяч русского юношества, за десятки тысяч духовоборов, им соvrащенных, обманутых, загубленных. Между тем Толстой живет барином в своей Ясной Поляне и гуляет на полной свободе.

Далее Толстой нападает на духовенство. Знаете ли, за что? За то, что оно внушает церковное учение людям в том состоянии, в котором они не могут (будто бы) обсудить того, что им передается; тут он понимает совершенство необразованных рабочих, не имеющих времени думать (а на что праздники и обстоятельные внебогослужебные изъяснительные беседы пастырей?), и, главное, детей, которые принимают без разбора и навсегда запечатлевают в своей памяти то, что им передается. Как будто дети не должны принимать на веру слово истины.

Слушайте, слушайте, православные, что заповедует духовенству всех стран русский Лев: он пресерьезно и самоуверенно утверждает, что необразованных, особенно рабочих и детей, не должно учить вере в Бога, в Церковь, в Таинства, в Воскресение, в будущую жизнь, не должно учить молиться, ибо всё это, по Толстому, есть нелепость и потому, что они не могут обсудить того, что им преподается, как будто у них нет смысла и восприимчивости, между тем как Господь из уст младенцев и сущих совершает хвалу Своему величию и благодати; утаивает от премудрых и разумных Свою премудрость и открывает ее младенцам (Мф. 11:25), и от гордеца Толстого утаил Свою премудрость и открыл ее простым неученым людям, каковы были апостолы и каковы и нынешние простые и неученые или малоученые люди, да не похвалится никакая плоть, никакой человек пред Богом (1 Кор. 1:29).

Толстой хочет обратить в дикарей и безбожников всех: и детей, и простой народ, ибо и сам сделался совершенным дикарем относительно веры и Церкви по своему невоспитанию с юности в вере и благочестии. Думаю, что если бы Толстому с юности настоящим образом вложено было в ум и в сердце христианское учение, которое внушается всем с самого раннего возраста, то из него не вышел бы такой дерзкий, отъявленный безбожник, подобный Иуде предателю. Невоспитанность Толстого с юности и его рассеянная, праздная с похождениями жизнь в лета юности, как это видно из собственного его описания своей

жизни, были главной причиной его радикального безбожия; знакомство с западными безбожниками еще более помогло ему стать на этот страшный путь, а отлучение его от Церкви Святейшим Синодом озлобило его до крайней степени, оскорбив его графское писательское самолюбие, помрачив ему мирскую славу. Отсюда проистекла его беззастенчивая, наивная, злая клевета на всё вообще духовенство и на веру христианскую, на Церковь, на всё священное богодухновенное Писание.

Своими богохульными сочинениями Толстой хочет не менее, если еще не более, как апокалипсический дракон, отторгнуть третью часть звезд небесных, т. е. целую треть христиан, особенно интеллигентных людей и часть простого народа. О, если бы он верил слову Спасителя, Который говорит в Евангелии: *Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской* (Мф. 18:6).

* * *

Пойдем дальше в глубину толстовской мнимой мудрости. Горе, сказано в Писании, тем, которые мудры в самих себе и пред собою разумны. Толстой считает себя мудрее и правдивее всех, даже священных писателей, умудренных Духом Святым, Св. Писание признает за сказку и поносит духовенство всех исповеданий христианских за преподавание Священной истории Ветхого и Нового Завета, почитая за вымысел сказание о сотворении Богом мира и человека, о добре и зле, о Боге, высмеивает все священное бытописание и первый завет Божий человеку о соблюдении заповеди, исполнение которой должно было утвердить волю первочеловеков в послушании Творцу своему и навсегда увековечить их союз с Богом, блаженное состояние и бессмертие даже по телу; вообще извращает и высмеивает всю дальнейшую Священную историю, не принимая на веру ни одного сказания.

Так, например, он говорит, что Бог, покровительствуя Аврааму и его потомкам, совершает в пользу его и его потомства самые неестественные (!) дела, называемые чудесами (Толстой не верит в них), и самые страшные (!) жестокости (это Бог-то милостивый, человеколюбивый и долготерпеливый), так что вся история эта, за исключением наивных, иногда невинных, часто же безнравственных сказок (!), вся история эта, начиная с казней, посланных Моисеем (не им, а Богом праведным и долготерпеливым), и убийства Ангелом всех первенцев их, до огня, попавшего 250 заговорщиков, и провалившихся под землю Корея, Дафана и Авирона, и гибели в несколько минут 14 000 человек, и до распиливаемых пилами врагов (выходит, что слышал звон, да не знает, где он: известно, что царь Манассия, незаконный царь Иудейский, велел перепилить надвое пророка Исаию за его пророчество) и казненных Илией (пророком), улетевшим (!) на небо (не улетевшим, а вознесенным как бы на небо Божиим повелением на колеснице огненной конями огненными), несогласных с ним жрецов и Елисея, проклявшего смеявшихся над ним мальчиков, разорванных и съеденных за это двумя медведицами, – вся история эта есть (по Толстому) ряд чудесных событий и страшных злодеяний (Толстой, отвергая личного Святого и Праведного Бога, отвергает и Его правосудие), совершаемых еврейским народом, его предводителями и Самим Богом (!).

Вот вам воочию безбожие и хула Толстого на праведного, многомилостивого и долготерпеливого Бога нашего! Но это только цветки, а ягодки впереди.

* * *

Слушайте дальше, что говорит Толстой о Новом Завете, т. е. Евангелии. Вы, упрекает он духовенство всех вероисповеданий, передаете детям и темным людям (только детям и темным людям, а не всем интеллигентным?) историю Нового Завета в таком толковании, при котором главное значение Нового Завета заключается не в нравственном учении, не в Нагорной проповеди, а в согласовании Евангелия с историей Ветхого Завета, в исполнении

пророчеств и в чудесах (и то и другое и всё содержание преподается; Толстой не знает, что говорит, или намеренно извращает истину); далее Толстой в насмешливом тоне говорит о явлении чудесной звезды по Рождестве Спасителя, о пении Ангелов, о разговоре с дьяволом (в которого не верит, хотя он его истый отец. Ибо сказано: *Вы отца вашего дьявола есте* (Мф. 8:44), о претворении воды в вино, хождении Господа по водам, о чудесных исцелениях, воскрешении мертвых, о воскресении Самого Господа и вознесении Его на небо (иронически говорит «и улетании его на небо »). Наконец, Лев Толстой договорился до того, что священные книги Ветхого и Нового Завета не удостаивает даже и названия сказки, а называет их «самыми вредными книгами в христианском мире, ужасною книгою ». При этом невольно восклицаем: о, как ты сам ужасен, Лев Толстой, порождение ехидны, отверзший уста свои на хуление богодуховного Писания Ветхого и Нового Завета, составляющего святыню и неоцененное сокровище всего христианского мира!

Да неужели ты думаешь, что кто-либо из людей с умом и совестью поверит твоим безумным словам, зная с юности, что книги Ветхого и Нового Завета имеют в самих себе печать боговдохновенности?

Да, мы утверждаем, что книги Ветхого и Нового Завета – самая достоверная истина и первое необходимое основное знание для духовной жизни христианина, а потому с них и начинается обучение детей всякого звания и состояния и самих царских детей. Видно, только один Лев Толстой не с того начал, а оттого и дошел до такой дикости и хулы на Бога и Творца своего и воспитательницу его – Мать Церковь Божию.

* * *

Слушайте, что далее Толстой говорит о себе, конечно, а не о ком либо другом, потому что ни к кому не применимо то, что он разглагольствует. В живой организм нельзя вложить чуждое ему вещество без того, чтобы организм этот не пострадал от усилия освободиться от вложенного в него чуждого вещества и иногда не погибал бы в этих усилиях.

Несчастный Толстой: он едва не погибал в усилиях сделаться богоотступником и все-таки достиг гибели своей, сделавшись окончательно вероотступником! Слушайте далее нелепость его, чтобы убедиться, что Толстой в своей злобе на веру и Церковь клеветает на нее, подпадая влиянию сатаны. Вот его слова: *«Какой страшный вред должны производить в уме человека те чуждые и современному знанию, и здравому смыслу, и нравственному чувству изложения учения по Ветхому и Новому Завету, внушаемые ему в то время, когда он не может обсудить »* (на это есть вера, как доверие истине). На это отвечаю. Мы все с детства знаем историю Ветхого и Нового Завета и получили от изучения ее самое всеоживляющее, спасительное знание и высокое религиозное наслаждение. Толстой же по своему лукавству и увлечению безбожными немецкими и французскими писателями этого не мог испытать, ибо от дерзкого ума его Господь утаил Свою чистую премудрость.

Толстой подчиняет бесконечный разум Божий своему слепому и гордому уму и решительно не хочет верить, как в невозможное дело, в сотворение мира из ничего, во всемирный потоп, в ковчег Ноев, в Троицу, в грехопадение Адама (значит, и в нужду всеискупительной жертвы), в непорочное зачатие, в чудеса Христа, и утверждает, что для верующего во все сказанное требование разума уже необязательно и такой человек не может быть уверенным ни в какой истине.

«Если возможна Троица, – продолжает глумиться Толстой, – непорочное зачатие и искупление рода человеческого кровью Христа, то все возможно, и требования разума необязательны ».

Слышите, христиане, как Толстой разум свой слепой ставит выше Бога, и поелику он, Толстой, не может разуместь высочайшей тайны Божества – Троичности Лицами и единства по существу, то считает невозможным бытие самой Троицы и искупление падшего рода человеческого кровью Иисуса Христа. *«Забейте клин, – говорит он, – между половицами закрома: сколько бы вы ни сыпали в такой закроем зерна, оно не удержится. Точно так же и*

в голове, в которой вбит клин Троицы или Бога, сделавшегося человеком и Своим страданием искупившего род человеческий и потом опять улетевшего (какое искажение Св. Писания!) на небо, не может уже удержаться никакое разумное, твердое жизнепонимание».

Отвечаю: Толстой точно вбил себе клин в голову – гордое неверие и оттого впал в совершенную бессмыслицу относительно веры и действительного жизнепонимания, извратив совершенно разум и его мирозерцание, и всю жизнь поставил вверх дном. Вообще Толстой твердо верит в непогрешность своего разума, а религиозные истины, открытые людям Самим Богом, называет бессмысленными и противоречивыми положениями, а те, которые приняли их умом и сердцем, будто бы люди больные (не болен ли сам Толстой, не принимающий их?).

* * *

Всё сочинение Толстого «Обращение к духовенству» наполнено самою бесстыдной ложью, к какой способен человек, порвавший связь с правдою и истиной. Везде из ложных положений выводятся ложные послышки и самые нелепые заключения. Автор задался целью всех совратить с пути истины, всех отвести от веры в Бога и от Церкви, старается всех развратить и ввести в погибель; это очевидно из всего настоящего сочинения его.

На все отдельные мысли Толстого отвечать не стоит, так они явно нелепы, богохульны и нетерпимы для христианского чувства и слуха, так они противоречивы и бьют сами себя и окончательно убили душу самого Льва Толстого и сделали для него совершенно невозможным обращение к свету истины.

Не отвечаей безумному по безумию его, – говорит премудрый Соломон, – *да не подобен ему будешь* (Притч. 26:4). И действительно, если отвечать Толстому по безумию его на все его бессмысленные хулы, то сам уподобишься ему и заразишься от него тлетворным смрадом. *Но отвечаей безумному по безумию его,* – продолжает Соломон, в другом смысле, – *да не явится мудр у себе* (26:5). И я ответил безумному по безумию его, чтоб он не показался в глазах своих мудрым пред собою, но действительным безумцем.

Разве не безумие отвергать личного, всеблагого, премудрого, праведного, вечного, всемогущего Творца, единого по существу и троичного в Лицах, когда в самой душе человеческой, в ее едином существе находятся три равные силы: ум, сердце и воля по образу трех Лиц Божества?

Разве человечество не уважает в числах число три более всех чисел и чрез то по самой природе своей чтит Троицу, создавшую тварь?

Разве человечество не чувствует своего падения и крайней нужды в искуплении и Исккупителе?

Разве Бог не есть Бог чудес, и самое существование мира разве не есть величайшее чудо?

Разве человечество не верует в происхождение свое от одного праотца?

Разве оно не верует в потоп?

Разве не верит в ад, в воздаяние по делам, в блаженство праведных, хотя не всё по откровению слова Божия?

Разве Толстому не жестоко идти против рожна?

Можно ли разглагольствовать с Толстым, отвергающим Альфу и Омегу – начало и конец?

Как говорить серьезно с человеком, который не верит, что *А* есть *А*, *Б* есть *Б*?

Не стоит отвечать безумному по безумию его.

Главная магистральная ошибка Льва Толстого заключается в том, что он, считая Нагорную проповедь Христа и слово Его о непротиивлении злу, превратно им истолкованное, за исходную точку своего сочинения, вовсе не понял ни Нагорной проповеди, ни заповеди о непротиивлении злу.

Первая заповедь в Нагорной проповеди есть заповедь о нищете духовной и нужде смирения и покаяния, которые суть основание христианской жизни, а Толстой возгордился, как сатана, и не признает нужды покаяния, и какими-то своими силами надеется достигнуть совершенства без Христа и благодати Его, без веры в искупительные Его страдания и смерть, а под непротивлением злу разумеет потворство всякому злу, по существу – непротивление греху или поблажку греху и страстям человеческим, и пролагает торную дорогу всякому беззаконию, и таким образом делается величайшим пособником дьяволу, губящему род человеческий, и самым отъявленным противником Христу. Вместо того чтобы скорбеть и сокрушаться о грехах своих и людских, Толстой мечтает о себе как о совершенном человеке или сверхчеловеке, как мечтал известный сумасшедший Ницше; между тем что в людях высоко, то есть мерзость пред Богом.

Первым словом Спасителя грешным людям была заповедь о покаянии. Оттоле начат Иисус проповедать и глаголати: «Покайтесь, приближи бо се царство небесное», а Толстой говорит: «Не кайтесь, покаяние есть малодушие, нелепость, мы без покаяния, без Христа, своим разумом достигнем совершенства, да и достигли»; говорит: «Посмотрите на прогресс человеческого разума, человеческих познаний, литературы романической, исторической, философской; разных изобретений, фабричных изделий, железных дорог, телеграфов, телефонов, фонографов, граммофонов, аэростатов».

Для Толстого нет высшего духовного совершенства в смысле достижения христианских добродетелей – простоты, смирения, чистоты сердечной, целомудрия, молитвы, покаяния, веры, надежды, любви в христианском смысле; христианского подвига он не признает; над святостью и святыми смеется, сам себя он обожает, себе поклоняется, как кумиру, как сверхчеловеку. «Я, и никто кроме меня, – мечтает Толстой. – Вы все заблуждаетесь; я открыл истину и учу всех людей истине!» Евангелие, по Толстому, вымысел и сказка.

Ну кто же, православные, кто такой Лев Толстой?

Это Лев рыкающий, ищущий, кого поглотить. И скольких он поглотил чрез свои льстивые листки!

Берегитесь его.

ПИСЬМО Д.А.ХИЛКОВА к Л.Н.ТОЛСТОМУ

...На днях к одной помещице, Калугиной, недалеко от нас, приехал кронштадтский священник Иоанн. Моя мать поехала к нему. На другой день, т. е. вчера, она опять поехала, просила меня поехать, и я поехал. Я про этого священника раньше слышал, и мне хотелось его видеть. Мне казалось, что он искренний человек, и я думал, что в его случае возможно совмещение обрядности с добротой, искренностью, любовью к людям и верою в учение Иисуса.

Мы рано поехали и к 8 часам были уже в Николаевке – имение Калугиных. Там две церкви. Одна приходская, другая, в саду – принадлежащая Калугиным. Около приходской церкви стояла целая ярмарка: распряженные возы, фаэтоны и таратайки. Сидели торговки и продавали разные вещи. Около ограды сада и около всех ворот и калиток – урядники, сотские и десятские. Ворота полуоткрыты, и вход беспрепятственный для всех. Моя мать пошла в церковь, а я в сад и сел около пруда.

Церковь была полна народа, и моя мать просила знакомого станового ее провести. Он вошел в церковь и громко возгласил: «Расступитесь! княгиня идет!» Расступились, а священник продолжал службу. Когда кончалась обедня и стали подходить под благословение, то до меня стали доноситься возгласы: «Гони сих в шею! Куда лезете, черти?» И т. п. После этого всех выпроводили за ворота, и ворота заперли.

Я пошел туда, где священник Иоанн должен был пить чай. Много господ, знакомых Калугиных, его ждали. Когда он пришел, моя мать что-то ему сказала, и он направился ко мне. На нем был белый подрясник (мне почему-то этот подрясник весь день казался

кителем), соломенная шляпа, движения быстрые, руки часто в боки берет; первые слова его были: «Ну, здравствуй, сын мой». Тон пренебрежительный, начальнически-насмешливый. Мне не понравилось, но я подумал: это он так сильно верует, что ему дико, что я в церковь не пошел. Потом похлопал рукой по голове и руку дает. Я ее пожал. Скулы у него чуть-чуть покраснели. Спросил, есть ли дети. Сколько сыну времени, крещен ли? (Всё это он знал раньше и сказал моей матери, чтобы я приехал, а то бы я не поехал или поехал бы отдельно.) Я говорю: «Нет». Он говорит: «Почему?» Я говорю, видя, что он сердится и правую руку в бок вставил, что мне кажется, что лучше об этом не говорить, что чай его ждет и что вряд ли ему интересны мои причины. Он смягчился, показывает мне Евангелие и говорит: «Веруете в это?» Я говорю: «Верю». – «А в Церковь верите?» – «Нет, – говорю, – не верю». Покраснел, и злость в глазах появилась. «Это, – говорит, – гордость, мракобесие» и т. д. Я вижу, что лучше не говорить ничего, и опять напоминаю о чае и о всех, нас окружающих, которые его ждут. Он настаивает: «Крестите, Иоанн крестил». Я говорю: «Как же Иоанн крестил, когда Иисус не был еще распят, и слова этого не было?» Он говорит: «Ну, обмывал. Иисус всех крестил». Я спрашиваю: «Как?» Он говорит: «Водой». Я спрашиваю: «Какой? Ведь вода разная бывает. Есть вода, что в реках и колодцах, и есть та, которую Иисус обещал дать самарянке; так какой же крестил?» Он разразился целым потоком слов в обличение моего невежества, гордости, мракобесия и закончил так: «С вами говорить нельзя; я прекращаю с вами разговор». Подошел к стулу, с шумом его повернул и сел.

Все на меня стали смотреть с ужасом. Мне было грустно, и во всё время разговора такое чувство, что лежачего не бьют. Мне как-то показалось, что этот человек на песке стоит, что у него нет своего цельного чувства, и мне жалко его было, когда я заметил, что он текстами хочет мне что-то доказать. Потом целый день я старался никому не мешать и больше около пруда сидел.

Стали подходить под благословение. (Это вторично. Некоторые 4 раза подходили и хвастались этим.) Священник стал за забором, около него молодой Калугин с ящиком. Вдоль забора, с другой стороны, между забором и цепью сельской полиции шли гуськом православные. Священник давал целовать наперстный крест, а правую руку клал на голову. Если болящий, то кругом его потрогает: и по голове, и по лицу, и по плечу похлопает. Некоторые просили денег, и он иным давал, другим отказывал, иным сам давал.

И вот случилось следующее: подходит женщина, хохлушка, немолодая. Одета не бедно, а серо (как вы говорите). Он ее спрашивает: «Ты бедная?» Она не поняла и говорит: «Что?» Он снова повторяет: «Бедная ты?» Она и говорит: «А Бог его святой зная, чи бедна я, чи ни!» Это было так сказано, что мне показалось, что правду она говорит, что она не приготовилась к ответу и не ждала вопроса, а действительно никогда не думала о том, бедна ли она или богата. Тем, что имела, довольствовалась, другим не завидовала. Когда священник дал ей денег, это меня неприятно поразило. Мне казалось, что этого не следовало делать, и досадно было, что эти простые и искренние слова не встретили в нем отклика.

Около священника стоял урядник, который то и дело возглашал: «Куда лезешь, скотина! Сотский, дай ему в шею» и т. д. А священник продолжал благословлять и хлопать рукой по голове и по лицу. После этого служили в доме молебен, я опять пошел к пруду. Дикие утки по нем плавали.

Потом стали обедать, и я сел. Во время обеда громко, на весь стол говорилось о том, что в час под благословение проходит 1 000 человек, что железная дорога продала 48 тысяч билетов до той станции, где жил Иоанн (фамилии его не знаю), что в сутки он раздавал по 600 рублей, что из Сум приехало 20 фазтонов, что в Сумах извозчиков не осталось, что в один конец извозчики берут 10 руб. – «Не 10, а 15», – заявляет, вставая с своего места, какой-то священник (я подумал: наверно, местный, – и угадал), и т. д., и т. д. Священник Иоанн сидит около хозяйки, ест и молчит. Мне было очень сиротливо, и я чувствовал себя как-то виноватым, что я мешаю всем этим людям. Но под конец разговорился с соседями, а после обеда с некоторыми другими.

Моя мать мне говорила, что священник после чаю пошел в свою комнату и читал

Евангелъе, те места, которые относились до нашего разговора. Позвал одного из гостей и доказал ему, что я неправ и заблуждаюсь, а он прав и поступает по Евангелию. Этот гость ей это и сообщил. Потом мы уехали.

Об отношении к священнику всех, которых я видел, вот что скажу. Большинство приехали из любопытства. Больные – наслышавшись о чудесах, но многие – большинство – с мыслью: отчего не попробовать – вреда не будет, а польза может быть. Есть и скептики. Сегодня приходил ко мне мужик соседнего села спросить, везти ли ему сына в Николаевку. Видел отставного старика солдата – лицо такое же, как было у него, когда подходил к начальству с рапортом. Смотри на господ, слыша их разговоры о том, как им помог и нравственно, и физически священник Иоанн, мне в голову пришло, что это похоже на то, как если бы человек с зажмуренными глазами висел бы на ветке, боясь ее выпустить, чтобы не провалиться. Спорить против того, что ветка не поддерживает – нельзя, но посоветовать открыть глаза и стать на землю, которую он увидит у себя сейчас под ногами – можно. Я не умел это сделать, но понимал, что это возможно, т. е. убедить открыть глаза. Вы в Москве говорили мне про это (про висящего человека). Всё, что я вчера видел и слышал, служит отличной иллюстрацией к тому, о чем мы говорили с вами в Ясной. О соблазне славы людской. И мне казалось, что слава людская только так и может выражаться, – изменение только в мелочах обстановки, но не в сути. И мне казалось, что то, что я видел в Николаевке – неизбежно сопутствует всякой славе людской. Где слава людская – там неизбежен и компромисс. Благословение и проклятие – милостыня и отнятие, признание человека братом и заушение человека.

Только что приходило несколько человек расспрашивать про свящ. Иоанна. Я рассказал им то, что было там, т. е. что вам пишу.

Подумал, что, может быть, вы видели этого священника, и тогда вам совсем не интересно мое письмо...

Д.Хилков.

1. VIII. 90 года

P.S. Только что приходила к жене знакомая крестьянка и рассказала следующее: на селе говорят, что в Николаевке теперь замечательный доктор, который вылечивает хромых, слепых и параличом разбитых. Одевается как священник, и зовут его поп. Попал он в Николаевку следующим образом: ночной сторож услышал крик под землей. Подошел и слышит – кто-то кричит: откопайте меня, откопайте. Сторож взял заступ и откопал. Он, т. е. поп, ничего не ест и постоянно сидит в церкви, там и спит. Услыхав это, многие повезли в Николаевку своих больных.

Д.Х.

М.А.НОВОСЕЛОВ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГРАФУ Л.Н.ТОЛСТОМУ

С того времени, как мы разошлись с Вами, Лев Николаевич, т. е. с тех пор, как я стал православным, а этому есть уже лет 8–9, я ни разу не разговаривал с Вами о том, что так важно для нас обоих. Иногда меня очень тянуло написать Вам, но краткое размышление приводило меня к сознанию, что делать этого не нужно, что из этого никакого толку не выйдет ни для Вас, ни для меня. Теперь я берусь за перо под впечатлением только что прочитанного мною Вашего ответа на постановление Синода от 20–22 февраля. Ничего нового для себя я не встретил в Вашем ответе, тем не менее почувствовалась потребность сказать Вам несколько слов по поводу этой свежей Вашей исповеди.

Мне, как бывшему Вашему единомышленнику, интересны главным образом те основные моменты христианского учения, на которых держится, с которыми связано наше

теперешнее разногласие. На них я и хотел бы остановиться несколько подробнее, мимоходом лишь ответив на прочие (и даже не на все) пункты Вашего писания.

Другие, может быть, откликнутся на Ваше обвинение в неканоничности опубликованного синодального постановления... Я, со своей стороны, понимаю его как констатирование уже совершившегося факта Вашего отпадения от Церкви, о каковом отпадении Синод и объявляет чадам Церкви, чтобы предостеречь их относительно Вашего учения. Думаю, что оно имело в виду и Вас, надеясь вызвать Вас на серьезный пересмотр Ваших взглядов на христианство... Побуждало Синод к этому акту, нужно полагать, и желание открыто и во всеуслышание заявить об основных истинах веры христианской в то время, когда в обществе существует так много до противоположности несходных воззрений на сущность Христова учения.

Вы называете это постановление произвольным, потому что оно обвиняет Вас одного в том, в чем подлежат обвинению многие. Отчасти Вы правы, но только отчасти, потому что никто из той интеллигенции, на которую Вы указываете, не вступал в такую вражду с Церковью и ее учением, как Вы. Непризнание чего-либо, даже отрицание – это не то, что ожесточенная борьба, да еще неразборчивая в средствах. В объяснение и оправдание последнего замечания приведу Вам слова человека, в терпимости и высокой порядочности которого Вы едва ли осмелитесь сомневаться. Когда я зимою 1900 года спросил покойного Владимира Сергеевича Соловьева, почему он, умышленно избегавший раньше полемики с Вами, выступил так энергично против Вас в своих «Трех разговорах под пальмами», он отвечал: «Меня возмутили кощунства “Воскресения”».

Добавлю еще, что истинно верующие люди едва ли могут иметь что-либо против отлучения от Церкви и всех тех, кто заявил бы себя солидарным с Вами. По моему убеждению, удерживать их формально в Церкви, когда они реально находятся вне ее, – нецелесообразно и недостойно православия.

Вы называете постановление неосновательным, так как людей, единомысленных с Вами, всего какая-нибудь сотня, т. е. вовсе не так много, как утверждает постановление. Не стоит ли это Ваше заявление в противоречии с предыдущим замечанием, что почти все образованные люди разделяют с Вами то безверие, в котором обвиняет Вас Синод? Вы скажете, может быть, что эти интеллигенты солидарны с Вами только в Вашем отрицании церковного учения? Но ведь это-то отрицание главным образом и имеет в виду Синод, а не те положительные стороны Вашей философии, в которой Вы насчитываете так мало единомышленников.

О «явной неправде» постановления ничего не смею сказать и оставляю этот вопрос на совести Вашей и тех, кто, по Вашим словам, допустил эту неправду.

Что касается клеветы, которую Вы усматриваете в постановлении, то я ее ни в чем не вижу, ибо не вижу «заведомо несправедливых утверждений касательно Вас, клонящихся к Вашему вреду».

Не могу согласиться с Вами и в том, что оно есть подстрекательство к дурным чувствам и поступкам.

В доказательство последнего Вашего положения Вы приводите выдержки из нескольких писем, полученных Вами после отлучения. Я согласен с Вами, что письма эти нехороши, что они слишком отзывают тем Илииним духом, который не одобрил Спаситель в сынах Зеведеевых, выразивших желание свести огонь с неба на оскорбивших Учителя самарян: «Не знаете, какого вы духа», – сказал ученикам Христос.

Не знают Христова духа и авторы этих писем. Но при чем тут постановление Синода? Вы с большей основательностью могли бы упрекнуть приходских пастырей в нерадении к духовному устройству словесных овец, обнаруживающих волчьи зубы. Вы скажете, может быть: «Синод должен был предвидеть это».

Пусть так, но нельзя было этого предупредить. «Не публиковать постановления», – возразите Вы. Но ведь в таком случае придется совсем сложить руки, так как почти всякое постановление может быть нелепо понято и дурно принято невежеством и

нерассудительностью. Лучшим подтверждением этого служит Ваше учение: припомните, какой вид оно принимало, проходя чрез разнокалиберные головы и сердца последователей Ваших?! Вам это известно, конечно, лучше, чем мне, а и мне хорошо известно...

Чтобы не тревожить теней прошлого, укажу Вам на Вашу недавнюю сравнительно вещицу с невинным и даже христианским заглавием «Не убий», которая некоторыми лицами была понята совсем не так, как Вы, надо думать, желали, судя по заглавию, – и правду сказать, Лев Николаевич, не без основания на этот раз, ибо только слова говорили «не убий», а дух брошюры питал то чувство, которое Иоанн Богослов называет человекоубийственным.

Далее Вы признаетесь, что Вы отреклись от Православной Церкви, но не потому, что восстали на Господа, а, напротив, только потому, что всеми силами души желали служить Ему.

Не знаю, умышленно ли Вы опустили слова «и на Христа Его», упомянутые в синодальном постановлении и однажды приведенные Вами... Их нельзя опускать. Церковь Православная (и не только Православная) теснейшим образом связана с Христом. И для всякого мало-мальски мыслящего (равно как и для не мыслящего, а одной детской верою ходящего) православного отречение от Церкви есть и отречение от Христа (и восстание на Отца Его), ибо Христос есть Глава Церкви, Церковь же Тело Его. На сего-то Христа Вы действительно восстали, что и сами признаете спустя несколько строк. Служить же Вы хотите не Ему и не Тому Отцу Его (Господу), Которого знает и признает вселенское христианство, а какому-то неведомому безличному началу, столь чуждому душе человеческой, что она не может прибегать к нему ни в скорбные, ни в радостные минуты бытия своего.

Не буду касаться Ваших замечаний о том, как Вы исследовали учение Церкви, а равно и достоинств Ваших богословских трудов. Об этом довольно писалось за последние 10–15 лет. Позволю, впрочем, себе сказать несколько слов. Можно пожалеть, что Вам пришлось знакомиться с христианским богословием по руководству м<итp.> Макария. Может быть, приобщение на первых порах к более жизненной и животворящей мысли богословов-подвижников раскрыло бы Вам глубочайшую связь между христианским вероучением и нравственностью, а главное, ввело бы Вас в сферу внутреннего духовного опыта, при котором только и можно непоколебимо верить в догмат и сознательно его исповедовать.

Далее Вы говорите о церковных обрядах, о некоторых догматических верованиях и таинствах. Все это Вам представляется ложью, кощунством, колдовством, обманом. Не входя в подробности, которыми, повторяю, достаточно занималась духовная литература последних лет, разбирая Ваши произведения, я остановлюсь на некоторых общих соображениях.

В одной из глав Вашей критики догматического богословия Вы, говоря о Церкви, выражаетесь приблизительно так: «При слове “Церковь” я ничего другого не могу представить, как несколько тысяч длинноволосых невежественных людей, которые находятся в рабской зависимости от нескольких десятков таких же длинноволосых людей...» Я не опровергаю этого больше чем наивного определения Церкви, ибо знаю, что опровержение бесполезно, так как определение это вытекло не из логики, а из непосредственного восприятия Вами фактов текущей церковной деятельности. Пусть будет по-Вашему, пусть понятие о Церкви сводится к понятию о духовенстве, и пусть все это духовенство будет сплошь невежественно и корыстно, пусть оно из самых низменных мотивов поддерживает церковное учение... Пусть будет по-Вашему, но ведь должны же Вы были задуматься над вопросом: когда возникло это учение?

Ведь не нынешними же, по Вашему предвзятому представлению, «невеждами и корыстолюбцами» установлены таинства, даны догматические определения, введены богослужебные обряды... Ведь о важнейшем таинстве, вызывающем самые яростные нападки с Вашей стороны, мы узнаем еще в Новом Завете. Обращаю Ваше внимание на слова апостола Павла (Послание к Коринфянам), который, очевидно, понимал слова

Спасителя о Теле и Крови так, как понимаем мы, православные. Что он придавал таинственное (в нашем православном смысле) значение священной трапезе, это видно из того, что в зависимость от недостойного вкушения оной ставил болезни и даже смерть верующих.

Не в Евангелии ли Христос исповедуется Богом?

Не в посланиях ли апостольских искупление является краеугольным камнем учения?

Не ближайшие ли ученики Спасителя (и сам апостол любви) посещают Иерусалимский храм для молитвы?

Не в первые ли века (II и III вв.) развивается богослужебный чин христианский?

Не поддерживают ли все это и не полагают ли жизнь свою за то, что Вы обругиваете как ложь, колдовство и обман, ученики Христовы и ученики Его учеников?

Лев Николаевич! Вы говорите, что любите истину больше всего на свете. Докажите же это на деле: отрешитесь на самое короткое время от Вашего обычного отношения к сущим церковникам и, забыв их, перенеситесь мысленно в первые века христианства.

Неужели Вы дерзнете упрекнуть в невежестве, сребролюбии, недобросовестности те сотни, тысячи христианских подвижников, из которых одни вызывали восторг и удивление своими добродетелями даже во враждебно настроенных к христианству язычниках, другие проявили глубочайшую мудрость в своих философских и богословских трудах? Вспомните Поликарпа, Иустина Философа, Антония и Макария Великих, Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, блаж. Августина, Оригена Адамантового... Чем объясняете Вы в них и в тысячах им подобных самоотверженных служителей истины – эту верность церковному учению, и именно той его стороне, которую Вы хотите назвать даже не заблуждением, а непременно ложью и обманом? Любовь к истине, которую Вы, не колеблясь, признаете в себе, требует, чтобы Вы подыскивали другое объяснение для возникновения тех верований, которые Вы клеймите позорным именем колдовства, лжи и бессмыслицы...

Несколько лет тому назад, в первый период своего обращения к Церкви, я прочитал в «Вестнике Европы» прекрасные статьи проф. Герье о Франциске Ассизском и Екатерине Сиенской. Статьи эти драгоценны тем, что в них мы находим беспристрастное и в то же время глубоко продуманное изложение фактов внешней и внутренней жизни названных католических святых, фактов, тщательно проверенных и пропущенных чрез горнило строгой исторической критики. В обоих житиях (да позволено будет назвать так эти чудные монографии!), особенно в житии Екатерины (которую, кстати сказать, св. Димитрий Ростовский именует блаженною в церковном значении этого слова), с удивительной яркостью выступают личные отношения души человеческой ко Христу. Все изумительные явления нравственной жизни Екатерины, поражавшие своей необычностью и покорявшие своей силой даже людей, к ней враждебно настроенных, оказываются теснейшим образом связанными с личным ее отношением к Живому Христу Господу. Зависимость эта сказывается так ярко, так непрерываемо, что некоторые неверующие, но не ожесточенные против Церкви люди в недоумении потупляли очи при чтении этого произведения ученого автора и – задумывались.

Так вот, когда я по прочтении названных статей попал в один московский кружок молодежи, состоящий из лиц, Вам (а раньше и мне) очень близких, и заговорил с недавними своими единомышленниками о центральном пункте христианства – Самом Богочеловеке и о необходимости для христианина живого, ощущаемого общения с Ним, причем сослался (по малости собственного духовного опыта) на житие Екатерины, то встретил решительный и единодушный отпор: для слушателей казалось нелепостью общение с «мертвецом, давно сгнившим». Самосознание Екатерины и ей подобных лиц, опирающихся в своей нравственной жизни на Христа распятого и воскресшего, представлялось самообманом. У меня осталось впечатление, что это – Ваша мысль, Л. Н-ч. Да и трудно, правду сказать, найти третье объяснение, если не принимать того, которое предлагают люди, свидетельствующие о живом союзе своем с Воскресшим.

Но любовь к истине позволит ли остановиться на теории самообмана? Не придется ли тогда признать, что наилучшие движения души человеческой и высочайшие акты Воли порождены были самообманом, т. е., в сущности, неправдой?! Или, может быть, самообман состоял не в том, что люди мечтой своего воображения умножили в себе добродетель, а в том, что эту собственную, самодельную, так сказать, добродетель мысленно связывали, без всякой нужды и выгоды для добродетели, со своим фантастическим верованием в «Воскресшего Мертвеца», питающего Своею плотью и кровью?

Но тут является новое затруднение. Как объяснить себе, что на расстоянии стольких веков люди различных национальностей, различного образования, пола, возраста, общественного положения подпадают такому странному обольщению, усваивают, очевидно, ненужное и столь несвойственное «здравому смыслу» верование? Удивительно, что и развитие так называемого положительного знания не освободило людей от этого исторического, из века в век переходящего кошмара: Паскаль, Гладстон, наш Владимир Соловьев – тому живые примеры... Знаменательно также, что тончайшие психологи оказываются в списке этих, по-Вашему, безумцев, последователей Назарейской ереси. Чего стоит один Исаак Сирин, столько же превосходящий Вас (даже Вас, говорю без всякой иронии) глубиной психологического анализа, сколько и высотой своего истинно духовного настроения?! Ведь если есть действительная психология, так главным образом (если не исключительно) у тех подвижников христианства, которые утверждались на камне «безумного» вероучения Церкви. Неужели эти сердцеведцы не могли разобраться в такой очевидной, по Вашим словам, лжи? Странно, больше того – непостижимо это эпидемическое ослепление, идущее из рода в род в стольких народах...

Миную Ваши обычные упреки по адресу Церкви за искажение ею учения Христа о судах, войнах и др.<у>гих</у> родах насилия. Прочтите, если Вы не читали, «Три разговора» Владимира Соловьева: там сказано об этом много такого, что должно бы, кажется, заставить Вас задуматься...

Перехожу к Вашему заключительному *profession de foi*³⁹. Несколько раз перечитывал я этот краткий символ Вашей веры и каждый раз неизменно испытывал одно и то же тоскливое, гнетущее чувство. Слова все хорошие: Бог, Дух, любовь, правда, молитва, а в душе пустота получается по прочтении их. Не чувствуется в них жизни, влияния Духа Божия... И Бог, и Дух, и любовь, и правда – все как-то мертво, холодно, рассудочно. Невольно вспоминается Ваш перевод 1 гл. Евангелия от Иоанна, где Вы глубокое, могучее: «В начале бе Слово и Слово бе к Богу и Бог бе Слово» – заменили жалким: «В начале было разумение, разумение стало вместо Бога, разумение стало Бог». Ведь попросту сказать, Ваш Бог есть только Ваша идея, которую Вы облюбовали и облюбовываете, перевертывая ее со стороны на сторону в течение двух десятилетий. Вы никак не можете выйти из заколдованного круга собственного «я». Даже в молитве, этом высочайшем душевном акте, неложно связующем христианина с Богом и раздвигающем границы человеческого «я» до бесконечности Божией, вы остаетесь одиноки – с одним собой, в одном себе. Ваша молитва (по Вашему же признанию) есть лишь усилие и усиление Вашего сознания, а не действительная беседа души человеческой с живым Богом, она есть искусственный психический акт выдвигания перед сознанием известной идеи, а не приобщение к живому, приснотекущему Источнику благодати, орошающему иссохшую землю сердца нашего. Вера Ваша такая же отвлеченная, рассудочная и мертвая, как и вера тех ортодоксов, которые ограничиваются философским признанием догмы, забывая, что истина познается не логическими рассуждениями, а всюю целостью нашего нравственного существа, требующего для приобщения к истине определенного религиозного подвига. Как они, так и Вы мало разумеете, что вера (с характером которой в теснейшей связи стоит и характер молитвы, этого, так сказать, барометра духовной жизни) есть нечто более глубокое, сильное и

³⁹ Изложение убеждений, символ веры (*фр.*).

действенное, чем обычный акт сознания или некоторая идейная настроенность.

Есть вера от слуха (Рим. 10:17), и есть вера уповаемых в извещение (Евр. 11:1).

Вот эта-то вера, *осуществляющая* ожидаемое и этим дающая непоколебимую уверенность в невидимом, – и чужда Вам, ибо дается она только Богочеловеком Христом, чрез Кого единственно мы получаем, еще живя на земле, сей доступ к Небесному Отцу и к дарам Его милости.

Отметая Христа Искупителя, Вы неизбежно лишаете Вашу душу Его благодатного воздействия, а потому не имеете того духовного опыта, который, когда Вы говорите о добродетелях, помог бы Вам отличить любовь Христову от естественной благонастроенности, благодатную кротость от самообладания (или природной тихости), смирение от снисходительности, мудрое во Христе терпение от бесплодного самоистязания. Потому-то Вы и не понимаете великого значения веры в Христа распятого и воскресшего, необходимости ее для истинного возрождения человека, ибо самое возрождение Вам неведомо...

У Вас, как это ни странно многим слышать, нет мерил для оценки и определения важнейших нравственных переживаний души человеческой, переживаний, доступных самым простым и некнижным людям, о которых апостол сказал, что Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал, чтобы посрамить сильное, для того, добавляет апостол, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Да, как ни бессмысленно это на иной взгляд, но духовное ведение, доступное Павлу Препростому (IV в.), не дано Льву Мудрому, святилище тайн Христовых, открытое для первого, закрыто перед вторым...

Эпиграфом с эпилогом своей статьи Вы избрали слова Кольриджа – слова настолько значительные, что их нельзя пройти молчанием. В них, мне кажется, до некоторой степени заключается разгадка того недоразумения, которое существует между Вами и Церковью.

«Тот, кто начнет с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро полюбит свою Церковь или секту более, чем христианство, и кончит тем, что будет любить себя (свое спокойствие) больше всего на свете».

Не знаю, с которого конца подойти к этому афоризму: почти каждое слово требует комментария.

Начну, пожалуй, с фактической проверки данного положения.

Вот перед нами апостол Павел, особенно, помнится, нелюбимый Вами за мнимое искажение учения Христова, больше других апостолов потрудившийся над устройством Церкви.

Чем же он кончил? Тем, что полюбил себя (свое спокойствие) больше всего на свете?! Заклятый враг истины не позволит себе сказать этого о нем, величайшем – по справедливому выражению Фаррара – из великих людей, вся жизнь которого со времени обращения его ко Христу была сплошным мученическим подвигом и в любящем сердце которого не тесно было многим народам.

Вспомните и весь сонм апостольский... Вспомните ближайших учеников Христа – Петра и Иоанна, единомысленные послания которых с искаженным, как и у Павла, учением Христовым перед нашими глазами... Чем кончают они? Изгнанием, мученичеством.

Оставляю в стороне период гонений, когда так мало помышляли о покое, а так много проливали крови за воскресшего Христа и Церковь Его Святую, и опять напоминаю Вам о подвижниках пустынь – Антонии, Макарии, Исааке (и других, им же нет числа), об отцах и учителях Церкви – Златоусте, Василии, Григории, Августине, о более близких к нам – Сергии Радонежском, Стефане Пермском, св. Филиппе, Тихоне Задонском... Не знаю, как Вы, Лев Николаевич, а я очень желал бы любить свое спокойствие так, как любили свое эти рабы Христовы и служители Церкви. Уверен, что и Господь такому моему спокойствию порадовался бы.

Очевидно, мысль, которую Вы хотели выразить или подтвердить словами Кольриджа, не оправдывается фактами. И не оправдывается потому, что понятия тут перепутаны, сдвинуты со своих основ, поставлены во взаимную связь по случайным, а не по

существенным признакам. Вы отделяете истину от христианства, хотя в последних строках и заявляете, что до сих пор истина совпадает для Вас с христианством, как Вы его понимаете.

Для тех же великих и святых людей, о которых я только что говорил, и жизнь которых представляет такое блестящее опровержение афоризма Кольриджа, истина безусловно совпадает с христианством. Для них Христос есть Истина абсолютная, ибо в Нем, по слову апостола, обитает полнота Божества телесно (Кол. 2:9).

Мало того, для них и Церковь была неразрывно связана с истиной, что видно из слов того же апостола, называющего Церковь столпом и утверждением истины (1 Тим. 3:15). Верование апостола Павла было верованием и прочих апостолов, «самовидцев Слова», о чем свидетельствуют их писания, этот, кстати сказать, единственный документ, знакомящий нас с учением Христовым. Веру апостолов разделяли и их ученики; эту же веру приняли и исповедовали и христиане последующих веков. Итак, Вы видите, что все эти люди любили христианство и Церковь как истину, т. е. истина совпадала для них с христианством, как они понимали его; иначе сказать, они никак не менее Вас были правы перед истиной, а если посмотреть на жизнь их, то, несомненно, окажется, что даже превосходили Вас любовью к ней...

Неосновательно разъединив истину, христианство и Церковь, речение Кольриджа так же неосновательно смешивает Церковь с сектой. Для Кольриджа такое смешение естественно: он не знал Церкви, а видел секты, именующие себя Церквами: свои выводы из наблюдений над сектами он перенес на Церковь. Между тем многое, что приложимо к секте, вовсе не приложимо к Церкви.

Впрочем, я не стану безусловно оспаривать мысли, выраженной в словах Кольриджа. Возможно – и, к сожалению, нередко случается, – что люди, принадлежащие к Церкви, уподобляются сектантам по своему душевному устройению. Разумею тех, кто вступает в Церковь, ища в покорном послушании ей как внешнему авторитету ленивого покоя для своей истомленной головы. При таком отношении к Церкви движение вперед по пути усвоения истины прекращается, вера и любовь иссыкают, в душе рождается сектантское самодовольство с неизбежными спутниками: фанатизмом и нетерпимостью.

Но эти случаи, мало ли их будет или много, не изменяют существа дела, не опровергают истинности христианства и Церкви (хотя и вносят соблазн во многие людские души), подобно тому как превалирующее количество эгоистов в мире не подрывает в глазах разумного человека правды нравственного закона (хотя и порождает в иных сердцах сомнение в силе его).

На Ваше последнее признание, что Вы радостно и спокойно приближаетесь к смерти, ничего не скажу. Будущее, неизвестное и Вам, и мне, скажет свое слово о Вашем спокойствии и Вашей радости...

Простите, если чем нечаянно обидел Вас, Л. Н-ч. Говорю «нечаянно», потому что во все время писания не замечал в себе ничего к Вам враждебного. Напротив, с первых страниц моего письма всплыли из далекого прошлого наши дружеские отношения, и образ их не покидает меня доселе. Мне грустно, что их нет теперь и не может быть, пока между нами стоит Он, Господь мой и Бог мой, молитву к Кому Вы считаете кощунством, и Кому я молюсь ежедневно, а стараюсь молиться непрестанно. Молюсь и о Вас и о близких Ваших с тех пор, как, разойдясь с Вами, я после долгих блужданий по путям сектантства вернулся в лоно Церкви Христовой.

Для всех нас «время близко», а для Вас, говоря по человеческому рассуждению, и очень близко... Но я не теряю окончательной надежды, что Вам, которому так хорошо знакомо слово евангелиста Иоанна, что *всякий, не делающий правды, не есть от Бога* (1 Ин. 3:10), откроется истинный смысл и другого слова того же апостола любви, что *не есть от Бога и всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти*, тогда, может быть, в последние минуты Вашего земного странствия Образ Воскресшего зажжется ярким пламенем в душе Вашей, и Вы, выйдя из мрака в «чудный свет» Его, подобно блаженному Августину, если не воскликнете, то в тайне сердца Вашего изречете: «Sero te

amavi, pulchritudo tam, antiqua et tam nova; sero te amavi!» (Будет тебя услаждать красота, как старая, так и новая; будет тебя услаждать!)

*Вышний Волочек Тверской губ.,
29 мая 1901 года*

Библиография

В этот список включены только наиболее важные, на взгляд автора, материалы, использованные при написании книги. Список разбит на три раздела. Первый – это тексты Л.Н.Толстого и о Л.Н.Толстом, которые так или иначе касаются его отношений с Церковью. Второй – это тексты отца Иоанна Кронштадтского и литература о нем. Третий – материалы, непосредственно связанные с проблемой «Л.Н.Толстой и Иоанн Кронштадтский».

Более подробный список литературы, посвященной проблеме «Л.Н.Толстой и христианство», вы найдете в кн.: Христианство и новая русская литература XVIII–XX веков. Библиографический указатель. 1800–2000. СПб., 2002.

I

- Бирюков И.П.* Биография Л.Н.Толстого: в 4 т. М., 2000.
- Гусев Н.Н.* Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. 1828–1855; 1855–1869; 1870–1881; 1881–1885. М., 1954–1970.
- Гусев Н.Н.* Летопись жизни и творчества Л.Н.Толстого. М.-Л., 1936.
- Л.Н.Толстой и А.А.Толстая. Переписка (1857–1903). М., 2011.
- Лев Толстой и его современники. Энциклопедия. М., 2008.
- Опульская Л.Д.* Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. 1886–1892; 1892–1899. М., 1979–1998.
- Переписка Л.Н.Толстого с Н.Н.Страховым. 1870–1894. СПб., 1914.
- Переписка Л.Н.Толстого с сестрой и братьями. М., 1990.
- Толстая С.А.* Дневники: в 2 т. М., 1978.
- Толстая С.А.* Моя жизнь: в 2 т. М., 2011.
- Толстая С.А.* Письма к Л.Н.Толстому. М.-Л., 1936.
- Толстой Л.Н.* Переписка с русскими писателями: в 2 т. М., 1978.
- Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений (юбилейное издание): в 90 т. М., 1928–1958.
- Арбузов С.П.* Воспоминания С.П.Арбузова, бывшего слуги гр. Л.Н.Толстого. М., 1904.
- Буланже П.А.* Болезнь Л.Н.Толстого в 1901–1902 годах // Минувшие годы. 1908. № 9.
- Булгаков В.Ф.* Л.Н.Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л.Н.Толстого. М., 1957.
- Волконская (Толстая) М.Н.* Русская Памела, или нет правила без исключения: Повесть в 2-х частях (без окончания) / Подготовка публикации Д.Н.Тихоновой; под редакцией В.И.Толстого. Тула, 2009.
- Гольденвейзер А.Б.* Вблизи Толстого. М., 2002.
- Гусев Н.Н.* Два года с Л.Н.Толстым. М., 1973.
- Духовная трагедия Льва Толстого. М., 1995.
- Жиркевич А.В.* Встречи с Толстым. Дневники и письма. Тула, 2009.
- За что Лев Толстой был отлучен от Церкви. Сборник исторических документов. М., 2006.
- Захарьин-Якунин И.Н.* Графиня А.Толстая. Личные впечатления и воспоминания //

- «Вестник Европы», 1904, № 6; 1905, № 4.
- Интервью и беседы с Львом Толстым. М., 1986.
- Комарова Т.В. Семейные реликвии рода графов Толстых. Тула, 2000.
- Кузьминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986.
- Л.Н.Толстой: pro et contra. СПб., 2000.
- Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников: в 2 т... М., 1978.
- Л.Н.Толстой и его близкие. М., 1986.
- Лесков Н.С. О литературе и искусстве. Л., 1984.
- Маковицкий Д.П. У Толстого. 1904–1910. Яснополянские записки Д.П.Маковицкого // Литературное наследство. Т. 90: в 4 кн. М., 1979.
- Микулич В. (Веселитская Л.И.) Встречи с писателями. Л., 1929.
- Муратов. М.В. Л.Н.Толстой и В.Г.Чертков по их переписке. М., 1934.
- Ореханов Георгий, священник. Русская Православная Церковь и Л.Н.Толстой. М., 2010.
- Петров Г.И. Отлучение Льва Толстого от церкви. М., 1978.
- Письма князя Дмитрия Александровича Хилкова. Сергиев Посад, 1915.
- Письма М.А. Новоселова к Л.Н.Толстому // Минувшее. Исторический альманах. 15. М.; СПб., 1994.
- По поводу отпадения от Церкви гр. Л.Н.Толстого. СПб., 1904.
- Пругавин А.С. О Льве Толстом и о толстовцах. Очерки, воспоминания, материалы. М., 2011.
- Русские мыслители о Льве Толстом. Тула, 2002.
- Серебров Александр (Тихонов А.Н.) Время и люди. Воспоминания. 1898–1905. М., 1960.
- Сергеенко П.А. Толстой и его современники. М., 1911.
- Спиро С.П. Беседы с Л.Н.Толстым. М., 1911.
- Сухотин М.С. Толстой в последнее десятилетие жизни // Литературное наследство. Т. 69. Кн. II. М., 1961.
- Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. М., 1980.
- Толстая А.Л. Отец: в 2 т. М., 2001.
- Толстой И.Л. Мои воспоминания. М., 1969.
- Толстой С.Л. Мать и дед Л.Н.Толстого. М., 1928.
- Толстой С.Л. Очерки былого. Тула, 1975.
- Уход и смерть Льва Толстого. Корреспонденции. Статьи. Очерки. СПб., 2010.
- Фирсов С.Л. Церковно-юридические и социально-психологические аспекты «отлучения» Льва Николаевича Толстого // Яснополянский сборник-2008. Тула, 2008.

II

- Иоанн Кронштадтский. Дневник. 1856–1874. Тт. 1–18. М.-Тверь, 2005–2010.
- Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. М., 2008.
- Иоанн Кронштадтский. Полное собрание сочинений настоятеля Кронштадтского Андреевского собора протоиерея Иоанна Ильича Сергиева: в 6 т. СПб., 1897–1902.
- Иоанн Кронштадтский. Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева: в 2 т. СПб., 1911.
- Иоанн Кронштадтский. Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева: в 6 т. Кронштадт, 1890–1896.
- Иоанн Кронштадтский. Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева: в 7 т. СПб., 1993–1994.
- Иоанн Кронштадтский. Творения. Дневник: в 5 т. М., 2001–2009.
- Иоанн Кронштадтский. Творения. Письма разных лет. 1859–1908: в 2 т. М., 2011.
- Иоанн Кронштадтский. Творения. Предсмертный дневник. 1908, май – ноябрь.

М.-СПб., 2003.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Избранные сочинения. Проповеди. Материалы. М., 2011.

Александр (Семенов-Тянь-Шанский), епископ. Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. М., 2011.

Большаков Н.И. Источник воды живой. СПб., 1910.

Вельяминов Н.А. Воспоминания об императоре Александре III // Российский архив. Т. 5. М., 1994.

Вениамин (Федченков), митрополит. Отец Иоанн Кронштадтский. СПб., 2008.

Верховцева В.Т. Воспоминания об отце Иоанне Кронштадтском. Сергиев Посад, 1916.

Витович А. Наследство отца Иоанна. Записки судебного пристава. Пг., 1915.

Детство отца Иоанна. СПб., 1913.

Духонина Е.В. Как поставил меня на путь спасения отец Иоанн Кронштадтский. М., 1998.

Евдоким (Мещерский), епископ. Два дня в Кронштадте. Сергиев Посад, 1909.

Животов Н.Н. Отец Иоанн Ильич Сергиев. СПб., 1890.

Животовский С.В. На Север с отцом Иоанном Кронштадтским. М., 2011.

Житие святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского чудотворца. Джорданвилль, 1964.

Зарницкий Я.И. О. Иоанн Кронштадтский на Волге летом 1894 года. СПб., 1895.

Кисилев И.П. Отец Иоанн (Кронштадтский) в Крыму. СПб., 1895.

Киценко Надежда. Святой нашего времени. М., 2006.

Кронштадтский пастырь. Церковно-исторический альманах. Вып. I–II. М., 2002–2010.

Левицкий П.П. Протоиерей Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский. Пг., 1916.

Михаил (Семенов), иеромонах. Отец Иоанн Кронштадтский. СПб., 1903.

Нарцизова А.Ф. Путешествие отца протоиерея Иоанна Ильича Сергиев, пастыря Кронштадтского, в Суру. Ярославль, 1899.

Орнатский Иоанн, протоиерей. Воспоминания о Кронштадтском пастыре. М., 2008.

Отец Иоанн Кронштадтский в Духовной академии. СПб., 1913.

Отец Иоанн Кронштадтский в Духовной семинарии. СПб., 1913.

Отец Иоанн Кронштадтский и Константин Победоносцев // Река времен: Книга истории и культуры. М., 1996, кн. 2.

Плотица А. Отец Иоанн Кронштадтский (из дневника врача). М., 1915.

Попов Иоанн. Незабвенной памяти дорогого батюшки отца Иоанна Кронштадтского. СПб., 1909.

Последние дни и блаженная кончина о. Иоанна Кронштадтского. СПб., 1911.

Протоиерей Иоанн Ильич Сергиев (Кронштадтский) и его пребывание в Киеве. Киев, 1893.

Салтыков К.М. Интимный Щедрин. М.-Пг., 1923.

Святой Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях современников. М., 1994.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях современников. М., 1997.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Воспоминания самовидцев. СПб., 2011.

Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский. М., 2008.

Таусия (Солопова), игуменья. Автобиографические записки. Беседы с отцом Иоанном Кронштадтским. М., 2007.

III

Иоанн Кронштадтский . Несколько слов в обличение лжеучения графа Льва Толстого. М., 1903.

Иоанн Кронштадтский . О душепагубном еретичестве графа Л.Н.Толстого. СПб., 1905.

Иоанн Кронштадтский . О еретичестве графа Льва Толстого. СПб., 1908.

Иоанн Кронштадтский . Ответ пастыря Церкви Льву Толстому на его «Обращение к духовенству». СПб., 1903.

Иоанн Кронштадтский . Против гр. Л.Н.Толстого, других еретиков, сектантов нашего времени и раскольников. СПб., 1902.

Балакишина Ю.В. Ранние дневники о. Иоанна Кронштадтского и Л.Н.Толстого: Поиск путей самопознания // Исповедальные тексты культуры: Материалы Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 18–19 ноября 2006 года. СПб., 2007.

Ильменский С.П., протоиерей . Отец И.Сергиев и граф Толстой. Саратов, 1912.

Ильяшенко Филипп, диакон . Лев Николаевич Толстой и святой праведный Иоанн Кронштадтский: некоторые аспекты восприятия конфликта современниками // Яснополянский сборник-2008. Тула, 2008.

Иоанн Восторгов, протоиерей . Знамена времен. Отец Иоанн Кронштадтский и гр. Л.Толстой. Уссурийск, 1909.

Приснопамятный отец Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой. СПб., 1910–1911. (Переиздание: Джорданвилль, 1960).

Иллюстрации

ТОЛСТОЙ



Толстой-студент. Самое раннее из известных изображений Л.Н.Толстого. Середина 1840-х годов



Тетушка Л.Н.Толстого Александра Ильинична Остен-Сакен



Тетушка Пелагея Ильинична Юшкова



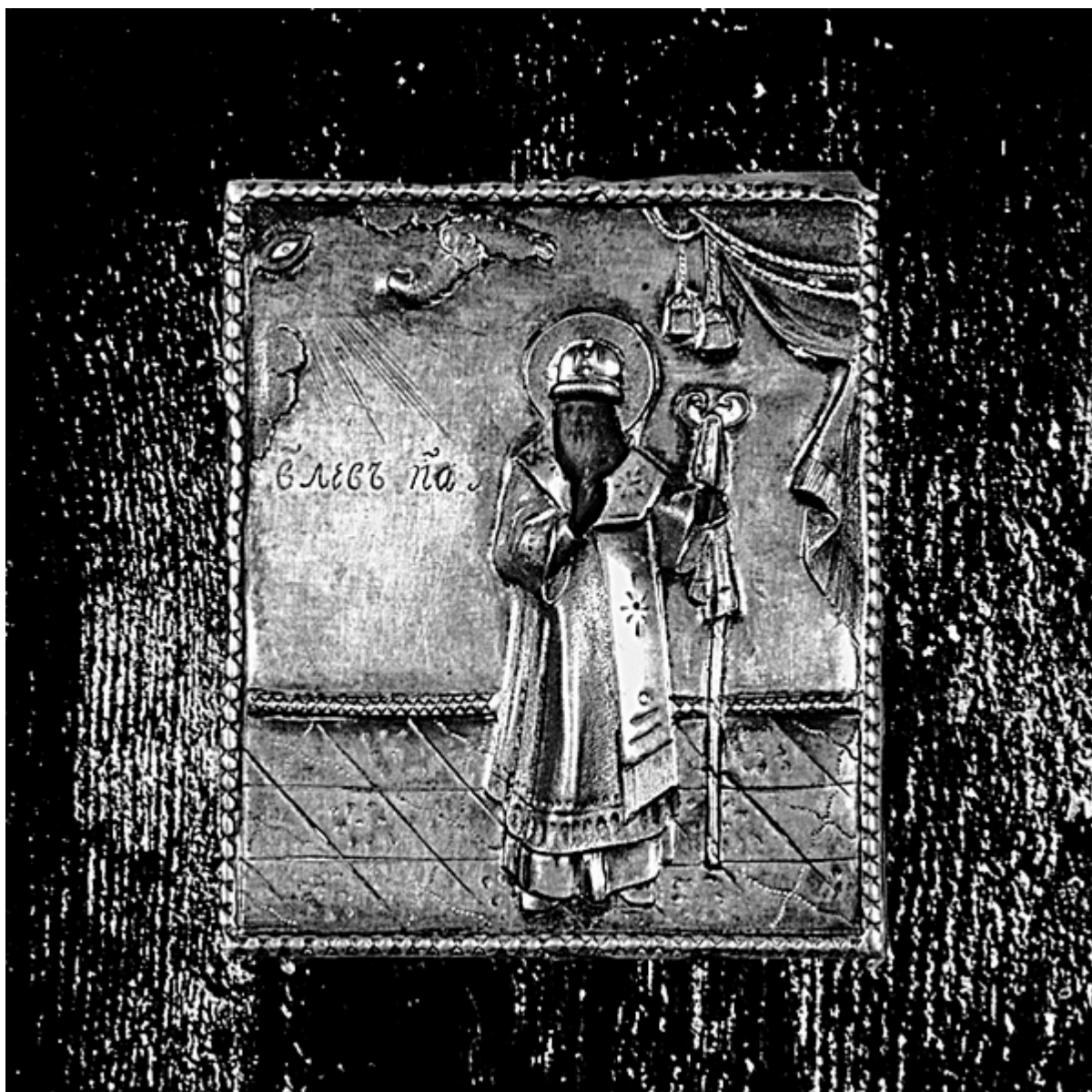
Силуэт матери (слева). Внизу подпись рукой Л.Н.Толстого: «Моя мать. Л.Т.»



П.И.Юшкова в пожилом возрасте. Фотография Ф.И.Ходасевича – профессионального фотографа, отца поэта Владислава Ходасевича. 1863 год (?)



Николай Ильич Толстой – отец писателя



Именная икона Л.Н.Толстого «Святой Лев, папа Римский», подаренная бабушкой Пелагеей Николаевной Толстой (урожденной княжной Горчаковой). XVIII век. Дерево, темпера, в серебряном окладе. 5,6 × 4,8 см



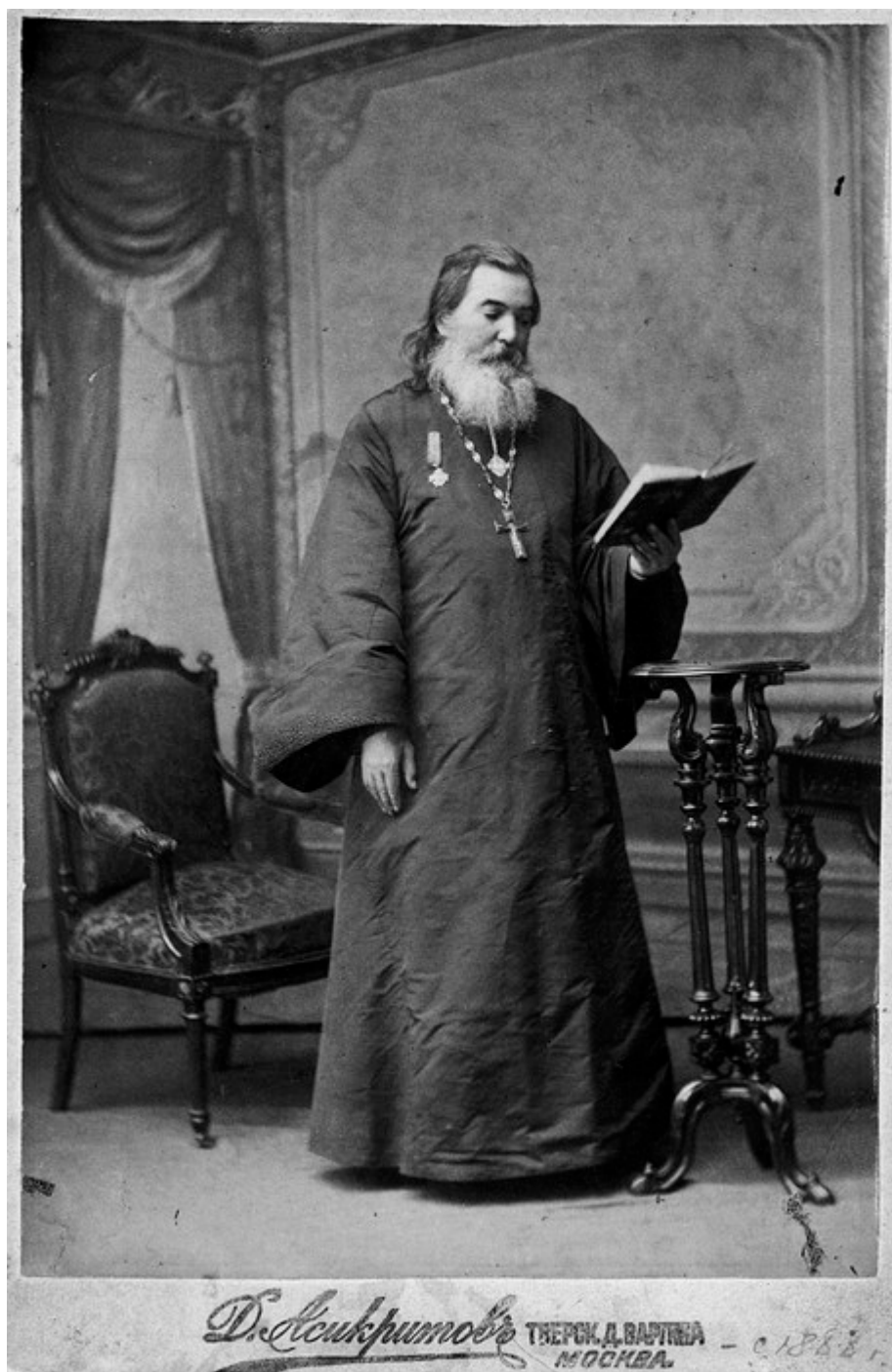
Икона Божией Матери «Трех радостей», подаренная Л.Н.Толстому любимой тетушкой Т.А.Ёргольской. Сопровождала писателя на Кавказской и Крымской войнах. XIX век. Дерево, темпера, в серебряном окладе. 8,5 × 6,5 см



Никольская церковь в селе Кочаки Щекинского района Тульской области (современный снимок). Построена в конце XVII – начале XVIII вв. Справа – семейный склеп, где похоронены мать, отец и старший брат Л.Н.Толстого



Младшая сестра Л.Н.Толстого – Мария Николаевна Толстая во время пребывания в Алжире. 1863 год (?)



Популярный московский священник Валентин (Амфитеатров), настоятель кремлевского Архангельского собора. Некоторое время был духовником сестры писателя М.Н.Толстой. Иоанн Кронштадтский говорил приезжавшим к нему москвичам: «Зачем вы едете ко мне, ведь у вас есть отец Валентин»



Кабинет Л.Н.Толстого в Ясной Поляне. 1908 год. *Фото Карла Буллы* .
 Слева на стене репродукция «Сикстинской Мадонны», подаренная Л.Н.Толстому тетушкой А.А.Толстой



Комната жены писателя С.А.Толстой в Ясной Поляне. 1908 год. *Фото Карла Буллы* .

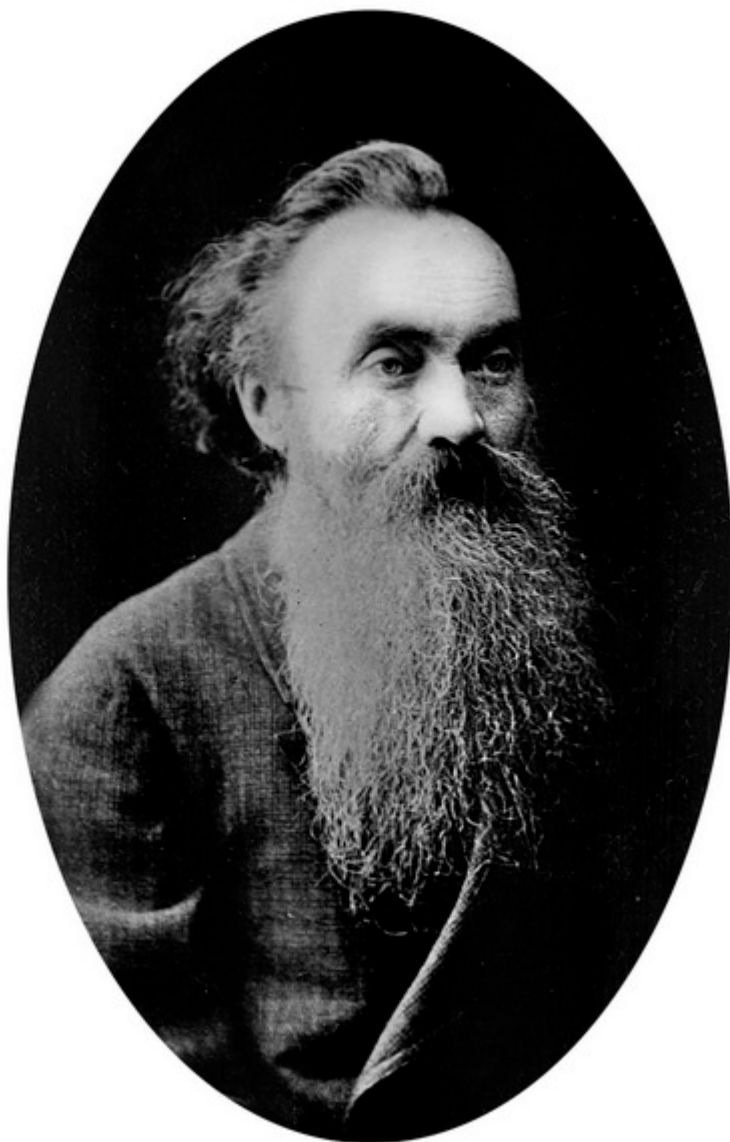
Слева над столом – портрет рано умершего сына Толстых Ванечки. В углу – большая икона «Спас Вседержитель», принадлежавшая деду Л.Н.Толстого, затем переехавшая в имение Никольское старшего брата писателя Николая Толстого, после его смерти находившаяся в комнате Т.А.Ёргольской в Ясной Поляне, а затем – в комнате С.А.Толстой. Самая маленькая икона у изголовья кровати – Божией Матери «Трех радостей»



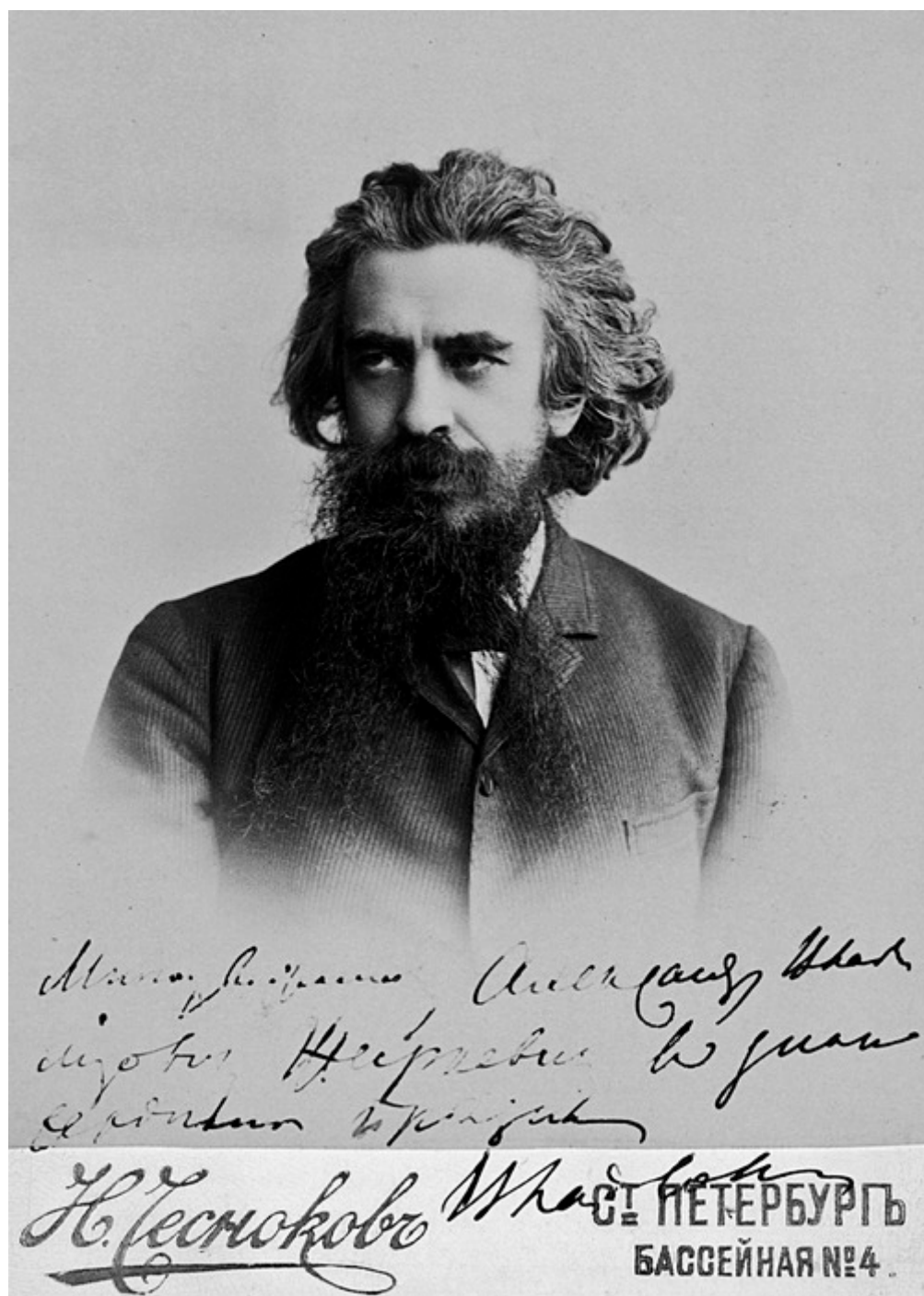
Л.Н.Толстой в зените писательской славы и накануне духовного переворота. 1876 год



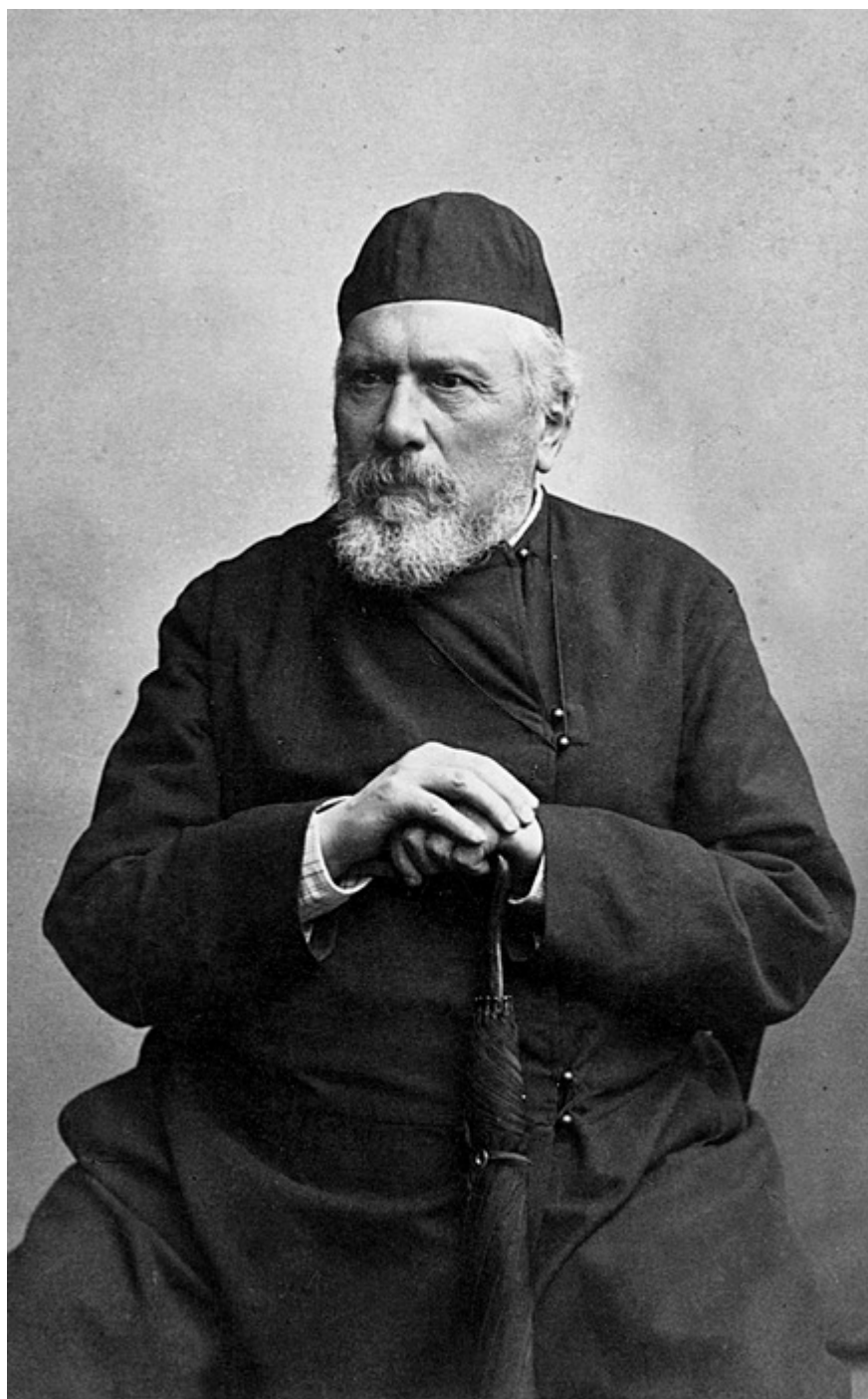
Двоюродная тетушка Л.Н.Толстого Александра Андреевна Толстая – фрейлина императорского двора. 1866 или 1867 год. Санкт-Петербург. *Фото Карла Бергамаско*



Николай Николаевич Страхов. Конец 1880-х годов



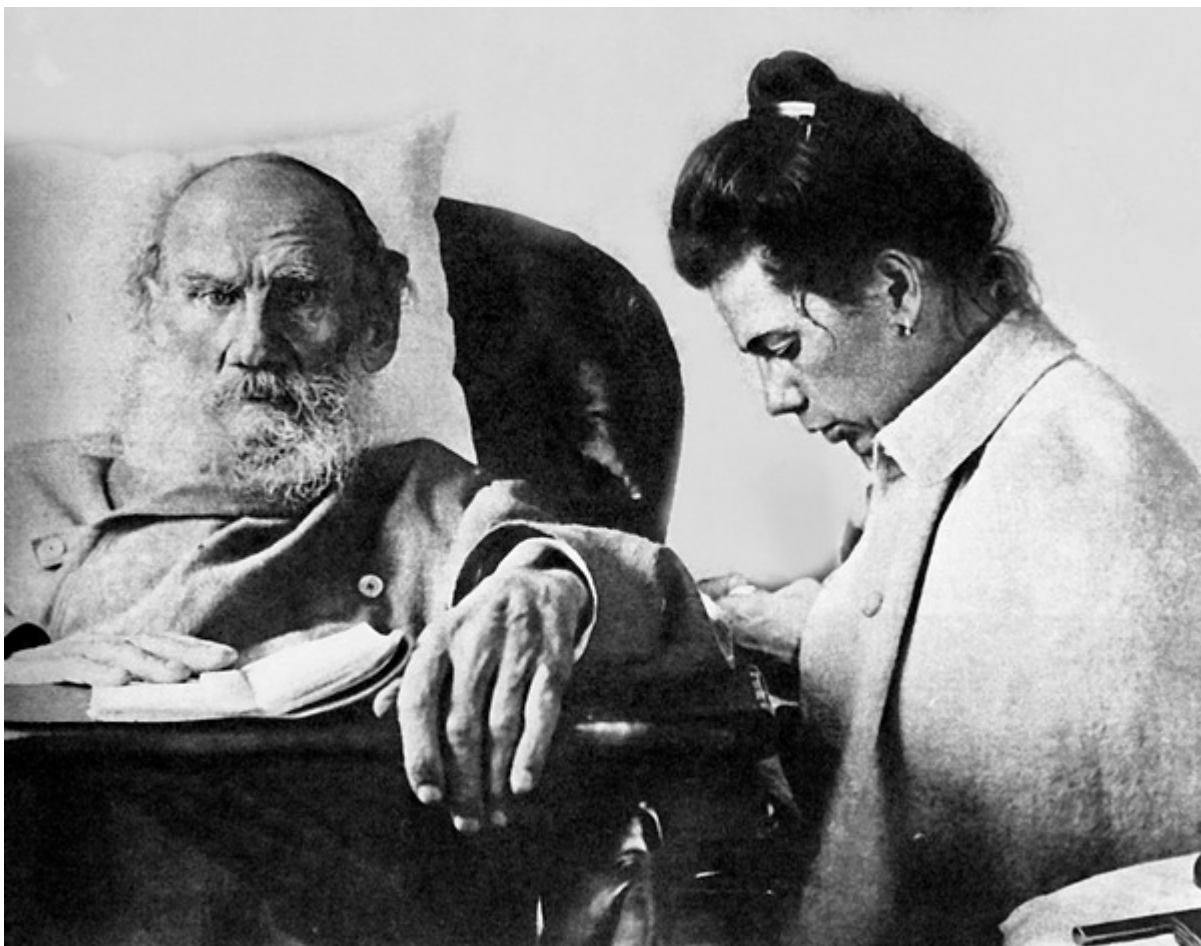
Владимир Сергеевич Соловьев. Начало 1890-х годов



Николай Семенович Лесков. Начало 1890-х годов



Александр Владимирович Жиркевич. 1888 год



Л.Н.Толстой после болезни в Гаспре (Крым). Рядом дочь писателя Татьяна Львовна Сухотина-Толстая. 1902 год

15/60

ПРЕД. ІОАННЪ ВОСТОРГОВЪ.

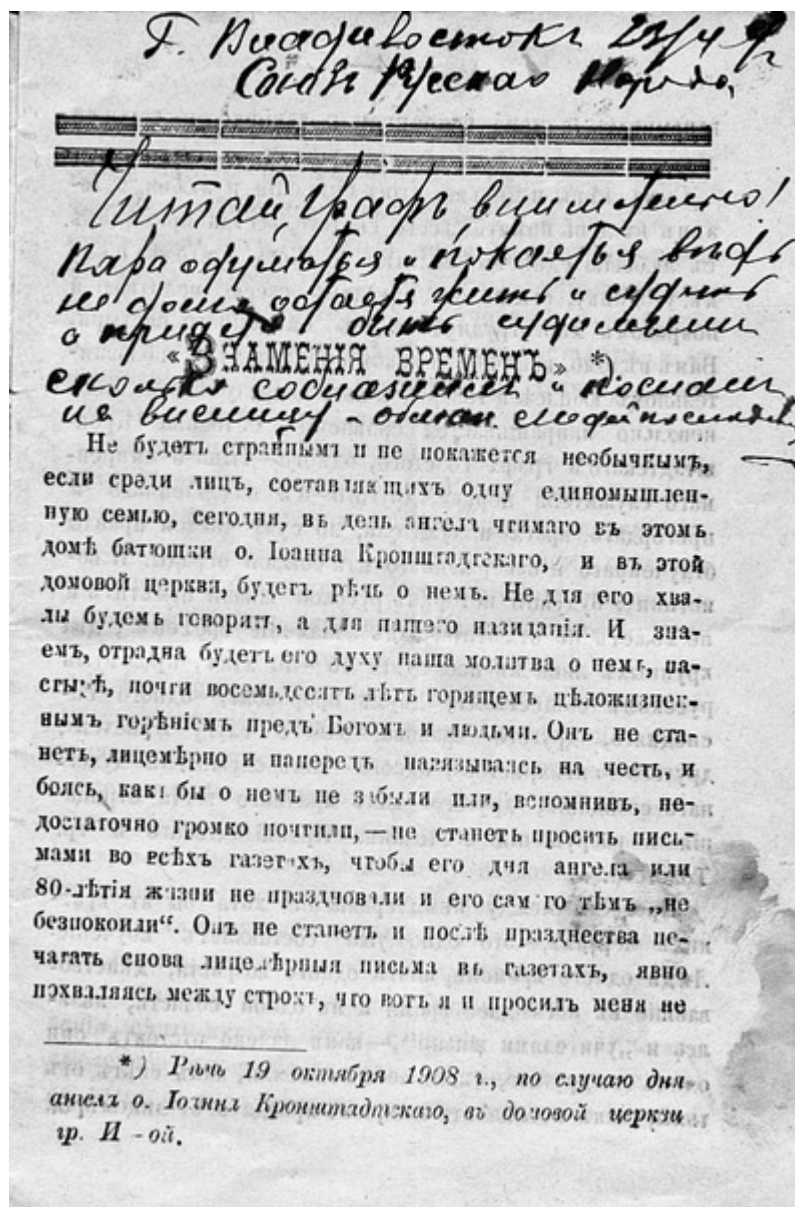
ЗНАМЕНІЯ ВРЕМЕНЪ

О. ІОАННЪ КРОНШТАДТСКІЙ
И
ГРАФЪ Л. ТСЛСТОЙ.

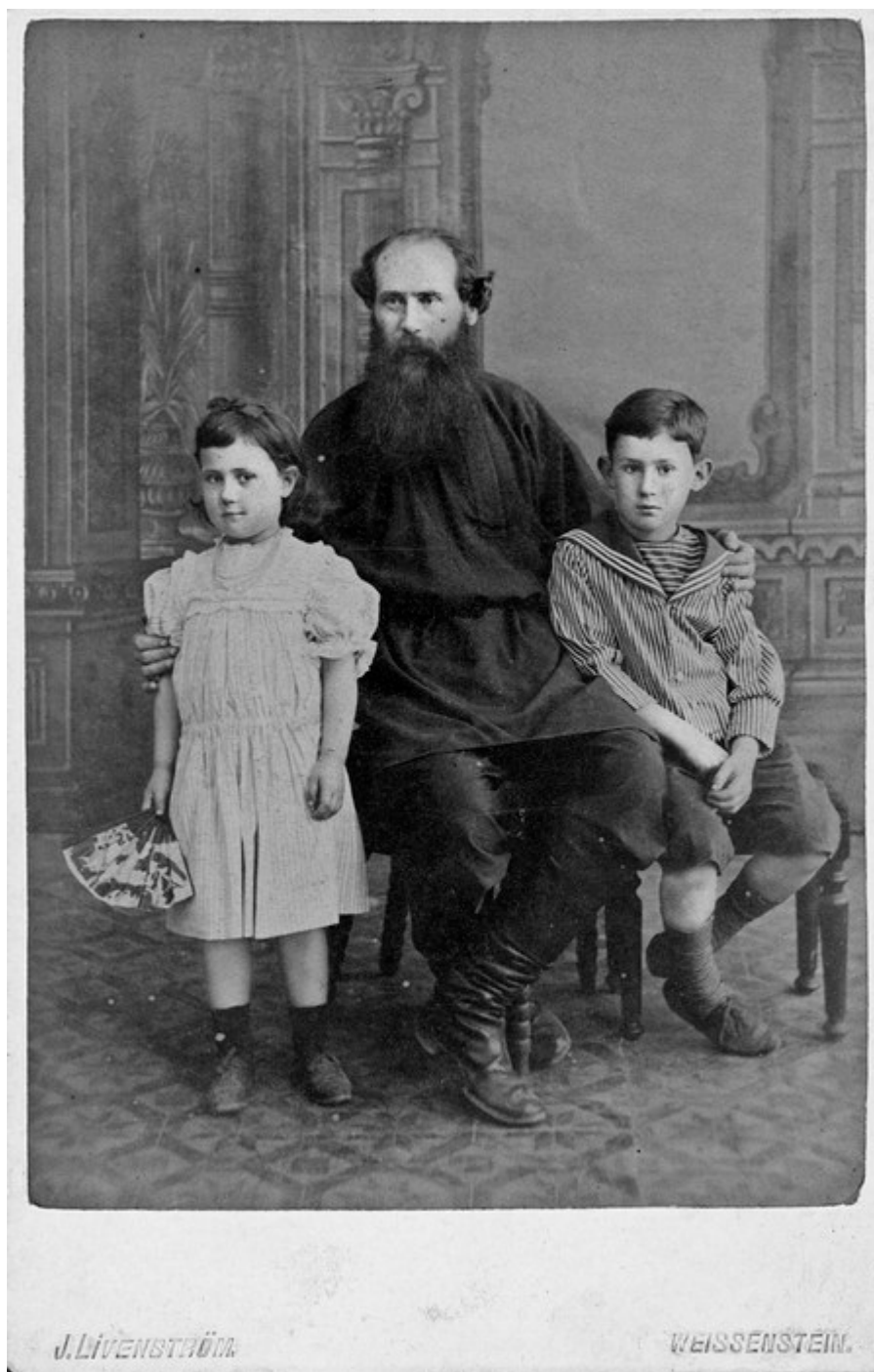


Печатня Уссурийскаго Свято Троицкаго
Николаевскаго монастыря.
1909 г.

Желательно, чтобы прочитавшіи эту книгу передали другому.



Обложка книги отца Иоанна (Восторгова) «Знаменія времен. О. Иоанн Кронштадский и граф Л.Толстой» (Уссурийск: Издание Уссурийского Свято-Троицкого Николаевского монастыря, 1909). На первой странице «дарственная» черными чернилами: «Г. Владивосток 23/4-9 г. Союз Русского Народа. Читай, граф, внимательно! Пора одуматься и покаяться, ведь не долго остается жить и судить, а придется быть судимым, сколько соблазнил и послал на виселицу – обманул людей последователей»



Князь Дмитрий Александрович Хилков со своими детьми Ольгой и Борисом. 1897 год

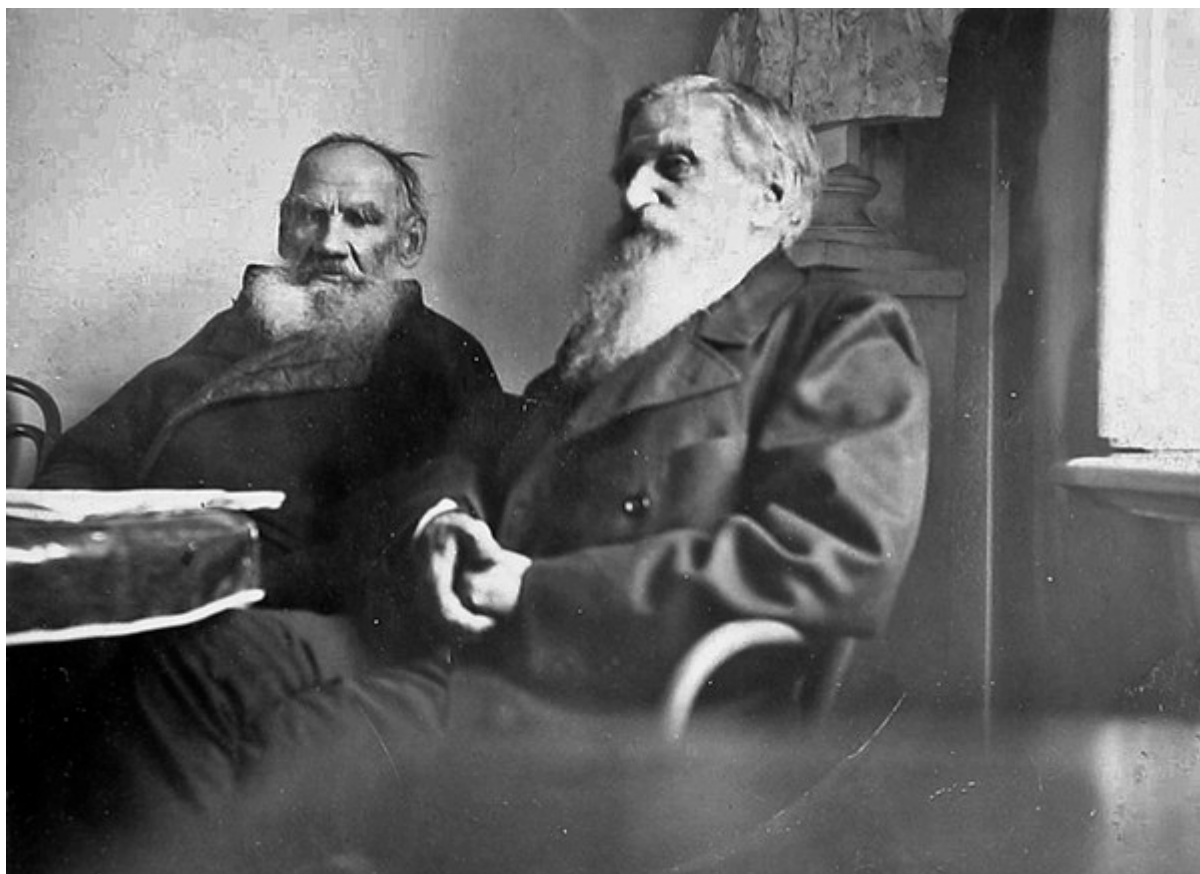


Л.Н.Толстой с крестьянами-посетителями в Ясной Поляне. 1908 год. Фото Карла Буллы



Крестьяне в Ясной Поляне, ожидающие выхода Л.Н.Толстого у «дерева бедных». 1908

год. Фото Карла Буллы

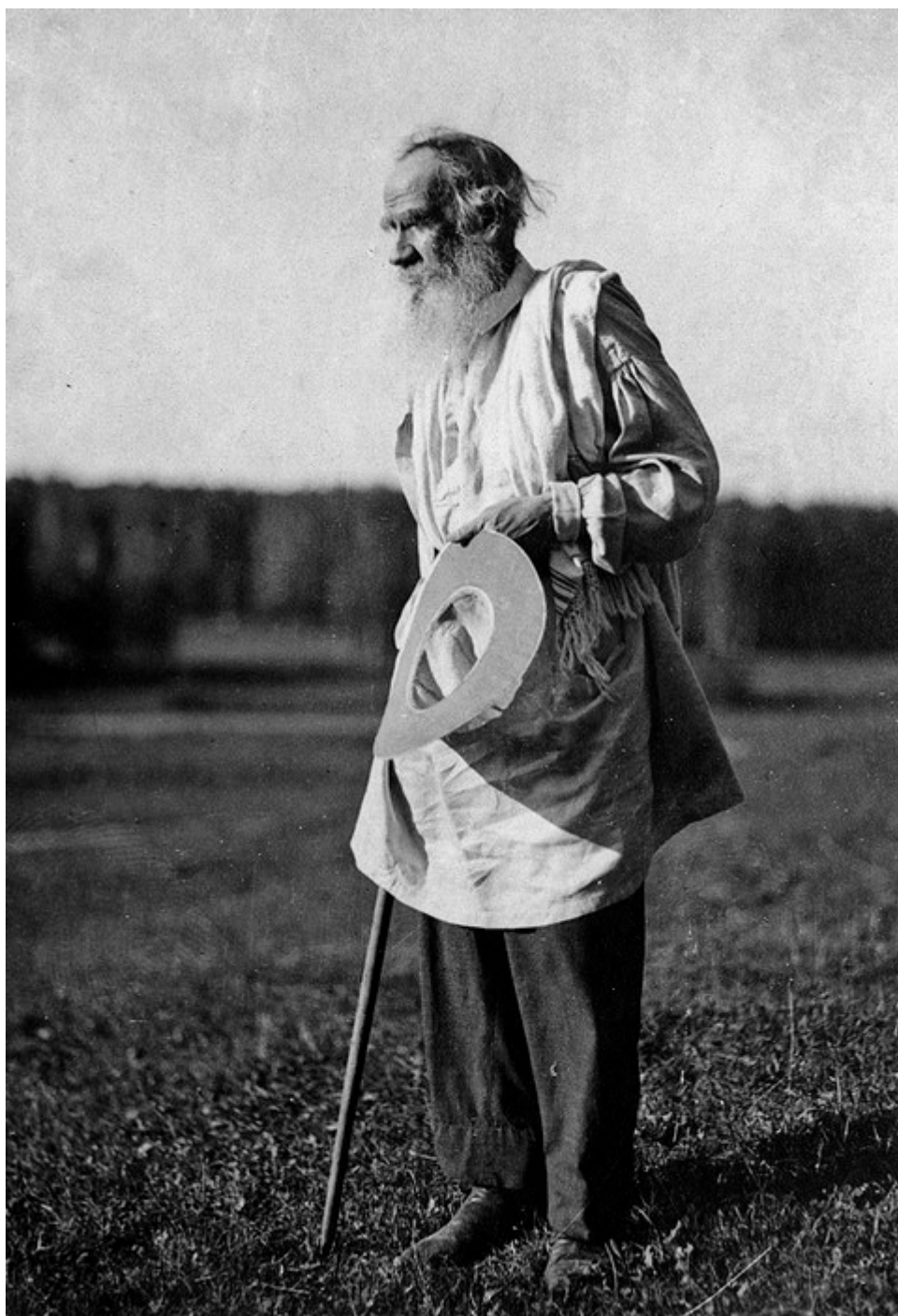


Братья Л.Н. и С.Н.Толстые во время последнего приезда Сергея Николаевича в Ясную Поляну. 1902 год. Фото дочери Л.Н.Толстого – Марии Львовны Оболенской



Вдова Льва Николаевича. Софья Андреевна
у мошвы мученика.
(1912-1918 г.г.).

Софья Андреевна Толстая на могиле мужа. 1912 год. Фото сделано самой С.А.Толстой



Л.Н.Толстой в 1905 году. Фото В.Г.Черткова. Писатель готов был раскаиваться в своих грехах до последнего вздоха. Но не признавал церковного покаяния

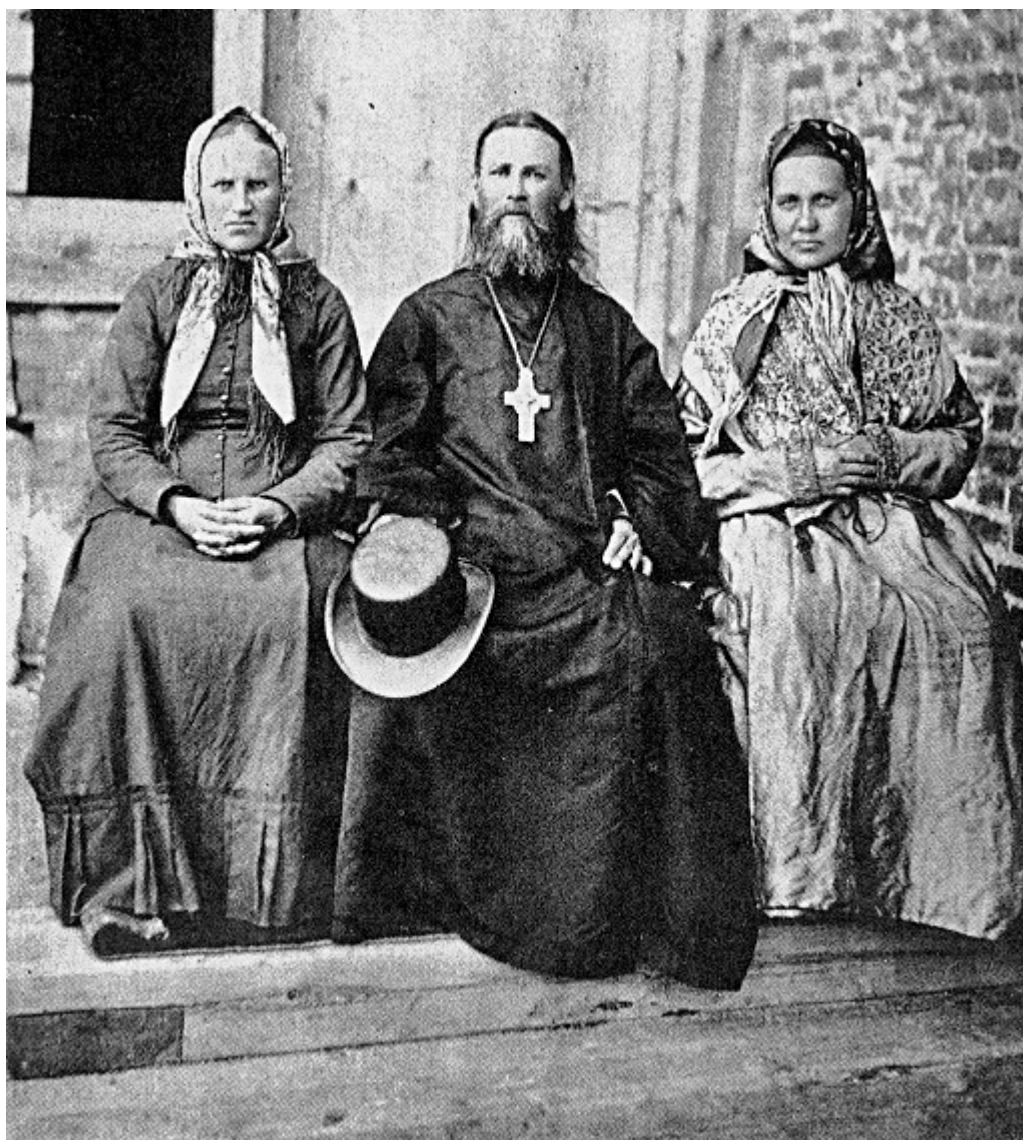
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ



Иоанн Кронштадтский в кресле. Из фонда ЦГАКФФД СПб



Мать Иоанна Кронштадтского Феодора Власьевна Сергиева (урожденная Порохина).
Личности матери посвящено немало мест в дневнике отца Иоанна



Отец Иоанн с родными сестрами Анной и Дарьей, оставшимися в Суре. Их семьям отец Иоанн постоянно помогал материально. Сура, 1891 год. *Фото Павла Шаумана*



Вид на село Сура Архангельской губернии Пинежского уезда после строительства там на средства отца Иоанна Иоанно-Богословского женского монастыря

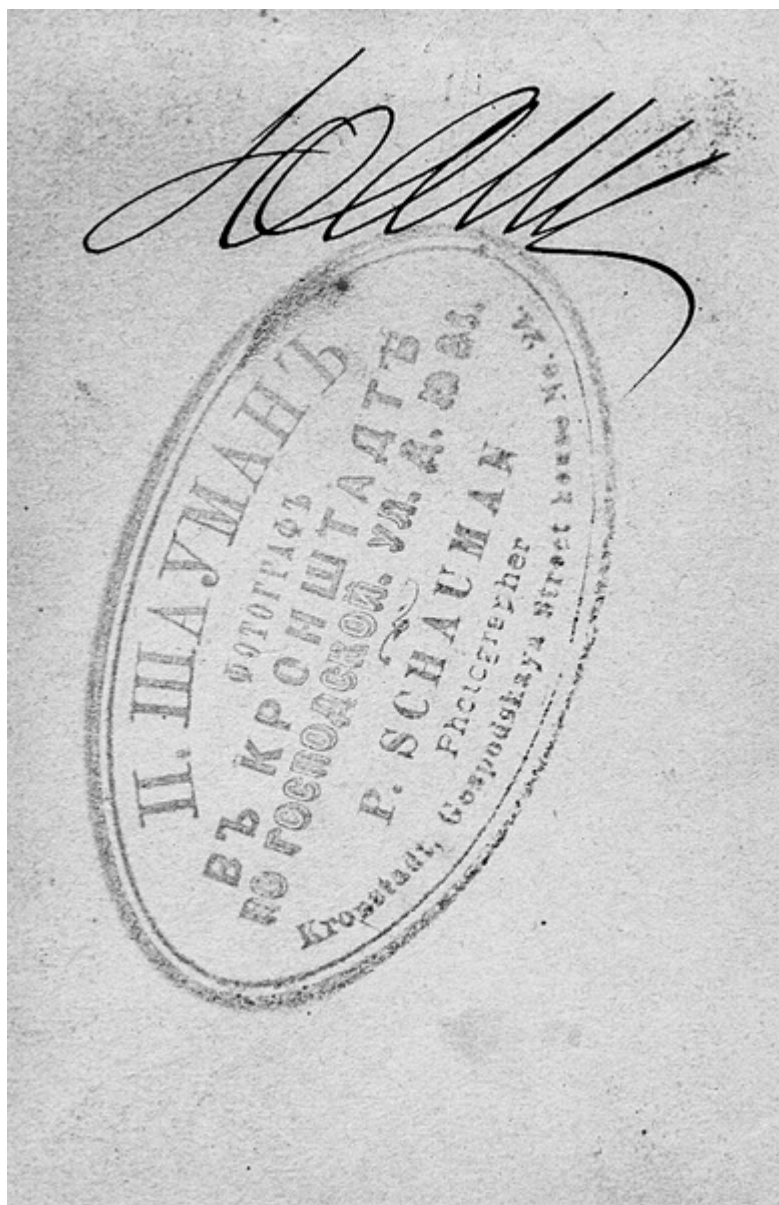


Иоанн Кронштадтский в саду с женой Елизаветой Константиновной Сергеевой (урожденной Несвицкой). Деревня Мартышкино Петербургской губернии, 1890-е годы. Из фонда ЦГАКФФД СПб



Отец Иоанн со своим племянником Игорем Шемякиным. Деревня Мартышкино Петербургской губернии, до 1900 года. Из фонда ЦГАКФФД СПб





Фотографическая карточка Иоанна Кронштадтского с автографом на обороте. Такие карточки он имел обыкновение дарить многочисленным поклонникам в Кронштадте и во время путешествий. *Фото Павла Шаумана. Из личного архива Г.М.Гупало*



Личная карета Иоанна Кронштадтского, подаренная батюшке его поклонниками.
Кронштадт, 1898 год. Из фонда ЦГАКФФД СПб



Общая исповедь Иоанна Кронштадтского в Андреевском соборе – репродукция с картины. Из фонда ЦГАКФФД СПб



Протоиерей Иоанн Кронштадтский среди прихожан при выходе из Андреевского

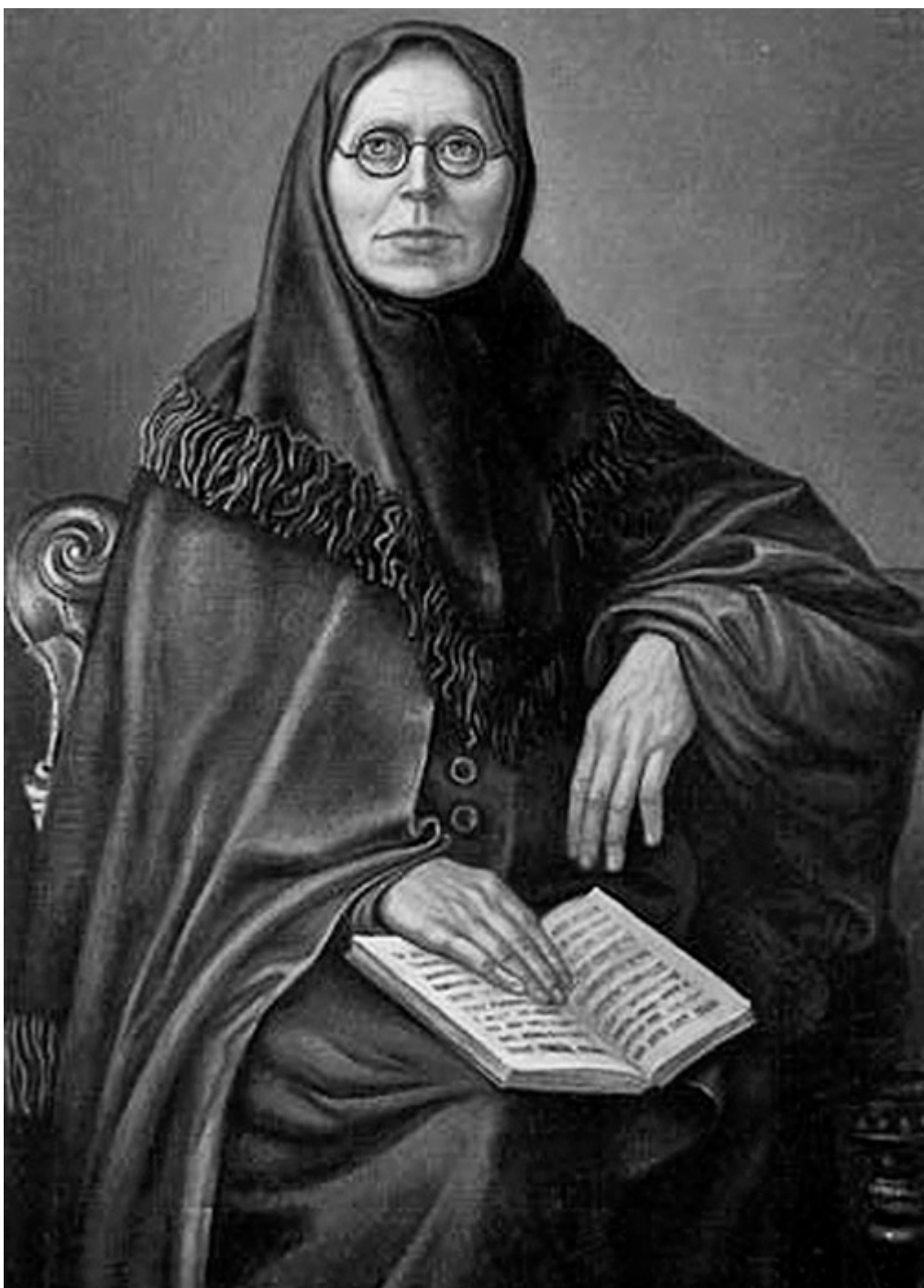
собора. 19 ноября 1898 года. Из фонда ЦГАКФФД СПб



Украшение Кронштадта – собор Андрея Первозванного. Выполнен по проекту архитекторов А.Д.Захарова и А.Н.Акутина. Заложен в 1805 году в присутствии императора Александра I, освящение состоялось в 1817 году. Отец Иоанн служил в нем с 1855 по 1908 годы. В 1932 году собор был разрушен, на его месте установлен памятник Ленину. Сейчас здесь находится памятный камень



Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев



Легендарная старица Параскева Ивановна Ковригина, помощница отца Иоанна



Где бы ни оказывался отец Иоанн, его появление везде собирало толпы людей. Из фонда ЦГАКФФД СПб



Отец Иоанн в саду. Деревня Мартышкино Петербургской губернии, до 1900 года. Из фонда ЦГАКФФД СПб



Император Александр II, убитый «народовольцами» 1 марта 1881 года



Дом трудолюбия в Кронштадте, построенный в память убитого императора



Отец Иоанн среди группы военных и штатских у памятника А.В.Суворову. Санкт-Петербург, 1900 год. Из фонда ЦГАКФФД СПб

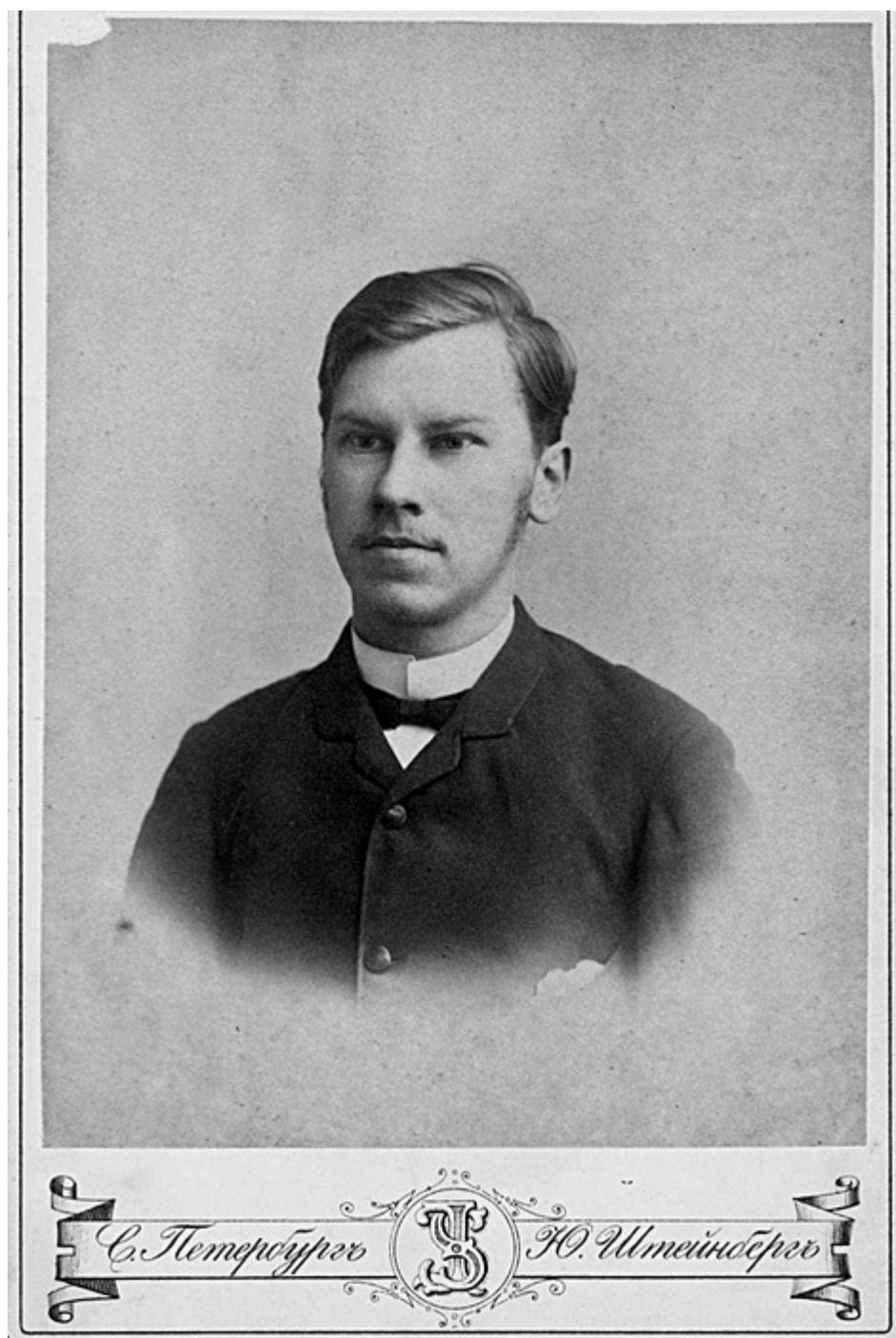


Отец Иоанн среди почитателей в Санкт-Петербурге. Сидят (слева направо): 1-й – священник и писатель Григорий Петров, 3-й – музыкальный и художественный критик

В.В.Стасов, 4-й – священник Философ Орнатский, 5-й – Иоанн Кронштадтский, 6-й – редактор газеты «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства» М.Г.Кривошлык, 7-я – матушка Елизавета Константиновна. Из фонда ЦГАКФФД СПб



С прихожанами общества Иоанна Кронштадтского. Кронштадт, 1898 год. Из фонда ЦГАКФФД СПб



Константин Михайлович Фофанов, поэт. Иоанн Кронштадтский высоко ценил его талант



Лидия Константиновна Фофанова, жена поэта. Вышла за него замуж по совету отца
Иоанна



Александр III. В 1894 году отец Иоанн был вызван в Крым с надеждой исцеления императора



Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский)



Иоанн Кронштадтский в церковном облачении в кресле. Кронштадт, начало 1900-х годов. Из фонда ЦГАКФФД СПб



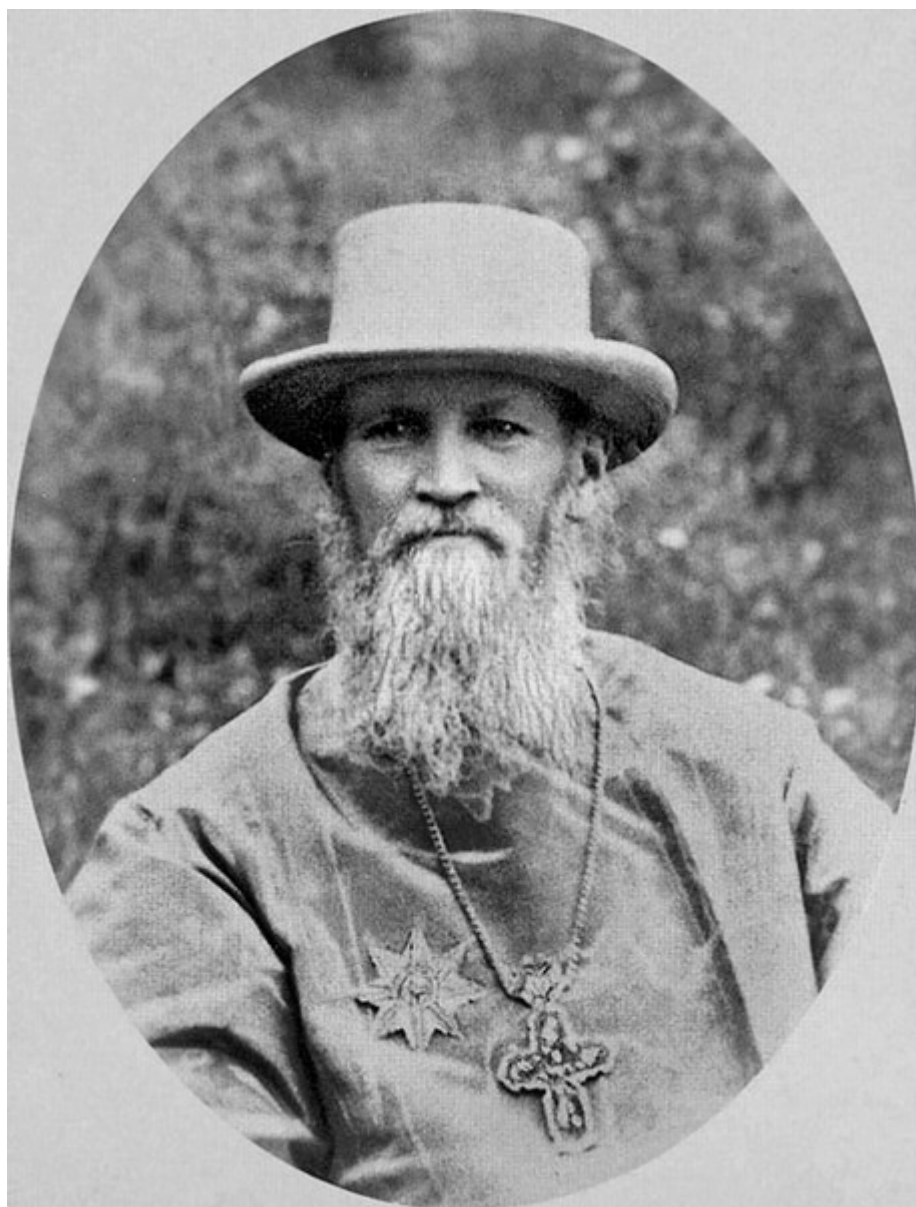
Отец Иоанн и игуменья Санкт-Петербургского Иоанновского женского монастыря Ангелина в окрестностях Вауловского скита в Ярославской губернии. 1903 год



Катафалк с гробом Иоанна Кронштадтского около Андреевского собора. 20 декабря 1908 года. Из фонда ЦГАКФФД СПб



Беломраморный храм-усыпальница Иоанна Кронштадтского в Иоанновском монастыре. Из фонда ЦГАКФФД СПб



Отец Иоанн в конце жизни. Вауловский скит, 1908 год